И вблизи и вдали

Александр Городницкий

SHOUT
SHARE
IT

- Вместо предисловия
- Васильевский остров
- Дворец пионеров
- Отечество нам горный институт
- Деревянные города
- С намагниченных лент
- Строки из тех экспедиций
- Паруса крузенштерна
-
-
-
- Остров гваделупа
-
- Чистые пруды
- Сколько миль до атлантиды
-
-
- "Что я видел на ампере"
- Поющие шестидесятые
-
-
- Время потерь
  - ○
  - ○ Давид Самойлов
  - ○ Борис Слуцкий
  - ○ Последний летописец
-
-
- За тех, кто на земле

Вместо предисловия

Всякий ли человек имеет право писать свои воспоминания? Мнения на этот счет расходятся. Б. Л. Пастернак, например, считал, что подробного жизнеописания заслуживает лишь подлинный герой. Мне более импонирует мнение А. И. Герцена, который на вопрос "кто имеет право писать свои воспоминания", отвечает: "Всякий. Потому что никто их не обязан читать".

Ненастным ноябрьским днем 1982 года в небольшом сибирском городке Ялуторовске, неподалеку от Тюмени, в музее декабристов, устроенном в старой, почерневшей от времени избе, в которой жил долгие годы ссыльный Матвей Иванович Муравьев-Апостол - брат казненного Апостола Сергея, на десятилетия переживший своих товарищей, я увидел странный экспонат. Это была старая толстостенная винная бутылка из темного стекла. Незадолго до смерти Матвей Иванович, забытый всеми и умиравший в одиночестве, положил в эту бутылку записку о себе и уже ушедших из жизни друзьях-декабристах, а бутылку спрятал под половицу около печки. Как будто не умирал в заснеженном сибирском городке, а тонул в бурном штормовом океане. Он был уверен, что про их поколение никто уже давно не помнит. Бутылку с запиской нашли уже в нашем веке…

Тот древний мудрец, который просил Господа не дать ему жить в интересную эпоху, был прав. Мне повезло - большая часть моей жизни пришлась на "неинтересную" эпоху, если такие вообще бывают. Смертоносные косилки сталинских репрессий, войны и блокады обошли мою семью. Самая значительная часть моей жизни совпала с тем временем, которое теперь назвали "эпохой застоя". Я не жалею об этом.

В дни, когда я пишу эти строки, радио и телевидение то обнадеживают, то пугают. На улицах и площадях шумят толпы, требуя отставки правительства. На глазах распадается наша грозная империя, еще вчера казавшаяся вечной. Угроза гражданской войны повисла над необъятной голодной и растерянной страной, вдруг осознавшей бесплодность и полурабскую сущность своей вчерашней жизни. Стихи и песни, так много значившие для нас в шестидесятые годы, сегодня как будто никому уже не нужны. К сожалению, у нас уже не будет другой жизни. Моему уходящему поколению, по-видимому, не суждено увидеть счастливого завершения тех великих перемен, которые только начинаются в нашей многострадальной России. "Времена не выбирают" - как точно сказал А. Кушнер.

И все-таки неинтересных эпох не бывает. И то, чем жило мое потерянное поколение, то, во что мы верили, чем мучились, о чем мечтали, тоже может показаться кому-нибудь интересным.

Записки эти не претендуют на полноту или документальную точность изложения. Я никогда не вел дневников, о чем теперь жалею, поэтому детали отдельных событий, восстанавливаемых по памяти, могут быть неточны. В некоторых случаях изменены имена. Мне хотелось написать прежде всего не о себе, а о людях, с которыми довелось встречаться в отведенных судьбой времени и пространстве, и о друзьях, многих из которых уже нет в живых.

Васильевский остров

Самые первые мои воспоминания связаны с такой картиной: в начале моей родной улицы, перегораживая ее, над хмурой невской водой сереют грузные корпуса кораблей, а над крышами окрестных домов торчат их высокие мачты. Седьмая линия Васильевского острова, между Большим и Средним проспектами, на которой стоял наш дом, беря свое начало от набережной Невы вблизи Николаевского моста, в конце своем упиралась в Большую Невку около Тучкова моста. Собственно говоря, по дерзкому замыслу Петра василеостровские линии и должны были первоначально быть не улицами, а каналами, соединявшими рукава Невы. Обывателям же василеостровским вменялось в обязанность иметь лодки, "дабы по этим каналам ездить". Однако первый санктпитербурхский генерал-губернатор, вороватый "Светлейший", герцог Ижорский, большую часть отпущенных казной для рытья каналов денег употребил на обустройство своего роскошного дворца на василеостровской набережной, развернув его, вопреки воле Государя, фасадом к Неве - вместо здания Двенадцати Коллегий. Каналы поэтому получились узкие, непроточные и настолько грязные, что довольно скоро их пришлось засыпать…

Дом тридцать восемь по Седьмой линии, где жили мои родители, занимавшие узкую как щель комнатушку в 13 квадратных метров с окном, упершимся в стену узкого колодца двора, в коммунальной квартире на втором этаже, был старым шестиэтажным доходным домом, да и сама квартира, видимо, раньше принадлежавшая одной весьма состоятельной семье, была прежде довольно комфортабельной, о чем говорили лепные узоры на высоких потолках.

Мои отец и мать родились и выросли в губернском городе Могилеве в Белоруссии, на Днепре, откуда отец приехал учиться в Ленинград в конце двадцатых годов. Деда своего по отцовской линии я помню плохо. Был он по профессии шорником, имел мастерскую и собственный дом и считался по тем временам довольно состоятельным человеком. Происходил он из бедной еврейской семьи, и, в девятилетнем возрасте лишившись отца, как самый старший начал работать, чтобы кормить семью. Первая жена деда в молодости умерла от рака. Моя бабушка, его вторая жена, была моложе его на двадцать лет. Дед, переживший трех царей и умерший в тридцать шестом, в возрасте 84 лет, отличался религиозностью, крепким здоровьем и редким трудолюбием. Он продолжал работать до 80 лет. Более всего любил париться в

бане. Отец мой вспоминает, что уже в последние годы жизни деда, приезжая в Могилев в отпуск, он возил его на извозчике париться в баню, поскольку без посторонней помощи дед уже добраться туда не мог. В бане, однако, отец старался сесть подальше от деда, чтобы не ошпариться брызгами, долетавшими из его шайки. Несмотря на преклонный возраст (деду было уже за восемьдесят), он не менее двух раз ходил в парилку. Отец мой помогал ему забраться на полок и подавал веник, а сам садился подальше, на самую нижнюю полку, так как горячего пара не выносил. Каждое такое посещение бани было для деда настоящим праздником.

Судя по воспоминаниям отца, к большевикам отношение у деда было сдержанное, хотя именно им он почему-то, возможно, из-за недостаточного технического образования, приписывал заслугу изобретения радио, которое, как известно, задолго до них придумали Маркони и Попов. "Нет, нет, это сделали они и сделали специально", - говорил он моему отцу, с опаской косясь на вещающую хриплым голосом черную тарелку репродуктора в углу. - И знаешь зачем? Чтобы никто не мог думать сам. Потому что если человеку в ухо все время что-нибудь говорят, то он уже сам думать не может".

Бабушку свою по отцовской линии я тоже помню смутно. Облик ее ассоциируется в моей памяти с ароматом антоновских яблок, лежащих на чердаке в ее могилевском доме, да еще, пожалуй, с торжественным обрядом варки всевозможных варений в сияющем подобно вечернему солнцу старом медном тазу, в процессе чего детям позволялось лакомиться "пенками". Была она большой мастерицей по части знаменитой еврейской кухни, прежде всего по фаршированию рыбы и изготовлению "тейгелех" - маленьких орешков из теста, вываренных в меду. Двигалась она и говорила всегда тихо. В августе сорок первого, когда немцы занимали Могилев, она, уже покинув дом, вдруг решила вернуться за какими-то забытыми вещами. Она не слишком опасалась прихода немцев, хорошо помня немецкую оккупацию Могилева в 1918 году, когда немцы ни в какие внутренние дела горожан не вмешивались и хорошо торговали с местным населением. Вместе с несколькими тысячами могилевских евреев она погибла в Лупполово, в лагере уничтожения, где фашисты полуживыми закопали их в землю, не потрудившись даже толком расстрелять.

Отец мой своей скромностью, трудолюбием и любовью к порядку пошел в деда. Более строптивым характером обладал его младший брат - Борис, мой дядя, ставший потом профессиональным военным. В 1916 году, пяти лет от роду, когда

в Могилев прибыл Николай II, он ухитрился чуть не попасть под царский автомобиль, неожиданно перебежав перед ним улицу. Происшествие это не обошлось без вмешательства полиции и последующей взятки полицмейстеру, чтобы "замять дело". Он же пару лет спустя напоил валерьянкой козла и впустил его в комнату, где молился дед. Скандал был неимоверный.

Пятнадцати лет дядька мой добровольцем вступил в Красную Армию. В конце тридцатых годов на Дальнем Востоке, где он уже офицером служил в химических частях, чуть не загремел, вместе с т офицерами их полка, по обвинению в шпионаже в пользу Японии. В отличие от других, его тогда, в связи с фамилией Городницкий - обвинили в шпионаже в пользу Польши. Все обошлось по чистой случайности - Ежова сменил Берия, и репрессии были временно приостановлены. Помню, как в тридцать девятом, проездом в Мурманск, "на Финскую", он появился в нашей тесной ковмнатке на Васильевском, в дубленом, остро пахнущем овчиной полушубке, туго перепоясанный портупеей с кобурой, с "кубарями" - петлицах, сразу заполнив своим жизнерадостным голосом и воинским снаряжением все наше небольшое жизненное пространство. Пережив Отечественную и дослужившись до подполковника, он ушел в отставку и поселился в Саратове.

Был он в свое время изрядным сердцеедом. Вспоминаю, как в 1966 году мы вместе с моим тогдашним начальником Николаем Николаевичем Трубятчинским в промозглую осеннюю погоду прибыли в командировку в Находку, в Военную Гидрографию, договариваться о совместной экспедиции. В городской гостинице "Восток" пожилая хмурая администраторша нам сказала, что мест нет и не будет, да и вообще гостиница эта - для интуристов. "Я знаю, что надо делать, - шепнул мне в ухо Николай Николаевич - Надо вложить в паспорт два червонца и дать ей". Так я и поступил и сказал, просовывая в окошечко паспорт: "Может быть, мы оставим паспорта на случай, если место вдруг освободится?" "Да зачем мне ваш паспорт?" - строго спросила администраторша и отпихнула его ладонью. Паспорт упал на ее столик и раскрылся, обнаруживая внутри две красненькие бумажки. К моему удивлению, неприступная дама, даже не взглянув на них, с интересом прочитала мою фамилию и спросила: "Это кто

- Городницкий?" "Я - Городницкий", - несколько смущенный своей популярностью в этом далеком краю, произнес я. "Подождите, - сказала она, вдруг покраснев и начав поправлять свою "химическую" прическу, - вас

двухместный "люкс" устроит? Тогда давайте и второй паспорт. Польщенный таким безотказным действием своей

фамилии и Приписывая все это, конечно, своим песенным заслугам, я запол1ил наши гостиничные анкетки. Когда я ей их передавал, она спросила: "Лейтенант Городницкий, Борис, вам родственник?" "Только не лейтенант, а подполковник, наконец начиная что-то понимать, ответил я. - Дядя мой". "Ой, у меня смена через час кончает. Можно, я к вам зайду, вы мне про него расскажете? Всю жизнь его помню!.."

Неукротимый характер дядьки с годами не изменился. В 1феврале 1991 года, приехав в Саратов на его восьмидесятилетие, я услышал поведанную им историю, как ему накануне юбилея вручили тридцать рублей от парткома, чтобы он, ветеран войны и старый член партии, мог подписаться на газету "Правда". "Я еще тридцатник добавил, - хитро улыбаясь, сказал он, - и подписался на "Огонек".

Мать моя родилась в многодетной семье, где было семь детей. Всем им, несмотря на нужду, дали образование. Отец и мать познакомились в 1923 году в школе, во время соревнований на лучшую устную газету, а в 24-25 годах учились вместе на общеобразовательных курсах. В двадцать пятом году они расстались. Отец поехал учиться в Ленинград, а мать - в Москву, где пыталась поступить в МВТУ им. Баумана. Она сдала приемные экзамены, но не была зачислена "по социальному положению". Тогда она пошла учиться в педагогический техникум, который закончила в 1928 году. После этого ее направили на работу в Сибирь, в Алтайский край, в глухую деревню Вознесенское Рубцовского района, где впервые организовали школу. В непривычной для нее сибирской обстановке приходилось нелегко, тем более что местные власти всячески старались привлечь ее к коллективизации. Помню, как она рассказывала, что когда заготавливали пельмени, то дети по несколько дней не ходили в школу.

Отец посылал ей письма из Ленинграда чуть ли не каждый день. Он в это время учился в ленинградском фототехникуме, куда поступил в двадцать шестом году. Стипендия ему не полагалась из-за неприглядности социального происхождения - сын кустаря. Приходилось поэтому работать, чтобы прокормиться. В те поры в учебных заведениях существовали на общественных началах трудовые артели, подыскивавшие для студентов временную работу. Через такую артель отец устроился ночным сторожем, поскольку дни были заняты учебой. Посты ночных сторожей были разные - выгодные или невыгодные. Выгодными считались посты у продовольственных магазинов (где перед закрытием сторожа кормили бутербродами с колбасой или ветчиной, да еще и в запас давали) или такие посты, где сторож

сидел в тепле, между запертой внутренней и открытой внешней дверью магазина. Отцу достался пост невыгодный, наружный, у магазина "Военная книга" на углу Невского и Желябова, где он помещается и поныне. Рядом с ним на Невском существовал тогда второй магазин Рудметаллторга (сейчас там - кафе "Минутка") и в том же здании третий - Госшвеймашин (сейчас - телевизионный магазин). Все эти три магазина отец охранял на пару со студентом из пединститута. Сторожам выдавалась спецодежда-валенки с галошами и тулуп. Если один из напарников дежурил в дождь, то его сменщик должен был надевать сырой тулуп - просушить было негде. Поскольку стоять приходилось на улице, отогреться в холодные питерские вечера было нелегко. Только в семь утра, когда открывались чайные, и на Невском появлялись первые ранние прохожие, можно было согреться вместе с ночными извозчиками чашкой горячего чая с булкой. Зато рядом шла ночная жизнь Невского проспекта.

Из знаменитого ресторана "Крыша", закрывавшегося в полночь, разбредалась по Невскому подвыпившая пестрая толпа - от Преуспевающих нэпманов до загулявших поэтов и тогда уже чрезвычайно престижных валютных проституток. Однажды ночью отец увидел, как три милиционера и три вызванных ими дворника пытались посадить на извозчика дородного пьяного мужчину. Он каждый раз давал им обступить себя и схватить, после чего с улыбкой разводил руками - и все шестеро валились на землю. Так повторялось несколько раз, пока вокруг не собралась большая толпа, встречавшая очередную милицейскую неудачу аплодисментами и Свистом. Оказалось, что милиционеры сажают в пролетку, чтобы отправить в участок, известного тогда борца - Якубу Чеховского.

Поскольку пост был наружный, и обогреться было негде, отец научился спать стоя, прижавшись головой в угол ниши. При этом быстро затекали ноги. Рядом с углом дома, где находился книжный Магазин, со стороны улицы Желябова, за левой створкой ворот отец Присмотрел себе большую нишу с деревянным настилом. Обычно в шесть часов утра, когда начиналось движение, он забирался туда и ложился на настил поспать. Однажды перед октябрьскими праздниками (а в Ленинграде в это время обычно красили все двери и ворота, выходящие на улицу) он улегся, как обычно, подремать в нишу. За второй створкой ворот стояли баночки с краской и кистями. Когда отец проснулся, то обнаружил, что его "сторожевые" служебные валенки выкрашены в ярко-красный цвет. Оказывается, мальчишки, шедшие поутру в школу, увидели ноги в валенках, торчащие из-за ворот, и выкрасили валенки вместе с калошами.

Сон у отца в молодости был крепкий. Однажды ночью в квартире случился пожар. Приезжала пожарная часть. Горела стенка, примыкавшая к ванной. Пожарные не могли попасть в кухню, поэтому они прошли через комнатушку, где спал отец, отодвинули кровать со спящим, проникли к месту загорания и ликвидировали пожар. Он даже не проснулся и только утром он удивился, увидев, что его кровать стоит посередине комнаты, на полу лужи, грязные следы и сильно пахнет гарью.

Жил тогда отец на улице Рылеева, неподалеку от улицы Восстания, и обычно в свой техникум, располагавшийся на улице Правды, ходил пешком. Трамвай стоил дороговато. Его маршрут был разбит на тарифные участки. Проезд на каждом стоил три копейки, на поездку иногда надо было тратить 9 - 12 копеек. Маршрут отца пролегал по Литейному и Владимирскому проспектам, где в те годы процветала бойкая торговля всякой всячиной. Внимание прохожих обращал на себя высокий мужчина, стоявший обычно на углу Литейного и Невского и продававший с лотка пятновыводитель. Вокруг продавца всегда толпились зеваки, так как он охотно демонстрировал всем желающим действие своего средства. Проходя каждое утро мимо, отец хорошо запомнил всю его рекламу, которую бойкий продавец выкрикивал неподражаемой скороговоркой: "Японский переваренный мыльный корень - химическое домашнее радикальное средство, необходимое в каждом доме, в каждом хозяйстве. Выводит пятна на шерстяных, диагоналевых френчах, брюках, лайковых перчатках, тюлевых занавесках, коврах, мебели и прочих материалах. Состав дореволюционного времени. Изобретение известного профессора Шуприса. Это каждому доступно и каждому необходимо. Теперь лето, и от пятен никто не может быть гарантирован. Вы купили новое пальто, новый костюм, новое платье, заплатили бешеные деньги, одели один раз, шли по улице, и вам капнули краской с крыши. Или вы задели за колесо извозчика, опрокинули чернильницу на скатерть, ковер, мебель, где образуются громадные пятна. Вам не надо волноваться, торопиться, искать химическую чистку. Приобретая этот состав, вы можете сами вывести любое пятно на любом материале. Выводит пятна винные, масляные, жирные, смолу, деготь, мумию, медянку, а также бриолин, каролин и мазут. Это не какие-нибудь бесполезные притирки и примазки, которые вам будут всучивать всевозможные чертики-водолазики. Спешите видеть, спешите взять! Здесь не Лозаннская конференция - кому надо, покупайте, а кому не надо, путь продолжайте…"

Директором фототехникума в годы, когда там учился отец,

был профессор Ленинградского технологического института Дмитрий Ильич Лещенко, друживший с А. В. Луначарским, который, приезжая в Ленинград, всегда останавливался у него. Лещенко был членом партии с 1898 года. В 1917 году, когда Ленин после июльских событий скрывался в Разливе, Лещенко фотографировал его для фальшивого удостоверения загримированным под рабочего сестрорецкого завода. В техникуме он читал на первом курсе неорганическую химию, но на его лекции приходило множество студентов со старших курсов. Читал он захватывающе интересно. Рассказывая о химии, часто приводил примеры из истории революционного движения, участником которого был сам.

Помимо работы ночными сторожами и грузчиками, студенты фототехникума время от времени прирабатывали на киносъемках как статисты. Работа эта была легкой, а заработок - вполне приличным. Как раз в это время Эйзенштейн снимал на Ленфильме фильм "Октябрь". Помощниками его были Г. Александров, Штраух и Гоморов. Оператором фильма был Эдуард Тиссе. Поскольку съемки начались в мае 1927 года, все студенты, в том числе и отец, старались пораньше сдать экзамены, чтобы освободить время. Сдав экзамены досрочно, чуть ли не каждый день отец ездил на съемки то в Смольный, то в Петропавловскую крепость, то на станцию Кушелевка. Наряду с участием в массовках он работал разнорабочим на съемочных площадках, расставляя осветительные приборы, разматывая кабели или подвозя из Арсенала винтовки, а позднее, научившись обращаться с прожектором, - осветителем на вечерних съемках. Отец вспоминал, что в фильме "Октябрь" профессиональных актеров почти не было. Ленина, например, играл рабочий цементного завода Никандров, имевший с ним портретное сходство.

Ему пошили костюм, пальто и кепку, а на голове выбрили лысину. В роли Керенского снимался также похожий на него студент Университета. Зиновьева играл его настоящий брат, а в роли Троцкого выя занят какой-то зубной врач, также обладающий большим сходством с героем. Можно было только поражаться терпению и выдержке Александрова и Штрауха, которые "дрессировали" непрофессиональных актеров. Больше всего возни было с Никандровым, часто не понимавшим, что от него требуется. Обычно на массовках его не показывали. Поскольку отец работал в съемочной группе, ему было поручено привозить Никандрова на съемки в Смольный, где специально была выделена комната, чтобы его гримировать. На съемочную площадку выпускали в самый последний момент. Это производило такое впечатление, что все солдаты и матросы,

участвовавшие в массовках, встречали его как настоящего Ленина. Когда он проходил по актовому залу, направляясь к трибуне, не надо было искусственно подогревать "энтузиазм масс". Присутствующие кричали "Ура" и кидали вверх шапки вполне естественно, что и фиксировалось на пленке.

Однажды отцу в очередной раз поручили привезти Никандрова в Смольный на съемку. Жил тот в Европейской гостинице. Когда отец поднялся на второй этаж и постучал в номер, его не оказалось. Горничная сказала, что Никандров вчера не ночевал, а накануне с ним был неожиданный скандал. Он поднялся вечером в уже упомянутый ресторан "Крыша", где кутили татары, и, подсев к ним за стол и изрядно набравшись, начал куролесить. Потом затеял драку. Когда вызванные милиционеры стали его забирать, он вырывался а кричал: "Кого забираете, гады! Я - Ленин, я вам свободу дал!" В Какое отделение его увезли, было неизвестно. Пришлось звонить в Смольный и выяснять, куда забрали Никандрова. Когда отец разыскал отделение, где сидел Никандров, дежурный заявил ему, что афериста, работающего под Ленина, он не отпустит. Пришлось снова звонить в Смольный, в административную группу. Там сказали: "Ждите в милиции - мы позвоним Подвойскому". Примерно через полчаса Никандрова освободили. Выглядел он весьма неприглядно: лицо обрюзгшее, под глазом - огромный синяк. В таком помятом виде отец и привез его в Смольный на съемку. Там ему устроили изрядную выволочку, загримировали синяк под глазом и выпустили на площадку под восторженные овации "революционных рабочих и крестьян".

На деньги, заработанные на съемках, отец купил себе шапку, ботинки и большую деревянную фотокамеру 13 х 18 для занятий фонографией. Старинный этот фотоаппарат я хорошо помню. Он стоял нашей комнате на Васильевском и сгорел в блокаду вместе с домом. Помню также необычную фотографию, где отец, игравший в Массовке рабочего, снят сидящим между Лениным и Троцким…

В феврале тридцатого года моя мать приехала к отцу в Ленинград, и они поженились. Все имущество молодой семьи в тринадцатиметровой комнатушке на Седьмой линии Васильевского острова, полученной отцом, состояло из ломберного столика, двух стульев, раскладушки и табуретки. Мать пошла работать учительницей начальных классов в среднюю школу на Восьмой линии и учиться заочно на физико-математический факультет Пединститута им. Герцена, который закончила в тридцать шестом, когда мне уже было три года. После этого она преподавала в той же школе математику. Отец в

это время работал в фотокинотехникуме и учился заочно в Московском полиграфическом институте.

Дом наш, казавшийся мне тогда огромным, с высоким лепным фасадом и сохранившейся с дореволюционных времен красивой парадной с литыми бронзовыми ручками, выходил на бульвар, где на моей памяти были посажены молодые деревца, превратившиеся сейчас в высокие развесистые деревья. Поскольку родители днем работали, а вечером учились, и детских садов в ту пору было мало, большую часть времени в первые мои четыре года я проводил с няньками. Институт нянек в начале тридцатых был весьма популярным и вполне доступен даже для таких малоимущих семей, как наша. Няньки мои были в основном женщины средних лет или пожилые, из Псковских, Новгородских или Вологодских краев, чаще всего верующие. Отправляясь утром в школу, мать обычно снаряжала нас гулять. Местами ежедневных прогулок были бульвары на Седьмой или Большом проспекте, а в случае дальних прогулок - Соловьевский сад на углу Первой линии и набережной.

В Соловьевском саду, где возвышался стройный Румянцевский обелиск, увенчанный бронзовым орлом, по субботам и воскресеньям играл военный духовой оркестр. Игрались обычно старинные марши и вальсы. Мне почему-то более других запомнился часто исполнявшийся вальс "Осенний сон". Зрительная память связывает с глухими ударами вздыхающего барабана и грустным напевом труб огненно-красную акварель сухих кленовых листьев на песчаных дорожках сада. До сих пор, услышав этот старый вальс, я испытываю странное чувство мечтательной грусти, как будто кто-то осторожно теплой и влажной рукой берет тебя за сердце…

На углу Восьмой и Среднего, где теперь стоянка такси, неподалеку от тогдашнего ресторана "Лондон", превратившегося в наши дни в заштатную и грязную столовку, дежурили извозчики в высоких черных пролетках с откидным верхом и лаковыми же черными крыльями. В отличие от нынешних такси, проблем с ними практически не возникало. Звонкое цоканье конских копыт по еще булыжной мостовой, ржание и всхрапывание лошадей, ласково зазывающие крики извозчиков, острый запах лошадиного навоза, населяли мертвые городские каменные просторы реальной жизнью окрестной деревенской природы, вытравленной нынче смертоносной гарью отработанного бензина. Все это вновь приходит мне на память, когда я перечитываю замечательные строки Самойлова: "Звонко цокает кованый конь о булыжник в каком-то проезде".

Одна из моих нянек, набожная старуха из-под Крестец, во

время прогулок ежедневно таскала меня в Андреевский Собор на церковные службы, строго-настрого наказав не рассказывать об этом матери. Более всего любила она отпевания. Торжественность мрачноватого этого обряда, усугубляющаяся казавшейся мне странной Неподвижностью лежавшего человека, бледное лицо которого ярко освещалось свечами в таинственной полутьме храма, необычно выпевавшиеся слова, острый запах плавящегося стеарина - все это внушало тоску, побуждало скорее выйти наружу, под яркий солнечный свет, на нагретые каменные ступени, где играли другие дети. В тридцать шестом с Андреевского Собора сорвали кресты, и церковь свое существование прекратила. Примерно в то же время была взорвана часовня Николы Морского на бывшем Николаевском мосту, названном после революции мостом Лейтенанта Шмидта. По преданию, часовню эту не трогали до смерти академика Ивана Петровича Павлова, жившего в "доме академиков" на углу Седьмой и набережной, и взорвали только когда он умер. Отец рассказывал, что уже после взрыва обломки долго не убирали. Как-то мы, гуляя, проходили мимо взорванной часовни, и я спросил его: "Папа, когда ее склеят?"

Вместо свергнутого Бога появлялись другие. Помню, как над воротами домов на нашей линии прибивался странный знак ОСОВИАХИМа - с винтовкой, пропеллером, противогазом, напоминающий тотем каменного века.

Отец в тридцать третьем году перешел на работу на Картографическую фабрику Военно-морского флота, где проработал почти всю жизнь - более тридцати пяти лет: заведовал фабричной лабораторией, которую впервые сам же и организовал, был главным инженером, начальником производственного отдела. Имя его не раз упоминается в книгах, посвященных истории Военной Гидрографии и Картографической службы ВМС. Работу свою на фабрике он всегда совмещал с преподавательской деятельностью - читал лекции и вел практические занятия со студентами в Промакадемии и па вечернем отделении Ленинградского полиграфического техникума. Уже выйдя на пенсию, он руководил дипломными работами, принимал активное участие в конкурсных комиссиях и работе Ленинградского Общества научно-технических издательств, заместителем председателя которого был много лет.

Даже, дома и мать, и отец все время, как я сейчас вспоминаю, были заняты работой. Мать проверяла бесконечные ученические тетрадки, отец готовился к занятиям или штудировал какую-нибудь полиграфическую литературу, которая тогда в основном была на немецком языке. По вечерам, когда меня укладывали

спать, обычно я видел, засыпая, отца или мать, склоненных над столиком при неярком свете настольной лампы. Это вселяло чувство покоя и уюта. Зато настоящими праздниками были те нечастые дни, когда отец, наконец, освобождался, и мы отправлялись с ним гулять. Основным местом наших гуляний была набережная Невы, куда няньки мои не слишком любили ходить, предпочитая ближние бульвары и садики. Здесь начинался другой мир. Под сырым балтийским ветром поскрипывали у причалов самые разные суда: от гигантских (как мне тогда казалось) пароходов до маленьких, густо дымивших буксиров, которые все почему-то носили имена героев Великой Французской революции - "Сен-Жюст", "Демулен", "Робеспьер". Веселые матросы курили на палубах. За круглыми маленькими окнами в медной оправе, светившимися в черном борту, происходила какая-то таинственная жизнь - уже не на земле, а в другой, хотя и близкой

- не далее шага, но совершенно недоступной стихии. Это детское ощущение сладкой притягивающей тревоги и любопытства я вспомнил уже через много лет, когда впервые прочел строки Мандельштама: "Зимуют пароходы. На припеке зажглось каюты толстое стекло".

Другим любимым местом был зоопарк на Петроградской. Туда надо было ехать на трамвае, хотя и не слишком далеко, а все-таки - настоящее путешествие через мосты. Полюбовавшись на слонов, жираф и мартышек, мы обычно шли кататься на "американские горы". Маленькая тележка с лязгом и звоном взлетала наверх и стремительно неслась вниз по крутым головокружительным виражам, проскакивая через какие-то тоннели. Сердце мое замирало от ужаса и восторга…

Любил я и праздничные демонстрации, особенно первомайские, куда обычно отправлялся либо с мамой и ее школой, либо с отцом. Второй вариант был несколько привлекательнее, потому что колонну Картфабрики обычно возглавлял большой военно-морской духовой оркестр, да и в самой колонне было довольно много людей в морской форме. Это вселяло в меня иллюзию причастности к морю. Хорошо помню последнюю предвоенную демонстрацию 1 мая 1941 года. Колонна наша, двигавшаяся по улице Герцена через Исаакиевскую площадь, остановилась у здания немецкого консульства, на котором развевался огромный красный флаг с белым кругом и черной свастикой в середине…

Когда в марте 1985 года выяснилось, что у отца рак легких, и оперировать его бесполезно, я, пытаясь отвлечь от размышлений о болезни, уговорил его начать писать воспоминания о своей

жизни. Поначалу он никак не мог к ним приступить, но, будучи человеком" крайне трудолюбивым, понемногу втянулся в это занятие и успел написать довольно много. Уже после его смерти, внимательно прочитав написанное, я еще раз ощутил горькое чувство сиротства, незнания своих, даже самых, казалось бы, близких корней. Из записок его я узнал многое, о чем при нашей многолетней жизни в одном доме даже не догадывался - например, о том, как в сорок девятом его чуть не посадили по ложному доносу, и наших соседей по квартире вызывали в КГБ, чтобы они дали показания на отца. К счастью, все наши соседи были людьми порядочными.

Судя по воспоминаниям отца, читать я научился по газетным буквам к пяти годам, а стихи запоминал со слуха на память довольно легко, и очень любил во время прогулок читать их незнакомым людям. Без тени юмора отец написал дальше: "Алик подходил к какому-нибудь человеку, сидящему на бульваре на скамейке, и спрашивал: "Дядя, вы знаете стихи про челюскинцев?" Если тот говорил - нет, Алик выпаливал ему это стихотворение с начала до конца Вот откуда появилась у него любовь к публичным выступлениям."

Поскольку мать и отец возвращались домой поздно, спать меня в раннем детстве нередко укладывали няньки, так что я хорошо запомнил и полюбил старые колыбельные песни, которые они пели. Более других запомнились мне "Улетел орел домой" и "Не осенний мелкий дождичек". Уже гораздо позже я сильно удивился, узнав, что слова первой песни принадлежат Пушкину, а второй

- Дельвигу. Первая "картинка", которую я помню в нашей комнате - большой, работы Тропинина, литографский портрет Пушкина, с перстнем на пальце.

Почти каждое лето родители ездили вместе со мной в Белоруссию- в Могилев или под деревню Полыковичи "на Полыковские хутора". После тесной василеостровской комнаты и питерских дождей белорусская деревенская вольница казалась сказочной.

В сороковом году у меня вдруг определили "музыкальный слух", и родители загорелись идеей учить меня музыке. В начале сорок первого года отец получил довольно большой по тем временам гонорар за учебник "Производство клише для высокой печати", переведенный ему на сберкнижку. Было решено купить пианино. Внезапно грянувшая война порушила эти наивные планы. Что же касается вклада на сберкнижке, то мать смогла получить его только в сорок четвертом, в эвакуации в Омске, и на целую неделю накупили на эти деньги масла, хлеба и яиц. Так

что не могу сказать, что мое несостоявшееся музыкальное образование не стоило выеденного яйца.

Когда началась война, мать вместе с начальными классами своей школы выехала в деревню под Валдай и взяла с собой меня. Туда было отправлено несколько десятков тысяч ленинградских детей - в соответствии с планом эвакуации, составленным еще перед Финской войной. Вышло так, что немцы уже близко подошли к этим местам, в то время как Ленинград пока оставался в относительном тылу. Многие родители из Ленинграда кинулись за своими детьми, чтобы забрать их обратно. Одним из последних эшелонов нас вывезли назад, в Ленинград. Помню бомбежку на станции Бологое, когда нас загнали под вагоны, а все вокруг было красиво и ярко освещено сброшенными с немецких самолетов осветительными ракетами. В последних числах июля мы с эшелоном Карт фабрики отправились в эвакуацию в Сибирь, в город Омск, где организовывался филиал для срочного выпуска военно-морских карт.

В Омске отец первый год почти все время был на казарменном положении - надо было срочно пустить фабрику. Мать пошла сначала работать вахтером (за это давали рабочую карточку), а к сорок четвертому году освоила специальность технического редактора в Гидрографии, где и проработала до самой пенсии. Немногие носильные вещи, захваченные из Ленинграда, в первый же год были обменены на продукты. Спасала посаженная нами картошка, которая заменяла все. С сорок второго до сорок пятого года пошла почти непрерывная полоса моих болезней - от автозостоматита до хроносепсиса. Все эти невзгоды легли на плечи матери…

Летом сорок пятого мы вернулись в Ленинград. Дом наш на Васильевском сгорел, и жить было негде. Приютила нас семья Карцевых, с которыми мои родители подружились в начале эвакуации, в товарном вагоне эшелона, идущего в Омск. Мы прожили в их квартире на Красной улице почти полгода, пока не завершился капитальный ремонт в доме на Мойке, где отцу был выписан ордер на комнату, разрушенную попаданием снаряда. Георгий Николаевич и Мария Петровна Карцевы работали в Гидрографии Главсевморпути. Младшая сестра Марии Петровны

- Нина Петровна - оставалась в Ленинграде, где похоронила своего мужа и старшего сына Карцевых, умерших от голода в блокаду. В эвакуации вместе с Марией Петровной были их младший сын Сергей и сын Нины Петровны - Вадим, с которыми мы подружились, хотя они и были постарше меня: один на три, а другой - на пять лет.

Глава семьи Георгий Николаевич был старым "морским

волком" и еще до войны много лет проработал в Главсевморпути. Нина Петровна уступила нам на время свою комнату в их старинной, по-петербургски большой квартире. На стенах большой гостиной в доме Карцевых, сплошь увешанных картинами в тяжелых золоченых рамах, ослепительными красками пылали разнообразные морские пейзажи, из которых мне особенно запомнилась картина с огненно-красными ущельями норвежских фиордов. Посредине комнаты красовалось огромное кожаное кресло в чехле (с императорской яхты "Штандарт", как говаривал сам Георгий Николаевич). В довоенном наборе фарфоровой посуды, чудом уцелевшей в блокаду, сохранилось несколько тарелок с двуглавыми орлами и вензелями Н-П. Я, конечно, нимало не задумывался над тем, как эта императорская утварь сюда попала.

Только в конце ноября сорок пятого года мы переехали в комнату на Мойке, где прожили более двадцати лет.

Дворец пионеров

Стихи я начал писать случайно. Я в то время учился в седьмом классе 254 ленинградской школы, расположенной напротив Никольского собора, в доме на углу проспекта Римского-Корсакова и улицы Глинки, где поворачивали трамвайные рельсы. Школа наша помещалась в старинном здании с высокими потолками и лепными карнизами. На фасаде дома уже при нас водрузили мемориальную доску, извещавшую о том, что именно здесь в гостях у своего друга Никиты Всеволжского бывал Александр Сергеевич Пушкин на собраниях литературно-политического кружка "Зеленая лампа". Самое забавное, что в предыдущие годы эта доска висела на соседнем доме, но потом историки, подумав, перевесили ее на нашу школу. Теперь всякий раз, бывая в Питере и проезжая на трамвае мимо, я ревниво смотрю на знакомый школьный фасад, опасаясь, не перевесили ли эту доску еще куда-нибудь после очередных исторических уточнений, но она пока еще на месте…

Заканчивался трудный сорок седьмой год, завершавший для меня пору недолгих мальчишеских увлечений. Марки, которые я начал собирать еще в сорок четвертом году, в эвакуации, мне уже изрядно поднадоели. Пробовал в шестом классе начать собирать открытки, но из этого тоже ничего не получилось. Тогда почему-то была пора коллекционирования - все что-нибудь собирали. Отец, в прошлом профессиональный фотограф, пытался склонить меня к занятиям фотографией и подарил на день рождения свой старый "фотокор", снимавший еще не на пленку, а на специальные стеклянные фотопластины. Поначалу мне понравилось это занятие. Особенно привлекали меня ритуальное таинство проявления и фиксации негативов и печатания фотоснимков, секреты рецептур, приготовление соответствующих растворов, напоминающее опыты средневековых алхимиков. Наконец, таинственная процедура при красном полутемном свете, когда со дна кюветы, из черноты раствора, вдруг выступает человеческое лицо. У нас в школе образовался кружок фотолюбителей. Вел его чрезвычайно бледный и болезненный человек с тихим голосом, одетый в неизменный вытертый пиджак с бахромой на продранных рукавах. Он сказал, что все его занятия Надо записывать, как лекции. "Ну-ка, покажи", - сказал как-то отец и, посмотрев мои записи, произнес: "Это какой-то очень знающий человек. Сразу видно, что специалист высокого класса". Занятия, однако, продолжались недолго. На одно из них пришел директор школы и попросил у нашего учителя

документы. На этом все и кончилось. Только через несколько лет, уже после смерти Сталина, когда только началась пора реабилитаций, вспомнив грустный облик нашего болезненного учителя, я понял, откуда он к нам попал.

Я еще таскался с фотоаппаратом, когда к нам в седьмой "Б" пришел новенький, Володя Михайловский, почти сразу же получивший, уже не помню почему, кличку "Бича", - невысокий полный мальчик, тихий, немногословный и очень скромный. Рисовал он прекрасно, хотя смущался, краснел и страшно сердился, когда на это обращали внимание. Жил Володя недалеко от школы, на Малой Подьячевской улице, хордой соединявшей петлю Грибоедовского канала. Как раз по этой улице и далее, через Львиный мостик и улицу Декабристов, пролегал мой каждодневный путь в школу и обратно, в огромный дом на углу Мойки и Фонарного переулка, где мы тогда жили. Мы с Володей подружились, тем более, что оказались попутчиками. Как-то раз он зазвал меня к себе домой, показал свои рисунки карандашом и акварелями, которые мне сразу понравились. Володя был удивительно одаренным рисовальщиком, быстро и точно изображавшим на бумаге окружающий мир с поразительным, как мне казалось, сходством. Глядя на то, как он рисует, можно было подумать, что дело это простое и доступное для каждого. Поэтому я тоже попытался рисовать, но из этого, конечно, ничего не получилось, хотя Володя по доброте своей усердно мне помогал.

Теперь уже не помню кто именно посоветовал нам пойти в художественный кружок при Ленинградском дворце пионеров, располагавшемся в Аничковом дворце на углу Фонтанки и Невского. Володя, которому не хотелось записываться в кружок одному, уговорил и меня. Мы отобрали с ним несколько рисунков и отправились на Фонтанку.

Отдел художественного творчества Дворца пионеров помещался в длинном двухэтажном флигеле, вытянутом вдоль Невского перпендикулярно фасаду главного здания дворца. Мы долго ходили по коридорам второго этажа в поисках "художественной студии", с робостью прислушиваясь к звукам разного рода музыкальных инструментов, раздававшимся из-за дверей. В конце коридора, рядом с вокальным классом, где какой-то высокий женский голос выпевал гаммы, мы увидели, наконец, надпись "Студия рисования", но двери оказались запертыми. Выяснилось, что сегодня среда, а занятия бывают только по вторникам и четвергам.

Обескураженные, мы повернули обратно, и когда уже дошли до конца коридора, я увидел приоткрытую дверь, за которой звучали стихи. Я подошел поближе и прислушался. Это были

очень красивые и совершенно мне неизвестные стихи, как потом оказалось- Вийона. Читал их негромким глуховатым голосом невысокий, стройный и курчавый черноволосый мужчина в толстых роговых очках и темной гимнастерке без погон, перехваченной в талии

широким офицерским ремнем (как потом выяснилось, Ефим Григорьевич Эткинд). На столе перед ним лежала толстая открытая офицерская кожаная полевая сумка, набитая книгами. На стульях перед столом, спиной к дверям и ко мне, сидели несколько ребят и девушек, примерно на класс или на два постарше, чем я. "Ну, чего ты застрял, пойдем!" - окликнул меня Бича. "Иди, я еще побуду", - неожиданно для себя ответил я ему, и тихо открыв дверь, надпись на которой так прочесть и не успел, вошел в комнату и, стараясь не шуметь, сел на крайний стул. Никто из присутствующих не обратил на меня никакого внимания - все были заняты слушанием стихов. Так в феврале 1947 года началось мое увлечение стихами, затянувшееся на долгие годы.

Для приема в "Студию литературного творчества" (вот что было написано на дверях) необходимо было представить один собственноручно написанный рассказ или три стихотворения. У меня к тому времени уже было в запасе одно стихотворение, посвященное умирающему гладиатору и подозрительно смахивающее на лермонтовское. Помучившись неделю, я, не ожидавший от себя такой прыти, написал еще одно стихотворение про татаро-монгольское нашествие (я в те поры страшно увлекался книгами Яна "Батый" и "Чингис-хан"). Там были такие, чрезвычайно почему-то тогда понравившиеся мне строчки:

Монголы, монголы, монголы идут,
И стонет земля под тяжелым копытом,
И рвется тревожный набатный гуд:
Монголы, монголы, монголы идут…

Ободренный своим неожиданным успехом, я настряпал еще одно, примерно такого же качества, стихотворение про Древний Рим. Так что можно сказать, что стихи на историческую тему я начал писать с самого начала.

Меня, хотя и со скрипом, приняли - правда не в ту, как оказалось, старшую группу, куда я случайно забрел, а в младшую, состоящую из семи- и восьмиклассников. Это, правда, роли не играло, так как на занятиях можно было сидеть как в той, так и в другой группе. Младшей руководил тогда ленинградский поэт Леонид Иванович Хаустов, человек маленького роста, с

всклокоченными черными волосами и такими же угольными зрачками. Одет он был неизменно в коричневый костюм и темную рубашку с галстуком, ходил быстрой походкой, был темпераментен и эмоционален. Старшую группу вел поэт Глеб Сергеевич Семенов, очень худой, небольшого роста, всегда держащийся с подчеркнутой прямотой I осанки, но казавшийся сутуловатым. Волосы его, в противоположность Хаустову, были прямыми и всегда гладко зачесанными. Ходил он неторопливыми длинными шагами на как бы негнущихся ногах. Пиджак строгого темного цвета висел на его плечах так же "прямо". Строгость его внешнего облика подчеркивалась всегда аккуратно завязанным галстуком и негромким глуховатым голосом, которым он говорил или читал стихи. Занятия по "теории литературы" (да, да, тогда именно так это называлось) вел уже увиденный и услышанный мною доцент Ленинградского пединститута им. Герцена Ефим Григорьевич Эткинд, в недавнем прошлом военный переводчик…

Так начались мои занятия во Дворце пионеров. Проходили они два раза в неделю - по средам и пятницам. Один день - "теория литературы", другой - практические занятия. Теория состояла в знакомстве с элементами стихосложения, рифмами, ритмами и так далее, а также с историей русской и мировой поэзии, которую нам, старшеклассникам, как я понял гораздо позднее, Эткинд читал на вузовском уровне. Говорил он так интересно и увлеченно, что мы и понятия не имели, что это за программа. Зато своим первооткрытием звучащей сокровищницы российской поэзии - от "Слова", Кантемира и Державина до Блока и запретной тогда Цветаевой, открытием трагических судеб Данте и Петрарки и не искаженных переводами стихов Джона Донна, Шекспира и Франсуа Вийона - я обязан именно ему.

"Практика", которую сначала я проходил у Хаустова, а потом у Семенова, заключалась в чтении и разборе стихов. Процесс этот имел строгий, раз навсегда заведенный порядок. За неделю до обсуждения стихи передавались автором двум специально назначенным "оппонентам", которые внимательно читали их дома и готовили подробный критический разбор. На занятии сначала читал стихи автор. (При этом строжайшим образом соблюдалась полная тишина. Категорически запрещалось разговаривать, перешептываться или шумно перемещаться. Это строгое правило оцениваешь вполне, когда сам читаешь стихи). После этого с подробными "докладами" выступали оппоненты. Затем слово предоставлялось всем желающим. Мнения можно было высказывать любые, но их обязательно полагалось аргументировать. "Нравится? Почему? Объясни, пожалуйста." "Не нравится? Опять же, почему?" Резюме обычно подводил

руководитель. Обсуждаемому часто приходилось туго, так как мнения высказывались самые резкие, но все люди были пишущие, каждый знал, что наступит и его черед, и обстановка в общем была доброжелательная. Много лет спустя, когда мне самому довелось вести литературные объединения, я всегда использовал эту старую, полюбившуюся мне во Дворце пионеров схему.

"Практика", однако, не ограничивалась только разбором собственных стихов. Регулярно устраивались литературные игры: буриме, акростих, стихи заданным размером на заданную тему и так да-

лее. Глеб Сергеевич сказал тогда одну запомнившуюся мне на долгие годы фразу: "Я, конечно, не могу научить вас писать стихи - это только Господь Бог может. Но если я сумею научить вас отличать плохие стихи от хороших, буду считать, что мы с вами не зря тратили время." С тех пор прошло более сорока лет, но эти слова я запомнил отлично. Действительно, сколько порой одаренных поэтов страдают отсутствием вкуса - опасной болезнью, становящейся с возрастом неизлечимой, как и другие детские болезни, угрожающие взрослым! А ведь если научиться отличать плохие стихи от хороших, то сможешь и своим стихам, которые каждому автору кажутся замечательными, дать трезвую и правильную оценку, пусть даже самую горькую!

И Глеб Семенович как мог воспитывал в нас вкус. А мог он многое. Человек с прекрасной памятью, родом из старой ленинградской интеллигентской семьи (мать, Елена Георгиевна, была когда-то актрисой, а отец - известный писатель Сергей Семенов), он обладал тонким и безошибочным литературным вкусом. Прежде всего он читал нам наизусть множество стихов авторов, о которых мы, тогдашние жертвы полуобразованщины и усеченных школьных программ сталинской эпохи соцреализма, попросту ничего не знали. Только спустя много лет я понял, как рисковал Семенов, называя нам многие запретные тогда имена и читая стихи, в ту пору не печатавшиеся. Ведь на дворе был 1947 год. Помню, как-то он прочел нам на занятии строчки неизвестного (так он сказал) автора, которые я запомнил с первого раза наизусть:

В глубокой выработке, в шахте,
Горю с остатками угля.
Здесь смертный дух, здесь смертью пахнет,
И осыпается земля.
Последние истлеют крепи,
И рухнет небо мертвеца,
И превращаясь в пыль и пепел,

Я домечтаю до конца.
Я лишь на миг тебя моложе, -
Пока еще могу дышать:
Моя шагреневая кожа, -
Моя усталая душа.

"Чьи это стихи?" - спросил кто-то из нас. Глеб Сергеевич по г своей привычке многозначительно поднял брови и ничего не ответил. Только год назад, прочтя подборку в одном из толстых журналов, я узнал, что автор этих "безымянных" полюбившихся мне стихов был Варлам Шаламов, сидевший в то время в колымских лагерях. Как стихи эти добрались до Глеба Сергеевича в то время? Понимал ли он, что играет с огнем- ведь вход на занятия былпрактически открытый? Видимо, понимал, но миссионерский свой долг понимал еще лучше.

Могу сказать без преувеличений, что в восьмом и девятом классах, на занятиях литературной студии, именно Глеб Сергеевич Семенов сформировал мое (и не только мое) поэтическое мировоззрение. От него и от Эткинда услышали мы впервые имена и стихи, сложившие основы стройного и огромного здания Мировой поэзии - от Тредиаковского до обериутов, от терцины "Божественной Комедии" и песен вагантов до мужественной "Мэри Глостер" и "Баллады о четырех котиколовах". Это было подлинным открытием, переполнявшим и тяготившим наши нищие до того мальчишеские сердца своим неожиданным величием.

После занятий мы упорно не хотели расходиться, обычно долго бродили по вечернему шумному Невскому или по тихой и безлюдной Фонтанке, беспрестанно читая стихи или разговаривая о них. Жизнь наша, до того бессмысленная, обрела главный смысл. И дело было, конечно, не в скромных наших способностях и не в уровне злополучных стихов. Мы все обрели истинную веру, причастились великого таинства мира звуков и их единственной гармонии, и не могли уже жить, как прежде.

Давид Самойлов сказал как-то, что графоман отличается от истинного поэта только тем, что его вдохновение не дает результатов на бумаге. Возможно, мы и были такими графоманами. Дело, однако, не в результатах, а в том странном состоянии постоянного праздника посреди скудной нашей жизни. Может быть, именно тогда в наши незрелые души, уже изрядно потравленные "воспитанием под барабан" в пионерии и комсомолии, лег первый камень альтернативной основы существования, появилось первое сомнение в безусловной

правоте примитивного нашего атеизма. У братьев Стругацких в фантастической повести "Попытка к бегству" на обитаемой планете, куда попадает космический корабль, господствует авторитарный режим, и людей приговаривают к смерти за следующий состав преступления: "Хотят странного". Стараясь научить нас "отличать плохие стихи от хороших", Глеб Сергеевич впервые привил нам это желание - "хотеть странного". Французская пословица утверждает, что человека отличает от животного "стремление ко лжи и к искусству". Не знаю, как по части лжи, а уж по части искусства Глеб Семенов, возможно и сам не сознавая ответственности своего деяния, выступил почти в роли Господа Бога, отделив нас от животного мира. И в этом его огромная заслуга не только передо мной, но и перед многими другими юношами, которых он обратил в поэтическую религию. Не все они, безусловно, стали литераторами - многие бросили потом писать. Но прочные основы нравственного и эстетического воспитания были заложены в них так же, как и в тех, кто связал свою судьбу с литературой. Они уже навсегда вырвались из мира обывательских материальных "ценностей"…

Как-то мы с моим безвременно ушедшим, из жизни другом историком Натаном Эйдельманом долго спорили, кого можно считать интеллигентом. Он утверждал, что Петр I был первым в России интеллигентом на троне. Я оспаривал интеллигентность Петра, укоряя его в кровавых деяниях. После долгих разногласий сошлись на том, что интеллигент - это тот человек, для которого система духовных ценностей выше, чем материальных. Если подходить с этой меркой, то именно Глебу Семенову принадлежит заслуга превращения в интеллигентов целого поколения пишущей ленинградской молодежи. Он отдал этому делу практически всю свою недолгую жизнь. Много лет руководил студией во Дворце пионеров. Потом, когда я учился в Ленинградском Горном институте, мы пригласили его вести студию там. По окончании Горного все участники "горняцкого" объединения не могли и не хотели расставаться с Семеновым и долгие годы ходили на его занятия во Дворец культуры им. Первой пятилетки, где он потом вел студию литературного творчества. Забегая вперед, могу сказать, что из "глеб гвардии семеновского полка" (так мы себя в те поры величали), вышло немало литераторов, внесших заметный вклад в литературу последующих лет. Среди них - писатели Андрей Битов, Яков Гордин, Борис Никольский, поэты Александр Кушнер, Леонид Агеев, Глеб Гор-бовский, Владимир Британишский, Олег Тарутин, Нонна Слепако-ва, Нина Королева и многие другие.

С тех пор прошло много лет, но когда я в журналах или

поэтических книжках встречаю вдруг новые хорошие, ранее неизвестные мне стихи, то читая их, снова слышу глуховатый и негромкий голос Глеба Семенова.

Нам всем, дворцовым студийцам, Глеб Семенов казался тогда безнадежно старым и взрослым человеком, а ведь ему не было еще и тридцати. Поэтическая судьба его сложилась трудно. Первая книга стихов "Свет в окнах", вышедшая в 1948 году, была неудачной. Последующие сборники, очень редкие, тоже были разными по своему уровню. Лучшие стихи оказались доступны для широкой публикации только после его смерти (он умер в январе 1982 года от рака легких). Был он крайне требователен к себе и всю жизнь мучился из-за хронической невозможности опубликовать то, что хочет. Существовал более чем скромно тем, что частично переводил, а по большей части работал при Союзе писателей в качестве литконсультанта и вел литературные объединения. Не знаю, что было бы, если бы его творческая судьба сложилась более удачно, но думаю, что в этом случае того уникального (на более чем два десятилетия - в самые черные годы) педагогического семеновского феномена могло бы и не быть…

Но вернемся в 1948 год. В нашем кружке (мы не любили это слово и всегда говорили "студия") были свои лидеры - первые поэты, писатели и критики. В старшей группе одно время занимался Василий Аксенов, поступивший после школы учиться в Первый медицинский институт. Там же занимались Борис Никольский, Владимир Торопыгин (главный редактор "Авроры", безвременно умерший от инфаркта), Игорь Масленников, ушедший потом работать на телевидение. До сих пор помню его стихи, тогда чрезвычайно мне понравившиеся:

Луч солнца сух и высок,
Сух и высок веками.
Песок, камень, камень, песок,
Камень, песок, камень.
И солнце целит дулом в висок,
Верблюд шевелит боками.
Песок, камень, камень, песок,
Камень, песок, камень.
Пальмы стоят, стоят с руками,
Лужа прохладной грязи.
Камень, песок, песок, камень,
Камень, песок - оазис.

Часто рядом со мной за столом оказывался очень серьезный и худой старшеклассник с иконописным лицом, который оказался моим ровесником, но я почему-то считал его старше, может быть

из-за неприступного вида, а может быть потому, что его первого, несмотря на возраст, перевели в старшую группу. Это был Володя Британишский, с которым мы впоследствии учились на одном курсе в Горном институте. Помнится, нам как-то предложили показать свои стихи ленинградскому поэту Петру Ойфе, работавшему тогда в газете для пионеров "Ленинские искры". Прочтя рукописные тексты, он заявил: "У всех стихи плохие, потому что написаны они плохим почерком, трудно читать. А вот у Британишского стихи хорошие, потому что он пишет печатными буквами, и их читать легко." Стихи у Володи действительно были хорошими. Меня они тогда поражали глубиной и серьезностью тематики.

Да, жил и минерал, он был водою, газом,
Он магмой бешеной кипел в груди земной,
Но времена прошли, стал минерал алмазом,
И вот он на стекле лежит передо мной.

В старшей группе выделялся своими стихами Лев Куклин, также ставший потом профессиональным поэтом. Но истинным лидером среди поэтов в ту пору был Феликс Нафтульев, которому все прочили большое поэтическое будущее. Был он на два года старше меня, стихи писал легко и много, и очень, по тогдашним нашим представлениям, мастеровито. Здесь надо оговориться, что уровень поэтического мастерства в студии был сравнительно невысок. Несмотря на призывы наших руководителей, за редким исключением все писали привычными ямбами. В последние годы мне часто приходится слышать и читать стихи начинающих поэтов, и я с честной завистью вижу, насколько они "мастеровитее" нашего поколения. Возможно, на этой "ямбической скованности" отразилась наша несчастная эпоха конца сороковых годов, когда любая "формалистическая" поэзия казалась непозволительной экзотикой.

Феликс Нафтульев писал быстро и эмоционально, мог написать стихи буквально на любую тему. Мне более всего запомнились тогда его поэмы "Небо зовет" и "Индийская гробница" (все тогда увлекались этим фильмом). Стихи Феликса были лаконичными и динамичными, из них всегда была отжата "вода", которую "лили" все остальные. Помню его стихотворение "Стратонавты", посвященное памяти погибших в тридцатые годы стратонавтов Васенко, Федосеенко и Усыскина:

Мне надо знать, как это было,
Как трудно долог был подъем,
Как оболочка долго стыла
И покрывалась синим льдом.
Гондола дрогнула от ветра,

И вдруг в лиловой полумгле
Сорвалась стрелка альтиметра,
И закружила по шкале.
Мне надо знать, как пела стенка,
И в страшном небе штормовом
Дюралевые швы Васенко
Рубил наотмашь топором.
Мне надо знать, как тьма редела,
Как стрелки прыгали, шаля,
Как нарастающе гудела
В иллюминаторах Земля.
Как разом, отзвенев нелепо,
Вслепую, в чернозем, в века…
Мне надо знать, как страшно небо, -
Чтоб победить наверняка!

Нафтульеву я (да и видимо не я один) завидовал. Еще бы - такие стихи! На отчетных вечерах Дворца пионеров он всегда читал стихи последним, и, в отличие почти от всех других, его неизменно награждали долгими аплодисментами. Ох, уж эти первые выступления, мучительный выбор, что прочесть, первые столкновения с "внутренней цензурой" в лице все того же Глеба Сергеевича (здесь он был жесток), противная и непобедимая дрожь в коленках, когда ты, всегда бесконечно долго, идешь к сцене, и все присутствующие безжалостно и насмешливо глядят на тебя, как будто ты голый перед ними. От этого мерзкого ощущения стараешься идти быстрее, но при этом обязательно за что-нибудь зацепишься, вызывая уже откровенный смех и отчаянно пытаясь не свалиться. А потом дрожь из коленок переходит на голос, в горле ком, выбранные для читки стихи кажутся ужасными, а впереди еще - гробовое молчание зала вместо хоть каких-нибудь, хоть самых жидких хлопков, и под это враждебное молчание надо двигаться обратно. И не менее отвратительное чувство непобедимой зависти к собрату, которому хлопали больше, чего ты почему-то не можешь простить именно ему! Так, наряду с благородной и бескорыстной любовью к поэзии, пускали свои цепкие корни в наших неопытных сердцах сорняки - зависть и тщеславие.

По окончании школы Феликс Нафтульев окончил гуманитарный факультет в Пединституте, работал долго в Ленинграде, в детском журнале "Костер". С тех пор я потерял его из виду, и ни разу не встречал нигде в печати его стихов.

Выступали мы довольно редко, как правило, на отчетных вечерах студии в концертном зале старинного Аничкова дворца, куда разрешалось приглашать родственников и знакомых. Потом,

в девятом и десятом классе, мы выступали на вечерах Дворца в зале Ленинградской филармонии и в Эрмитажном театре.

Другим "неформальным" поэтическим лидером очень недолгое время был таинственный человек Олег Ширма, парень шестнадцати лет (учившийся тогда, кажется, в ПТУ), который неожиданно появился у нас и почти так же внезапно исчез. У меня с ним сразу же осложнились отношения, так как ему понравилась волоокая, с темной косой и длинными черными ресницами, Лена Иоффе, за которой я тогда ухаживал, и он после первого же занятия с прямотой римлянина стал угрожать мне финкой, чтобы я не ходил ее провожать. Вместе с тем, он сразу же потряс всех, и прежде всего, кажется, Глеба Сергеевича, поэмой, которую нам прочел. Это была поэма о Сталинградской битве, написанная вполне профессионально и явно человеком воевавшим. Поэма настолько отличалась от наших ученических писаний, что сразу же возникло подозрение, подлинно ли Олег Ширма ее автор. Помню такие строчки из нее:

Бледнеют голубые ромбы
Скрестившихся прожекторов,
И первый взрыв немецкой бомбы
Гремит у бронекатеров.
Пробиты бомбой бензобаки,
И нефть пылает на песке,
И грохот танковой атаки
Подкатывается к реке.

Поэма казалась написанной зрелым настоящим поэтом. А вот другие стихи у Олега как-то не получались. Он походил к нам что-то около месяца, потом пришел на занятие с "маленькой", демонстративно выпил ее "из горла" без закуски, вызвав почти такое же потрясение, как чтением поэмы, и исчез. Секрет этой таинственной поэмы так и остался для меня нераскрытым.

В восьмом классе я, будучи тогда достаточно ретивым комсомольцем, написал довольно посредственные, по "политически грамотные" стихи, в которых обличал "поджигателя войны" Уинстона Черчилля (так мы тогда совершенно искренне считали). Стихи эти, до рекомендации Г. С. Семенова, я прочел на одном из отчетных вечеров и был удостоен первого в своей жизни упоминания в печатной прессе. И не где-нибудь, а в главной газете - "Ленинградская Правда"! Статью об отчетном вечере студии литературного творчества опубликовал известный в те поры ленинградский поэт Всеволод Азаров, которому стихи мои вдруг понравились, и он написал: "Молодой поэт нашел гневные слова для разоблачения… и т. д." Дурацкому моему тщеславному счастью не было предела. Пару раз после этого, в сорок девятом,

пару стихов, тоже довольно скверных, напечатала газета "Ленинские искры". Это были мои первые печатные публикации. К сожалению, "отличать плохие стихи от хороших" я в ту пору еще не научился, поскольку совершенно не хотел понимать безнадежно низкого литературного уровня моей печатной продукции.

Справедливости ради следует сказать, что Глеб Сергеевич Семенов, бывший для меня в те годы высшим авторитетом, довольно трезво и невысоко оценивал мои поэтические способности. Беседуя как-то со мной об упомянутом выше Олеге Ширме, он сказал: "Понимаешь, про тебя я знаю, что ты можешь, а что нет, а вот он - человек неожиданный". Много лет спустя, уже в конце пятидесятых годов, в каком-то поэтическом застолье он же, приводя уже не помню чьи остроумные изречения, заявил, обратившись ко мне: "А вот есть цитата про тебя: "если хочешь быть талантливым, стань лауреатом". Возможно, самым разумным в моем положении было бы бросить писать стихи раз и навсегда, но я уже был отравлен сладким ядом обманчивого сознания причастности к литературе, и сил честно бросить это неблагодарное для меня занятие в себе не находил. Так, видимо, лишенный актерского таланта юноша, готов Сбыть статистом в массовке, осветителем, рабочим сцены - лишь бы дышать пыльным воздухом подмостков, пропитанным едкими запахами нафталина и олифы.

Никогда не забуду своего первого посещения дома Глеба Сергеевича, которому я должен был срочно принести какую-то взятую у него книгу. Он тогда жил в квартире матери на последнем этаже большого писательского дома на канале Грибоедова, напротив Русского музея, неподалеку от Храма Спаса на Крови. Дом этот, как рассказывали, был одним из первых кооперативных домов, построенных на писательские сбережения еще в тридцатые годы.

Именно к строительству этого дома относится одна забавная апокрифическая история, связанная с именем известного журналиста и литератора и не менее известного остроумца той, не располагавшей к остроумию эпохи, - Стенича. Согласно этой истории, небольшая делегация писателей, в которую затесался и Стенич, отправилась в Смольный к Сергею Мироновичу Кирову просить гвозди для строительства своего дома. Киров их принял, сказал, что постарается помочь, хотя с гвоздями сложно, и тут же написал записку какому-то своему заместителю. Окрыленные неожиданным успехом, писатели устремились в указанный им кабинет, но когда после долгого и унизительного ожидания они, наконец, попали туда, то сразу же поняли, что радовались рано.

Хозяином кабинета оказался огромного роста еврей, одетый в гимнастерку и синие с красным кантом кавалерийские галифе, с пышными буденовскими усами, сидевший верхом на венском стуле за огромным письменным столом. Тут же, не дав им сказать ни слова, он начал кричать: "Ага, появились, голубчики! Это вы ходите и отрываете товарища Кирова от важных дел из-за всякой ерунды? Писатели, попутчики паршивые! Народ, не разгибая спин, трудится, чтобы построить светлое будущее, а вы только путаетесь под ногами и всем мешаете. Что вам надо? Гвозди? Вы что, совсем обнаглели? При чем тут записка от товарища Кирова? У нас для Турксиба нет гвоздей, для Сибири нет гвоздей, а для вашего писательского дома и подавно. Убирайтесь отсюда, пока я вас не приказал арестовать!" Писатели, испуганные и обескураженные, покинули кабинет. Последним уходил Стенич. Уже подойдя к двери, он неожиданно обернулся и негромко, но внятно спросил: "Для писательского дома у вас гвоздей нет. А Христа распять нашли гвоздики?" Грозный начальник побагровел, закрутился на стуле и, изрыгая что-то нечленораздельное, подписал наряд на гвозди…

Войдя в парадное рядом с воротами, я долго поднимался по высокой лестнице без лифта на последний этаж к квартире с указанным мне номером. Поднявшись на последнюю лестничную площадку, я нашел ее и обернулся на дверь напротив, где красовалась медная дощечка с надписью "В. Каверин". Сердце мое замерло в груди от сознания, до каких литературных вершин я добрался. На звонок открыл Глеб Сергеевич в жилетке и домашних туфлях и повел меня в свой кабинет, также сильно поразивший мое мальчишеское воображение.

За открытой им дверью обнаружилась узкая длинная комната, в противоположном торце которой располагалось высокое окно. За окном, освещая комнату нестерпимо алым слепящим светом, пылал весенний петербургский закат, на фоне которого проступали купола Казанского собора и черные контуры бесконечных труб, башенок и островерхих крыш. Над некоторыми крышами неподвижно струился темно-лиловый, с алой же подкладкой, дым. У меня захватило дух. Когда я, прикрыв глаза ладонью, огляделся, то увидел, что вся длинная правая сторона кабинета занята книжными стеллажами, уходящими вверх к потолку и заставленными книгами. Книги были самыми разными - от старинных, как мне показалось, фолиантов с красными корешками, тисненными золотом, и бумажных обложек "ЗИФ" двадцатых годов до бесчисленных малогабаритных томиков стихов поэтов, по большей части мне неизвестных. На одной из полок красовалась надпись: "Книги на дом не даются". У

противоположной стены, впритык к ней, стоял небольшой письменный стол. В дальнем углу, рядом с окном, висела какая-то небольшая и темная икона. Когда я подошел ближе, то обнаружил, что это не икона, а рисованный черно-белый портрет Пушкина, специально повешенный как икона. Таинственный и притягательный облик этого поэтического кабинета, заставленного книжными полками, с Богом-Пушкиным, с окном, распахнутым в блоковско-питерское небо, запомнился мне до мельчайших деталей на долгие годы. Сидя в таком кабинете, перед таким окном, в окружении таких собеседников, можно было создавать только бессмертные стихи. Самое удивительное при этом, что к стыду своему совершенно не помню ни разговора с Глебом Сергеевичем, ни содержания прочитанной книги, ни даже стихов, о которых шла речь тот вечер. Все в моей памяти выжег этот пронзительный черно-багровый интерьер.

В то время все вокруг постоянно твердили нам, что надо "приобщать жизненный опыт", зарабатывать себе рабочую биографию, изучать жизнь не по книжкам. И только Глеб Сергеевич не уставал повторять нам, что поэзия, так же как и наука, требует от человека глубоких профессиональных знаний и мастерства; что, не зная мировой поэзии, и прежде всего отечественной, нельзя создать ничего нового. Что люди, презирающие культуру, пишущие "пупом", никогда не смогут обогатить литературу. "Рецепт один, - читайте, читайте и читайте", - повторял он.

Я жил тогда с родителями в большой коммунальной квартире . пятом этаже огромного дома на углу Мойки и Фонарного переулка. Во дворе этого гигантского дома с проходными дворами, заставленными дровяными сараюшками, помещались старые петербургские бани. Кто-то говорил мне, что именно из-за этих, построенных еще в 18 веке бань, река Мойка и получила свое название. В числе прочих жильцов нашей квартиры (которую раньше занимал повар Мариинского театра), вытянутой подобно кишке вдоль длинного коридора, ведшего на кухню, был член Союза писателей Николай Афанасьевич Сотников. Кто он был, критик или киносценарист, я так и не понял. Они с его, к тому уже времени бывшей, женой и сыном Сергеем занимали три крохотные комнатки в конце коридора, возле кухни. Ксения Николаевна, так звали его жену, постоянно подрабатывала машинописью, и в квартире у нас время от времени появлялись ее клиенты и приятели, среди которых мне запомнился Виктор Некрасов, тогда еще молодой автор только что опубликованного романа "В окопах Сталинграда".

Сам Николай Афанасьевич, грузный обрюзгший человек

неопределенных лет, в неизменных роговых очках, в квартире появлялся редко. В постоянно пустовавшей комнате его была неплохая библиотека из старых книг, некоторые из которых его сын Сережа давал мне читать. На старом расшатанном столике в передней, напротив входных дверей, где стоял телефонный аппарат (тогда еще не автоматический с наборным диском, а с кнопками А и Б), вместе с письмами квартирным обитателям регулярно появлялись календарики мероприятий в Доме писателей, Доме кино и различного рода пригласительные билеты, в пору отсутствия Сотникова лежавшие здесь подолгу. Я смотрел на них с завистью к этому таинственному человеку, который каждый день, оказывается, мог ходить то на концерт, то на просмотр и обсуждение кинофильма, то на спектакль, то на какую-нибудь интереснейшую лекцию. Вот что значит быть настоящим писателем! Да я бы на его месте только и делал, что ходил бы все время то в Дом писателей, то в Дом кино - не жизнь, а сплошной праздник, да еще и постоянно среди всяких знаменитостей! С другой стороны, такой образ жизни отпугивал меня своим, как мне представлялось тогда, праздным безделием. Я понятия не имел о черном и каторжном писательском каждодневном труде, заменяя его в своем воображении редкими приятными взлетами творческого вдохновения. Да и родители мои, с утра до ночи пропадавшие на работе, усердно приучали меня к тому, что каждый мужчина должен иметь "серьезную" специальность и трудиться, как и все, на производстве. Под словом "серьезная" понималась - техническая. Всякое искусство в нашей "технарской" семье воспринималось, в основном, как развлечение и отдых после работы, которая, неважно какая, но обязательно каждодневная, и являлась главной целью в жизни. Поэтому делать искусство своей специальностью я тогда не собирался.

В то же время, хотя я и старался быть отличником, математика и физика давались мне с трудом, а больше всего я любил литературу и историю, явно обнаруживая, к неудовольствию матери, гуманитарный уклон. Физику у нас в восьмом классе преподавала некая Мария Леонтьевна, женщина средних лет, грузная и косноязычная, с тяжелым неподвижным взглядом бесцветных глаз, от которой за версту веяло холодом и полным равнодушием к своему предмету. Я боялся ее пустого гипнотического взгляда, как кролик боится взгляда кобры. В десятом классе ее сменил высокий, узкоплечий и худой Владимир Александрович с впалыми щеками многолетнего курильщика и цепкими презрительными глазами, щеголявший во флотском офицерском кителе и заявивший как-то моему однокласснику

Леве Лозовскому: "Зря стараешься. Таким, как ты, я все равно больше тройки никогда ставить не буду, чтобы вы в вузы потом не лезли." Может быть, поэтому никакой привязанности к физике я не испытывал в то время. Математику же преподавал замечательный человек Александр Павлович Григал, прекрасно знавший свой предмет, но грозный и строгий. В нашем девятом "Б" учился высокий крепыш по фамилии Синица, носивший на своей широкой груди множество спортивных значков. (Уже в девятом классе он занимался в юношеской спортивной школе и был разрядником сразу по нескольким видам спорта). С математикой он систематически был не в ладах. Каждый раз, когда Григал громовым своим голосом зачитывал оценки за очередную контрольную, он начинал с отличников: "Камский - пять, Темкин - пять, Капинос - пять…" Потом шли четверки, тройки и двойки. Заканчивал же он всегда в рифму: "Синица - единица!" Меня он тоже не особенно жаловал, так что выше четверки я у него обычно не поднимался. Совсем другое дело - литература и история. Литературу в восьмом и девятом классе нашей 236 мужской школы, расположенной в помещении старой гимназии на Мойке, 108, как раз напротив главных ворот знаменитой петровской Новой Голландии, где когда-то строили галеры, вела худенькая и некрасивая Лариса Михайловна, со старомодной косой и высоким восторженным голосом старой девы. Я у нее, конечно, был на самом хорошем счету, так как с литературой, которую любил, проблем никогда не возникало.

Не обходилось, однако, и без конфликтов, в которых каждый раз виновен был я. Помню, однажды зимой она вошла к нам в класс, румяная от мороза, с блестящими глазами и звонко сказала: "Ребята! Сегодня мы с вами начинаем новую тему, связанную с величайшим нашим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным - любовь Пушкина. Дело в том, мальчики, что Пушкин был однолюб." Я, к тому времени успевший прочитать довольно много всякой всячины о поэте, в том числе, конечно, Вересаева и донжуанский список Пушкина, довольно гнусно захихикал, чем неожиданно для себя вызвал ее яростный гнев. "Городницкий, - закричала она, заливаясь краской, - немедленно покиньте класс. И давайте дневник-я вам двойку поставлю!" Несколько растерянный ее внезапным и, как полагал, несправедливым гневом, я вышел в коридор и, закрывая за собой дверь, слышал, как она объясняла остальным ребятам срывающимся от волнения голосом: "Ребята! Не верьте этому цинику! Да, действительно, женщин в жизни Пушкина было много. Но ведь Пушкин был один! И поэтому любовь каждый раз была одна - великая, светлая пушкинская любовь!" Увы, мне

потребовалось несколько десятилетий, чтобы понять, как она была права!

Историю в восьмом и девятом классе вел худощавый и подтянутый, с высоким лбом и строгими роговыми очками Владимир Николаевич, ушедший потом преподавать в Нахимовское училище и надевший морскую форму. Вот кто умел говорить красиво! В нескольких словах мог он развернуть захватывающую картину штурма Бастилии или казни Робеспьера. Именно ему я обязан пожизненной любовью к истории. Именно он дал впервые прочесть поразившие меня тогда книги Стефана Цвейга "Жозеф Фуше", "Подвиг Магеллана" и "Звездные часы человечества". В десятом классе его сменил Петр Антонович, лысоватый и неряшливый, с вытянутой длинной и асимметричной головой. Он вел историю СССР и объяснял ее по-простецки: "Услышав это, Ленин сказал - ты, милочка Коллонтай, не очень-то тут разливайся, мы тебя враз укоротим!" Впрочем, человек он был добрый, да и отрезок истории ему попался неблагодарный.

Классным руководителем с восьмого по десятый класс была у нас учительница немецкого языка Софья Львовна Щучинская, маленького роста, с черными зачесанными гладко волосами и гоголевским профилем. Характер у нее был сложный и жестокий. Именно она была инициатором создания в школе рукописного журнала "Проба пера", сменным редактором которого в числе прочих был и я. Печатался он на машинке в одном экземпляре. Обложку и рисунки делали сами. В журнале помещались стихи, проза и публицистика. Помню, всего было выпущено номеров шесть (выходил он раз в месяц). К великому сожалению, после перевода 236 школы в другой район все старые архивы наши, в том числе и журналы "Проба пера", были сожжены. У меня чудом сохранился один номер с напечатанной там моей первой поэмой "Ноябрь".

Оглядываясь назад, я понимаю теперь, что в те далекие и неискренние годы Софья Львовна Щучинская делала все, что могла. Она говорила часто, что не учеба главное в школе, а жизнь в коллективе. "Вы будете вспоминать через несколько лет уже не нас и не школу, а только то, что вы сами успели в ней сделать". Вот и я теперь, действительно, вспоминаю журнал "Проба пера" и бережно перелистываю его желтые страницы с никому уже кроме меня самого не нужными стихами и рассказами. Вместе с тем, я никак не мог отделаться от постоянного чувства неловкости, не вполне осознанной, которая возникала у меня всякий раз, когда на классном собрании по любому поводу она громко кричала: "Даю честное слово коммуниста!" Софья Львовна умерла от рака в

конце пятидесятых годов, и я был в числе двух или трех одноклассников, шедших за ее гробом.

Кончались сороковые годы, о мрачной оборотной стороне которых я тогда не догадывался. Уже шла во всю "борьба с космополитами", предвещая в недалеком будущем дело врачей. Уже были преданы анафеме Ахматова и Зощенко, Шостакович и Мурадели. Снижали послевоенные цены, но испуг оставался привычным выражением человеческих лиц. Что же делать… У нас не было другого детства и юности. Для меня конец сороковых годов стал временем первых вполне платонических сердечных увлечений, горьких раздумий о своей неисправимой национальной неполноценности, мечтаний о будущем, где мне хотелось бы стать "настоящим мужчиной". Характерно, что поэзия не занимала никакого конкретного места в моих жизненных планах - она как бы существовала сама по себе, не становясь в то же время самоцелью. Я в ту пору увлекался историей и даже собирался поступать на истфак в Университет. Свидетельством этого осталось интервью, взятое у меня как у "круглого отличника" каким-то незадачливым корреспондентом молодежной газеты "Смена" в 1949 году. Интервью вместе с фотографией попало на страницы газеты, откуда, много лет спустя, перекочевало в юбилейную книгу, посвященную 60-летию газеты "Смена". В книге этой напечатаны "Атланты" и мое дурацкое давнее интервью, названное в духе того времени "Смело смотрим вперед". Вход в Университет, однако, был для меня наглухо закрыт, хотя я и "шел на золотую медаль". На дворе был 1951 год, и евреев в Ленинградский университет, носивший гордое имя А. А. Жданова, не принимали.

Что еще занимало нас тогда? Ну, конечно, любовь. Для нас, питомцев мужской школы, девочки были инопланетянами. В восьмом классе у нас организовали кружок танцев, куда пригласили также девочек из соседней 235 школы. Борьба с "иностранщиной" и космополитизмом была в самом разгаре, поэтому фокстроты и танго, воплощавшие тлетворное разложение буржуазного запада, были объявлены вне закона. Даже слова эти были изъяты из обихода. Когда на танцах, не более одного раза за весь вечер, играли все-таки танго или фокстрот, их стыдливо называли "медленный танец" и "быстрый танец". Строгие комсомольские патрули на школьных вечерах бдительно следили, чтобы никто не вздумал танцевать неприлично развратный "гамбургский фокстрот", считавшийся пределом грехопадения. В кружке танцев поэтому тщательно изучали "Русский бальный", "Па-де-катр", "Чардаш", "Краковяк" и другие мертворожденные бальные танцы. Единственным, кажется, утешением был вальс.

Ему я обучился быстро. Считалось особым шиком закружить свою партнершу до такого состояния, чтобы у нее начала кружиться голова, и она, боясь упасть, старалась сама ближе прижаться. Умение танцевать в старших классах казалось нам столь же необходимым, как, например, умение читать.

Саша Малявкин, мой сосед по парте в девятом классе, переводившийся ненадолго в школу рабочей молодежи и успевший почерпнуть там изрядный опыт сексуальных навыков, регулярно ходил на танцы в клуб "Большевичка" на Исаакиевской площади и постоянно дразнил наше любопытствующее воображение рассказами о своих победах. В подпольном классном дневнике того времени кто-то из завистников написал о нем: "Хвастает, что познал женщину, но это свист". Остальные перебивались редкими поцелуями. Куда нам, тогдашним, тягаться с современными московскими и ленинградскими старшеклассниками, отягощенными ранним сексуальным опытом!

Зато устраивались многочисленные ханжеские диспуты на тему "Дружба, товарищество и любовь", где здоровые лбы-переростки и полногрудые девятиклассницы на полном серьезе обсуждали, может ли быть "чистая дружба" между юношей и девушкой.

И все-таки наступали волнующие майские дни, когда на подоконники окон выставлялись радиолы, и пробивалась первая светлая зелень на тополях, стоящих вдоль Мойки, и щемящие до сих пор сердце мелодии вальса "Память цветов" или фокстрота "Укротитель змей" манили наши неокрепшие души и тела смутным обещанием немедленного счастья. И бледные незагорелые ноги девчонки из соседнего дома в неожиданно короткой, не по тогдашней моде, юбке заставляли беспокойно просыпаться светлой ночью, отличавшейся от дня только тишиной и неподвижностью…

Комната в огромной коммунальной квартире на пятом этаже старого дома на Мойке, где ютились мы с отцом и матерью, была узкой и длинной и напоминала трамвайный вагон. В одном торце ее помещалась дверь, в другом - окно. Зато за окном открывался необъятный вид на весенний город. Дом был огромный, старый, угловой, выходивший и на Мойку, и в Фонарный переулок. Фасад дома в его верхней части был украшен лепными ангелами. Один из них располагался возле нашего окна, слева от него. Справа, симметрично ангелу, красовалась водосточная труба. Когда мне доводится попадать на Мойку, я всегда безошибочно определяю "свое" окно. Оно и впрямь было моим. До сих пор помню весенний праздник его открытия, когда из щелей извлекалась пожелтевшая за зиму вата, отдирались полоски бумаги и крошащаяся замазка,

и распахивались пыльные рамы, впуская в нашу тесную комнату таинственную полифонию вечернего города. Со стороны фасада окно было перехвачено старинной чугунной решеткой, так что на широком подоконнике при открытом окне образовывалось что-то вроде небольшого балкона, где я обычно любил устраиваться с книгами или тетрадкой.

Прямо подо мной, глубоко внизу, медленно струились грязно-зеленые воды Мойки, по которой иногда, пыхтя, тянул буксир какую-нибудь баржу, да в начале лета проплывали учебные шлюпки с обнаженными по пояс загорелыми курсантами Высшего военно-морского пограничного училища, располагавшегося неподалеку от „нашего дома, на другом берегу Мойки, возле Поцелуева моста, в здании бывшего Гвардейского экипажа. Враз поднятые по команде сверкающие на солнце весла, резко нагибающийся в такт гребкам старшина, командующий "р-раз, р-раз", неизменный военно-морской флажок на корме - все это заставляло сжиматься сердце в мечтах о настоящем море.

Вечерами по булыжной мостовой возле нашего дома с песнями маршировали курсанты Высшего транспортного училища, также располагавшегося неподалеку. Эти ежевечерние строевые песни "Распрягайте, хлопцы, коней", "Эх, море Черное, песок и пляж", "Взвейтесь, соколы, орлами" и другие, как ни странно, рождали чувство стабильности и покоя.

Напротив дома на противоположной стороне Мойки возвышалось несуразное здание Дома культуры работников связи в стиле социалистического конструктивизма начала тридцатых годов, перестроенное когда-то из немецкой кирхи, своим серым обликом и высокой башней напоминавшее старинный средневековый замок. По выходным на последнем этаже его, где помещался танцевальный зал, устраивались танцы, и громкие звуки оркестра до позднего вечера вырывались из узких длинных окон, похожих на бойницы.

Правее, над крышами старых домов на бывшей Малой Морской, где жили когда-то Набоковы и другие именитые дворяне, сиял в лучах заходящего солнца купол Исаакиевского собора. Перед блокадой он был закрашен, "чтобы не служил ориентиром для немецкой артиллерии при обстреле". Помню, как после войны с него долго соскребали краску специально подрядившиеся альпинисты-верхолазы. Это ежевечернее золотое сияние за окном, являвшее разительный контраст с нищенской нашей домашней обстановкой, стало для меня как бы необходимой частью домашнего интерьера.

А левее Дома культуры связи, над крышами домов, в том

месте, где Малая Морская соединялась с набережной Мойки, в маленьком скверике, в апреле, всегда прежде других начинали зеленеть два деревца. Отчетливо были видны верхушки матч огромного парусника "Крузенштерн", стоявшего в те годы у причала на набережной Невы, неподалеку от моста Лейтенанта Шмидта. Мачты эти, черневшие на фоне пронзительных алых и желтых закатов, пылавших над Васильевским и Петроградской, будили чувство счастливой тревоги, напоминая о том, что мы живем на берегу, и вселяя обманчивую иллюзию о доступности дальних стран. Старый немецкий этот парусник, построенный в Гамбурге, был захвачен в качестве военного трофея и много лет стоял здесь без движения, ожидая своей дальнейшей участи. Думал ли я тогда, глядя на его мачты, что мне посчастливится штормовать на нем в суровой зимней Северной Атлантике, плыть Гибралтарским проливом мимо Геркулесовых столбов, швартоваться у причалов далекой Ямайки?

Этот пьянящий воздух вечернего города, пропитанный звоном трамваев, обрывками танцевальной музыки, резкими криками вдруг вспыхивающих на солнце чаек, сигналами автомобилей, протяжными гудками близких судов, и, наконец, звонким стуком чьих-то запоздалых каблучков по камням в молочном безмолвии белой ночи, кружил голову упрямым, несмотря ни на что, ожиданием счастья на завтра. Необъятность и неопределенность будущего, кажущееся богатство выбора

- все пьянило воображение. И писались стихи, глупые и беспомощно-восторженные, а ныне недоступные, вызывающие острое чувство ностальгии.

Отечество нам горный институт

Геологией я начал заниматься так же случайно, как и стихами. Увлекаясь в старших классах литературой и историей не в пример физике и математике, я отчетливо сознавал бесплодность этих увлечений. Когда мы готовились к выпускным экзаменам, на дворе стоял пятьдесят первый год. Еще не завершилась кампания борьбы с "космополитами", а уже планировалось "дело врачей".

Не лучше было и с естественными науками. В разгромленной биологии царил Лысенко. Его узкие пронзительные глазки просверливали нас насквозь с огромного портрета со звездой Героя Социалистического труда. Портрет висел прямо над учительским столом в биологическом кабинете. А на других стенах вперемежку с Дарвиным и Павловым красовались Мичурин, Презент и еще какие-то хмурые личности. Кроме того, меня с детства мутило от вида препарированной кошки или анатомической модели.

Что же было делать? Я никогда не увлекался геологией или минералогией, не собирал камни и, по существу, никакого понятия не имел об этой специальности. Меня привлекала, скорее, не профессия, а нравился образ жизни. Яд сталинской антисемитской пропаганды до такой степени коррозировал мое полудетское сознание (не говорю "душу" - ее тогда, пожалуй, еще не было), что я сам себе казался человеком второго сорта, неженкой и белоручкой, ничего не умеющим. Я мечтал стать "настоящим мужчиной", закаляющим свой дух и тело постоянными трудностями и героическими подвигами. Хотелось доказать всем (и себе), что я не хуже других. Реализовать эти юношеские комплексы в те невеселые времена, по моему разумению, можно было только связав свою будущую жизнь с армией или экспедициями…

В начале десятого класса в нашей школе появился ладно скроенный молодой подполковник с голубыми просветами и крылышками на золотых погонах, туго перетянутый скрипучей портупеей. Объявлялся набор десятиклассников в курсанты Высшей военно-воздушной академии. До сих пор помню, с каким завистливым вниманием мы следили за ним, когда он рассказывал об условиях приема. Через год, - всего через год! - уже присваивается первое Офицерское звание младшего лейтенанта и жить можно будет не в Казарме, а дома. Его литая фигура, туго обтянутая новенькой гимнастеркой с яркими полосками орденских колодок, зелено-черное мерцание погон,

портупеи и начищенных до предельного блеска сапог безоговорочно покорили наши мальчишеские сердца. Через много лет я вспомнил эту сцену, наткнувшись на стихи Соллогуба:

Меня прельстила злость
Упавшего меча
И томная усталость
Седого палача.

Нельзя забывать, однако, что для нас, школьников военного поколения, облик боевого офицера был тогда главным идеалом. Не в пример Белинскому "титло литератора" заслонялось от нас "блеском мундиров и мишурой эполет". Кроме того, обещались большие по тем временам деньги и полная независимость от родительской опеки. Остатки сомнений были развеяны, когда на новогодний вечер в школу пришли вчерашние выпускники, ребята всего лишь на два класса старше нас, вместе с которыми мы еще вчера выпускали стенгазету и ставили спектакли. Они появились в такой же летной форме, при серебряных погонах с офицерской звездочкой на голубом просвете.

Заявления в академию подало больше половины класса, в том числе и я, совершенно упустив из виду то (показавшееся нам совершенно неважным) обстоятельство, что прием-то был только на специальность "строительство аэродромов", которая никакого отношения к полетам не имела. Поскольку я, не без оснований, побаивался, что меня и в академию из-за пятого пункта не возьмут, то одновременно начал подумывать - не поступить ли в военно-морское училище, хотя, конечно, о море, как и о геологии, никакого понятия не имел, а воды боялся, поскольку плавать не умел.

В моем увлечении морем во многом "повинны" Сергей и Вадим Карцевы, уверенно пошедшие после седьмого класса сначала в подготовительное, а потом в Высшее военно-морское училище.

Прибегая домой в недолгие сроки увольнений или в "самоволку", загорелые и отощавшие на военно-морских харчах, братья поражали мое убогое школьное воображение незнакомыми морскими словечками. Пол они называли палубой, кухню

- камбузом, стены - переборками, порог - комингсом. Мир вокруг начинал преображаться. Казалось, привычные прежде комнатные стены, став переборками, кренятся и скрипят, унылый дом напротив, маячащий в окнах, превращается во вражеский фрегат, идущий на абордаж, а серые булыжники мостовой искрятся балтийской рябью под атлантическим норд-вестом.

Братья чаще приходили в выходной форме с ярко-синим сиянием "гюйсов" (так они называли свои морские форменные воротники с тремя белыми полосками, присвоенными, как мне объяснил Сергей, русским морякам еще в восемнадцатом веке за победы в морских сражениях). Первое, что они делали при этом - бросались, сняв свои "гюйсы", на кухню и начинали яростно их застирывать, стараясь с помощью хозяйственного мыла и щелочей вытравить красивый синий цвет. На мои недоуменные вопросы братья снисходительно отвечали, что новенькие синие воротники - опознавательный знак "салаг", а у настоящих опытных и бывалых моряков, каковыми они, вне всяких

сомнений, себя и считали, "гюйсы" должны быть бледными, выцветшими от тропического солнца, полярных ветров и соленой воды.

А чего стоили их палаши в черных тугих ножнах с черными же рукоятями и кистями на эфесах, настоящее "табельное" оружие, которое обычно небрежно отстегивалось и ставилось в угол! Разрешение "подержать" палаш обычно сопровождалось захватывающими историями о кровопролитных дуэлях (конечно, из-за женщин), возродивших древнее искусство фехтования. О том, как грозде курсанты наводят ужас на всю шпану в танцевальном "Мраморном зале" на Васильевском острове. Как под угрозой обнаженных палашей испуганные милиционеры, незаконно придравшиеся курсантам на ночной набережной, вынуждены многократно отдать им честь, чтобы потом убраться подобру-поздорову. Но даже когда братья являлись в "самоволку" из какого-нибудь овощехранилища в грязных, донельзя затертых матросских "робах" ; огромных не по размеру матросских ботинках последнего срока носки, прозванных "ГД" (говнодавы), они и тогда казались мне небожителями, штатными гриновскими героями, сошедшими ненадолго на берег.

Итак, мифическое море и не менее мифическое небо, ослепившее честолюбивые мечты худосочного юнца на пороге десятого класса. Я регулярно, вместе со всеми, являлся "на построения" и перекличку на старый, еще дореволюционный, плац в Военно-воздушную академию на улицу Красного курсанта на Петроградской и одновременно собирал документы для военно-морского училища. Отец, всю жизнь работавший в системе военной гидрографии, поначалу снисходительно относился к моим безумным намерениям, справедливо полагая, что все равно из этого ничего не получится. Только когда, уже получив аттестат и медаль, я должен был назавтра окончательно отдать документы в академию, где, как ни странно, попал в список, он всерьез встревожился и с несвойственной ему безоговорочно-твердой

манерой категорически отговорил меня связываться с военной службой, которую слишком хорошо знал. Недолго сомневаясь, я отнес документы на Васильевский в приемную комиссию Ленинградского Горного института, где просил зачислить меня на геологоразведочный факультет. Почему именно Горный? А не потому ли, думаю я теперь, что и в Горном институте в те времена тоже была форма, унаследованная еще от царских времен, и, кстати, весьма напоминающая морскую офицерскую - с такими же двубортными тужурками, украшенными золотыми жгутами погон с литыми буквами на них, напоминавшими императорские гербы? Да и само знаменитое здание воронихинской постройки с его грязно-белой колоннадой располагалось на самой на набережной, и неподалеку от подъезда поскрипывали у причала суда, вечно пыльных окон институтских аудиторий были видны и надстройки огромных кораблей, стоявших на соседнихстапелях Балтийского завода. А еще дальше, за унылыми заводскими корпусами, редкий солнечный луч вдруг выхватывал из дымной мглы ослепительную рябь Маркизовой лужи.

Не последнюю роль в моем решении сыграло и то, что девушка, которой я тогда был не на шутку увлечен, пошла на "геологоразведку". По-видимому, я до сих пор должен быть благодарен, что она не вздумала пойти в какой-нибудь другой институт, например - холодильной или молочной промышленности.

Жесткого "национального ценза" в Горном (по сравнению с Университетом) как будто не было, и я сравнительно легко прошел обязательное для медалистов собеседование. Строгая медкомиссия также подтвердила мою принципиальную пригодность к трудностям геологических скитаний. Но здесь совершенно неожиданно возникла новая проблема. Оказалось, для поступления в Горный надо обязательно совершить прыжок с вышки в воду, как это требуют нормы ГТО. До сих пор не могу понять, какой идиот придумал это условие, что общего между геологией и прыжками в воду.

Известие это повергло меня в полное уныние, поскольку плавать я тогда не умел совершенно. В Горный, однако, очень хотелось, и я, непонятно на что надеясь, отправился в толпе абитуриентов к водному стадиону на Елагин остров. Кончался дождливый ленинградский август. День был будний, холодный и ветреный, на влажных дорожках парка на безлюдных Кировских островах лежали первые осенние листья.

Нас загнали в раздевалку, и затем мы, зябко поеживаясь, долго толклись на некрашеных холодных досках купальни под

порывами сырого ветра, ожидая, пока нас по одному вызовут на вышку. Услышав свою фамилию и мгновенно вспотев от волнения и страха, я на подгибающихся непослушных ногах направился к вышке с твердым намерением прыгнуть во что бы то ни стало, хотя и уверен был, что иду на самоубийство. Когда же я взобрался на вышку, где очутился впервые в жизни, глянул вниз на отвратительную серую воду с огромной, как мне показалось, высоты и сделал пару неуверенных шагов по шаткой доске, с которой мне надлежало прыгнуть, то понял, что ни за что на свете этого не сделаю. Я повернулся, что бы с позором уйти назад, но в этот момент доска спружинила, и я упал в воду. Мне засчитали прыжок. Так я стал геологом…

Ленинградский Горный начала пятидесятых представлял собой своеобразное заведение. С одной стороны - старейший технический вуз, основанный еще Екатериной II для дворян как "офицерский корпус горных инженеров". В знаменитом музее, среди образцов исчезающих ныне видов горных пород, вроде малахита, и диковинного чуда - пальмы, выкованной русским умельцем из обыкновенного чугунного рельса, можно увидеть образцы форменных сюртуков конца восемнадцатого века и короткие шпаги "Господ Горных Ея Величества Инженеров". Давние эти традиции как бы подчеркивались вновь введенной после войны для горняков и

геологов формой. Нам, юнцам, нужды не было, что безумный генералиссимус решил перевести на казарменный образ жизни почти гражданские ведомства. Нас радовали фуражки с молоточками, подтверждавшие принадлежность вчерашних нищих мальчишек к "Горному корпусу". Фуражки эти с самого начала первого курса, за год до получения формы (ее разрешили носить только со второго курса), были предметом немалой гордости. Их полагалось (заказывать в специальных ателье, где шились они как морские офицерские фуражки - с высокой тульей и широкими полями. Козырек, наоборот, был небольшим, круто скошенным вниз и острым "нахимовским". Молоточки же, украшавшие тулью спереди, должны были быть обязательно геологическими - тонкими, а не, упаси Боже, толстыми - горными.

Что касается научной базы, то, несмотря на сталинские разгромы и чистки, в Горном отчасти сохранилась старая школа профессуры - от академиков Германа, Келля и Наливкина до профессоров Погребицкого, Нестерова, Шафрановского и многих других. Сохранились многолетние и даже вековые традиции горного дела, столь уважаемого и важного в Российской империи. Во дворе Горного нам показали самую настоящую шахту, построенную еще в Прошлом веке и точно отображавшую

действующие шахты. Преподавательский корпус, где жили профессора и доценты, выходивший 1 на 21 линию, носил старое название "офицерского". А сами наши профессора щеголяли в двубортных форменных мундирах "горных директоров" различных рангов, вплоть до генеральских, украшавших их брюки синими адмиральскими лампасами. В студенческих курилках с придыханием рассказывали о дореволюционной жизни института, в частности, о нашумевшей в свое время дуэли между тогдашними студентами Германом и бароном р. Врангелем, которая состоялась "из-за актрисы". Актрисой была еще здравствовавшая в пятидесятые годы заслуженная артистка Александрийского театра Е. Тимме. Дуэль как будто кончилась бескровно, но разыгрался скандал, в результате которого барон Врангель вынужден был уйти из Горного и поступил учиться в военно-морское заведение. Упорный же Герман стал нынешним академией ком. А ведь, пожалуй, повернись дуэль иначе - и история гражданской войны могла бы быть иной.

О действительном разгроме профессуры ленинградского Горного мы узнали уже позднее, после пятьдесят третьего года, когда всплыли подробности "дела геологов", по которому пострадал, в частности, один из ведущих отечественных тектонистов профессор

С другой стороны, студенческая жизнь после школы показалась вольницей. Героические легенды складывались не только о прошлом института, но и о настоящем. Так, вроде, еще в прошлом у, как снисходительно рассказывали старшекурсники, на кольце трамвая 21, который в то время делал круг у самого подъезда института, состоялась историческая массовая драка "горняков" с матросами. К матросам присоединились курсанты соседнего училища имени Фрунзе, и студентов начали сильно теснить. Тогда несколько десятков добровольцев с криком "наших бьют" помчались по коридорам института, распахивая подряд все двери попутных аудиторий, из которых, если верить вдохновенным рассказчикам, выбегали вместе со студентами и преподаватели. Равенство сил было восстановлено, и побоище удалось прекратить, только вызвав две пожарные команды и разделив враждующие толпы движущимися трамваями. Масса страшных историй, обраставших сексуально-питейно-героическими подробностями, была связана также со знаменитым студенческим общежитием на "Малом-40".

В ту пору студенты Горного лишь частью формировались из недавних десятиклассников. Значительную долю составляли вчерашние фронтовики и производственники, пришедшие с шахт и металлургических заводов. Они с презрением поглядывали на

нас, послешкольную мелюзгу, не знающую настоящей жизни и мающуюся романтическими бреднями. Надо сказать, что несмотря на частые запои и драки, ставшие в Горном довольно будничным явлением, эти великовозрастные, как мы считали, люди учились упорно и настойчиво, хотя им науки давались намного труднее, чем нам - вчерашним школьникам. До сих пор помню нашего старосту белоруса Дору Трофимовича, человека богатырского роста с безукоризненной строевой выправкой и вставными золотыми зубами, всегда ходившего в новенькой офицерской гимнастерке с белоснежным подворотничком, многочисленными орденскими планками и с полевой сумкой в руках. На войне он служил в охране Жукова, но рассказывать об этом не любил. Старостой в параллельной группе был также бывший армеец Кирилл Иванов - быстро ставший партийным лидером, человек с правильно-красивым российским лицом и светлыми кудрями. Не помню уже от кого, может, от них пошла мода ходить на занятия не с портфелями, а с офицерскими полевыми сумками, в которых таскали мы наши несчастные конспекты. "Атташе-кейсов", столь модных позже, тогда, конечно, не было и в помине. Нарядами родители нас тоже не баловали, поэтому обычной формой одежды на первых курсах были затертые лыжные костюмы и "комбинированные" курточки леншвейного незатейливого покроя.

Профессора и преподаватели наши тоже порой бывали незаурядными. Так, читавший математику доцент Вержбицкий, будучи искусным художником, изображая по ходу лекции на доске интеграл, вместо обычного штриха или звездочки мастерски пририсовывал под ним в качестве индекса-поросенка и говорил: "Интеграл два поросенка" и так далее. Первую свою лекцию в начале второго курса он начал словами: "Итак, друзья, начинается длительный и неприятный перерыв между каникулами".

Практику по математике в нашей группе вел веселый и доброжелательный человек Семен Борисович Фридман, принимавший зачеты и экзамены обычно навеселе, благодаря приносимым нами же "маленьким".

Профессор Салье, входивший, блестя глазами, в аудиторию в своем изрядно потертом и лоснящемся "горно-директорском мундире", в выражениях обычно не стеснялся и смело крыл "демагога и хама, незаконно захватившего пост министра геологии СССР - Андропова".

Более же всего разных "баек" ходило вокруг члена-корреспондента Академии наук СССР Келля, бывшего одно время ректором, но всегда одевавшегося чрезвычайно скромно.

Рассказывали, в частности, историю, как во время учебной геодезической практики, которая проводилась после первого курса в Псковской области, в районе деревни Вышгород, бригада студентов долго возилась с мензульной съемкой. Когда все устали и обозлились, к ним подошел босоногий старичок в холщевой рубахе и соломенной шляпе и сказал: "Ребятки, может, лучше сделать так-то и так-то?" "Да пошел ты, дед, - возмутились студенты, - знаешь куда? Что ты в этом можешь понимать?" И послали. И дед пошел. А на следующий день, явившись сдавать зачет по практике, они с ужасом увидели того деда, но уже в генеральском мундире, во главе комиссии.

Главным источником наших первокурсных мучений были, конечно, техническое черчение и начертательная геометрия. О, эти бессонные ночи над "эпюрами" и "листами"! Они одни способны на всю жизнь отбить охоту к любой технической специальности. А "теория машин и механизмов" - ТММ, которая расшифровывалась студентами - "тут моя могила!" Немало проблем мне доставляла физкультура, которой в Горном уделялось особое внимание. Будучи с детства крайне неспортивным, еще в школе со страхом шарахаясь от брусьев или "козла", я, попав на общую физкультурную подготовку, испытывал изрядные муки всякий раз, когда требовалось выполнить какое-нибудь обязательное упражнение. Неприятности эти дошли до края, когда, пытаясь метнуть гранату, я чуть не попал ею в стоявшего неподалеку преподавателя. Не знаю, сколько бы еще мои мучения продолжались, если бы кто-то из однокурсников, уж не помню сейчас кто именно, не дал мне умный совет - записаться в секцию штанги. Помню, вначале я страшно удивился, поскольку богатырским сложением не отличался ни до, ни после. "Это совершенно неважно, - заявил мой доброжелатель, - ты попробуй".

Секцией штанги руководил экс-чемпион Союза по борьбе и поднятию тяжестей с довольно громкой в прошлом спортивной фамилией. Весил он более ста пятидесяти килограмм и силой обладал неимоверной. Когда на остановке он ступал на подножку трамвая, вагон со скрипом кренился. Занятия штангой оказались и вправду совсем несложными. В наши обязанности входило чистить "и красить гриф и диски да время от времени разучивать упражнения с небольшими нагрузками. Чаще всего члены секции сидели вокруг штанги и слушали захватывающие истории из мира Большого спорта, которые с удовольствием рассказывал наш тренер - после того, как дежурный возвращался с очередной бутылкой. Держа в руке налитый стакан, он поучал нас: "В штанге ведь что главное? Следите за мной. Главное - взять на грудь.

Дальше - пойдет сама". Зачеты нам ставились автоматически, и я до сих пор благодарен своему тренеру за чувство юмора и избавление от мук.

Совершенно автономным государством в Горном была военная кафедра, располагавшаяся на шестом, последнем этаже лабораторного корпуса. Командовал ею тогда генерал-майор Ефременко. Сначала кафедра готовила артиллеристов, и в первом этаже лабораторного корпуса долгое время стояла большая гаубица. При нас, однако, начали готовить уже не артиллеристов, а саперов, которые "ошибаются один раз в жизни". Военные занятия, проводившиеся всегда по четвергам, не были особо обременительными. Лекции по "общевойсковой подготовке" читали красавцы-полковники, одетые в сияющую форму, с пестрыми орденскими планками. Особым красноречием, впрочем, они не отличались. Помню, один из них, рассказывая о "боевой славе русской пехоты", поведал нам о том, что на "Бородинском поле гвардейское каре Семеновского полка двенадцать раз отражало атаки французских керосинов". "Не керосинов, а кирасиров", - робко поправил лектора один из моих однокашников, за что был с лекции изгнан. "У нас на кафедре - все дубы и все шумят", - заметил как-то один молодой офицер. На шестом этаже стоял огромный ящик, в котором был макет местности с рекой, высотами, населенным пунктом и тому подобными объектами. Здесь обычно проводились учебные занятия по тактике. Какая-то студенческая пара после одного из танцевальных вечеров избрала этот довольно уютный ящик для своих любовных утех, удобно устроившись на холмистом рельефе тактической местности. Однако, явно не рассчитав своих сил, подорванных сильными эмоциями, а возможно и бутылкой портвейна, которая была прихвачена с собой для тактических игр, они крепко уснули. Разбудил их уже на следующее утро дежурный офицер, открывший ящик перед очередной учебной группой и обнаруживший обнявшихся любовников с пустой бутылкой в руках. На военной кафедре по этому замечательному случаю все занятия были отменены, а полковники и подполковники (ниже званий не было) в праздничном настроении отправились с санкции генерала в близлежащий ресторан "Балтика", чтобы отметить чрезвычайное происшествие. Взятая в плен военной кафедрой пара была милостиво отпущена на все четыре стороны.

На первом и втором курсах начались и "специальные" предметы-общая геология, минералогия и палеонтология, о которых до сих пор вспоминаю с интересом. Практикой по палеонтологии руководил добрейший Борис Васильевич

Наливкин. На зачете надо было определить по внешнему виду тип окаменелости и назвать его по латыни. Моему соседу Коле Золотокрылину достался отпечаток какого-то древнего папоротника, довольно характерный на вид. Коля однако, все вертел его в руках и никак определить не мог. Ну-с, - подошел к нему Наливкин, - что вы про это думаете?" "Если это то, что я думаю, - ответил Коля, - то где же у него глаза?" Уже на втором курсе нашу специальность "геофизические методы разведки полезных ископаемых" перевели с геологоразведочного на специально созданный геофизический факультет. По институту оползли таинственные слухи, что геофизиков будут зачислять на совершенно секретную" специальность по поискам урана. Никакого понятия о ней мы, конечно, не имели, кроме того, что занимается совсем уже секретный СРЕДМАШ под командой "сталинского наркома" Берия. Слухи эти, однако, довольно скоро приобрели вполне реальную основу. В число записавшихся попал и я. Нас пригласили в подвальное помещение, где за обшитой металлом дверью помещалось отделение "радиоактивной разведки", завели на нас обширнейшие анкеты и через некоторое время, приобщив к "форме мер два" и взяв подписки о неразглашении государственной тайны, зачислили на специальность "РФР" - геофизические методы писков радиоактивных полезных ископаемых. Мы, идиоты, попавшие на это "избранное" отделение, помню, еще радовались, совершенно не представляя, что нас ожидает в будущем.

Романтика секретности и государственной необходимости затуманивала наш разум. Особенно нам нравилось, что мы освобождались от обязательных для всех учебных воинских лагерей и получали офицерское звание "просто так". Здоровые и молодые, мы не задумывались всерьез о разрушительном действии радиации и на занятиях по технике безопасности беззаботно пошучивали. Тяжелое похмелье пришло гораздо позднее, уже после института, когда я узнал о безвременной смерти моих однокашников, попавших по окончании на престижную и высокооплачиваемую работу на урановые месторождения у нас и в Чехословакии. Пока же наша будущая специальность была неистощимым предметом различного рода сексуальных шуток. Мною даже была написана веселая песенка мотив популярной тогда песни "Жил на свете золотоискатель", ставшая со временем трагикомическим гимном студентов нашей Несчастной специальности:

На уран он жизнь свою истратил,
Много лет в горах его искал,

И от этой жизни в результате
Он свой громкий голос потерял.
Загрустил от этой он причины
И промолвил с горечью в словах:
"Я теперь уж больше не мужчина,
А всего лишь - облако в штанах".

Сейчас, по прошествии многих лет, я не могу без содрогания пророческий последний куплет:

Он заплакал и пошел, рыдая,
Через реки, горы и поля,
И лежала перед ним большая,
Женщинами полная Земля.

Вспомнив эту дурацкую песенку, я вдруг подумал, а что мы вообще пели в то время на первом и втором курсах, еще не соприкоснувшись с обширным экспедиционным фольклором и "зековскими" песнями? А пели мы то же, что и все

- лирические песни "Ясной ночкою весенней при луне…" или "Над туманами, над туманами огни терриконов горят" и другую подобную дребедень. Память о недавней войне одаривала нас героическими песнями этой уходящей в прошлое эпохи: "На позицию девушка", "Темная ночь" и "Вечер на рейде". И в то же время причастность к студенческому братству давала нам возможность с удовольствием окунуться в древний песенный мир буршей и студентов, который не имел и не имеет срока давности.

С одинаковым усердием, собираясь на нехитрые наши вечеринки, где, как правило, кутежи ограничивались сухим вином, мы распевали традиционные студенческие песни наших предков - "Крамбамбули", "Там, где Крюков канал и Фонтанка-река словно брат и сестра обнимаются", "В гареме нежился султан". При этом обязательно соблюдалась каноническая форма исполнения каждой песни с соответственным позвякиванием бокалов, хоровыми вопросами и ответами типа "Да я не пью! - Врешь, пьешь!" и другой звуковой аранжировкой. Сюда же, конечно, относятся и неизменные песни типа "Жены" ("Холостою жизнью я извелся"), "Кисы-Мурочки", "В пещере каменной нашли поллитра водки" и тому подобных. Интересно, что блатной репертуар типа "Мурки" и других бытовавших в то время песен уголовного мира у нас не прижился.

Наряду с хоровыми "лихими" застольными песнями большой популярностью пользовались жестокие романсы и лирические

песни из репертуара запрещенного тогда Лещенко и близкие к ним по духу. Сюда относились "Как блестят твои глаза", "Осень, прозрачное утро", "Журавли", "Я иду по далекой стране", "Зачем смеяться, если сердцу больно". Почти каждый из поющих, приобретший к тому времени свой собственный опыт первой (конечно, неудачной) любви, вкладывал в эти затертые строчки свой сокровенный смысл.

Честно говоря, и сейчас, когда я вспоминаю строки этих "душещипательных" песен, они кажутся мне куда более содержательными, чем их современные аналоги в крикливом стиле "рок-музыки". Тогда хоть не дергались и не кричали…

Интересно также, что песни пели с одинаковым удовольствием все или почти все. И здесь еще не было разделения на "мы" и "я", столь характерного для нынешнего времени.

На многолюдных первомайских и ноябрьских демонстрациях, где колонна Горного института с огромным транспарантом из тяжелого красного бархата, украшенным изображением орденов, шла сразу же за колонной Балтийского завода, дружно пели "шахтерскую" песню:

Славься шахтеров племя, Славься шахтерский труд! Мы обгоняем время, Сталин - наш лучший друг!

На демонстрации (явка для комсомольцев была обязательной) шли охотно, без понуканий, гордясь пошитой на втором курсе "под стипендию" новенькой формой с золотыми вензелями на "контрпогонах". Пределом счастья для нас, послевоенных юнцов, впервые напяливших эту позолоченную мишуру (двубортная шинель с золотыми пуговицами, высокая фуражка с белым верхом), были те невероятные случаи, становившиеся легендой, когда пьяные матросы на Невском по ошибке в темноте козыряли студентам. У меня в столе до сих пор завалялась фотография 1952 года, где два "отличника-зубрилы", два образцовых комсомольца, добившиеся самой высокой чести - нести на ноябрьской демонстрации транспарант, описанный выше, стоят с бледными от волнения лицами, вцепившись потными руками в толстые, покрашенные пачкающей ладони краской древки, перед внушительной воронихинской колоннадой родного института. Один из них я, а второй - Костя Сергеев, ныне член-корреспондент Академии наук и директор Института морской геологии и геофизики на Дальнем Востоке.

Огромная колонна черных студенческих шинелей, расцвеченная женскими шубейками и пальто, картонными и фанерными изображениями терриконов и шахт, разноцветными шарами и букетами из огромных бумажных цветов, полыхающая начищенной по этому случаю медью институтского духового

оркестра, медленно двигалась вдоль набережной Невы от Двадцать первой линии к мосту Лейтенанта Шмидта по влажной и скользкой василеостровской брусчатке. Справа от нас, на хмурой осенней Неве, под порывами промозглого ноябрьского ветра, раскачивались и дымили хищные эскадренные миноносцы, украшенные мокрыми флагами расцвечивания. Слева на панели толклась разношерстная публика, в которой шустро шныряли стайки шпаны в натянутых на уши "лиговских" кепках с золотыми "фиксами" во рту. Из открытых, окон Высшего военно-морского училища им. Фрунзе махали руками курсанты, оставшиеся в этот праздничный день без увольнений. Справа, скрестив бронзовые руки на узкой адмиральской груди, смотрел под ноги идущим великий русский мореплаватель - немецкий барон Иван Федорович Крузенштерн.

На углу Восьмой линии, где на набережную, мерцая тусклой сталью, выскакивали скользкие, как змеи, трамвайные рельсы, колонна обычно останавливалась. Здесь в ряд стояли "полуторки", открытые грузовики и фургоны с бортами, украшенными красным кумачом и словами "Сталину - слава". С них шла бойкая торговля водкой и нехитрой, но зато и недорогой закуской. Наиболее популярным видом бутербродов были так называемые "сестры Федоровы"

- три кильки, положенные на ломоть черного хлеба. Через борта машин в наши протянутые руки легко вылетали баснословно дешевые в те времена "маленькие" и "мерзавчики". Если же в колонну попадала "поллитровка", то она передавалась по шеренге слева направо. При этом каждый на ходу делал по глотку, а правофланговый выкидывал пустую бутылку. Еще вполне здравствующий тогда Верховный Главнокомандующий, "наш лучший друг", с огромного портрета, заслонявшего окна трех этажей на "Доме академиков" напротив въезда на мост Лейтенанта Шмидта, зорко смотрел прямо в глаза и в рот каждому из нас, чтобы никто не смел увернуться от обжигающего глотка водки и бодрого маршевого припева.

Время моей учебы в Горном институте совпало с драматическими событиями в истории страны. Пятьдесят третий год начался "делом врачей". По каналу Круштейна шел, раскачиваясь и размахивая руками, пьяный, белыми от бешенства невидящими глазами пристально вглядываясь в лица встречных. "Жиды! - кричал он, - жиды вонючие! Убирайтесь отсюда! Всех будем травить, как крыс!" Густая слюна текла по серой щетине его небритого подбородка.

Сравнительно недавно издательство "Пик" опубликовало "фантастический роман" не печатавшегося ранее писателя

Ерашева "Что было бы, если бы Сталин прожил еще неделю?" А было бы вот что: в помещении Московского цирка планировался открытый процесс над врачами-убийцами и их последующая публичная казнь на Лобном месте на Красной площади. Репортаж о казни должен был вести Вадим Синявский. Бригаде художников было заказано соответствующее оформление Красной площади. Было уже написано (это не фантастика, а факт) коллективное письмо, подписанное виднейшими деятелями науки и культуры - советскими евреями, в котором они признавали коллективную вину евреев и требовали их депортации на Дальний Восток. Документ этот и подписи под ним существуют реально. По приказу Сталина были подготовлены эшелоны для депортации, а в Хабаровском крае уже построены лагерные зоны специально для высланных. При этом число мест в бараках планировалось не более чем на половину людского поголовья, отправляемого на восток, - половина должна была умереть по дороге.

Ничего этого я, конечно, не знал и знать не мог. Помню морозный мартовский день 53 года, переполненный актовый зал института, хмурые мужские лица и заплаканные глаза женщин. Огромная мраморная статуя вождя возвышалась над залом, где выступавшие клялись в верности сталинскому пути и обращались к правительству с просьбой присвоить институту имя Сталина. На следующее утро мы, второкурсники, всей группой отправились в конец Московского шоссе

- тогда оно носило название Проспект Сталина. Туда, где почти на выезде из города, около Средней Рогатки, стояли с обеих сторон проспекта бронзовые фигуры Ленина и Сталина. Путь был не близкий, на автобусе, - метро еще в ту пору не было. С собою мы везли огромный венок, купленный на нищие студенческие стипендии. В полной тишине, сняв шапки, мы прислонили наш венок к заиндевелому мраморному основанию памятника. Умерший вождь равнодушно смотрел теперь уже не в глаза каждому, а поверх наших голов, в сторону Пулково, в лиловую морозную мглу, пропитанную бензиновой гарью.

Через несколько лет, после XX съезда, статую с постамента сняли. Взорам всех приезжих, едущих из аэропорта в город, открывалась странная картина: Ленин, показывающий на пустой постамент напротив. Через какое-то время исчез и постамент, а потом убрали и осиротевшего Ленина.

Первая моя производственная практика, открывшая начало экспедиционной жизни, состоялась в одной из поисковых партий так называемой "Восточной экспедиции". Так именовалась одна из экспедиций Первого Главного геологоразведочного Управления министерства геологии, занимавшегося поисками урана. Работала

она в Средней Азии совместно с Отделом специсследований Всесоюзного геологического института, располагавшегося в высоком старинном здании на Среднем проспекте Васильевского острова, неподалеку от Горного.

Еще с начала второго семестра на третьем курсе, за несколько месяцев до практики в аудиториях обсуждались разные варианты экспедиций - от Магадана до Кавказа. Высокомерные старшекурсники, уже постоянно "приписанные" к полюбившимся им организациям, оценивающе, как на рынке работорговли, приглядывались к нашим однокурсницам, вербуя их в свои партии и не обращая никакого внимания на нашу бессильную ревность.

Более других в то время котировались две экспедиции Первого Главка - "Горная", работавшая в далекой и таинственной Туве, и "Восточная", работавшая в Средней Азии.

База партии, в которую мы попали на практику, располагалась в Душанбе (тогда - Сталинабаде), куда мы и отправились вчетвером, с моими однокашниками, в длинную дорогу поездом с пересадкой в Москве. Помню, как расстроился мой отец, провожавший меня светлой июньской ночью на Московском вокзале, когда выяснилось, что все пассажиры общего вагона, абонированного для студентов Горного института, мертвецки пьяны, как сокрушался потом о выбранной мною профессии.

Поезд от Москвы до Сталинабада шел тогда около шести суток. Скромные наши студенческие финансы кончились примерно на третий день. Кто-то из сердобольных соседей посоветовал нам купить по пути в России мешок картошки, чтобы продать его в Средней Азии. Мы сдуру потратили последние рубли на эту картошку, но у нас уже и за Аралом никто ее почему-то не покупал. Сварить ее в условиях общего вагона не удалось, так что в Сталинабад мы прибыли голодные и одуревшие от жары. Что касается жары, то у меня на много лет осталось неизгладимое воспоминание от этого первого путешествия: в соседнем "купейном" вагоне, на отрезке дороги между Термезом и Картами сидели голые офицеры, вытирая пот грязными полотенцами и, морщась, пили теплую водку.

В Сталинабаде нас накормили, снабдили горными ботинками "на шипах", наскоро обучили работе с радиометрами и развезли на грузовиках в горы, в поисковые отряды. Так началась экспедиционная жизнь. Состояла она из изнурительных каждодневных маршрутов по горам Гиссарского хребта, целью которых было геологическое картирование и поиски урана. Ходили в маршруты по двое - геолог и геофизик с радиометром

для поисков радиоактивных аномалий.

Превышения в день достигали двух-трех километров, да и карабкаться приходилось часто по почти отвесным склонам, цепляясь пальцами за обманчивые выступы скал. Вот где мы хлебнули первого страха! Если геолог мог хоть немного помочь себе геологическим молотком, цепляясь им за скалы или выбивая ступеньки в дресве, то уж геофизик (то есть я) со своим громоздким и неуклюжим прибором, болтавшимся на груди и больно бившим при каждом очередном падении, был совершенно беспомощен. До сих пор помню, как хорошо было лезть вверх по сланцевым скалам с их плитчатой отдельностью, как бы создающей природные ступеньки, и как тяжело - по гранитам, с их округлыми

- не зацепиться - поверхностями, покрытыми мелкой острой дресвой, в кровь ранящей руки. А грозные гюрзы и другие ядовитые змеи, притаившиеся в расселинах скал! А десятки скорпионов и фаланг, вылезавшие по ночам к палаткам на свет! А обманчивые ледовые фирны в ущельях, где только оступись

- и засквозишь неведомо куда!

Работы по поискам урана проводились в обстановке сугубой секретности. Пикетажки, куда мы записывали показания радиометров, выдавались нам представителями "первого отдела" в виде строго прошитых и опечатанных тетрадок. Записи можно было вести только в них. Само слово "уран" в переговорах по радио и при переписке было строго запрещено - вместо него говорили "теллур". Пикетажки эти полагалось хранить во что бы то ни стало, за утерю - суд.

До сих пор помню чувство беспомощности, испытанное мною уже на другой год на том же Гиссарском хребте. Мы с моим геологом Костей Григорьевым удобно расположились на привал у ручья под редкой сенью низкорослой арчи, сняв с себя - он рюкзак с образцами, я - надоевший и раскалившийся на солнце радиометр. Не успели мы расслабиться, как раздалось грозное хрюканье, и по распадку прямо на нас понеслось несколько рослых кабанов. Уж не помню как, но практически молниеносно, мы с Костей ухитрились вскарабкаться на самое высокое деревце, бросив все пожитки внизу. Семейство кабанов закружилось под нами, тыча в них розовые пятачки, трогательно контрастировавшие с внушительными клыками.

И тут я, несмотря на жару, похолодел от ужаса, увидев, что мой "сов. секретный" полевой дневник валяется внизу, и огромный секач- глава семейства к нему внимательно принюхивается - не схарчить ли. Служебный долг и боязнь неминуемой посадки боролись во мне с вполне естественным

животным страхом. Я с надеждой посмотрел на геолога, ожидая приказа, но он нахмурился и отвернулся. Тут я окончательно понял, что вниз ни за что не полезу. На мое счастье, потоптавшись под деревом и слегка унавозив "сов. секретное имущество", свинячье семейство неспешно отправилось дальше.

Через каждые несколько дней отрядный лагерь менял свое место. Никаких вертолетов в ту пору в каждодневном обиходе еще не было, и перебазировались с помощью вьючных лошадей, на которых грузили весь скарб - палатки, вьючные ящики и сумы. Рабочими и коноводами были местные таджики, нанимавшиеся на сезон. Были они все молодыми, непьющими и верующими. Все носили усы одинаковой формы - опущенные от углов рта вниз. Кто-то сказал мне, что такая форма усов считается в Таджикистане общепринятой "из-за Буденного". "Как это из-за Буденного?" - не понял я. И мне объяснили, что в годы коллективизации и "борьбы с басмачеством" по горам и долинам Таджикистана огнем и мечом прошелся легендарный маршал Семен Михайлович Буденный, посланный сюда насаждать советскую власть. Мне часто потом в маршрутах доводилось набредать на брошенные и разоренные кишлаки, где в безлюдных глинобитных домах шуршат обжившие их змеи. Так вот, таджики с тех пор закручивают усы концами вниз, потому что Буденный носил их концами вверх…

По вечерам костров, как правило, не жгли, песен не пели и ложились рано

- во-первых, вставали около пяти утра, чтобы начать маршрут не по жаре, а во-вторых, уставали смертельно, поначалу не столько от физической нагрузки (хотя и от нее, конечно), сколько от нервного напряжения. Несколько лет потом мне все снились сны, что я оступаюсь на скальном карнизе и падаю. И я просыпался в холодном поту.

Не менее рискованными оказывались и переходы с вьючными лошадьми. Перемещались по узким козьим тропам, над скальными обрывами и ущельями, что чревато было ежеминутными неприятностями, особенно после дождей. Лошадей вьючили до отказа. Они, зная это, старались надувать животы, на которых затягивали подпругу. Полагалось поэтому резко ударить носком сапога лошадь в брюхо, и сразу же после этого туго затянуть подпругу. Надежность вьюка проверялась тем, что полностью навьюченную лошадь прогоняли вскачь по ровному месту. Если вьюк не разваливался, он считался готовым. Сложной наукой оказалось и ведение лошади в поводу по узкой тропе или оврингу над пропастью или крутым склоном. Животное каждую минуту могло испугаться или оступиться, поэтому

категорически запрещалось наматывать повод на руку. В то же время, всегда надо было быть готовым разгрузить упавшую или испугавшуюся лошадь от вьюка, особенно съехавшего набок, не забывая в то же время постоянно успокаивать ее, чтобы она не начала биться и метаться.

В связи с этим вспоминается странная история, происшедшая на первой производственной практике. Мы, не помню уж зачем, приехали в Сталинабад, и по пути обратно в горы заехали на ГАЗ-51 на рынок. Начальник партии вместе с шофером пошли закупать арбузы, а мы с Олегом (так звали моего товарища) остались стоять в тени машины на пыльной базарной площади. Одеты мы были в выгоревшие и драные ковбойки, сатиновые тренировочные штаны и войлочные широкополые шляпы, носившие почему-то название "мечта идиота". На ногах красовались изрядно поизносившиеся "горные ботинки", подбитые на общий манер кусками автомобильного баллона, что, как утверждали знатоки, обеспечивало меньшее скольжение их на крутом склоне. По этому наряду, выделявшему нас из пестро-халатной и тюбетеечной толпы аборигенов, а также по начисто сгоревшим и облупленным от непривычного солнца носам, опознать в нас геологов-практикантов было нетрудно.

К нам подошла цыганка, обликом своим сразу же напомнившая мне старуху Изергиль. Волосы ее были седыми с темно-лиловым оттенком, глаза - в таких же темно-лилового цвета глазных впадинах - казались неподвижными и пугающими. Лилово-черным был и платок на ее голове. В это время в Сталинабаде дул "афганец", южный ветер, приносивший в город мелко взмученную пыль. Пыль эта, висевшая в воздухе, делала его полупрозрачным, поэтому все краски темнели и насыщались, как на театральной сцене при боковом освещении через фильтр. Старуха предложила нам погадать, но денег у нас не было, да и желания узнать судьбу тоже, поэтому, чтобы отвязаться, мы отдали ей случайно оставшийся рубль. Она явно оскорбилась и, цепко схватив своими худыми пальцами Олега за запястье, стала гадать. И он, и я при этом впали в какое-то странное, до сих пор непонятное мне, оцепенение и покорно выслушали все, что она нам нашептала своей хриплой скороговоркой. "Кончишь учиться - большим начальником станешь, - сказала она Олегу. - Самую дорогую руду найдешь, там, где другой не найдет. Орден красный получишь и денег несметно. А потом в горах разобьешься. Еще тридцати тебе не будет, а разобьешься".

Я бы и не вспомнил после про старушечьи бредни, если бы не странность последовавших за этим событий. В 1957 году мы с Олегом окончили родной Горный институт и расстались навсегда.

Он попал по распределению в Алтайскую экспедицию в Усть-Каменогорск, и я с ним больше не встречался. Через пару лет я узнал, что Олегу крупно повезло - в каком-то районе, уже забракованном как неперспективный предыдущими геологическими съемками, он совершенно неожиданно наткнулся на крупнейшее месторождение ртути. О нем писали в газетах. Олег вместе с другими был представлен сначала к ордену, а через год и к Государственной премии. Несколько позднее я узнал, что министерство геологии, несмотря на его молодость, назначило Олега начальником большой экспедиции и заместителем начальника краевого геологического управления.

О дальнейшей его судьбе я узнал только в конце шестидесятых годов, когда сам уже полностью переключился на морскую геологию.

За несколько дней до своего тридцатилетия, по причине которого был уже заказан банкет в городском ресторане, Олег, будучи большим начальником, прилетел на вертолете инспектировать какую-то поисковую партию на Алтае. Работы партии ввиду наступления осени уже сворачивались, и она, как когда-то мы на Гиссаре, должна была выходить с караваном вьючных лошадей вниз. Погода случилась нелетная, и, не дождавшись вертолета и боясь опоздать на собственный юбилей, Олег решил отправиться пешком вместе со всеми. Уж никак не могу понять, с какой стати ему, крупному начальнику, вдруг вздумалось самому вести в поводу вьючную лошадь, да еще в нарушение самых элементарных правил безопасности, которым нас обучали еще в студенчестве, намотать на руку повод. На крутом и скользком склоне над обрывом лошадь оступилась и сорвалась в пропасть, унеся с собой Олега.

Что касается нашего тогдашнего отношения к опасностям, то мы привыкли к ним как к неизменной детали нашего повседневного быта. Нам даже надбавку к зарплате платили за это - двадцать процентов "высокогорных" - как говорилось, "плата за страх". И тем не менее, уже в первый полевой сезон мне довелось быть свидетелем гибели своего коллеги - двадцатипятилетнего Адольфа Образцова, насмерть разбившегося в маршруте. Истерзанное его тело, расклеванное орлами, долго не могли достать со дна ущелья, а достав, тащили на веревках до тропы, потому что иначе было нельзя. Эта первая в моей жизни безвременная смерть врезалась в память, и тогда же я написал об этом песню, где был такой припев: "Снова солнце встает с утра, нам в маршрут собираться пора." Песня эта уже как безымянная, некоторое время просуществовала, но потом почему-то поползла слух, что она приносит несчастье в горах. Мне по окончании

Горного в горах больше работать не доводилось, однако и сам я эту песню петь не люблю.

Из странных мистических явлений, запомнившихся мне в студенческие годы по экспедициям на Гиссарском хребте, помню еще одно. Ясной лунной ночью, в полном безветрии, палатки наши стояли на плоском травянистом склоне на берегу узкой и бурной горной речушки, у самого подножья отвесных и неприступных гранитных скал. Напротив нас, на том берегу реки - такой же травянистый склон, со всех сторон также замкнутый отвесными скалами. В отличие от нашего берега, вдоль которого шла узкая вьючная тропа, противоположный берег для людей был недоступен. Перед палатками стоял складной походный стол, на котором мирно горела свеча. Четверо геологов при свете огарка яростно сражались "в пульку".

Вдруг неожиданно и громко завыли обе наши собаки, а через несколько минут после этого прибежал рабочий Сайд и стал взволнованно и сбивчиво, забыв от испуга русские слова, что-то мне объяснять, все время показывая рукой в сторону противоположного (берега. Мы пригляделись и вдруг увидели странную процессию - около десятка темных фигур, напоминавших средневековых монахов с накинутыми на голову капюшонами, спускались вниз по склону от нижнего края скальной гряды, направляясь в нашу сторону. Перед каждым из них колыхалось в такт их движениям бледно-голубое пламя, как будто каждый нес перед собой огромную свечу. И хотя за ревом реки и стуком швыряемых ею камней ничего разобрать было невозможно, мне показалось, что слышно монотонное пение. Как могли попасть люди в это неприступное место? Из путаных речей нашего проводника, требовавшего немедленно бежать, стало понятно наконец, что по местному поверью, души умерших и не преданных земле бродят в лунные ночи по горам с непогашенным огнем и умерщвляют грешных людей своим прикосновением. Сидевшие вокруг стола так и застыли с картами в руках. Собаки продолжали выть. Никто был не в состоянии двинуться с места. Дойдя почти до реки, тени и огни исчезли. Я взглянул на часы. Все это продолжалось не более десяти минут. Сайд, успокоившись, ушел, собаки замолчали, преферанс был продолжен, и о странном событии скоро забыли. До сих пор не могу понять, что это было - мираж? Массовая галлюцинация?

В наших поисковых партиях работали несколько женщин, которые казались нам тогда уже пожилыми. Еще бы - ведь им уже было за тридцать. Маршруты вдвоем - геолог и геофизик - иногда выходили двух-трехдневными - через горный перевал.. Обычно брали с собой продукты и один спальный мешок на двоих - во-

первых, легче нести, во-вторых, ночью на перевале было так холодно, что приходилось спать вдвоем в одном мешке, тесно прижавшись друг к другу. Иногда нашими геологами были и женщины. Ни разу, однако, помнится, при том даже, когда спали с ними в обнимку в одном мешке, не возникало никакого сексуального чувства. Во-первых, - старые (нам-то было по девятнадцать), во-вторых - безумно уставали за день.

Что же касается памятных историй, то приключались, конечно, не только мрачные, но и порой смешные. В число методов поиска месторождений урана входил так называемый эманационный. Дело в том, что в процессе распада соединения урана могут образовывать радиоактивный газ - радон, а соединения тория - торон. Если месторождение урановой руды в коренных породах закрыто сверху чехлом осадков, то газ этот может проникать снизу в почвенный слой, создавая эманационный ареал. Поэтому на горных склонах, закрытых почвой, уран искали так: откачивали специальным насосом из шпуров в почве воздух в специальные резиновые мешочки и затем отправляли их в Сталинабад, в лабораторию, на определение содержания торона или радона. При этом в качестве "резиновых мешочков" весьма успешно использовались обычные презервативы. В один прекрасный день они вдруг кончились, и меня вместе со "старшим", которым был тоже студент-практикант Гена Слонимский, учившийся когда-то со мной в одной школе, отправили за пополнением "резиновых мешочков" в Сталинабад, поскольку их отсутствие грозило срывом работ.

Мы с Геной, исполненные важностью нашей миссии, оседлали коней и поскакали вниз. "Девушка, нам, пожалуйста, презервативы", - заявил Геннадий, осадивший своего Басмача у дверей центральной аптеки, где по случаю жаркого дня было безлюдно. "Сколько?" - спросила продавщица. "Две тысячи", - гордо сообщил Гена. Девушка всплеснула руками и скрылась за дверью с надписью "заведующий". Через несколько минут оттуда появился старый еврей-провизор в серебряных очках. "В чем дело, Леночка?" - переспросил он, и, наморщив лоб, посмотрел на нас поверх очков. "Лев Исаакович, они просят две тысячи!" - "Ну и что? - невозмутимо заметил провизор, - отпустите, может быть, у них вечеринка"…

Несколько месяцев, проведенных в горах, тяжелые маршруты на солнцепеке, скупой палаточный быт (хотя по нынешним временам он не был таким уж скупым

- всегда были и фрукты, и арбузы, и свежая баранина) закалили наши городские нетренированные тела, укрепили уверенность в том, что профессию мы выбрали верно. Самое

замечательное, как я понял уже значительно позднее, что за три года, которые я проработал на производственной практике в Средней Азии, сначала на Гиссарском хребте, а потом на Тахталыкской гряде Тянь-Шаня, никаких серьезных рудопроявлений урана мы так и не обнаружили, как ни старались.

Зато запомнились на всю жизнь яркие крупные и близкие звезды над ночным хребтом, лунное мерцание соседних ледников, пронзительно-голубые краски мечетей и медресе, недолгое ощущение счастья, когда поднимаешься на недоступную, казалось бы, вершину и приятный холодок штатива на обожженном солнцем плече. Теперь, когда я вспоминаю это время, из памяти начисто выветриваются все невзгоды и неприятности, которых было, видимо, немало. Остаются только сожаление о невозможности вернуть эти первые ощущения страха, смешанного с постоянным восхищением многогранностью и богатством таинственной горной страны, и тоска по утраченному ныне собственному легкому и послушному телу, стремительно карабкавшемуся когда-то по отвесным кручам.

Запомнилось мне с тех пор и одно древнеперсидское изречение, выбитое на скальной стене: "В горах кто ходит медленно, тот ходит хорошо, а кто ходит хорошо, тот ходит быстро".

Первой практике, знаменовавшей начало экспедиционной жизни, предшествовало еще одно немаловажное событие - осенью 1953 года, при активном содействии Володи Британишского и Саши Гдалина, учившихся со мной на одном курсе, в Горном институте было организовано литературное объединение. В качестве его руководителя, конечно же, приглашен был Глеб Сергеевич Семенов.

В Горном выходила в то время многотиражка "Горняцкая правда", вокруг редакции которой группировались люди, интересующиеся литературой или уже пишущие. Главный редактор этой газеты Павел Иванович Мустель, ставший позднее ректором Горного института, оказал нам немалую поддержку, и, наконец, профком и комитет комсомола приняли соответствующее решение. Первые занятия "объединения", на которые собиралось вначале не более десяти человек, проходили в тесной комнатке редакции, но популярность ЛИТО стала быстро расти, и уже через месяц для каждого занятия нужна была аудитория. Мы с Володей в ту пору были уже третьекурсниками, и я, как один из организаторов, стал первым

старостой ЛИТО.

Костяк его составили начинающие поэты. В их число вошли

геологи Геннадий Трофимов и Игорь Тупорылов, старше нас на курс, студенты-геологи пятьдесят третьего года поступления Леонид Агеев и Олег Тарутин, наша сокурсница Лина Гольдман, студентка с нефтяной геофизики Лидия Гладкая. Несколько позднее в ЛИТО вошли первокурсники с геологоразведочного факультета Елена Кумпан и Яков Виньковецкий, студент-буровик Андрей Битов, писавший вначале, очень недолго, стихи, а затем переключившийся на прозу, геолог Эдуард Кутырев и другие. Проза была поначалу представлена Анатолием Кравчинским, в отличие от известного классика именовавшимся "Кравчинский-не Степняк", Всеволодом Белоцерковским, быстро переметнувшимся в режиссеры, а также уже упомянутыми Битовым и Виньковецким.

Занятия велись примерно по той же схеме, что когда-то во Дворце пионеров. Контингент, однако, был иной, да и эпоха была уже совсем другая - умер Сталин, приближался Двадцатый съезд. Для нас, студентов Горного, выбравших себе, как мы были уверены, самую "земную" специальность, литературные увлечения были не абстрактными, а дополняющими суровую и горькую нашу действительность, перемещением в отвлеченный от нее мир "изящной словесности", но формой осмысления этой действительности и, прежде всего, попыткой мучительного прозрения от детски-просталинских иллюзий. Может быть, именно поэтому основным направлением в ЛИТО стало сугубо реалистическое, из-за чего мы довольно скоро получили полунасмешливое название "почвенники". В названии этом, однако, как я думаю сейчас, не было, по существу, ничего обидного, ибо оно довольно точно соответствовало реальности.

Наиболее яркими представителями этого направления были, конечно, Леонид Агеев, Олег Тарутин и Володя Британишский. Несколько позднее к нам в ЛИТО пришли поэты из других объединений -Нина Королева, Глеб Горбовский, и еще позднее - Александр Кушнер.

С самого начала "горняцкого объединения" или, как мы называли его в ту пору "глеб гвардии семеновского полка", в нем установился нетипичный в то время дух демократии, который, как я теперь понимаю, был определен в первую очередь Глебом Сергеевичем Семеновым. На обсуждениях стихов, встречах с поэтами из ЛИТО и просто в разговорах, он никогда не выглядел ментором, скорее - старшим товарищем. Чем далее, тем больше он незаметно становился как бы нашим ровесником и, возможно, сам чему-то учился. Ничего удивительного в этом не было - все как-то незаметно стали друг другу друзьями-соперниками и учителями, тем более, что круг доступного нам чтения был достаточно узок и о многом мы узнавали друг от друга.

В это время в Ленинграде существовало несколько групп молодых дых поэтов. Наиболее "официальным" было университетское объединение, которое состояло в основном из филологов. Сюда входили Борисова, Илья Фоняков, Владимир Торопыгин, Валентин Горшков и некоторые другие. Большой популярностью пользовалось ЛИТО при Доме культуры трудовых резервов, которым руководил Давид Яковлевич Дар. Именно оттуда пришел Глеб Горбовский, там занимались в те годы Виктор Соснора, Алексей Ельянов и другие поэты и прозаики.

Наиболее близкая к рафинированному литературному слою группа создала (правда, несколько позднее) круг, который концентрировался вокруг Анны Андреевны Ахматовой. В него входили Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев и, наконец, нынешний Нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Они-то и назвали нас "почвенниками". Особняком держались авангардисты - Уфлянд, Еремин и Виноградов.

Существовало также литобъединение в Политехническом институте, видную роль в котором играл поэт Виктор Берлин, и на занятия которого ходили Александр Штейнберг, Борис Голлер, Владимир Марамзин и другие.

В 1954 году в актовом зале Политехнического института начались общегородские вечера студенческой поэзии, проходившие при огромном стечении народа. У меня много лет хранится "самиздатовский" сборник по материалам одного из таких вечеров, с памятной надписью "талантливым горнякам от литобъединения Политехнического института". Там напечатаны стихи Валентина Горшкова, Виктора Берлина, Бориса Голлера и многих других. При всей похожести отдельных авторов их объединяет энергия и некая устремленность в завтра, которой, при всей несравнимости уровня нынешней гласности и дозволенности, сегодня нет.

Возвращаясь к нашему горняцкому ЛИТО, надо сказать, что его "идейными лидерами" в ту пору, в действительности, были Британишский, Агеев и Тарутин, а поэтическим - Глеб Горбовский.

Я вспоминаю вечера поэзии, на которых выходил Володя Британишский, худой, казавшийся всегда почему-то небритым, в заношенной горняцкой тужурке, и читал свои героические, по тем временам, стихи о вечере встречи в родной школе "Обстановка совсем семейная, - семьи тоже бывают лживые", или стихи о курсантах "Не любитель я военщины, только хочется и мне, чтобы девушки и женщины уважали их вдвойне". До сих пор помню короткое его стихотворение, которое неизменно пугало тогдашних ревнителей "идейной выдержанности":

Меня едва не сбили с ног -
Гудок.
А за стеклом, с шофером рядом,
Вкушая необъятным задом
Подушек кожаный покой,
Сидит с чужим недобрым взглядом
Другой.
Другой - не из другой страны,
Попутным ветром занесен.
Другой - не из других времен
Не пережиток старины,
Из наших мест, из наших дней,
Такой другой куда страшней.
Вот он глядит, и взгляд сердит,
Шофер - его шофер - гудит.
И этот взгляд, и этот тон,
Мне говорят, что я - не он.
Что я, мол, от природы - пеш,
А он в машине родился.
Что разница большая меж,
И мне, мол, непонятна вся.
Когда я всю ее пойму,
Ох, будет весело ему!

Стихи эти, написанные в пятьдесят шестом году, напечатаны были только в девяностом. Но уже тогда они ходили в списках, смело обличая всемогущий класс "аппаратчиков".

Леонид Агеев писал тогда же жесткие и горькие стихи о поэтах, погибших в тридцать седьмом:

Еще их тело сытое, хмельное, Блаженствует. Не этому ли телу С распоротою пулею спиною Упасть, хрипя, под каменную стену?

Что же касается поэтических открытий, то ими буквально молодой Глеб Горбовский, в стихах которого казалось бы обыденный мир вокруг нас преображался в таинственную страну:

Просеменила муха вдоль клеенки,
И в блюдечко уткнулась хоботком.
Отравленная, умирать в сторонку
Отправилась на животе ползком.
Жаль мне муху - безрассудна муха,
Доконала муху Смерть-старуха.
Но прекрасен в блюдце мухомор -
Красный в белых крапинках убор.
Нет, конец у мухи не простой -

Отравилась муха красотой.

Только поэтический глаз Горбовского мог заметить очевидную вещь: "крокодилы ходят лежа". Холодом северного пространства шали строки его стихов, привезенных из первых экспедиций, он работал рабочим-взрывником:

Пустыня кончится обрывом
В необозримый океан.
Твой воротник стоит, как грива,
Твое шоссе - меридиан.

Тема отдельного разговора - песни Глеба Горбовского, ставшие целой эпохой в Ленинграде конца пятидесятых. Песни эти, написанные по большей части на расхожие мотивы, тут же распространись и распевались не только нами, его друзьями, но и широким кругом людей, о нем никогда не слыхавших. Пожалуй, наиболее известной стала песня Горбовского, придуманная им на оригинальный мотив - "Когда качаются фонарики ночные". Мне неоднократно приходилось в самых разных местах до хрипоты спорить, доказывая авторство Глеба, с яростными сторонниками "древнего народного" происхождения этой песни. Широкой популярностью пользовалась в шестидесятые годы в Ленинграде его песня о художниках "На дива- на диване, на диване, мы лежим - художники. У меня, у меня да и у Вани протянулись ноженьки". А мы в те годы с удовольствием дома и на улице распевали его песни о незадачливом постовом:

У помещенья "пиво-воды"
Стоял не пьяный постовой,
Слуга народа из народа, ;
Как говорится, парень свой.

Надо сказать, что сам Горбовский на гитаре не играл, песни пел только вместе со всеми "а капелла" и со сцены их не пел, кажется, никогда.

Важным событием в нашей тогдашней жизни, как и в жизни нашего поколения, был Двадцатый съезд партии и доклад Хрущева,, впервые открыто разоблачившего культ Сталина. Рухнул идол, завалив своими обломками все жизненное пространство. Надо было заново учиться жить. Это не могло не отразиться в стихах, которые мы писали.

Совсем недавно, весной девяностого года, в Ленинграде, благодаря инициативе Майи Борисовой, вышел стихотворный сборник "То время - эти голоса. (Ленинград, поэты оттепели)". В него вошли стихи Владимира Британишского, Глеба Горбовского, Леонида Агеева, Олега Тарутина, Александра Кушнера и других поэтов, связанных в те годы с ЛИТО Горного института. Посвящен этот сборник памяти безвременно ушедшей из жизни поэтессы Татьяны Галушко, тоже имевшей отношение к Глебу Семенову. Неслучайно, вспоминая о той поре в предисловии к своим стихам, неожиданно и трагически ушедший из жизни Леонид Агеев написал в этой книге: "Были "лишние люди"… Было "потерянное поколение" Ремарка. Был заданный однажды себе вопрос: "А из какого поколения ты? Как его нарекут, если такому суждено случиться, потомки?" Находился и ответ: "Я из поколения "детей войны", тех самых, родившихся незадолго перед началом Великой Отечественной". На пятом десятке всплыло и утвердилось новое - не то чтобы более точное, а просто иного плана понятие: обманутое поколение. Я из поколения обманутых…

Опознанию первого обмана помог XX съезд. О культе и репрессиях говорили и раньше, до съезда; настойчивее - после 1953 года. Мне и двадцати не было. Молодо-зелено, но не настолько, чтобы, наслушавшись таких -чаще полушепотом

- разговоров, не добраться до материалов всех съездов ВКП(б) и не сравнить, с карандашом в руках, в первую очередь - списки руководящих органов партии, избранных XVI и XVII съездами. Обман оказался жестким: с детства тебе рассказывали сказку о самом добром, самом мудром, самом заботливом отце-вожде-учителе. Он же, оказывается, был совсем не таким: нехорошим, по меньшей мере, был человеком, а скорее всего - настоящим злодеем.

Услышать сказанное Хрущевым на XX съезде я был готов. В 1957 году Сталин для меня умер вторично. Труп я сжег, прах развеял. Хрущевский и брежневский обманы были впереди"…

Перечитывая сегодня в книге "То время - эти голоса" наши старые стихи, пусть наивные с позиций сегодняшнего времени, я все-таки испытываю радость за них и за нас тогдашних.

В 1956 году и думать было нельзя эти стихи напечатать. Ценой больших усилий на ротаторе Горного института был на правах рукописи выпущен тиражом триста экземпляров сборник стихов членов ЛИТО, под редакцией Глеба Семенова, ставший теперь предметом зависти коллекционеров. Вместе с нашими стихами туда вошли также стихи студентов ЛГИ более старших поколений - Нины Островской, Бориса Рацера, Льва Куклина, Игоря Тупорылова. Из "литовцев" там

- Игорь Трофимов, Лидия Гладкая, Горбовский, Эдуард Кутырев, Леонид Агеев, Олег Тарутин, Владимир Британишский и я.

Поскольку сборник разошелся моментально, решили сделать эй выпуск, существенно расширив круг авторов. Этот второй выпуск действительно вышел в 1957 году. Ему, однако, не повезло. В это время проходил первый Всемирный фестиваль молодежи, и цензура была особенно бдительна. Сборник попался кому-то на глаза и вызвал бурю. По категорическому указанию партийных ей партком института принял решение весь тираж сборника уничтожить, и он был сожжен в котельной института. Чудом уцелело только несколько экземпляров.

Уничтожение этого сборника, а также ряд доносов в разные инстанции, включая КГБ, привели к тому, что занятия ЛИТО Горного института в 1957 году были прекращены, а Глеб Сергеевич Семенов был из него изгнан.

Одним из поводов этого разгрома послужили также стихи Лидии Гладкой, посвященные происходившим тогда печально известным венгерским событиям:

Там алая кровь заливает асфальт,
Там русское "стой" - как немецкое "хальт"…

"Богема проклятая", - стучал на нас кулаком секретарь парткома института Олег Васильевич Литвиненко, - до прямой антисоветчины докатились!"

И хотя ЛИТО формально не закрыли, вместо Глеба Семенова из Союза писателей был приглашен руководить им Дмитрий Леваневский, хорошо известный своим приспособленчеством. На этом недолгий взлет ЛИТО Горного института закончился. Мы же, питомцы Семенова, уже после окончания Горного, перебрались в его ЛИТО в Доме культуры им. Первой пятилетки, которое он вел в последующие годы. Там на занятия вместе с нами приходили Александр Кушнер, Яков Гордин, Ноина Слепакова, Вадим Халупович, Виктор Соснора, Анатолий Пикач, Майя Данини и многие другие, прочно вошедшие позднее в ленинградскую литературу.

Вспоминая о ЛИТО Горного института, нельзя не сказать о Якове Виньковецком, который гораздо позднее - уже в 1975 году эмигрировал в США и трагически погиб, кончив жизнь самоубийством. Это был человек удивительных и разносторонних талантов, окончании Горного довольно быстро защитил кандидатскую. Писал прозу. Потом увлекся живописью и приобрел довольно широкую известность как художник-

модернист и в Союзе, и за рубежом. Я вспоминаю споры между ним и сугубым реалистом Леней Агеевым, который, глядя на абстрактную Яшину живопись, говорил: "Яша, я признаю, что ты настоящий художник. Только ты нарисуй меня, или вот птичку, чтобы похоже было. А потом рисуй любую абстракцию. А пока ты птичку не нарисуешь, я тебя художником не признаю". Виньковецкий при этом всячески ругал Агеева, но птичку не рисовал.

Был он человеком удивительным. Незадолго до своего отъезда написал и опубликовал - как рукописное издание - небольшую книжку об устройстве Земли, которая отражает скорее не геологические, а натурфилософские его взгляды. Неожиданная его смерть всех потрясла…

Что касается Андрея Битова, то он впоследствии перешел из ЛИТО Горного института в ЛИТО при альманахе "Молодой Ленинград", бывший в те годы единственным изданием, реально доступным для молодых авторов.

Несмотря на сравнительно недолгий срок существования (не более трех лет), ЛИТО в Горном институте сыграло значительную роль в жизни почти каждого из его участников, большая часть которых навсегда связали себя с литературой. Стали профессиональными литераторами Леонид Агеев, Олег Тарутин, Андрей Битов, Нина Королева, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Владимир Британишский и некоторые другие - явление для технического вуза в известной степени уникальное.

Примерно в пятьдесят четвертом - пятьдесят пятом годах в нашем Горном пошла мода на студенческие спектакли. Был даже объявлен конкурс на лучший факультетский спектакль. Тут же возникли группы режиссеров, актеров, и, конечно, в первую очередь, авторов. Главными сценаристами факультетского спектакля геологов были Агеев и Тарутин, на нашем геофизическом факультете

- мы с Володей Британишским.

Тарутин с Агеевым написали лихой текст в стихах, и спектакль с блеском прошел на институтской сцене, явно обеспечив себе первое место. Мало того, в отдельных героях легко угадывались пародийные черты их потенциальных соперников-геофизиков.

Я незадолго перед этим, под впечатлением экспедиций на Гис-сар; написал цикл "мужественных", в духе своего любимого в те поры Киплинга, а на самом деле - довольно беспомощных и подражательных "Стихов о Гиссарском хребте", где всячески воспевал трудности экспедиционного быта и суровые мужские забавы. Поэтому герой агеевско-тарутинской пьесы,

старшекурсник, рассказывающий небылицы робким первокурсникам, гордо заявлял:

Помню, было на Гиссаре…
От сапог подметки ели -
Аж язык распух во рту, -
А последних три недели
Дотянули - на спирту.

Что было делать? Надо было как-то, хотя бы в чем-нибудь обойти торжествовавших геологов. О том, чтобы написать стихотворный текст лучше, чем Агеев с Тарутиным, Не могло быть даже речи. Тогда на заседании факультетского комсомольского бюро было решено написать специально для спектакля песни, которых у геологов не было - чтобы выиграть конкурс. Тем более, что недавно закончивший геофизический факультет молодой композитор Юрий Гурвич обещал написать музыку. Ответственным за тексты песен и их подготовку в спектакле был назначен я - Британишский в это время сал стихотворные репризы, описывая деканатский коридор:

Вот первокурсники-ягнята,
Какими были все когда-то,
На расписание толпой
Глядят с покорностью тупой.
Но, в расписание не глядя,
Шагает старшекурсник-дядя,
Он расписание давно
В сплошное превратил "окно".

Я исправно, к указанному мне сроку, сочинил требуемые тексты для песен, главной из которой в спектакле должен был стать "Геофизический вальс", и отправился к Гурвичу, бывшему в те поры 'Зятем известного ленинградского писателя Юрия Германа. Потом несколько раз звонил ему, но он все говорил, что песня еще не готова наконец, когда до спектакля оставалось всего два дня, я приехал , и он выдал мне нотную запись, которую я, ввиду Своей полной музыкальной безграмотности, прочесть, конечно, не мог. Я тут помчался в Горный и вручил ноты нашей главной "солистке". Посмотрев их, она ударилась в слезы, решительно заявив, что такую сложную мелодию петь не в состоянии. А спектакль - послезавтра. Как же быть? Разгневанный комсомольский секретарь заявил мне: "Ты эту кашу со своим

Гурвичем заварил, ты и распутывай. Как хочешь и что хочешь делай, но чтобы назавтра песня была, иначе - комсомольский билет положишь за срыв факультетского спектакля". Угроза по тем временам казалась мне нешуточной. Гурвич после моего отчаянного звонка к нему обиделся и, обвинив нас в "непонимании музыки", повесил трубку. Положение было критическое. Все что мне оставалось, ценою бессонной ночи (очень не хотелось расставаться с комсомольским билетом - не зря, как-то выступая против меня на занятии ЛИТО, в те годы, Британншский заявил: "Городницкий был когда-то комсоргом и никак не может этого забыть") попытаться придумать нехитрую мелодию песни.

Наутро я принес ее в институт, и певица петь песню согласилась. Так, впервые в своей жизни, я придумал мелодию для песни, по всей видимости, не придумал, а скорее слепил из обрывков мотивов, бывших у меня в то время на слуху. Получилась песня "Геофизический вальс": "Снег на крышах темнеет и тает на исходе весеннего дня". Несколько обнаглев после этого, я придумал тут же еще одну песню "Сонные кони храпят без седла", а Володя Британишский, ревниво следивший за моими потугами, немедленно написал песню для сцены в общежитии:

Задумчиво встали походные кружки
На серой клеенке стола.
Совсем как в палатке, у нас в комнатушке
Не больно-то много тепла.

И мотив к ней он придумал довольно неплохой. В результате мы заняли в конкурсе первое место, и геологи были посрамлены. Правда, бдительная партийная цензура категорически вычеркнула из спектакля строчки диалога во время застолья в студенческом общежитии на Малом-сорок, где тамада провозглашал: "В Москве прошел Двадцатый съезд", а его сосед немедленно добавлял: "Пусть каждый выпьет и заест!"

Так в 1954-55 гг. я начал впервые придумывать мелодии на собственные стихи. К числу самых первых относятся "Песня четвертой партии", упомянутая выше, и злосчастный "Геофизический вальс".

Помимо занятий в ЛИТО, которые обычно проходили раз в неделю, мы довольно часто собирались, читая друг другу стихи и обсуждая их, или споря о прочитанном. Собирались обычно либо у Агеева на Покровке, где у него вместе с его женой Любой была небольшая комната, либо у Олега Тарутина на углу Маклина и

Декабристов. Застолья при этом были чисто символическими, главное

- что читалось и говорилось, хотя, конечно, серьезные выпивки, особенно с участием Глеба Горбовского, тоже случались. Как-то в зимнюю пору мы с ним и с Агеевым распивали "маленькую" на невском льду, перед сфинксами, а поскольку стакана не было, то вырезали ножом рюмку из яблока. Вообще - умение выпить входило как бы в кодекс "горняцкого" бытия. Помню, как все смеялись над Сашей Кушнером, когда на мои проводы в экспедицию вместо общепринятой поллитры он принес торт, перевязанный голубой ленточкой.

У меня на старой и затертой допотопной бобине сохранился обрывок записи одного из тех давних сборищ, происходившего в тесной комнате моей коммуналки па Красной улице. Тогда, кажется, обсуждались мои стихи. Из общего нестройного гомона явственно выделяется голос Кушнера: "Так как постановили

- считать это стихотворение плохим или хорошим?"

Встречи эти, с чтением, обсуждением и разговором, чаще всего уже без Глеба Семенова, стали традиционными, и после, когда все разъехались по разным краям и экспедициям, а вернувшись, уже отошли друг от друга, отсутствие этих сборищ сильно сказывалось.

И еще одно: средой нашего литературного обитания всегда был Ленинград, его улицы, переулки, каналы, Васильевский вокруг Горного. Это вовсе не значит, конечно, что мы писали именно о городе - он просто всегда незримо присутствовал в самом дыхании нашем в те годы…

К середине пятидесятых относится также начало дружбы с братьями Штейнбергами, которые, хотя сами стихов и прозы не писали, сразу же оказались в самом центре литературной жизни, старший - Генрих - учился в Горном на два курса после меня, где ухитрился закончить сразу два факультета

- геологоразведочный и физический. Младший - Александр - был в те поры студентом Политехнического института и немало усилий приложил к органики студенческих вечеров поэзии.

Братья были знакомы и дружны практически со всеми известными в то время молодыми писателями, поэтами и художниками упомянутых группировок. У их родителей - Анны Аркадьевны и Семена Исааковича, в большой квартире старого петербургского дома на Пушкинской улице, неподалеку от Московского вокзала, время собирался разнообразный народ. Здесь можно было увидеть уже упомянутых горняков (Глеб Горбовский обладал в этом доме личным правом сдавать пустые бутылки - в фонд следующих посиделок) и Иосифа Бродского, и

Евгения Рейна, вернувшегося с Камчатки и читавшего с рычанием свои плотоядные стихи "люди мясо", и молодых тогда писателей Сергея Вольфа, Владимира Кацнельсона (впоследствии ставшего Марамзиным), Игоря Ефимова с женой-поэтессой Мариной Рачко. За большим столом блистал острыми репликами Анатолий Найман, читал свои первые сказы Битов, устраивали домашние вернисажи Олег Целков, Анатолий Зверев, Михаил Кулаков, Яков Виньковецкий.

У одного из братьев - Генриха - была хотя небольшая, но своя комната, на стене которой красовался огромный портрет хозяина работы Михаила Кулакова. В комнату эту набивалось обычно несметное количество народа, сидевшего ночи напролет в густом табачном дыму. Поскольку дом располагался рядом с Московским вокзалом, он служил также постоянным местом ночлега для заезжих москвичей. Родители братьев сами с удовольствием принимали участие в застольях, чтобы выпить водки и послушать "современную молодежь".

К этому времени Саша Штейнберг женился на Нине Королевой, Глеб Горбовский - на Лидии Гладкой, так что литературные общения переплелись с семейным бытом.

Помнится, именно в квартире Штейнбергов был придуман шумный "радиорепортаж", посвященный юбилею Глеба Семенова, которому в 1958 году исполнилось сорок лет (безнадежно много, : мы считали тогда). Авторами юбилейной передачи были Шура Штейнберг, Глеб Горбовский, Нина Королева, Яков Виньковецкий и некоторые другие. В репортаже изображалось торжественное прибытие персонального поезда с юбиляром в Ленинград и встреча его на Московском вокзале - пародия на официальные приемы "высоких гостей". При этом "пионерка Маша Веселкина", поздравлявшая юбиляра от имени студии литературного творчества Ленинградского дворца пионеров, читала приветственные стихи, начинавшиеся такими строчками:

Все радостней солнце родимое светит,
И звезды сияют на башнях Кремля,
И в ваше великое сорокалетье
Колхозные жнейки пахают поля.

Вся сцена была выдержана примерно в том же тоне. Нашли в ней отражение и другие литературные группы, прежде всего ЛИТО, которым руководил Давид Яковлевич Дар, увлекавшийся в то время путешествиями на мопедах со своими учениками. Он появляется "на моторище одноцилиндровом", в окружении своих питомцев и "рабочею тематикой потряхивает".

Но не дрогнул Глеб - дрыгнул ноженькой,
Он сказал им пару слов тихим голосом.
Тут и сгинул враз окаянный Дар,
А с ним и дадарчата в тартарары…

Примерно через год после этого был придуман и записан на магнитофон второй радиоспектакль, на этот раз уже фантастического содержания, созданный примерно тем же авторским коллективом. Тогда как раз начались полеты в космос, и действие разыгрывалось с того, что тогдашний глава ленинградской писательской организации поэт Александр Прокофьев, которому в недалеком будущем суждено было сыграть палаческую роль в деле Бродского, был отправлен в космос "вместо слонят Рами и Шаши, которых к полету не допустили, поскольку их предки долгие годы жили в Индии", на новом спутнике рекордного веса. В связи с его отсутствием, в Ленинграде возникла Республика поэтов (сокращенно РЕПО). Власть в республике взял в свои руки Комитет общественного спасения "в составе - Городницкий, Хемингуэй, Битов, Тарутин". Далее шел текст конституции РЕПО:

Пункт 1.О правах и обязанностях граждан. Гражданином РЕПО является каждый, именующий себя поэтом.

Пункт 2. Об охране прав граждан Республики. Гражданин Республики обязан плюнуть в морду всякому, не признающему его поэтом, ибо этим ущемляются его гражданские права…

Гербом Республики был утвержден ошейник собаки Кушнера. В качестве государственного гимна утверждалась песня Горбовского "Когда качаются фонарики ночные". Ее первая музыкальная строка стала позывными Республиканского радио.

Довольно скоро, однако, в Республике возник правительственный кризис, причиной которого послужило то, что один из сограждан не признал другого поэтом, а этот другой - не плюнул ему в морду, чем грубо нарушил конституцию.

Правительство пало, и президентом был избран Кушнер, стихи эго тут же вошли в обязательные школьные программы. толпа первоклассников маршировала по улице, распевая хором песню на его стихи:

Прошла зима ненастная,
Растаяла как дым,
Бегут трамваи красные
По рельсам голубым.

"Раз, два, три", - раздавался после песни громкий шепот воспитательницы, и дети хором кричали: "Спасибо товарищу Кушнеру за не счастливое детство!"

Кушнера, однако, тоже вскоре свергли, так как выяснилось, что он в силу своей неисправимой интеллигентности не в состоянии отличить кошку от кота. Поводом послужили его собственные стихи:

Я встретил дворника.
Он мне принес кота
И получил награду за услугу.
Он мне сказал, что с кошками - беда.
Но это - кот, дарю тебе как другу.
"Бери кота, - сказал он, - береги".
Принес в четверт, а кот рожал во вторник.
И мы ведь были даже не враги -
За что меня так презираешь, дворник?

После Кушнера началось смутное время. То власть захватывал "ефрейтор Артамонов" (молодой поэт, служивший тогда в Ленинграде и эмигрировавший позднее во Францию), который "в целях сохранения военной тайны ввел в армии гражданскую форму одежды то крайний реакционер и религиозный фанатик Владимир Британишский, отменивший все свободы и изгнавший из страны евреев. При нем стала выходить газета "Клерикальные новости". Однако, в самый разгар своего правления, он неожиданно отказался от власти и удалился "в пустыню, где был снова подобран "серьезными евреями". Было, конечно, и женское правление в лице Нины Королевой.

На фоне смены власти в республике плелись всяческого рода политические интриги. Просуществовала, однако, республика недолго Прокофьев вернулся, и в Ленинграде началась черная реакция.

На площади Тургенева сжигали произведения Агеева,

На площади Льва Толстого - произведения Кушнера.

Особенно ярко горела проза Битова.

Городницкий - чадил…

Оставшиеся в живых поэты спешно погрузились в ресторан-поплавок на Неве и обрубили концы. Их понесло в открытое море…

Далее описывались злоключения поэтов в изгнании и борьба между ними:

"Городницкий влез на дерево и закричал: "Предлагаю избрать меня комсоргом! Кто за? - Единогласно".

Тут же развернулась борьба за власть между Городницким и Штейнбергом. Сторонники Городницкого ходили, распевая "анти-штейнберговскую" песню на мотив известной к тому времени песни "Снова солнце встает с утра":

Завтра солнце взойдет с утра -

В коммунизм собираться пора.
Началася другая жизнь -
Штеенберг не пройдет в коммунизм.
Штеенберг не пройдет в коммунизм -
Будем мы городить городнизм.
Завтра солнце взойдет с утра -
В коммунизм собираться пора.

Что касается Глеба Семенова, то он удалился от всех мирских дел в уединенное место Комарове. Над его рабочим пнем висела надпись "А почему бы и нет?".

Среди героев радиоспектакля был, конечно, и Яков Виньковецкий, у которого в ту пору болели зубы, и поэтому он проходил как "бандит и налетчик Яшка-Флюс, отрабатывающий произношение слов "деньги - на бочку"…

Прошло более тридцати лет со времени этих дурацких "радиоспектаклей". Ушел из жизни Яков Виньковецкий. Разошлись судьбы других героев и авторов этого старого капустника. Осталась только память о собственной молодости и казавшейся тогда вечной дружбе. До сих пор где-то в доме у Саши Штейнберга хранится старая затертая магнитофонная бобина с записью этого незатейливого "радиоспектакля". Вот уже много раз он все пытается ее найти, но не находит. А жаль. Ведь, как правильно написал когда-то Александр Кушнер:

Будущее - за магнитофоном.
Мы умрем, но наши голоса
Снова под глазком его зеленым
Оживут хотя б на полчаса…

Уже после окончания Горного, ЛИТО клуба Первой пятилетки и наша компания дополнились молодыми поэтами - Яковом Гординым, Татьяной Галушко и Виктором Соснорой, поразившим всех своими удивительными стихами, и, прежде всего, своей поэмой "Слово о полку Игореве". Все они стали профессиональными литераторами. Трагически сложилась судьба талантливой Татьяны Галушко, умершей в самом расцвете

творческих сил от рака, в 1988 году. Последние годы она работала в Пушкинском музее и музее Некрасова. Темпераментная, нетерпимая ко всяческой фальши, с пышными черными волосами и низким сильным голосом, она всегда поражала своей энергией и жизнерадостностью. Когда читаешь ее последние стихи, становится горько от несправедливости I судьбы, отнявшей у нее возможность жить и писать. Примерно за год до смерти, уже зная безысходность своего диагноза, она написала в поэме "За все заплачено - не забудь":

Теперь, когда смертный объявлен час,
Меня не догнать никому из вас,
Начальники жизни, политруки, -
Теперь это даже вам не с руки.

Мое последнее свидание с ней оказалось нечаянным. Когда она умерла, я был в Таллинне и поэтому не знал о ее смерти. В один из первых дней дождливого октября, оказавшись проездом на одни сутки в Ленинграде, откуда улетал вечером на юг, я отправился в Пушкин, на Казанское кладбище, навестить могилу родителей. Уже смеркалось, когда я вышел к безлюдному входу, вблизи которого стоит полуразрушенная старая часовая, построенная еще Кваренги и заросшая травой и кустарником. Неожиданно я заметил погребальный автобус у ворот и небольшую группу людей, прячущихся под зонтиками от дождя. Среди них я узнал Соснору, Кушнера и Майю Борисову. "Как хорошо, что ты приехал", - сказала Майя. Я, потрясенный случившимся, не стал ничего объяснять, но благодарен судьбе, которая вывела меня к кладбищенским воротам точно в назначенное время.

Татьяну похоронили недалеко от входа, справа, среди старых надгробий девятнадцатого века с серыми массивными гранитными крестами и золочеными "ятями" на полустертых надписях, занесенных в осеннюю пору опавшей листвой. Теперь, бывая там, я захожу положить цветы на могилу и вспоминаю ее стихи:

Утешает в тоске об исходе
С облетающим лесом родство.
Пусть уйду, когда в щедрой природе
Гибель выглядит как торжество.
Не во мрак, а в листву, что алея,
Осыпается с крон и крылец,
Перельюсь я, дитя Водолея,

Словно дождь, мой холодный близнец…

Виктор Соснора в пятидесятые годы служил в армии, недолго работал токарем. Помню пародию, написанную на ставшие уже знаменитыми его строчки из "Слова…" известным ленинградским пародистом Львом Гавриловым:

И сказал Кончаку Гза-
Ты смотри как идет фреза!
Мы понизим токаренку разряд -
Не платить же ему деньги зазря!

Стихи молодого Сосноры выделял из, других и высоко ценил Николай Асеев, ходивший в то время в классиках. Несмотря на широкую известность Виктора как поэта, а в последние годы и как прозаика, большая часть из написанного им до сих пор остается ненапечатанной. Неслучайно поэтому он написал в коротком предисловии к своим стихам в сборнике "То время - эти голоса": "Блистательное поколение шестидесятых годов разбилось о стену. Его уже нет. У стены каждый становится сам собой. Я автор тридцати одной книги стихотворений, восьми книг прозы, четырех романов (пятый в работе) и шести пьес - и все это не опубликовано. О том, что дождичек не тот и у нас на дворе четверг, пусть говорят прорабы духа, мне не до разговоров, я рабочий, я работаю"…

Яков Гордин, начинавший когда-то как поэт и работавший в те годы техником в геологоразведочных экспедициях в Якутии, стал известным писателем и .исследователем-историком, работы которого, посвященные Пушкину, декабристам, первой половине прошлого века., вызывают не только литературный, но и серьезный научный, интерес, прежде всего оригинальными концепциями автора.

В пятьдесят четвертом году, на вечере поэзии в Политехническом, я впервые познакомился с молодым поэтом Борисом Голлером, привлекшим меня вдохновенно-темпераментным исполнением своей поэмы "Красная капелла", посвященной одному из героев антифашистского движения Харро Шульце Фон Бойзену. Он (автор, конечно) женился на "горнячке" Лине Гольдман и тоже на какое-то время примкнул к нашей компании. Надо сказать, что со стихами он довольно скоро "завязал" и начал писать пьесы, которые, к великому сожалению, много лет никто не ставил. Одна из первых его пьес "Десять минут или вся жизнь", была посвящена трагической судьбе

американского пилота, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Мне эта пьеса страшно нравилась, особенно в его собственном темпераментном чтении. До сих пор я уверен, что Борис Голлер, имя которого много лет практически замалчивалось, - один из интереснейших наших драматургов. И это несмотря на то, что две или три его пьесы, поставленные, в ленинградском ТЮЗе Зиновием Корогодским, - "Матросы без моря" и "Вокруг площади" - особого успеха не имели. Надо сказать, что мнение мое не изменилось и в последние годы, когда Голлера долго не хотели принимать в Ленинграде в Союз писателей, и укрепилось после того, как я совсем недавно прочитал его большую драму о Грибоедове.

Одной из многообещающих поэтесс в ЛИТО Горного института была во второй половине пятидесятых годов Лена Кумпан, ходившая тогда в неизменной финской шапочке, писавшая прекрасные лирические стихи и даже успевшая опубликовать одну книжку стихов "Горсти". Жила она вместе с сестрами-близняшками Ксаной и Верой и матерью в большой коммунальной квартире на 18 линии Васильевского острова, между Большим и Средним проспектами. В этой квартире мы тоже частенько собирались, особенно после занятий ЛИТО - благо, недалеко от Горного. Именно к таким сборищам в то время и относились ее шуточные строчки "По копейке собирали - покупали "Саперави". Окончив Горный институт, Лена какое-то время работала в институте ГИПРОНИКЕЛЬ, однако геология ее не интересовала, и она пошла работать экскурсоводом по Ленинграду. Потом она вышла замуж за Глеба Сергеевича Семенова и вошла в круг старой ленинградской интеллигенции, центром которой были Лидия Яковлевна Гинзбург и Тамара Юрьевна Хмельницкая. Близки к этому кругу были также Виктор Андроникович Матгуйлов, Дмитрий Евгеньевич Максимов и Ефим Григорьевич Эткинд. Стихи, однако, Лена перестала писать раз и навсегда, о чем можно только сожалеть.

Что касается "женской поэзии" глебовского ЛИТО, то в Горном в ней ведущее место занимали Нина Королева и уже упомянутая Лидия Гладкая, а в ДК Первой пятилетки я впервые услышал стихи молодой поэтессы Нонны Слепаковой, вышедшей позднее замуж за поэта и искусствоведа Льва Мочалова и занимающей поныне заметное место в ленинградской поэзии. Одно время, в конце пятидесятых - начале шестидесятых, она начала писать песни и довольно успешно выступала с ними в ленинградском доме писателей, аккомпанируя себе на гитаре. Песни эти отличались точностью образной поэтической строки, глубоким лиризмом. Помню такую ее песенку:

Хорошо тебе со мной, со мной,
А на улице темно, темно,
Свист милиции ночной, ночной,
Долетает к нам в окно, в окно.
Хорошо тебе со мной, со мной,
А на улице светло, светло,
А на улице пустой, пустой,
Дворник шаркает метлой, метлой.
А на улице пустой, пустой,
Час, наверное, шестой, шестой.
Как ты думаешь, любимый мой,
Не пора ли мне домой, домой?

Позднее Нонна Слепакова написала песни к спектаклю по Киплингу "Кошка, которая гуляет сама по себе", однако "своих" песен больше не пела. Интересно, что именно на рубеже пятидесятых и "шестидесятых годов, как раз в то время, когда в Москве появились песни Окуджавы и Новеллы Матвеевой, ленинградские поэты тоже активно начали писать песни, хотя и недолго. Кроме песен Глеба Горбовского и Нонны Слепаковой широкой популярностью пользовались шуточные песенки Виктора Сосноры (их называли "фишки"). Неоднократно, собираясь в разного рода поэтических застольях, мы дружно распевали лихую песню Виктора:

Летел Литейный в сторону вокзала.
Я шел без денег и без башмаков,
И мне моя любимая сказала,
Что я окончусь между кабаков.
Пошел я круто - пока, пока,
Прямым маршрутом по кабакам.
Сижу и пиво желтое солю.
Официант, полбанки - и салют!

Даже рафинированный прозаик Сергей Вольф, ценивший только Кафку и Джойса, и тот придумал песенку: "Ракетная игрушка взлетает в небеса, нам жить с тобой, подружка, осталось полчаса". Пытался придумывать песни и Леонид Агеев, но у него они почему-то не получались. Сочиняли песенки и жена серьезного прозаика Володи Марамзина, и брат Ефима Григорьевича Эткинда Марк, написавший в шестидесятые годы, в частности, на мотив "Кирпичиков" песенку об израильско-египетском конфликте "На Синайском том полуострове, где

лежит государство Израиль, положение очень острое, потому что воинственный край".

Широкой популярностью в поэтических компаниях пользовалась в то время "блатная" песня "Стою себе на Невском - держусь я за карман", написанная, как оказалось позже, никакими не блатарями, а ссыльным интеллигентом Ахиллом Левитоном.

Что касается вообще песен, то они в основном связаны в моей памяти в пятидесятые и начале шестидесятых годов с домом Руфи Александровны и Ильи Захаровича Серманов, живших в те годы в районе Автово, а позднее эмигрировавших в Израиль. Илья Захарович тогда преподавал литературу и защитил докторскую по русской поэзии XVIII века. Руфь Александровна была испанистом-переводчиком и писала рассказы под псевдонимом Зернова. Она успела в свое время принять участие в гражданской войне в Испании, в 1935-1936 годах, получить там орден и потом отсидеть на Колыме. Сама Руня, как ее звали друзья, и ее дочь Ниночка, бывшая в те годы моим первым аккомпаниатором, прекрасно играли на гитаре и пели. Именно в этом доме, где часто собирались ленинградские переводчики и писатели, я впервые услышал в исполнении Руни множество лагерных песен, вывезенных ею с Колымы. В их числе такие, например, как "Голубые снега", "Черные сухари", "По тундре, по широкой дороге" и многие другие. Песни эти потом я многократно слышал в тайге и тундре, в Туруханском крае и на Кольском, с разными текстовыми и интонационными вариантами в исполнении бывших и настоящих зеков. Но, пожалуй, именно Рунино исполнение до сих пор представляется мне наиболее точным.

Через Серманов мне довелось познакомиться в те годы со многими интересными людьми - от легендарного испанского тореро Мигеля Домингина до писателей и переводчиков Овадия Герцевича Савича, Фриды Абрамовпы Вигдоровой и ее мужа Александра Борисовича Раскина, Норы Яковлевны Галь, только что переведшей любимого мною Экзюпери, и, наконец, безвременно умершей Натальи Григорьевны Долининой.

Сейчас я думаю, почему именно "блатные" песни, еще до появления стилизованных песен Высоцкого (написавшего их тоже, кстати, в духе времени) и "лагерных" песен Галича, пользовались таким успехом в компаниях интеллигенции?

Возможно, дело прежде всего в том, что страшная жизнь сталинских лагерей, откуда многие из них возвратились после хрущевской оттепели, подсознательное ощущение преступности всей Авторитарной государственной системы, внутри которой существовали мы все, сближало пас с героями этих песен, тем более, что в отличие от одесского "ядовского" фольклора начала

двадцатых годов, речь в этих песнях шла, как правило, не об убийцах и налетчиках, а о заключенных. "Интеллигенция поет блатные песни",- метко подметил один из поэтов в то время.

Именно эти песни в те переломные годы в московских и ленинградских застольях были естественным продолжением "крамольных" разговоров и предтечами песен Галича, Высоцкого и Кима. Сейчас большинство этих песен забыто и, видимо, незаслуженно, поскольку они создавали точную доверительную обстановку общения. И еще одно. Примерно с середины пятидесятых и далее, к шестидесятым, пение песен стало понемногу вытеснять чтение стихов, даже в поэтических компаниях. Так незаметно наступила пора "поющих шестидесятых".

Что же касается нас, тогдашних выпускников Горного института, то главным, навсегда объединившим нас, было то, что все мы с незначительной разницей в возрасте - от самых старших вроде меня и Британишского, до самых молодых - Битова или Кумпан, принадлежали к поколению недолгой хрущевской оттепели. Наше политическое и литературное самосознание стремительно совершенствовалось - начав еще в школе с соцреализма и "Краткого курса", оно менялось по мере открытия Хемингуэя и Ремарка, Цветаевой и Мандельштама, первых документов о масштабах сталинских репрессий и песен заключенных.

Конечно, многого мы еще не знали, были незрелы и невежественны. Казалось, стоит только очистить социализм от сталинского культа - и все опять будет хорошо. Неслучайно именно в эти годы в Москве и в Ленинграде возникла подпольная организация "марксистов-ленинцев". Кроме того, исторический перелом, наступивший с XX съездом, как бы символизировал тогда движение вперед и осуществление юношеских наших надежд, связанных с реализацией "чистых" революционных идей. Почти никто из нас не подозревал тогда о масштабах бедствия, о тлетворности самой системы, породившей чудовищный феномен Сталина.

Кроме того, что немаловажно, мы были молоды, полны неизрасходованной энергии, чувствовали себя нераздельной частью великого народа, победившего недавно фашизм в грозной войне, зацепившей наше детство. В нас еще устойчивы были иллюзии всеобщего братства и общности советских людей, не было еще армяно-азербайджанской резни на Кавказе, погромов в Оше и автоматной стрельбы в Вильнюсе.

Смотря хлынувшие к нам через "железный занавес" западные фильмы, от Ди Сантиса до Феллини, сравнивая себя с героями

Хемингуэя и Ремарка, мы не считали тогда свое поколение потерянным, ибо еще верили в "комиссаров в пыльных шлемах". И были полны оптимизма…

Общение наше с Москвой в те годы было случайным и эпизодическим. Центром нашего мира неизменно был Питер. Поэтому мы не считали его "великим городом с областной судьбой". Напротив, он был нашей единственной столицей и началом отсчета в литературе, истории и жизни. И это несмотря на то, что именно Ленинград после разгрома журналов "Звезда" и "Ленинград", Ахматовой и Зощенко, в период литературного правления Прокофьева и ему подобных, стал оплотом самой черной реакции в литературе. И все-таки именно тогда мы начали обретать собственный голос.

Именно в это время начали вызревать в наших незрелых душах слабые ростки миропонимания, давшие всходы позднее. Замечательно, что ни позже, ни в наши дни, никто из питомцев "семеновского полка" и, в первую очередь, из "горняков" не стал приспособленцем, не писал "по указке", не вошел в "Содружество" или другие дурно пахнущие черносотенные организации. Несмотря на разную степень литературной одаренности все остались - людьми.

Деревянные города

По случаю окончания Горного состоялся выпускной банкет в снятой для этого столовой Свердловского райкома на Большом проспекте Васильевского острова. "Научный доклад в связи с защитой диплома" делал главный остроумец нашего потока Слава Волк, ставший с годами вполне серьезным, а порой даже унылым доктором наук. "Поскольку оказалось, - вещал Слава, - что в Технологическом институте во время выпускного банкета был убит преподаватель, то в качестве эксперимента решено пригласить сюда и преподавателей". Затем шло "геологическое" описание двух наших групп: "Группа РФ-51-1 представляет собой плотную серую массу с редкой вкрапленностью долбежников. Группа РФ-51-2 характеризуется яркоокрашенными вторичными образованиями, именуемыми женским полом. Группы несогласно перекрываются одна другой, о чем свидетельствует большое количество заключенных браков". Действительно, на последних курсах многие (в том числе и я) успели жениться на своих однокурсницах, что привело впоследствии к многочисленным разводам. Вечер был шумный. Все предвещали друг другу великое будущее и большие открытия. В заказанной мне "оде", написанной в подражание великому образцу, были такие строчки:

Какие б ни качали нас глубины,
Куда бы новый ни увел маршрут,
Все те же мы, - нам целый мир чужбина, -
Отечество нам - Горный институт…

Распределили меня в Караганду, в "Степную" экспедицию Первого главка. Названия этих экспедиций "Степная", "Лесная" и другие, как понял я уже внедавние годы, подозрительно напоминали недобро известные названия "Степлаг", "Леслаг" и им подобные. Впрочем, ничего удивительного в этом не было - ведомство было практически одно и то же. На мое счастье, в Караганде не оказалось ни жилья для молодых специалистов, ни особой потребности в них, и я, получив свободный диплом и вернувшись в Питер, попал на работу в Научно-исследовательский институт геологии Арктики, располагавшийся на моей родной Мойке неподалеку от бывшей школы в районе Новой Голландии. Меня взяли туда инженером-геофизиком по попутным поискам урана, которыми в те годы, согласно строгому

приказу министра геологии, занимались все экспедиции при любой геологической съемке…НИИГА, как сокращенно именовался наш институт, представлял собой довольно своеобразную организацию, сравнительно недавно переведенную в Министерство геологии из системы Севморпути. Поэтому многие, особенно старые сотрудники, еще щеголяли в морской форме и в фуражках с голубым полярным флажком, тем более, что экспедиции института работали по всей Арктике - на побережье от Мурманска до Певека и на островах Ледовитого океана… Ученый совет в конце пятидесятых состоял в основном из старых полярников, в число которых входили такие известные геологи, как Николай Николаевич Урванцев, в 1921 году открывший Норильское медноникелевое месторождение, а затем отбывавший заключение в тех же краях с конца тридцатых до начала пятидесятых… Среди молодежи господствовал стереотип поведения "старых полярников". Один, например, в Ленинграде летом ездил на работу на байдарке, лихо причаливая у самого подъезда института. Он, помнится, был также неистощимым изобретателем разного рода самодельного арктического снаряжения, именовавшегося по его имени: "Вакар-рубаха", "Вакар-палатка" и так далее. Однако главным достоинством истинного и заслуженного полярника считалась способность к выпивке. Поначалу я попал в Енисейскую экспедицию, где в мои обязанности входили упомянутые уже попутные поиски урана при геологической съемке. Так, летом пятьдесят седьмого года я впервые очутился на Крайнем Севере, с которым был потом связан много лет. До сих пор помню чувство ни с чем не сравнимой гордости, испытанной мною, когда я притащил домой выданное мне на институтском складе "полное обмундирование", состоявшее из старой "восстановленной" цигейковой куртки, двух пар сапог - кирзовых и резиновых, плащ-палатки и спального мешка. Предметом особой гордости был настоящий кавалерийский карабин с двумя обоймами патронов. Зачем оружие? Дело в том, что по существовавшей тогда инструкции секретные материалы, а в их число входили все стотысячные карты, с которыми работали геологи при съемке в енисейской тайге, полагалось выдавать в Первом отделе института только вместе с оружием "для их охраны". Путь мой в первую полярную экспедицию оказался тернистым - я был послан старшим с группой сезонных рабочих, набранных в близлежащем к институту районе Покровки в основном из злостных алиментщиков, бичей и алкашей. Шесть дней мы ехали с ними плацкартным вагоном от Ленинграда до Красноярска, затем дней десять ждали парохода и еще примерно неделю плыли по Енисею

до Игарки. Все это путешествие запомнилось мне как чудовищная непрерывная пьянка. Я, хотя и числился старшим, в силу своей неопытности и беспомощности был совершенно не в силах с ней бороться - она закончилась сама собой, когда были наконец пропиты все деньги и моих спутников уже не радовали здешние белые ночи, непохожие на ленинградские. Вид Игарки поразил меня: она в те поры была построена целиком из дерева (вот откуда деревянные города будущих моих песен). Здесь были большой лесной порт и лесобиржа. Лес сюда сплавляли по Енисею, а в Игарке обрабатывали и тут же грузили на иностранные в основном пароходы, заходившие в устье Енисея. База нашей экспедиции располагалась на самом краю города, по южную сторону лесобиржи, вытянувшейся вдоль правого берега Енисея и окруженной высоким глухим забором со сторожевыми вышками. Там круглосуточно сновали высокие штабелепогрузчики, напоминающие марсианские треножники из Уэллса, перевозя пакеты досок от лесопильного комбината к причалам. Прямо за почерневшим от ветров и мороза и покосившимся на мерзлоте двухэтажным бревенчатым домом нашей экспедиции, недалеко от которого делал кольцо старенький игаркский городской автобус, начиналась тундра. Перед окнами на пологом берегу енисейской протоки, за которой день и ночь взревывали самолеты на аэродроме, догнивали брошенные здесь рыболовные сейнеры и какая-то старая, но, видно, ладно сколоченная норвежская зверобойная (как мне объяснили) шхуна с остатками латинских букв на покосившейся высокой рубке. На летнее время, с началом навигации, по Енисею в Игарку завозили по нескольку десятков тысяч вербованных мужчин и женщин для работы на лесосплаве, сортировке и погрузке леса. На все это время объявляли сухой закон. До сих пор помню, как, придя в игаркский военторг за одеколоном, я спросил, нет ли у них "Шипра". ""Шипра" нет, - есть только "Кармен"", -ответила продавщица. "Бери - не сомневайся, - толкнул меня локтем случившийся у прилавка работяга - "Кармен" - вкуснее". Единственным местом, где продавали спиртное, недоступным, правда, для местных жителей, был клуб иностранных моряков, куда иностранные моряки, как правило, не ходили, и поэтому в нескольких "гостиных" клуба, за столами, заваленными скучной агитационной литературой на английском языке, скучали подвыпившие гэбэшники. Центром клуба были бар, где "наливали все", и танцевальный зал, где плясали местные комсомольские активистки, "допущенные к иностранцам", да несколько проверенных органами профессионалок. Напротив интерклуба высилась высокая, надежно сложенная из отборных

строевых бревен игаркская тюрьма, построенная в конце тридцатых - начале сороковых и служившая долгие годы местом пересылки. В тюрьме этой, как ни странно, оказалась неплохая библиотека, сложившаяся из книг, отобранных у заключенных при "шмонах". Знаю это потому, что в экспедиции мы брали во временное пользование книги из тюремной библиотеки. Уже позднее, в 1962 году, мне довелось быть свидетелем страшного пожара в Игарке, когда неизвестно по каким причинам (говорили, что поджог) вдруг вспыхнула лесобиржа, а потом огонь перекинулся на город. Жаркий июль и небольшой ветер привели к тому, что буквально за несколько часов сгорело более половины города. Температура пламени была настолько высокой, что его не брала вода, моментально превращавшаяся в пар, и огонь потом гасили уже с вертолетов, бросая специальные химические бомбы. Помню, как из уже обреченного интерклуба под строгой охраной автоматчиков вытаскивали ящики с коньяком и водкой и давили их трактором прямо на глазах у горюющих мужиков . Что же касается игаркской тюрьмы, то ее сумели сберечь от огня. Выстроившиеся цепочками с ведрами в руках зеки так упорно защищали свой "казенный дом", что огонь отступил. Никому и в голову не пришло бежать, хотя возможность была. Да и куда бежать? Что же касается интерклуба, то уже с первого года шустрые ленинградцы проторили туда дорогу, раздобыв какие-то липовые бумажки. Поэтому путешествие в интерклуб с его баром и нехитрыми танцевальными знакомствами, так же, как баня и кино, были мощным стимулом для экспедиционной молодежи, прозябавшей под комарами в тайге и тундре, хоть ненадолго выбраться "погулять" в Игарку.

Вторым, уже общедоступным местом культурных развлечений" был клуб лесопильного комбината, единственное в то время каменное здание, возвышавшееся в верхней части города, куда мы так же регулярно таскались на танцы, и где нас, экспедиционников, нещадно било местное население, легко опознавая нашу социальную принадлежность по экспедиционным курткам… Поскольку попутные поиски урана там, где его не было (да и не могло быть), практически ничего не давали, а план геологической съемки "горел", меня, помимо моих геофизических обязанностей, начальство подключило и к геологической съемке, благо подготовка выпускника Горного института это вполне позволяла. Мне выдали карту, молоток, геологический компас и бросили вместе со всеми геологами в съемочные маршруты. Ориентироваться по рельефу в таежных условиях практически невозможно. Солнце обычно затянуто облаками: где север, без компаса не определишь. А уж карты! Они хоть и были

секретными, составленными под эгидой славной системы НКВД в незапамятные годы, но уж точностью, даже стотысячные, не отличались. Изображенных на них ручьев на месте, как правило, не оказывалось, а если и были, то текли не туда.

Больше всего надежд возлагали обычно на аэрофотоснимки, на которых можно было разобрать и лесные массивы, и болота, и сеть рек с ручьями. Приходилось поэтому во время маршрута часто останавливаться и определять свое место нахождения, но удавалось это далеко не всегда. Помню, и в пятьдесят седьмом, и в пятьдесят восьмом году то и дело пропадали в тайге люди. Так, в пятьдесят восьмом году заблудился где-то в бассейне реки Горбиачин и погиб в тайге гидрогеолог Сиденко. У меня же с того времени надолго остался синдром "определения своего места" в лесу, даже пригородном. Сибирские комары. Первое мое знакомство с ними состоялось на реке Горбиачин, неподалеку от Игарки, на базе разведочной геофизической партии. Выданные нам накомарники помогали не очень, да к тому же выяснилось, что в жаркие и влажные июльские дни в них трудно дышать, когда идешь по тайге, по кочкарнику, таща на себе рюкзак с образцами, палатку, карабин и всякую прочую тяжелую дребедень. Была еще, правда, противокомариная жидкость - диметилфталат, которая, если ею густо намазаться, на какое-то время отпугивала кровопийц, но, во-первых, она быстро выдыхалась, а во-вторых, разъедала потеющую кожу и вызывала долго не проходящее раздражение. Так что польза от него была лишь на привалах.

Вечером, перед тем как устроиться на ночлег в палатке, каждый долго натягивал кисейный полог над своим спальником, потом надо было осторожно забраться туда, законопатить все дырки и тщательно и методично перебить всех комаров, оказавшихся внутри. После этого можно было на какое-то время уснуть под непрерывное гудение крутящихся снаружи комаров. Ободряя нас, салаг, начальник партии говорил нам с усмешкой: "Разве это комары? Вот будут комары - в три слоя будут комары!". "Когда "Большой комар" стоит, - продолжал он дальше, увлеченный собственной неуемной фантазией и нашим испуганным вниманием, - приходится кидать палку в воздух, чтобы определить, где солнце".

Мы в страхе ждали прихода "Большого комара" и не заметили, как комар понемногу сошел. На самом деле, как я понял тогда, к жизни "в комарах" надо было относиться спокойно, не в пример одному молодому геологу, впервые сюда попавшему, который с криком "жрите, сволочи" срывал с себя накомарник или вдруг начинал стрелять по комарам из пистолета. Пришлось

отправить его в психбольницу…

Кстати, огнестрельное оружие, столь щедро нам тогда выдававшееся, было сплошь немецкое, трофейное. Техники и работяги таскались с длинными и неудобными винтовками системы "маузер", однако, как говорили, с большой дальнобойностью, а начальники партий щеголяли с внушительными и безотказными "парабеллумами" или маленькими изящными "вальтерами". Перед каждым партийным "сабантуем"* по раз и навсегда заведенному закону все оружие сдавалось завхозу и пряталось под замок до окончательной опохмелки.

* Имеются в виду, очевидно, не партхозактивы, а коллективные пьянки всей партией (геологической) - Ред.

Не лучше комаров оказалась и мошка, приходившая во второй половине лета вслед за комарами. Если от комаров помогали хотя бы отчасти накомарники и диметилфталат, то от мошки не помогало решительно ничего. Она спокойно проходила через накомарники и сетки пологов, а забираясь под одежду, всегда выедала кожу в самых тесных местах, чаще всего на ногах (сапоги!) и на запястьях рук, туго стянутых резинкой "энцефалитного" костюма. Да еще все мы носили "линию обруча" от накомарника и поэтому быстро приобрели об так мучеников с постоянными кровавыми ранами на лбах, не говоря уже о руках и ногах. В вечернее время мошка обычно тучами собиралась в палатке на внутренней стороне тента, под самым ее коньком, и полагалось осторожно, чтобы не спалить палатку, быстро выжечь ее свечой или обрывком подожженной газеты.

В жаркие августовские дни мошка иногда перемещается по тайге крутящимся черным столбом, напоминающим смерч. Не дай вам Бог ненароком попасть в него! Я хорошо запомнил, как один молодой работяга из Ленинграда, прорубая в тайге просеку для геофизиков, нечаянно оказался на пути такого смерча. Мошка объела его за десять минут так, что пришлось срочно вызывать санрейс самолета из Игарки.

Начало работы на Крайнем Севере совпало, не могло не совпасть, и с первым моим общением с авиацией и авиаторами. До путешествия в Игарку я ни разу ни на чем не летал, поэтому первый мой в жизни воздушный полет случился в июне 1957 года, когда на биплане АН-2, который летчики называли "Аннушкой", нас перевозили на базу партии на реке Горбиачин. Помню старт в игаркском аэропорту "Полярный", расположенном на острове посреди Енисея. Самолет оторвался от земли, накренился на правое крыло, делая разворот, и мне больно придавили ногу поехавшие по металлическому полу вьючные ящики и какие-то

седла, а в маленьком круглом иллюминаторе стремительно понеслись подо мной бревенчатые дома, штабели леса, вспыхнувшая ослепительным солнцем серая енисейская протока с дымящими посреди нее пароходами, и, наконец, зеленые полосы тайги вперемежку с зеркальными осколками болот. Тогда я испытал острое чувство настоящего счастья и обретения своего главного места в жизни, казалось - сбылась моя главная мальчишеская мечта о превращении в "настоящего мужчину", обживающего тайну, обряженного в штормовку и резиновые сапоги с длинными голенищами…

"Тебя когда-нибудь в самолете укачивало?" - спросил, недоверчиво приглядываясь к моей физиономии, вылезший из кабины второй пилот. "Никогда!"

- уверенно ответил я, и это была чистейшая правда. "Молодец, - пилот одобрительно хлопнул меня по плечу, - а то нам тут еще "на сброс" надо залететь". "На сброс" - так называется доставка по воздуху груза в те места, где самолет приземлиться не может. Поэтому все необходимое экспедиции просто сбрасывают в открытый люк с небольшой высоты на вираже так, чтобы, по возможности, ничто не разбилось, не потерялось. Мы в тот раз доставляли "на сброс" овес для лошадей. Чтобы овес не рассыпался из лопнувшего мешка, каждый мешок засыпали только наполовину, а потом упаковывали его еще в один мешок. Кроме овса, бросали почту, палатки и спирт, налитый по этому случаю в резиновые грелки. Для каждого прицельного броска приходилось делать по нескольку заходов. Бортмеханик швырял в распахнутый люк очередной мешок, машина вздрагивала, круто взмывала вверх и, опрокидываясь на крыло, стремительно шла на следующий заход.

До сих пор не понимаю, как мне удалось выжить в этой мучительной и непривычной для меня ситуации. Когда самолет наконец приземлился, я с трудом выполз из него и лег под крыло. "А говоришь, не укачивало", - неодобрительно покачал головой второй пилот.Несмотря на неудачный первый опыт, к самолетам всех марок и к вертолетам я привык довольно быстро и укачиваться перестал. В те годы геологов на Крайнем Севере возили летчики Полярной авиации, независимого тогда ведомства, на котором еще лежали отсветы громкой славы времен покорения полюса и трансарктических перелетов. Для работы в Полярной авиации в те годы действительно требовались высшая профессиональная подготовка, смелость и знание Севера. Почти все командиры машин, летавшие с нами, имели право первой посадки в незнакомом месте, были настоящими полярными асами и, уж конечно, личностями. В конце пятидесятых - начале

шестидесятых годов мне немало пришлось летать и в Туруханском крае, и в районе Норильска, и в

Амдерме, и однажды даже на станцию "Северный полюс". Трижды при этом - с вынужденными посадками, так что минимум трижды я обязан жизнью мастерству полярных летчиков.

Реальность таких критических ситуаций я вполне ощутил уже в 1958 г., когда, теперь уже не помню зачем, прилетел на пару дней из тайги на базу в Игарку и надо было отправляться назад, на реку Горбиачин, где работала наша партия. Меня, как договорились, должна была попутно забросить "Аннушка", летевшая дальше с грузом для оленеводов. Переправившись утром в аэропорт через енисейскую протоку, я разыскал командира машины и спросил, когда полетим. "Да часа через два - не раньше, - ответил он, - еще пообедать успеешь". Успокоенный его ответом, я и впрямь пошел обедать в аэродромную столовую. Не успел я покончить с первым, как услышал за окном гул прогреваемого мотора. Схватив рюкзак, я выскочил наружу и увидел, как мой самолет выруливает на взлетную полосу. Я кинулся наперерез ему, размахивая руками. Командир засмеялся и через прозрачный колпак кабины показал мне "дулю". Меня обдало песком и мелкими камушками, взвихрившимися от работы винта, и "Аннушка" взлетела. Обиженный и раздосадованный, я поплелся обратно, собираясь все высказать коварному командиру, когда самолет вернется. Выяснилось, однако, уже в диспетчерской, что командир ни при чем. Ему поменяли полетное задание - срочный санрейс. Часа через два самолет должен был возвратиться. Однако он не вернулся ни через два часа, ни к вечеру. Все попытки вызвать его по радио были безрезультатны. Разбитый самолет с мертвым экипажем нашли лишь на третий день. У них, видимо, что-то случилось с рулем высоты. Все трое - оба пилота и бортмеханик - вцепились в штурвал, напрасно пытаясь выправить машину.

В том же 1958 г. состоялось мое первое знакомство с вертолетами, доставлявшими нас туда, где и "Аннушка" сесть не могла. Надо прямо сказать, полеты на них особого удовольствия не доставляли, чему немало способствовало то, что почти на наших глазах, прямо в Игаркском аэропорту, разбился один из первых вертолетов - винт сломался на взлете. Сами летчики, чаще всего пересаженные на вертолет с самолета за какие-либо провинности, свои новые аппараты тоже недолюбливали. "На вертолете летать - все равно, что тигрицу трахать, - говаривали они, - и опасно, и удовольствия мало". С героической и бесшабашной вольницей полярных летчиков связано немало легенд и баек, где правда неотличима от вымысла. Сохранились в

памяти и многочисленные мистификации, веселые и дерзкие, придуманные и "разыгранные, как по нотам" (часто - с людьми известными) полярными летчиками.

Мой безвременно ушедший из жизни друг - автор песен и журналист Юрий Визбор, прилетавший в пятидесятые годы с каким-то журналистским заданием в район Тикси, - тоже попал там как-то на сброс сена и - на розыгрыш. "Для кого сбрасываете?" - имея в виду сено, поинтересовался Визбор. Словоохотливый бортмеханик популярно объяснил ему, что сено сбрасывают для мамонта. "Вы что, неужели не знаете? - изумился механик недоумению журналиста. - Ведь во всех газетах писали! В устье Лены недавно мамонтенка разморозили, Диму, и оживили. Теперь его в Москву надо переправлять, а в самолет он не помещается. Решили пустить его своим ходом. Вот мы и подбрасываем ему сено по пути следования".

Хочу рассказать еще об одном эпизоде, связанном с Полярной авиацией. Осень 1959 г., сезону конец. Окончив полевые работы, мы летели домой в Ленинград через Туруханск, где застряли на несколько дней из-за метеоусловий: пришла ранняя зима и замела Туруханск неожиданной вьюгой. Оставалось только дожидаться погоды. Настроение, однако, было приподнятое - после четырехмесячного сидения в тайге мы наконец возвращались домой в Ленинград, к чистому белью, к цивилизации, к родным и близким. Кроме того, мы были, конечно, уверены, что обнаруженные нами рудопроявления дадут начало новому Норильску.

Поздней метельной ночью решили зайти на огонек в дежурное помещение начальника туруханского аэропорта. Сам аэропорт представлял собой обычную грунтовую взлетно-посадочную полосу, быстро раскисавшую под любым дождем, а здание аэропорта было обычной избой, потемневшей и покосившейся на мерзлотной почве. Начальник же аэропорта, судя по рассказам, был человеком незаурядным. Вот мы и решили с ним познакомиться по-настоящему. Всего годом раньше, как гласил местный фольклор, этот неприветливый, слегка обрюзгший человек был майором военной авиации, пилотом первого класса, и командовал где-то под Москвой эскадрильей тяжелых реактивных бомбардировщиков. Через месяц ему должны были присвоить очередное звание и назначить начальником штаба полка. Был он высок ростом, статен и широкоплеч и очень гордился сходством с "великим летчиком нашей эпохи" Валерием Павловичем Чкаловым. Именно это сходство его и подвело. Нашумевшая в свое время, еще до войны, история о том, как Чкалов на пари со своими друзьями-

летчиками пролетел на самолете под главным пролетом Троицкого моста над Невой в Ленинграде, чем продемонстрировал не только полное свое бесстрашие, но и уникальное пилотское мастерство, для Чкалова, как известно, плохо кончилась. Его надолго лишили права летать. Герой нашего рассказа, всерьез относясь к своему сходству с великим летчиком, решил во что бы то ни стало повторить чкаловский подвиг. А поскольку больших мостов через реки в Подмосковье не оказалось, то он на пари с такими же асами, как он, посадил свой тяжелый бомбардировщик на Можайское шоссе, и посадил, как утверждают очевидцы, классно.

Не успел он принять поздравления и получить три ящика выигранного на пари коньяка, как дело о нем уже было передано командованию ВВС. Против него сработало и то обстоятельство, что очень близко от Можайского шоссе пролегает трасса личных автомашин особо ответственных товарищей. В итоге недолгого, но сурового разбирательства бывший командир эскадрильи был от командования отстранен, из майоров разжалован и из военной авиации навсегда уволен. Для исправления его послали в Туруханск в Полярную авиацию командовать аэродромом без права полетов. Потому-то и пребывал в перманентно хмуром состоянии.

Услышанная романтическая история только укрепила в нас желание немедленно пообщаться с начальником аэропорта, и мы, несмотря на поздний час, осторожно постучались к нему. В его полупустом кабинете на огромном деревянном рубленом столе, за которым он сидел, подперев щеку кулаком, стоял селектор, соединявший его с аэродромными службами, пара телефонов и небольшой дюралевый бачок с так называемым антиобледенителем. Антиобледенителем называется специальная жидкость, которая разбрызгивается на плоскости летящего самолета в северных широтах, чтобы они при полете в облаках и тумане не покрывались льдом. Говорят, что в последние годы, благодаря успехам отечественной, а может быть, зарубежной химии, для летчиков изобрели что-то такое, что можно лить только на плоскости, но в то отсталое время антиобледенителем был чистый спирт-ректификат.

Посидев минут двадцать с хозяином, встретившим нас неожиданно радушно, я решился показать ему свою песню про полярных летчиков, написанную чуть раньше, не сказав, конечно, что эта песня - моя (во избежание неожиданных последствий: как уже упоминалось, начальник аэропорта был человеком невычисляемым). Когда, пригубив антиобледенителя, я эту песню спел, он действительно поступил непредсказуемо: включив

селектор, объявил боевую тревогу по аэродрому и, когда минут через пятнадцать в кабинет набились встревоженные люди, твердым голосом приказал им "немедленно проснуться, отложить все дела и начать хором разучивать новую песню".

Булгаковский, скажете, сюжет? Булгаковского "Мастера" мы еще не знали, а героя этого эпизода на следующий день сняли и с этой должности, что, кажется, пошло ему на пользу: через пару лет он, знаю точно, снова летал, а к середине шестидесятых стал начальником крупного авиапредприятия на Северо-Востоке.

Песня же прижилась у летчиков на Крайнем Севере. Говорят, ее там поют до сих пор. С тех давних северных экспедиций запомнился мне и еще один увлекательный и небезопасный способ путешествия - плавание по северным рекам на байдарках или надувных резиновых лодках, именуемых почему-то "клиппер-ботами". Реки были быстрые, порожистые, иногда непроходимые, с большим числом водопадов и перекатов, особенно в правобережье Енисея. Чтобы защитить тонкие резиновые борта от острых камней, часто обвязывали их снизу брезентом. Надувные лодки обычно состояли из трех и более отсеков, что, однако, не всегда спасало на перекатах. Каждый раз, прежде чем проходить вплавь опасный участок неведомой реки, полагалось тщательно осмотреть его с берега Это, однако, в тяжелом дневном переходе, под комарами, далеко не всегда выполнялось, поскольку требовало дополнительных усилий от чрезвычайно уставших людей. В результате довольно часты были в те годы трагические случаи на воде, но об этом немного позже.

По должности я должен был объезжать все полевые партии экспедиции, работающие в тайге и тундре (восемь или девять), и проверять состояние аппаратуры для поисков урана, а также результаты самих поисков. Шел пятьдесят седьмой год. Помню, как находясь в одной из партий на реке Кулюмбе, я вдруг обнаружил, что все наши дозиметры зашкаливали при включении, показывая ураганную радиоактивность. Я, конечно, решил, что приборы сломались, и немедленно сообщил об этом на базу экспедиции в Игарку.

Туда, однако, уже пришли такие же сообщения из всех без исключения партий. Через день, когда мы поймали "вражий голос", выяснилось, что дело вовсе не в приборах - просто наши рванули неподалеку, на Новой Земле, атомную бомбу, тогда с этим было просто. Больше недели, особенно после дождя, работать мы не могли из-за огромного радиоактивного фона.

Начальником Енисейской экспедиции был тогда Анатолий Васильевич Лоскутов. Мне пришлось довольно много пространствовать с ним по тайге, перебираясь, обычно с караваном

оленей, в правобережье Енисея, из расположения одной партии в другую, где он проверял, как идет съемка, а я - состояние попутных поисков. В пути нас сопровождали два десятка вьючных оленей, которыми командовали эвенки - каюр Мишка Довендук и его жена Тоська, с удивительно красивым и тонким лицом, но очень кривыми ногами. У Мишки Довендука брат был милиционером, и это, по твердому Мишкиному убеждению, давало ему безусловное право относить себя к высшему эшелону власти. Он поэтому никогда не расставался с красно-синей милицейской фуражкой, подаренной ему братом, и к другим каюрам относился свысока. Эту социальную спесь с Мишки, однако, постоянно сбивала его жена, непрерывно бранившая его. За всю свою жизнь, ни до, ни после, я не слышал, чтобы женщина так отчаянно и беззастенчиво материлась. Обычно мы с Лоскутовым с утра уходили в маршрут, а каюры, сняв лагерь и навьючив оленей, должны были к вечеру переместить его на другое указанное на карте место. При вечерних поисках лагеря в незнакомой таежной местности мы с Лоскутовым практически никогда не испытывали затруднений, так как уже метров за триста был отчетливо слышен пронзительный голос кричавшей на мужа Тоськи…

В наших каюрах-эвенках при всей детскости и неустроенности звериного их бытия меня всегда привлекало чувство удивительного, недоступного нам - горожанам, единения с окружающей природой, ощущения себя частью ее. Живя, на наш взгляд, в нечеловеческих условиях, в грязи и нищете, напиваясь до бесчувствия спиртом или одеколоном, они в то же время смотрели на нас с мягким и снисходительным превосходством хозяев окружающего мира. Они мирились с необходимостью нашего присутствия в их жизни, но вряд ли воспринимали нас всерьез.

Мне нравилось скупое и надежное архитектурное устройство их высокого чума, который можно было возвести на любом месте за несколько минут из жердей, оленьих шкур и веревок. Высокая острая крыша с отверстием в ней обеспечивала хорошую тягу, поэтому, когда в чуме разводили огонь, весь дым уходил вверх, а тепло всегда оставалось, что мы особенно оценили в начале ранней полярной зимы, поскольку попытки согреться с помощью "буржуек" в наших тоненьких и моментально выдуваемых брезентовых палатках приводили только к пожарам. Котел с едой кипел прямо здесь, в доме, и не надо было выскакивать, чтобы поесть, наружу, под дождь или снег. Постоянным и неизменным источником их существования были олени: они ели оленину - свежую или вяленую, одевались с ног до головы в оленьи шкуры,

спали на полу, застланном такими же шкурами, придававшими дому тепло и сухость, и даже чумы свои строили из оленьих шкур.

Природная незлобивость этих детей лесотундры, философский, созерцательный склад ума располагали их к мягкому юмору. Рассказывали такую историю, случившуюся в те годы в нашей Енисейской экспедиции.

Вдоль таежной речушки по оленьей тропе медленно движется караван оленей. На передних нартах сидит каюр-эвенк и невозмутимо курит трубку. К этим же нартам привязаны, чтоб не упали, мертвецки пьяный начальник партии и вьючный ящик. На вторых нартах - так же надежно привязанные мешок картошки, два рюкзака, палатка и пьяный геолог. Навстречу едет эвенк на нартах и тоже курит трубку. Поравнявшись со встречной нартой, он спрашивает у каюра: "Эй, мужик, куда едешь, чего везешь?". "Экспедиция, - невозмутимо отвечает другой каюр, - всякий разный груз…"

И в первый, и в последующие годы, когда мне довелось работать и жить с эвенками, меня всегда занимал незатейливый, но точный механизм их негромких песен. Вот движутся неспешно по тайге нарты, я подремываю, а каюр, сквозь зубы, не выпуская изо рта трубки, тихо напевает что-то односложное на непонятном мне языке. "Мишка, - спрашиваю у него, - про что поешь?". "Как про что? Про реку, - удивляется он, - вдоль реки, однако, едем". Проходит минут двадцать, а мотив песни как будто не меняется. "А теперь про что, - все еще про реку?" - "Нет, однако, теперь про сосну - вон большая сосна показалась". Еще через полчаса в песне начинают вдруг появляться нотки повеселее. "Что, опять про сосну?" - "Совсем не про сосну, - терпеливо и снисходительно, как глупому ребенку, объясняет он - Видишь, дым над лесом появился, - чум, однако, близко". Эта нехитрая творческая манера - петь только о том, что видишь и знаешь, заимствованная у наших каюров, на долгие годы определила мои литературные пристрастия.

С намагниченных лент

Строки из тех экспедиций

В подборку вошли три песни и одно стихотворение, не ставшее песней. Тем не менее я хотел бы познакомить читателей "Химии и жизни" со "Старыми стоянками", затем хотя бы, чтобы они могли представить себе явственно, каким безнадежным романтиком был автор в те годы. Что же касается песен, то все они достаточно известны. "Снег" действительно написан в 1957 году, у этой песни много вариантов - авторских и переиначенных тремя уже поколениями геологов и туристов. Часто переставляются местами запевы второго и третьего куплетов, третья строка заключительного куплета нередко поется так: "Через метели, тоску и тайгу…" Сейчас мне уже трудно сказать, как было с самого начала - возможно, этот вариант, с тоской, точнее соответствовал тогдашнему моему настроению, здесь же приведен текст первой книжной публикации - из сборника "Атланты", выпущенного в Ленинграде десятитысячным тиражом в тоже уже давнем 1967 году.

ДЕРЕВЯННЫЕ ГОРОДА
Укрыта льдом зеленая вода.
Летят на юг, перекликаясь, птицы.
А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы.
Над крышами картофельный дымок.
Висят на окнах синие метели.
Здесь для меня дрова, нарубленные впрок,
Здесь для меня постелены постели.
Шумят кругом дремучие леса,
И стали мне докучливы и странны
Моих товарищей нездешних голоса,
Их городов асфальтовые страны.
В тех странах в октябре - еще весна.
Плывет цветов замысловатый запах,
Но мне ни разу не привидится во снах
Туманный запад, неверный дальний запад.
Никто меня не вспоминает там.
Моей вдове совсем другое снится,
А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы.

КОЖАНЫЕ КУРТКИ

(песня полярных летчиков)
Кожаные куртки, брошенные в угол,
Тряпкой занавешенное низкое окно,
Ходит за ангарами северная вьюга,
В маленькой гостинице пусто и темно.
Командир со штурманом мотив припомнят старый,
Голову рукою подопрет второй пилот,
Подтянувши струны старенькой гитары,
Следом бортмеханик им тихо подпоет.
Эту песню грустную позабыть пора нам,
Наглухо моторы и сердца зачехлены,
Снова тянет с берега снегом и туманом,
Снова ночь нелетная даже для луны.
Лысые романтики, воздушные бродяги,
Наша жизнь - мальчишеские вечные года,
Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги,
Ты, метеослужба, нам счастье нагадай.
Солнце незакатное, и теплый ветер с веста,
И штурвал послушный в стосковавшихся руках,
Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты,
В маленьких асфальтовых южных городах.

СТАРЫЕ СТОЯНКИ

Не люблю проходить мимо старых своих стоянок,
Где подгнившие колья чернеют на самом виду,
Где ржавеют остатки консервных банок,
Открытых мною в прошлом году.
Я сюда не люблю возвращаться обратно,
Где ножами с березок снята кора,
Где остались грязи сырые пятна
На месте живого когда-то костра.
Здесь от запаха пепла становится жутко,
Будто что-то в чужой подсмотрел судьбе,
Здесь стоишь, зализывая самокрутку,
Как на кладбище самому себе.
И я ускоряю шаг, проходя мимо старых стоянок,
Ускоряю шаг.
Олени идут и молчат, идут и молчат постоянно,
Дырочки на ушах.
Комары, как всегда, надо мною ноют,
Ремень карабинный трет.
Пусть что было останется за спиною,

Мы уходим вперед.

СНЕГ
Тихо по веткам шуршит снегопад,
Сучья трещат на огне.
В эти часы, когда все еще спят,
Что вспоминается мне?
Неба далекая просинь,
Давние письма домой.
В мире задумчивых сосен
Быстро сменяется осень
Долгой полярной зимой.
Снег, снег, снег, снег,
Снег над палаткой кружится.
Быстро кончается наш краткий ночлег.
Снег, снег, снег, снег
Тихо на тундру ложится
По берегам замерзающих рек
Снег, снег, снег.
Над Петроградской твоей стороной
Вьется веселый снежок.
Вспыхнет в ресницах звездой озорной,
Ляжет пушинкой у ног.
Тронул задумчивый иней
Кос твоих светлую прядь,
И над бульварами линий
По-ленинградскому синий
Вечер спустился опять.
Снег, снег, снег, снег
Снег за окошком кружится
Он не коснется твоих сомкнутых век.
Снег, снег, снег, снег,
Что тебе, милая, снится?
Над тишиной замерзающих рек
Снег, снег, снег.
Долго ли сердце твое сберегу?
Ветер поет на пути.
Через туманы, мороз и пургу
Мне до тебя не дойти.
Вспомни же, если взгрустнется,
Наших стоянок огни.
Вплавь и пешком, как придется,
Песня к тебе доберется

Даже в нелетные дни.
Снег, снег, снег, снег,
Снег над тайгою кружится.
Вьюга заносит следы наших саней.
Снег, снег, снег, снег,
Пусть тебе нынче приснится
Залитый солнцем вокзальный перрон
Завтрашних дней.

В 1958 году, окончательно разочаровавшись в "попутных поисках урана", я переквалифицировался на геологическую съемку, а потом на магниторазведку при поисках медноникелевых руд, сначала в районе реки Горбиачин, а потом южнее, на реке Колю. Между базой экспедиции и полевыми партиями поддерживали оперативную радиосвязь. Каждый день в фиксированное время, обычно часов в девять вечера, уже после маршрутов, все партии со своими позывными вызывались центральной рацией из Игарки. Им передавались распоряжения, сообщения, телеграммы. Если слышимость была плохая - работали ключом, если же хорошая, - пользовались просто микрофоном. Оттого сугубо личные телеграммы, посланные из Ленинграда по телеграфному адресу "Игарка, Гранит, такому-то", становились известными всем. С радиограммами этими вообще было много трагикомических историй. Так, в Ленинград из одной экспедиции, работавшей на Таймыре, была послана телеграмма, подписанная участниками экспедиции: "Иванов, Поммер". На телеграфе прочли вторую фамилию как "помер" и поменяли глагол: стало "умер", и в Ленинграде семья ни в чем не повинного Иванова испытала нервный шок.

Были и смешные истории - заместитель начальника нашей экспедиции, попав в Туруханск, прислал оттуда в Игарку телеграмму: "Пароходом выехать не могу думаю баржей". Ответ начальника гласил: "Думайте головой выезжайте чем хотите". Из-за этого телеграфного стиля немало насмешек пришлось перенести и мне. Я в то время занимался уже магнитной съемкой. На базе экспедиции в Игарке стояла самодельная вариационная станция, которую обслуживала молоденькая девица Соня Коварженко, славившаяся своей наивностью и невинностью на всю экспедицию. Станция эта должна была работать бесперебойно, иначе все измерения в тайге оказались бы бракованными.

Поэтому, уезжая в поле, я строго-настрого предупредил Соню: "Главное, чтобы не было никаких задержек в измерении

вариаций, иначе мы в тайге будем работать впустую, понятно?". Каждый вечер, в строго установленное время, к чему уже все привыкли, Коварженко вызывала по радио Городницкого, и начиналась длительная передача вариаций: "Шесть ноль ноль - двадцать шесть ноль пять - двадцать две", и так далее. Вдруг передачи эти прекратились, и на третий день вместо ожидаемых данных о вариациях пришла паническая телеграмма: "Саня, третий день задержки, что делать? Соня". Надо мной долго издевалась вся экспедиция.

Одним из моих первых начальников партии оказался старый геолог Борис Борисович Мариенгоф, младший брат Анатолия Мариенгофа, того самого, который вместе с Есениным и Рюриком Ивневым был когда-то основоположником имажинизма и написал книгу о Есенине "Роман без вранья". Старший брат, судя по рассказам Бориса Борисовича, не слишком признавал младшего, который, несмотря на отсутствие высшего образования, обладал глубоким аналитическим умом и стремлением к философии. "Саня, - поучал он меня, - жене, конечно, можно изменять, но уж признаваться в этом ни в коем случае нельзя. Потому что если ты признаешься женщине, что был с другой, это самое для нее оскорбительное. Поэтому всегда и все отрицай, несмотря даже на очевидные факты. Пусть она прямо с другой тебя в постели застанет, все равно говори - не было, тебе показалось, оптический обман. И рано или поздно она тебе все-таки поверит, потому что хочет верить. Понял? Значит, главный принцип такой: не верь своим глазам - верь моей совести".

"А теперь, - заявлял он мне неожиданно, - я объясню тебе механизм власти. Вот, погляди, у меня двадцать работяг и двадцать пар сапог. Я им сапоги роздал, и они на меня плюют, я им - не начальник, я - завхоз. А сейчас представь себе другую ситуацию: у меня двадцать рабочих и только десять пар сапог. Я уже начальник - я кому-то могу дать, а кому-то нет, понял? В этом и есть главный принцип власти". Его улыбающаяся, всегда небритая физиономия с мясистым горбатым носом, никак не гармонировавшая с неизменной морской фуражкой, с которой он никогда не расставался, казалась лукавой и плутоватой. Однажды после какой-то крупной пьянки он выстроил в шеренгу своих работяг, которые его обожали, вызвал из палатки меня и спросил заплетающимся языком: "Саня, скажи, а вот есть в Ленинграде такой поэт Шефнер?" "Ну, есть", - негромко ответил я, удивленный неожиданностью и неуместностью вопроса. "Громче говори, а вы, босяки, все слушайте, понятно?" "Есть такой поэт", - уже громко выкрикнул я, ничего по-прежнему не понимая. "Хороший поэт?" - снова спросил Мариенгоф. "Ну, хороший, а

что?" - "Нет, еще раз скажи, что хороший, а вы все слушайте!" "Хороший", - заорал я громко. "Так вот, - торжествующе заявил Борис Борисович, подняв вверх палец, - я у него в тридцать восьмом году в Ленинграде бабу увел!" С тех уже подзабытых времен я не видел Бориса Борисовича Мариенгофа много лет, даже не знал, жив ли он. Однако совершенно неожиданно в прошлом году встретил его в переполненном вагоне ленинградского метро. "Привет, Саня", - окликнул он меня и, как будто продолжая прерванный только вчера разговор, сказал: "А я все-таки этих сук обманул (он показал пальцем вверх)

- у меня сын в Париж уехал!". И улыбнувшись своей плутоватой улыбкой, сошел на следующей остановке. Первый полевой сезон в Заполярье подарил мне также знакомство и дружбу с удивительным человеком Анатолием Клещенко. Мне вспоминается жаркий июльский день, наполненный неотвязным гудением комаров, на порожистой и стремительной таежной реке и узкая заплатанная байдарка с двумя бородачами в накомарниках и видавших виды штормовках, выскочившая из-за поворота перед нашей стоянкой. Оба они оказались нашими земляками-ленинградцами: один, как и мы, геолог, а второй, невысокого роста, худощавый, с цепким внимательным взглядом и дымящей трубкой, назвался сезонным рабочим. Так произошло мое первое знакомство с Анатолием Клещенко, художником, писателем и охотником, человеком с легендарной биографией. Свои первые стихи он опубликовал в 1937 г., был принят в Союз писателей в 1939-м и осужден на максимальный срок в сороковом.

Анатолий Клещенко родился 14 марта 1921 г. в деревне Поройки Ярославской области. Отец Толи Дмитрий Андреевич был "богомазом", реставрировал иконы в церквях в городе Мологе, ушедшем вместе с ними на дно Рыбинского водохранилища. Говорят, до сих пор в окрестных деревнях в некоторых домах висят иконы, писанные отцом Анатолия. В одиннадцать лет Толя решил убежать в Америку, но вместо этого в Молдавии попал в табор к цыганам и почти год кочевал с ними, научился ходить на руках, делать сальто. Там же он в совершенстве изучил блатной жаргон, что немало помогло ему впоследствии в лагерях. После того как отец разыскал беглеца, он отвез его в

Киево-Печерскую Лавру, где обучали иконописному мастерству. Это тоже помогло и в лагере, и в последующей ссылке под Красноярском. Я помню, что стены его последней квартиры в Петропавловске-Камчатском были поначалу разрисованы им самим, но вмешался бдительный домовой комитет, и пришлось

живопись со стен убрать.

Анатолий не получил высшего образования в молодости, но был упорным самоучкой, человеком редкого стремления к культуре и познанию. В его детском и юношеском воспитании большую роль сыграли известный литературовед Борис Иванович Каплан, расстрелянный в 1941 г., и его жена Софья Шахматова. Борис Иванович впервые был арестован еще в тридцать четвертом году, так что обстановка произвола и репрессий была знакома Толе с детства. Его ранние поэтические публикации привлекли внимание Анны Ахматовой и Бориса Корнилова. Зверские пытки и избиения в подвалах печально знаменитого "Большого дома" на углу Литейного и Шпалерной не сломили девятнадцатилетнего юношу и не заставили его отречься от найденных у него при обыске самоубийственных стихов, адресованных Сталину:

Чтоб были любы мы твоим очам,
Ты честь и гордость в наших душах выжег,
Но все равно не спится по ночам
И под охраной пулеметных вышек.
Что ж, дыма не бывает без огня:
Не всех в тайге засыпали метели!
Жаль только - обойдутся без меня,
Когда придут поднять тебя с постели.

В темные и страшные времена, когда, не выдержав физических и нравственных мук в застенках, бывалые бойцы покорно подписывали заведомо ложные обвинения, отрекаясь от самих себя, Анатолий нашел в себе силы и на суде бесстрашно обличать сталинщину. Почему его не расстреляли? По чистой случайности - как раз в это время ненадолго была отменена смертная казнь. Вместо этого ему предстояло заживо сгнить в лагерях. Шестнадцать беспросветных лет провел он там, но не погиб и не согнулся:

Иных покрыла славою война,
Иные доставали ордена
За нашу кровь, не оскверняя стали,
Мы умирали тихо в темноте,
Бесславно умирали, но и те,
Кто убивал нас, - славы не достали.

В лагере, в нечеловеческих условиях неволи и каторжного труда, он ухитрился написать несколько циклов стихов и поэму о

своем любимом герое Франсуа Вийоне. Двадцатый съезд и реабилитация в 1957 году вернули Клещенко в родной Ленинград. По ходатайству Анны Ахматовой, Бориса Лихарева и Анатолия Чивилихина его заново приняли в Союз писателей - поэтому до самой смерти в его документах значилось, что он член Союза не с тридцать девятого, а с пятьдесят седьмого. Приходилось все начинать с нуля: его не печатали. Александр Ильич Гитович помог с переводами - надо было на что-то существовать. И тогда Анатолий начал писать прозу ("для денег", - говорил он сам).

Одна за другой начали выходить его повести: "Дело прекратить нельзя", "Распутица кончается в апреле", "Когда расходится туман", "Это случилось в тайге". А вот стихи практически не печатали. Слишком горькими и обличительными казались они осмотрительным редакторам тех лет. Так появился прозаик Анатолий Клещенко, а поэт как бы исчез.

Анатолию, однако, было душно в городе, где, по существу, мало что изменилось. Все, кто его сажал, остались на своих местах. Будучи человеком прямым и бескомпромиссным, он не мог спокойно чокаться в ресторане Дома писателей с доносившими на него стукачами, ныне преуспевавшими литераторами.

На лето Анатолий нанимался сезонным рабочим в геологическую экспедицию и уезжал в тайгу и тундру. В шумных геологических застольях, где все звали его просто Толей, поражали его скромность, сосредоточенность и немногословие. По его простецкому виду, бороде и постоянной трубке, с которой Анатолий никогда не разлучался, все окружающие принимали его за "типичного" геолога. После нашего неожиданного знакомства на Горбиачине мы не раз встречались с Толей в Ленинграде и в Комарове, где он жил рядом с Анной Андреевной Ахматовой.

О стихах его, особенно лагерных, не знали даже близкие приятели. Вряд ли он надеялся когда-нибудь их опубликовать… Но поступал в соответствии с теми правилами, которые как поэт принял для себя сам.

В то время стали известны песни Александра Галича, и Анатолий один из первых зазвал его к себе и записал на магнитофон. Насколько мне известно, два этих поэта поддерживали отношения, несмотря на все превратности судеб, до 1974 года, который для одного стал годом кончины, для другого - изгнания. Наши встречи с Анатолием Клещенко были нечасты - из-за экспедиций, его и моих. Позже он как-то неожиданно исчез из Ленинграда, а через год выяснилось, что навсегда покинул Питер, завербовавшись на Камчатку в качестве

инспектора охотохозяйства Елизовского района. Что заставило его сделать это? Сам он так отвечает в коротком стихотворении "Буран":

Опять мои капканы занесло,
Опять в ловушках прячутся летяги,
Но любо мне худое ремесло
Таежного охотника-бродяги.
Я, видно, от рождения такой
(Ведь говорят: в семье не без урода!),
Что мне буран милее, чем покой,
Чем тихая бесснежная погода.
Мне веселей, чем дома, - в шалаше,
В тайге, в пути… Но не суди облыжно:
Чертей, что воют иногда в душе,
При вое ветра как-то меньше слышно…

Уход в тайгу был уходом от ненавистной ему жизни. В 1958 г. я познакомился с молодыми талантливыми геологами Михаилом Ивановым и Станиславом Погребицким. Весной пятьдесят девятого мы с Ивановым еще по апрельскому снегу поехали на весновку в район реки Колю, притока реки Северной, где предстояло провести детальное обследование выявленных там медно-никелевых рудопроявлений. Около двух месяцев мы с Михаилом прожили вдвоем в палатке (позже появился третий - упомянутый уже Станислав, Стас). Мирное это существование было прервано только однажды, когда как-то вечером Михаил спросил меня перед сном: "Саня, ты не помнишь, у Стендаля есть такой рассказ про знатную даму и карбонария. Как он называется? Там, кажется, у нее имя и фамилия - с одной и той же буквы!". Последующие два дня мы мучительно и безуспешно вспоминали. А в ночь на третий он разбудил меня под утро и радостно заорал: "Ванина Ванини!".

В конце мая к нам закинули вертолетом рабочих и техников, и началась работа. Не обошлось и без экзотики. Заместитель начальника экспедиции Петухов с первым же вертолетом прислал к нам нанятую им в Игарке на сезон повариху, шуструю чернявую девку с золотыми зубами и блатной татуировкой. Свою программу она объявила тут же у трапа вертолета, откуда выгрузилась, держа в руках гитару, перевязанную огромным розовым бантом: "Буду со всеми, а начну с начальства". Вечером того же дня начались первые неприятности. Мы с Мишей и Стасом мирно выпивали в своей палатке, как вдруг раздался истошный женский крик: "Помогите, - насилуют!". Мы выскочили

из палатки. Крик продолжался. Ориентируясь на него, в уже полной темноте, прибежали на площадку, где днем приземлился вертолет. Посреди нее лежала Шурка (так звали нашу новую повариху) одна, совершенно одетая, и орала благим матом.

"Насилуют", - снова крикнула она, увидев нас, и захохотала. Выяснилось, что она пьяна в стельку и встать на ноги не может. "Значит, померещилось, - заявила она нам в ответ на наши негодующие замечания. - Уж и помечтать девушке нельзя!"

Первым объектом ее устремлений стал Миша Иванов, бывший тогда начальником нашей партии. У нас в палатке стоял старый ламповый приемник, на стенке которого были наклеены какие-то цветные женские головки (с обертки немецкого туалетного мыла). Каждый вечер она повадилась приходить к нам, невыносимо надушенная. "Михаил Иванович, скажите, это ваша жена? - кивала она на наклейки. - Какая красивая! А я, однако, вам больше подойду. Вы не смотрите, что я на вид такая худая - просто кость у меня тонкая..." Потом она принималась закидывать ногу на ногу, и шелковая юбка, сползая, обнажала ее смуглое бедро с синей вытатуированной надписью "добро пожаловать" и стрелкой в соответствующем направлении. Несколько дней подряд мы ее успешно выставляли, но потом Иванов не вынес натиска и сбежал вместе со Стасом в недельный маршрут, оставив меня за старшего.

Настала тяжелая жизнь. По ночам я наглухо законопачивался в палатке, хотя и переселил туда своего приятеля геофизика Володю Юрина, чтобы не оставаться одному. Шурка обозлилась. По утрам, направляясь к большой армейской палатке, где располагался наш камбуз, на завтрак, я слышал, как она, разливая кашу, держит речь перед проходчиками под их одобрительный смех: "Он что же думает, - что если он образованный, то он могет от меня свой жидовский нос воротить? Не выйдет. Все равно я его уделаю!". Я разворачивался и шел обратно в палатку завтракать лежалым сухарем. На мое счастье, через пару дней нашлись добровольцы, закрывшие собой эту амбразуру...

Я же все последующие годы, пока работал начальником партии, женщин больше в повара не брал. Контингент наших техников и рабочих, набранных только на сезон еще в Питере, как уже я упоминал, состоял из людей случайных, и хотя, принимая на работу, требовали показать паспорт и с судимостями старались не брать, люди попадались всякие. На этом фоне выделялся неизлечимый алкоголик, которого все звали Федя, невысокого роста, плотный, с седыми кавалерийскими усами и цепким неприятным взглядом пустых и неотвязных глаз. Пил он

при каждом удобном случае. Выпив, становился агрессивен и назойлив. Я как-то, понадеявшись на его фронтовое прошлое, назначил было Федю завхозом, но он при первой же поездке в Игарку пропил все казенные деньги, да еще и продал нашим эвенкам-каюрам закупленный им для экспедиции фталазол, выдав его за противозачаточное средство. Ходил он в неизменном донельзя вытертом и лоснящемся пиджаке с орденом Красной Звезды. Всю войну, если верить ему, прошел "от звонка до звонка". О карьере своей военной рассказывал так: "Был я сержантиком, был я лейтенантиком, был я и капитанишкой… Потом опять сержантиком". Служил поначалу в танковых частях, потом в штрафбате. Говорить с интересом мог только о двух предметах, которые знал досконально, - о системах немецких танков и женских статях. Уважения ко мне он не испытывал решительно никакого, особенно после того как, вспоминая каких-то своих фронтовых друзей, сказал: "Да какие они мне друзья - суки они, все меня продали потом. Я таких друзей полетанью мажу". Когда я спросил у него, что такое полетань, он заорал мне в лицо, что не может быть в тайге начальником человек, который не знает элементарных вещей, - такой начальник всех погубит, и это впрямь вызвало довольно долгое скептическое отношение ко мне со стороны наших работяг.

Был и еще один, Семен Иванович, убивший в разное время пять человек и отсидевший "по мокрому делу" в разных лагерях лет пятнадцать, а потом досрочно освободившийся по сложной зачетной системе. По вечерам он подсаживался ко мне и вздыхал: "Эх, Александр, тут же скука смертная! Тут же только мы с вами двое - интеллигентные люди, не с кем слова сказать!". К вопросам жизни и смерти, впрочем, относились довольно просто. Летом того же пятьдесят девятого года к нам на Колю прислали огромного черного азербайджанца Ахмеда с его подругой Фаридой для промывки шлихов. Однажды вечером Фарида у костра поулыбалась мне несколько больше, чем, по мнению Ахмеда, это полагалось. На следующий день я вместе с его бригадой пошел с утра на шлихи вдоль берега Колю. Время было утреннее, прохладное, поэтому одет я был, как и все прочие, в ватник, а на спине болтался сзади полупустой рюкзак. Ахмед шел след в след по тропе за мной. Вдруг я почувствовал какое-то горячее прикосновение к левой лопатке. Ощущение было не больным, но неожиданным. Я обернулся и увидел Ахмеда, молча заносящего окровавленный нож для второго удара. Поскольку в правой руке я нес лоток, то инстинктивно закрылся от удара свободной левой, поэтому нож пробил мне кисть левой руки между большим и указательным пальцами. Набежавшие сзади

схватили Ахмеда за руки и отняли нож. Меня пришлось перевязывать, разорвав для этого мою же безнадежно испачканную кровью рубаху. Первый удар был нацелен точно под левую лопатку. Спасло меня только то, что ватник и свободно висевший полупустой рюкзак не позволили ножу пройти в глубину, да еще случившаяся пряжка на лямке рюкзака повела втыкающееся лезвие чуть выше. Так у меня и остались два шрама - в память о тех годах. В целом же длинный полевой сезон пятьдесят девятого года на реке Колю остался в памяти как самый интересный. Жили мы втроем в одной палатке и по вечерам за чаем коротали время в долгих разговорах, заводилой которых неизменно был Стас Погребицкий, отличавшийся резким и острым умом, оригинальностью суждений и довольно сложным характером. Он тогда ходил в молодых геологических гениях и держал в страхе весь наш ученый совет, включая Урванцева, которые мало понимали, о чем он докладывает. Понимал его тогда, пожалуй, только Коржинский* в Москве.

* Коржинский Дмитрий Сергеевич - выдающийся геолог и геохимик, академик, лауреат Золотой медали им. В. И. Вернадского.

У Стаса была довольно неприятная привычка в полемике или споре долго и пристально смотреть своему противнику в глаза неподвижным и немигающим взглядом. Говорил он так же прямо, как смотрел. Он мог, например, заявить на ученом совете Института геологии Арктики: "Вы тут все - малообразованные люди, и мне с вами нечего обсуждать". Иные от него шарахались. Послушав однажды мои стихи, он заявил в своей обычной манере: "Бросай немедленно геологию, все равно как геолог ты останешься говном". "Почему это?" - спросил я обиженно. "Да потому что стихи у тебя получаются лучше, а две такие разные вещи человек хорошо делать не может".

Несмотря на молодость (всего двадцать четыре), он уже был автором нескольких нашумевших статей. Традиционной теории генезиса медно-никелевых руд норильского типа противопоставлял гипотезу, которая выдвигала совсем другие поисковые критерии. В долгие темные вечера в палатке на Колю велись длинные научные и ненаучные споры, в которых последнее слово всегда было за Стасом. Вместе с тем работоспособности он был нечеловеческой. Мог сутками пропадать на обнажении* или сидеть за микроскопом. Жадно поглощал всю научную литературу, неизвестно где доставая оттиски статей, у нас не издававшихся. Неукротимый характер Стаса, широкий научный кругозор и безусловный талант исследователя предвещали ему блестящее будущее. Случилось,

однако, иначе. В июле следующего, шестидесятого года он погиб на реке Северной, неподалеку от того места, где стояли наши палатки на Колю.

* Так полевые геологи называют выходы коренных пород из-под рыхлых отложений. - Ред.

В тот год мы с Ивановым остались в Ленинграде защищать отчет предыдущей экспедиции, а Станислав поехал вперед на весновку с отрядом, чтобы осмотреть новые рудопроявления и наметить фронт разведочных работ. Помню, мы провожали его в мае в ресторанчике-поплавке на Петроградской, где немало было выпито шампанского и сказано заздравных тостов. Станислав улетел в Игарку, откуда еще по снегу высадился с отрядом в район среднего течения притока Нижней Тунгуски реки Северная (старое эвенкийское название этой реки - "Тымера", что по-русски значит "Опасная"). Здесь, примерно на сто пятнадцатом километре выше устья реки, они встали лагерем, чтобы, как только сойдет снег, начать осматривать близкие медноникелевые рудопроявления и вскрывать их канавами и шурфами. Начальником партии был Стас - самый молодой в ней по возрасту. А дальше произошло следующее. Когда сошел снег, надо было кому-то отправиться вниз по реке, чтобы просмотреть выходы коренных пород вдоль берега реки. Погребицкий вызвал для этого из Туруханска вертолет, но тот не пришел. Его ждали день, другой, третий. А время уходило. Наконец Стас психанул, приказал всем продолжать разведочные выработки на старом месте, а сам, погрузившись в резиновый "клиппербот" и взяв палатку и продукты на два-три дня, стал сплавляться по реке один, чем нарушил одно из главных правил работы в тайге - никогда не ходить в одиночку. Приказать ему, однако, было некому - он был самый главный.

Река Северная в том месте, где стоял отряд Стаса, спокойно течет в пологих песчаных берегах и шириной - метров около трехсот. А вот ниже, на сто первом километре, где песчаники сменяются базальтами, она резко сужается и входит в глубокий базальтовый каньон с отвесными и окатанными не зацепиться - стенами. Вода здесь катит, пенясь и бурля, набирая скорость, как лыжник на трамплине. И кончается все огромным порогом в нижней части ущелья с водопадом около десяти метров. Напротив водопада - отвесная скала, а под ним кипит, бешено крутясь, стремительный поток. Еще за год до беды нам пришлось наблюдать, как входят в это проклятое место деревья, смытые половодьем. Из водоворота они выскакивают на поверхность - как из лесопилки с обломанными ветвями и ободранной корой.

Станислав прекрасно знал, что место это на плаву

непроходимо, и, конечно, не собирался этого делать. Что стряслось, так и осталось навсегда загадкой. Может быть, он, слишком близко подойдя на лодке к каньону, не успел выгрести к берегу? Одет он был в меховую куртку и сапоги с длинными голенищами. Рюкзак и геологический молоток были привязаны к борту лодки, которую с одним пробитым отсеком выкинуло на мелководье тремя километрами ниже. Станислав же бесследно исчез. Судя по всему, он остался в том каменном мешке под водоворотом.

В день, когда все это случилось, я прилетел в Туруханск. И уже на другой день, поскольку поиски с самолетов и вертолетов ничего не дали, я в группе из трех человек на двух резиновых лодках отправился на поиски его тела вдоль всей реки вплоть до самого устья. Не дай Бог никому искать тело своего товарища… Медленно двигаясь вдоль берегов и обыскивая кусты, отмели, заросли речной травы и островки, мы перемещались к устью Северной. На пути и сами попали пару раз в тяжелые пороги; пропоров свои надувные лодки и утопив рацию, надолго застряли на берегу без связи с базой. Только на шестые сутки доплыли наконец до Нижней Тунгуски и, встретив там катер новосибирской экспедиции, вышли с помощью их радиостанции в эфир на нужной частоте. И я услышал радиопереговоры между начальником нашей экспедиции, находившимся в Курейке, и его заместителем, находившимся в Туруханске. Из разговора было ясно, что каждый из собеседников винит другого в том, что "пропала без вести группа Городницкого", и снимает с себя ответственность…

Погребицкого так и не нашли.

За долгие годы экспедиций на Крайнем Севере и в океане мне неоднократно приходилось терять товарищей, но эта ранняя гибель запомнилась особенно. Несчастный тот сезон 1960 г. выдался самым, пожалуй, тяжелым и драматичным. Больше месяца потратив на безуспешные поиски Погребицкого, мы не успели выполнить до наступления осенней непогоды все запланированные поисково-разведочные работы. В конце сентября, завершив их, наконец перевезли на оленях два десятка ящиков с образцами руды в центральный лагерь на Колю и, отпустив каюров с оленями, вызвали самолет. Шел мелкий, по-зимнему сухой снежок. Прилетевший на второй день пилот сказал: "У меня строгий приказ - брать только людей. Все имущество бросайте до следующего года. Циклон идет"

Непросто бросить имущество, которое за тобой числится. И совсем уж невозможно - ящики с бесценными образцами, в которых, как нам казалось, промышленное содержание никеля.

Это значило бы похоронить только что открытое месторождение, возможно, - новый Норильск. Жажда подвига и - безответственность руководили незрелыми нашими умами, и мы с Ивановым заявили коллегам: "Ящик с образцами - семьдесят килограммов, и человек столько же. Мы двое ставим вместо себя ящики и остаемся ждать следующего рейса. Кто с нами?". Охотников до таких авантюр набралось вместе с нами семь человек, тем более, что лету до Туруханска было всего не более получаса, и пилот сказал, что постарается вернуться. Вернулся он, однако, только через месяц.

Этот месяц, проведенный в напрасном ожидании самолета, без продуктов, с вышедшей на второй день из строя рацией, в непроходимой замерзающей тайге, стал нам хорошей школой на всю последующую жизнь. Первое, что я окончательно усвоил тогда, - это пустоту и лживость наших детских иллюзий времен историй про челюскинцев, нашей бездумной уверенности в том, что "в нашей стране человеку не дадут погибнуть".

Еще как дадут! Оказывается, авиаотряд в Туруханске связался с базой нашей экспедиции, где летчиков уверили, что продуктов у нас - минимум на два месяца, так что можно особенно не беспокоиться. А было их - на неделю. Но виновато было не начальство, а мы с Мишей, забывшие о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя ставить под угрозу жизни людей, за которых отвечаешь, во имя сомнительных открытий и легкомысленных амбиций.

Больше всего мучились наши курильщики. Сначала они разбирали полы палаток и искали под ними старые окурки, потом стали жарить на костре березовые листья и пытались их курить. Их нечеловеческие муки навсегда отбили у меня охоту к курению.

Лично у меня самые неприятные ощущения начались тогда, когда кончилась соль. А потом вообще все кончилось, и самое трудное было заставить себя и других каждый день расчищать площадку от снега в бесплодной надежде на прилет самолета. А снег все валил и валил. Когда самолет все-таки сел, площадку уже давно никто не расчищал, а нас тащили волоком и долго потом откачивали в Туруханске. Примерно через месяц после этого, уже в Ленинграде, мой товарищ застал меня дома за обедом накануне планируемого у него на следующий день дружеского застолья. "Еды готовь побольше, еды", - заявил он жене, вернувшись домой. Самое же главное, что в образцах, таких богатых с виду, на которые мы с Михаилом возлагали радужные надежды и из-за которых не задумываясь поставили на карту не только свои, но и чужие жизни, промышленных содержаний никеля не оказалось.

Так невесело кончилась для меня детская романтика быстрых и героических открытий. Итогом же месячного голодания в осенней тайге стала песня "Черный хлеб". В последующие два года мне довелось руководить большой геофизической партией, которая работала на реке Сухарихе, неподалеку от Игарки. Работы эти проводились по договору с Красноярским геологическим управлением и были хотя и тяжелыми, но привязанными к одному месту, так что прежней "съемочной" экспедиционной экзотики в них уже не чувствовалось, а был жесткий производственный план… Экзотические события тем не менее все-таки случались.

С намагниченных лент

Строки из тех экспедиций

В эту подборку вошли песни "Перекаты", "За белым металлом", "Черный хлеб", история которых рассказана в прозаических отрывках. Две первых посвящены памяти геолога Станислава Евгеньевича Погребицкого, погибшего на реке Северной в 1960 году. Я тогда написал цикл стихотворений и песен, связанных с печальным этим событием. О песне "Перекаты" нелестно отозвался в начале шестидесятых уважаемый мною Марк Наумович Бернес (не зная предыстории, он увидел в этой песне свидетельство распущенности современной молодежи). Одно из стихотворений этого цикла - о памяти мужчин - песней стало независимо от меня. Узнал я про это, как ни странно, в редакции "Химии и жизни", когда один из сотрудников редакции спел песню на мои старые стихи. В песне не было двух предпоследних четверостиший, зато неизвестный мне автор, блюдя форму - три куплета по восемь строк, - дописал концовку:

Пусть помнят, считают своими,
Довольно на это причин,
Пускай хранит наше имя
Серьезная память мужчин,
Тяжелая память мужчин,
Надежная память мужчин.

Самое интересное, что мотив почти полностью совпал с мотивом другой моей экспедиционной песни, написанной позже…

ПЕРЕКАТЫ
Все перекаты да перекаты.
Послать бы их по адресу!
На это место уж нету карты -
Плыву вперед по абрису.
А где-то бабы живут на свете,
Друзья сидят за водкою.
Владеют камни, владеет ветер
Моей дырявой лодкою.
К большой реке я наутро выйду.
Наутро лето кончится.
И подавать я не должен виду,
Что умирать не хочется.

И если есть там с тобою кто-то,
Не стоит долго мучиться:
Люблю тебя я до поворота,
А дальше - как получится.

x x x

Когда мы уйдем от комнат,
От солнцем нагретых листьев,
О нас не доверьте помнить
Женщинам нашим близким.
Пусть нас не считают своими,
Печальных не ждут годовщин, -
Пускай сохранит наше имя
Надежная память мужчин.
Когда упадем мы навзничь,
Когда не откроем глаз,
Пускай они будут праздничны
И выпьют они за нас.
Пусть женщин не будет с ними,
От разных на то причин, -
Пускай сохранит наше имя
Тяжелая память мужчин.
А женщины, что там женщины, -
Вопрос до предела прост:
До гроба любовь обещана,
А дальше - какой с них спрос?
Прижмутся губами ночными
К чужому рисунку морщин…
Пускай сохранит наше имя
Упрямая память мужчин.
Пусть наши сердца хранит она
И песни поет спьяна,
Болотом и ветром испытана
И спиртом обожжена.

ЗА БЕЛЫМ МЕТАЛЛОМ
В промозглой мгле - ледоход, ледолом,
По мерзлой земле мы идем за теплом,
За белым металлом, за синим углем,
За синим углем - да за длинным рублем.
И карт не мусолить, и ночи без сна,
По нашей буссоли приходит весна,

И каша без соли пуста и постна,
И наша совесть - чиста и честна.
Ровесник плывет рыбакам в невода,
Ровесника гонит под камни вода,
А письма идут неизвестно куда,
А в доме, где ждут, неуместна беда.
И если тебе не пишу я с пути,
Не слишком, родная, об этом грусти:
На кой тебе черт получать от меня
Обманные вести вчерашнего дня?
В промозглой мгле - ледоход, ледолом,
По мерзлой земле мы идем за теплом,
За белым металлом, за синим углем,
За синим углем - не за длинным рублем.

ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ
Я, таежной глушью заверченный,
От метелей совсем ослеп.
Недоверчиво, недоверчиво
Я смотрю на черный хлеб.
От его от высохшей корочки
Нескупая дрожит ладонь.
Разжигает огонь костерчики,
Поджигает пожар огонь.
Ты кусок в роток не тяни, браток,
Ты сперва оглянись вокруг.
Может, тот кусок для тебя сберег
И не съел голодный друг.
Ты на части хлеб аккуратно режь,
Человек - что в ночи овраг.
Может, тот кусок, что ты сам не съешь,
Съест и станет сильным враг.
Снова путь неясен нам с вечера,
Снова утром буран свиреп.
Недоверчиво, недоверчиво
Я смотрю на черный хлеб.

…Так невесело кончилась для меня детская романтика быстрых и героических открытий. Итогом же месячного голодания в осенней тайге стала песня "Черный хлеб".

В последующие два года мне довелось руководить большой геофизической партией, которая работала на реке Сухарихе, неподалеку от Игарки, где были обнаружены халькозин-

борнитовые руды с редкометалльными включениями, и надо было проследить рудные тела с помощью электроразведки для последующего разведочного бурения. Работы эти проводили по договору с Красноярским геологическим управлением и были хотя и тяжелыми, но привязанными к одному месту, так что прежней "съемочной" экспедиционной экзотики в них уже не было, а был жестокий производственный план.

Экзотические события тем не менее все-таки случались. Неподалеку от нас, ниже по течению реки Сухарихи, стояла большая производственная разведочная партия Красноярского геологоуправления, в которой было около десятка геологов и шесть десятков буровиков, большей частью из бывших "зеков", людей пьющих и отчаянных. Женщин у них в партии не было совсем, и поэтому, бывая у нас по-соседски в гостях, они, и прежде всего бригадир буровиков - огромного роста рыжий детина, которого все звали просто Федя, положили глаз на нашу лаборантку Нину Орлову, отличавшуюся высокой грудью, кокетливой улыбкой и пышными светлыми кудрями. (Здесь и ниже, по понятным причинам, имена и фамилии женщин изменены.) В конце августа во всех геологических партиях в те поры шумно и пьяно отмечали Всесоюзный день шахтера - собственного дня тогда у геологов еще не было. Как раз накануне основной отряд геофизиков из нашей партии отбыл на соседнюю речку Гравийку, чтобы готовить там новый полигон. В старом лагере, кроме меня, остались только старик повар, один молоденький практикант и Нина, занимавшаяся вычерчиванием какой-то отчетной карты. Мы не знали, что к нашим соседям по случаю праздника завезли самолетом из Игарки десять ящиков спирта. Вечером того же дня до нас донеслась беспорядочная ружейная пальба, рев тракторов, и в небо над лесом одна за другой взлетели несколько ракет. "Гуляют ребята", - равнодушно, хотя и не без зависти, произнес старик повар и, постукивая деревянной ногой, приобретенной на каком-то лагерном лесоповале, отправился спать.

Посреди ночи я неожиданно проснулся в своей маленькой холодной палатке от явственного рокота приближавшегося трактора. Выйдя из палатки и поеживаясь от предутреннего холода, я заметил в рассветных сумерках приближающийся трактор, к которому были прицеплены большие сани. На них размахивала руками и орала что-то бессвязное пьяная орава. Увидев меня, все обрадовались и радостно засвистели. "Саня, - заорал появившийся из кабины трактора Федя, - ты не бойся нас, мы тебя не тронем. Только Нинку нам выдай, и все. А то мужички мои без баб сильно оголодали". И тут как назло из-за моего плеча

вынырнула неизвестно откуда возникшая Нинка. До нее явно дошел смысл сказанного. Она побледнела и затряслась.

"Беги в лес куда-нибудь", - с досадой шепнул я ей, хотя, сказать по правде, и не уверен был, что от этой оравы удастся убежать. Трактор тем временем опять неторопливо двинулся к нам. Что было делать? Выдать ее, а потом повеситься?

Я кинулся в свою палатку, где у меня валялся около спальника старый трехлинейный карабин, и, схватив его, судорожно запихнул в пустой магазин случившуюся неполную обойму с четырьмя патронами. Другой обоймы нигде обнаружить не удалось. Махнув рукой, я выскочил из палатки навстречу приближающемуся тракторному гулу. Трактор и сани были уже метрах в ста пятидесяти. Увидев меня с карабином, Федя снова остановил трактор и крикнул:

"Ты смотри не балуй, а то мы тебя самого, жидяра, враз пришьем. А Нинка все одно наша будет". Трактор опять затарахтел и двинулся в мою сторону. Тогда, ошалев от страха, но вспомнив неожиданно давние уроки военного дела, я залег прямо перед палаткой и дрожащими пальцами поставил планку прицела на 150 метров, наведя ходившую ходуном мушку на лобовое стекло тракторной кабины.

Что теперь делать, неужели стрелять? И тут опять некстати появилась проклятая Нинка. Ее зареванный вид с растекшейся от ресниц тушью был ужасен. Обезумев от страха, она кинулась ко мне и, обхватив руками, громко стала кричать от страха, мешая целиться. Бабахнул выстрел, и пуля пошла куда-то вверх. Трактор тем не менее остановился. "Ах, ты так, гад? - крикнул снова вылезший Федя. - Ну, погоди. Пошли, ребя!" И вся ватага, человек пятнадцать, покинув сани, уверенно направилась в нашу сторону. "Беги", - яростно зашипел я на Нинку, и она, увидев мое перекошенное от страха лицо, ойкнув, скрылась где-то сзади.

Я залег снова. "Стой - стрелять буду", - каким-то чужим казенным голосом неуверенно крикнул я идущим. "Только попробуй, сука", - широко осклабясь, ухмыльнулся Федя. И тут, когда до идущих, а шли они плотной кучей, нисколько меня не боясь, оставалось уже метров пятьдесят, не больше, я, вдруг успокоившись, старательно прицелился прямо в широкую Федину голову чуть пониже его неизменной, несмотря на лето, ушанки и, задержав дыхание, как учили, плавно нажал на спуск. Федя упал. Я даже поначалу думал, что убил его, но, как оказалось потом, пуля только чуть оцарапала кожу на голове и сбила ушанку, а упал он от испуга. Тут же залегли и все остальные и, громко матерясь, начали отползать к саням. Они-то ведь не знали, что у меня осталось только два патрона! "Ну, погоди! - заорал снова

оправившийся Федя. - Мы сейчас к себе в лагерь за ружьями смотаемся и тебя, падла, изрешетим. А Нинка все одно наша будет!"

В редеющих уже утренних сумерках затарахтел отъезжающий трактор, волоча за собой сани с матерящимися хмельными пассажирами. Через полчаса, отыскав в кустах спрятавшуюся там Нинку, я немедленно отправил ее на Гравийку в другой отряд вместе с практикантом, напуганным не меньше меня, а мы с одноногим поваром остались в лагере.

Уже под вечер снова раздалось знакомое пыхтение трактора. Никакой вооруженной ружьями команды он, однако, не привез. "Саня, - заорал радостно "подстреленный" Федя, заблаговременно притормозив перед лагерем и выскочив из кабины, - не стреляй, мириться едем!" На тех же тракторных санях позвякивал ящик со спиртом, рядом стоял еще один с китайской свиной тушенкой "Великая стена". Вокруг ящиков сидели присмиревшие гуляки. По-видимому, бояться было нечего. "Прости, друг, - заявил, похмелившись, Федя, - черт попутал. Ты, главное, в голову не бери и шума из-за того не поднимай. Здесь у нас закон - тайга, медведь - хозяин, так что сами разберемся, понял?"

Главной нашей утехой и отдыхом при работах на Сухарихе, впрочем, как и всегда при полевых работах на севере, была, конечно, баня. Не зря существуют старые геологические поговорки: "В Арктике плоть - стерильна" или "Хорошо себя чувствуешь после бани - особенно первые четыре месяца". Готовились к ней тщательнейшим образом. На берегу реки опытные умельцы складывали каменку из базальтовых валунов. При этом придирчиво разглядывали каждый камень - трещиноватых, "сырых", не брали. Камнями этими обкладывалась буржуйка, сверху заранее устанавливали деревянный каркас для палатки. Топили буржуйку преимущественно березовыми дровами до такого состояния, чтобы каменная кладка раскалилась. После этого на каркас быстро натягивали самую плотную брезентовую палатку, сверху еще и тент, чтобы тепло держалось, на раскаленную каменку плескали первую шайку воды (чтобы дурной пар сошел) - и баня была готова. Ставили палатку у самой реки выходом к воде, так что можно было, распарившись до отказа и вытравив из своего измученного тела всю многодневную грязь и усталость вместе с волдырями от комаров и кровавыми расчесами от мошки, плюхнуться с первобытным радостным криком в ледяную речную воду, холод которой начинаешь ощущать только через минуту-другую, да и то как слабое и приятное покалывание, бодрящее и освежающее твое такое непривычно белое новорожденное тело.

Веники готовили заранее из молодого березняка. Их ошпаривали и вымачивали в душистом квасе, приготовленном из сухарных крошек. От этого над баней стоял свежий хлебный дух, вызывавший здоровый аппетит. Спирт по случаю бани также разводили и настаивали заранее, обычно на клюкве или на поспевающей уже бруснике, а запивали его ледяной брусничной водой. Парились основательно, в два или три захода. Сначала березовым веником, не стегая им по телу, а медленно нагоняя жгучее облачко пара и проходя им с мазохистскими стонами от пяток вдоль всей спины до самой макушки. Потом, отдохнув в спасительной прохладе воды, возвращались назад и ожесточенно хлестались вениками до той поры, пока тела из белых не становились медно-красными с бронзовым отливом. Профессионалы часто использовали наряду с березовыми пихтовые веники, утверждая, что только пихтовые иголки дают необходимый эффект, а старый полярник и поэтому профессиональный радикулитчик Коля Тимофеев, перед тем как париться "начисто", обмазывал себя специально для этого привезенным медом, уверяя, что если париться с медом, то "все поры вывернутся наружу, как перчатка". Бане, устраивавшейся перед выходным днем, предшествовали обычно специальные ловля рыбы и варка ухи, сначала из мелкой второстепенной рыбы, а по второму разу в том же бульоне - из благородного хариуса, северной форели. Поскольку партия наша на Сухарихе состояла практически из одних мужиков, то единственную нашу даму, упомянутую уже Нинку, которая сильного пара не выносила и мылась поэтому значительно позже, отправляли на другой край лагеря, а сами вольготно разгуливали нагишом, справедливо полагая, что в дикой тайге женщинам взяться неоткуда. Именно так однажды, в конце августа 1962 года, мы и блаженствовали, остужаясь после пара в мелководной Сухарихе, когда из-за близкого речного поворота, не более пятидесяти метров от нас, неожиданно выскочили две резиновые лодки, на которых явственно пестрели женские косынки. Встать из воды мы уже не могли, поэтому пришлось лежа объяснять столь внезапно возникшим гостям сложность ситуации, которая усугублялась тем, что лодки их могли плыть только вниз по течению, а обратно за поворот - нет, так что пришлось нам, замерзая, ждать до тех пор, пока они не пристанут к берегу и не удалятся из зоны видимости.

Так появился в нашем лагере "тематический отряд" Татьяны Стриженовой из Ленинградского нефтяного института в составе трех женщин и двух рабочих - контингент для севера нетипичный. О самой Стриженовой к тому времени, впрочем, в Туруханском

крае ходили самые фантастические легенды. Говорили, например, что она на пари с геологами-мужчинами высосала без закуски через соску две поллитры, и ни один мужчина (как ни старались) не то что превзойти, но даже повторить этот подвиг не смог. Легенда утверждала также, что в прошлом году она прыгала, опять же на пари, на резиновой лодке с Большого Кулюмбинского порога и выиграла два ящика водки, которые подарила своим работягам. Рассказывали также всякие небылицы о ее полном бесстрашии по отношению к любому начальству и разного рода сексуальных подвигах. Сама героиня мифов оказалась худощавой и черноволосой цыганистого типа женщиной с постоянной папиросой в углу сильно накрашенного рта и большой пиратской золотой серьгой в левом ухе. Затянута она была в редкие еще в то время американские джинсы, заправленные в резиновые сапоги, и тельняшку с глубоким вырезом. На шее болтался свободно повязанный красный прозрачный платокк "андалузка". На голове красовалась широкополая шляпа-сомбреро, а на правом бедре, на настоящем американском поясе-патронташе, отсвечивал черной вороненой сталью шестизарядный кольт. Сопровождавшие девицы, явно подражая ей, обряжены были в аналогичные тельняшки с "андалузками" и широкополые шляпы. Только вот на бедрах у них вместо кольта висели простые охотничьи ножи.

Три розовые палатки пришельцев, к бурной радости нашего немногочисленного, но гостеприимного мужского коллектива, спустя полчаса были установлены внутри лагеря между нашими зелеными. Гостям была обеспечена баня, и развернулся могучий праздник, тем более, что недостатка в спиртном не испытывали ни мы, ни гости…

На следующий день они двинулись вниз к устью Сухарихи, где их должен был забрать катер, а вместе с ними отправился в Игарку и я, так как обещанный мне вертолет, как всегда, отменили. К вечеру пришли на берег Енисея, где катера не оказалось. Поэтому поставили там палатки, выбрав место потише, - был сильный ветер - и устроились на ночлег. Пытались развести костер, но его задувало порывами ветра. Поэтому, согрев кое-как чайник, расположились по спальникам в ожидании утра. Утро встретило нас настоящим ураганом. Палатки, хотя и стоявшие в укрытии за кустами на второй грядовой террасе, вздувались, как паруса, на ослабевших веревках, угрожая их оборвать. Кокетливые розовые польские палатки Татьяниного отряда выгодно отличались от обычных наших грязно-зеленых тем, что утром мы всегда просыпались в пасмурно-зеленых сумерках, а в розовой палатке каждый новый день начинался солнечно - независимо от погоды. Вместе с тем эти изящные психологически продуманные

туристские сооружения не были рассчитаны на ветры полярной осени и бились на привязи, подобно птицам, не успевшим улететь на юг и застигнутым внезапной сибирской осенью.

Выбравшись из палатки, чтобы закрепить ее, мы увидели, что на Енисее гуляет настоящий шторм. Огромные серые волны, набегая из мутного снежного тумана, разбивались о прибрежные камни. В последующие годы мне много пришлось увидеть штормов и даже ураганов в океане, в том числе - осенних тайфунов вблизи Курильских островов и ураганов в юго-восточной части Тихого океана близ полюса относительной недоступности. Никогда, однако, даже когда мы терпели бедствие на паруснике "Крузенштерн" в Северной Атлантике в шестьдесят втором году у берегов Канады, а крен достиг критической величины, шторм не казался таким грозным, как тогда на Енисее. Может быть, дело в том, что на судне ты не предоставлен самому себе и разделяешь общую, пусть неминуемую судьбу, борешься вместе со всеми, действуешь по команде и никогда не чувствуешь себя одиноким? Здесь же ты оказываешься с грозной стихией один на один и можешь полагаться только на собственную твердость духа (если она у тебя есть) и незначительные, увы, физические силы."

К середине дня сквозь вой ветра и глухие удары набегающих волн мы неожиданно услышали негромкое, но явное тарахтение движка. Шторм тем не менее не утихал. "Неужели катер?" - обрадовались Татьянины девицы. Это был, однако, не катер. Подлетая и снова пропадая среди свинцовых волн, с трудом борясь с волной и ветром, со стороны Игарки к нашему берегу медленно перемещалась открытая дюралевая моторка, на которой съежились под зелеными насквозь промокшими плащами два человека. Отважиться в такую погоду плыть по Енисею на плоскодонной дюральке, которая моментально переворачивается при первом же отказе ненадежного подвесного мотора, могли только сумасшедшие. Примерно так оно и было, поскольку ими оказались Татьянин встревоженный муж, невысокого роста курчавый человек с нервным и измученным лицом, и его приятель-моторист. Прибывших переодели, отогрели и накормили. К вечеру шторм начал стихать, но катера все не было, поэтому деваться все равно до следующего утра было некуда…

В шестьдесят втором году, начав регулярно плавать в океане, я расстался с Крайним Севером, возвратившись туда лишь ненадолго в шестьдесят четвертом году, когда участвовал в работах на дрейфующей станции "Северный полюс", где проводились геофизические наблюдения.

Самолет должен был сесть на дрейфующую льдину.

Пригодность льдины для посадки можно было оценить только с воздуха, то есть на глазок. Иногда случалось, однако, что льдина для посадки была непригодна. Выяснялось это, как правило, уже после того, как севший самолет вдруг начинал проваливаться под лед. Поскольку сначала проваливались только лыжи, а самолет еще какое-то время держался на поверхности льда на широких плоскостях, весь экипаж обычно успевал выгрузиться на лед и вытащить необходимое снаряжение и рацию. У меня до сих пор лежит в столе впечатляющий фотоснимок, на котором успели заснять хвост самолета, уходящего под лед. Я как-то спросил у своего приятеля-геофизика, который первым ухитрился открыть дверцу проваливающейся под лед "Аннушки", трудно ли было открыть дверь. "Открыть было нетрудно, - ответил он, - труднее было оторвать от двери руки, которые за нее схватились".

Быт на станции "Северный полюс" был довольно своеобразный. Жили но трое или четверо в так называемых "КАПШах" - специальных утепленных палатках, обогреваемых обычными газовыми плитками на баллонах. Поскольку газ экономили, то зажигать его полагалось только вечером, когда ложились, и утром, когда поднимались на работу. Без газовой плитки температура в палатке менялась от нуля до минус двух (на дворе было около тридцати градусов мороза, да хорошо еще, если безветрие). Минут через десять-пятнадцать после того, как зажигались горелки, она поднималась до десяти-пятнадцати выше нуля. Этого было вполне достаточно, чтобы, раздевшись, забраться в спальный мешок из тяжелого и плотного собачьего меха, надежно предохранявший от холода. Кто ложился последним, гасил горелку на ночь. Самое неприятное предстояло утром, когда дежурный (а дежурили все по очереди) должен был первым вылезать голышом из теплого спального мешка в промерзшей за ночь палатке и, приплясывая от холода и дыша на пальцы, чтобы не ломать отсыревшие спички, зажигать газовые горелки. Остальные, нежась в теплых спальниках, ожидали, когда температура в палатке поднимется выше нуля.

Приходилось также поочередно круглосуточно дежурить по лагерю, так как каждую минуту приютившая нас льдина могла дать трещину. Доставляли хлопоты и повадившиеся к нам белые медведи, оказавшиеся совсем не безобидными… Льдину нашей дрейфующей станции начало ломать в конце апреля. Помню, когда меня с моим отрядом выгружали из АН-12 на нее в начале марта, она казалась необъятным и надежным ледяным полем. Вместе с нами для заправки малых самолетов завезли много бочек с горючим, которые мы должны были катить на "склад". "Ну, что, выпьем по поводу прилета на Северный полюс? -

предложил мне знакомый командир машины. - Зови своих хлопцев". "Хлопцы" мои, однако, отказались, ссылаясь на то, что им еще надо откатывать бочки с горючим. "Где ты таких чудаков набрал? - возмутился летчик. - Бочки им откатывать, эко дело! Мне вот перегруженную машину до Косистого тянуть, и то ничего!" И, захлопнув дверцу, улетел обиженный. В конце же апреля стало ясно, что льдину нашу надо срочно покидать, пока на нее еще может сесть большой самолет, и тридцатого апреля к нам прилетел ЛИ-2.

Поскольку был канун первомайских праздников и вопрос о ликвидации станции еще не был решен, из аэропорта Косистый, откуда прилетел самолет, к нам на лед были отправлены праздничные гостинцы, главным образом спирт и шампанское из расчета по бутылке на человека. Все это было тут же роздано, однако, поскольку сразу стало ясно, что лагерь снимается и надо лететь на материк, решили отложить выпивку до берега и долгожданной бани. Только один из моих техников, пожилой уже человек, долго страдавший из-за сухого закона на станции, решил ничего не ждать, и когда погрузка закончилась, его пришлось втаскивать в самолет. Тяжело нагруженная машина с трудом оторвалась от льда и, развернувшись, взяла курс на юг.

Когда мы взлетели, то, взглянув на родную нашу льдину, сразу поняли, что покидаем ее вовремя. Главные неприятности, однако, были еще впереди. Почти сразу же после взлета самолет вошел в плотные снеговые облака, и начался "слепой" полет. Минут примерно через сорок мы обратили внимание на замкнутость и озабоченность летчиков, переставших выходить из кабины. Я постучался к ним, и меня с неохотой впустили. "Что-то не в порядке?" - спросил я у командира. "Да обрастаем льдом понемногу, - невесело хмыкнул он, - еще так минут двадцать полетим - и падать можно". "А сколько лету до берега?" - с тревогой спросил я. "Не меньше часа".

Я вышел к своим. Хотя я и успокаивал их, сказав, что все нормально, они мне не поверили. Всем все было ясно. Машина медленно, но неуклонно теряла высоту. Взревывали моторы, переведенные на форсаж, самолет ненадолго поднимался вверх, но потом снижался снова. В салоне началась паника. Самый молодой геофизик, всегда веселый и остроумный, вдруг начал истерически кричать и требовать "чтобы мы сели немедленно". Куда садиться? Под редеющим снизу ярусом туч явственно чернели воды Ледовитого океана. Я начал орать на своих сотрудников и стыдить их, ставя в пример летчиков, но это мало помогало, если не считать того, что, крича на них, я отвлекся от

собственного страха.

Народ понемногу примолк. Все с ужасом поглядывали в окна на приближающуюся хмарь воды, по которой плавали мелкие льдинки. Наконец, уже над самой водой, самолет, дотянув-таки до берега, не разворачиваясь, плюхнулся, точно выведенный штурманом, чуть ли не поперек посадочной полосы и, резко тормозя, остановился, накренясь набок. Выбравшись на дрожащих ногах наружу, мы увидели, что у нас разбито правое шасси. Трудно описать жалкое наше состояние, когда, бледные и трясущиеся, мы выгружали свое имущество из самолета. Единственным счастливцем оказался только наш нетерпеливый коллега, выпивший свой спирт и шампанское еще на льдине и мирно проспавший весь полет в своем кресле. "Ерунда, - заявил он на следующий день, похмелившись, - никуда мы не падали. Все было в норме, нечего меня разыгрывать, я все отлично помню". Этот случай послужил мне хорошим уроком: никогда не откладывать выпивку "на потом" (до поры до времени).

В следующий раз я попал в Арктику уже в семьдесят втором году, когда участвовал в перегоне речных судов через все моря Ледовитого океана из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. На нашем жестяном суденышке "Морской-10" мне повезло за одну навигацию без аварий и зимовки во льдах пройти от Белого моря до Охотского через суровые льды пролива Вилькицкого и осенние тайфуны Берингова моря. Недели две мы стояли у острова Вайгач в поселке Варнике, ожидая лучшей ледовой обстановки в проливах Новой Земли и любуясь недолгой и неповторимой красотой цветущей августовской тундры…

Много лет у меня дома в Ленинграде, а потом в Москве, я упорно продолжал хранить давно ненужное мне старое обмундирование из давних северных экспедиций. Жалко было расстаться с таким родным и надежным спальным мешком собачьего меха, с литыми сапогами, летными меховыми куртками и такими же непродуваемыми штанами. В самом углу на антресолях лежали аккуратно сложенные подсумки с десятью снаряженными обоймами к кавалерийскому карабину и большая россыпь "сэкономленных" патронов к нагану.

Меня все время не покидало ощущение ностальгии по этим вещам, с которыми в юности связано было так много. Казалось, стоит снова обрядиться в "энцефалитный" костюм и сапоги с длинными голенищами, навесить на широкий офицерский пояс старый охотничий нож в черном кожаном чехле и горный компас в брезентовой кобуре, - и снова станешь молодым, любопытным, ожидающим радостного события за каждым новым поворотом реки. Вещи, однако, понемногу обветшали. Меховые штаны и куртки были распороты для домашних ковриков, патроны

утоплены, сапоги и ножи раздарены.

И все-таки что-то осталось. Потом тоже были экспедиции по всем морям и океанам - на солнечные Гавайские острова, в далекую Новую Зеландию, и в Бермудский треугольник, и на недоступное для человека океанское дно. Но эти экспедиции уже не вызывали у меня такой первозданной детской радости, как северные. Может быть, потому, что миновала молодость и притупилась острота восприятия нового. А может быть, потому еще, что характер воспитывает именно север, его суровые условия, жесткая и непреложная система сложившихся там людских отношений и жизнь в маленьких оторванных от нормальных условий мужских коллективах, где все надо делить поровну, где простителен страх, но непростительна ложь.

Те давние пятидесятые годы экспедиций в енисейское Заполярье открыли мне глаза еще и на другое. В половодье мимо наших палаток по реке Сухарихе проплывали человеческие останки из безымянных захоронений, размытых весенней водой выше нас по течению, где догнивали остатки бараков и сторожевых вышек. А на левом берегу

Енисея, вблизи от поселка Ермаково, там, где к Енисею должна была выходить по замыслу "величайшего гения всех времен и народов" печально знаменитая железная дорога Салехард - Игарка, я видел ржавеющие в болотах десятки паровозов "ИС" ("Иосиф Сталин"), завезенных сюда когда-то баржами. Еще тогда в Туруханском крае и под Игаркой стала открываться мне изнанка сталинской империи.

И еще в этих северных экспедициях я впервые столкнулся со странными песнями, которые пели наши рабочие. Никто не знал их авторов, "просто слышали, и все". Песни эти пелись, конечно, не под гитару, а просто так - вечером у костра или прямо у палатки. К одному поющему понемногу неторопливо присоединялись другие. Каждый пел не для других, а как бы только для себя, неспешно вдумываясь или не вдумываясь в слова. Незримая общность объединяла поющих, возникало подобие разговора и того странного точного взаимопонимания, которого я не встречал в других местах. Так я впервые понял, что песня может быть средством общения, выражением общего страдания, усталости, грусти. От того, что и жили вместе, и страдали. Стихи здесь не котировались - они считались проявлением слабости, сентиментальности. Песня - совсем другое дело. Песню можно было петь везде и всегда. В Арктике пели все: рабочие - после тяжелой работы на лесоповале под комарами и в жаре, летчики - после утомительных дневных или ночных полетов со сложными посадками и дурной видимостью, геологи - после

изнурительного маршрута, не мигая глядя в желтое пламя вечернего костра… Песни были, конечно, разные, но тональность их, полное отсутствие бодрячества и фальши, точная психологическая правдивость иногда наивных, но всегда искренних слов, - были неизменными.

Именно там, на Севере, подражая этим услышанным песням, я начал придумывать нехитрые мотивы на собственные стихи и петь их у костра, не сообщая при этом своего авторства. Так я всерьез начал писать песни, некоторые из которых до сих пор считаются "народными", такие, например, как "Перекаты", "Снег" или "От злой тоски не матерись". История этой последней песни довольно примечательна. Я написал ее в Туруханском крае в 1960 году как подражание "зековским" песням, которых наслушался к тому времени уже немало. Песня, видимо, прижилась. Уже на следующий год во время полевых работ, после какого-то сабантуя, наши рабочие, среди которых бывшие "зеки" составляли немалую часть, слегка подвыпив, стали петь старые лагерные песни и, к моему удивлению, спели эту мою. Поскольку был я еще молод, глуп и тщеславен, то немедленно заявил о своем авторстве. Вот этого-то, оказывается, и нельзя было делать. Все, что было мне сказано в ответ, практически на русский язык не переводится, а то, что переводится, может быть сведено к одной лаконичной фразе: "Еще раз скажешь, что твоя, - пришьем". Угроза была вовсе нешуточной - народ в тех краях подбирался серьезный. "Да за такую песню, - кричали они мне, - надо всю жизнь страдать в зоне! Чтобы ты, фраер с материка, да такую песню придумал? Наша песня, всегда была нашей, понял?" Нашлись даже очевидцы, которые "собственными ушами" слышали эту песню в сороковые в лагерях под Норильском.

Через много лет я снова встретился с этой своей песней в повести безвременно ушедшего из жизни магаданского писателя и геолога Олега Куваева "Территория". Действие повести происходит на крайнем северо-востоке в районе Магадана. В ней описывается, как из Нагаевской губы под осень уходит "последний караван", жители собираются на берег прощаться с уходящим северным летом и поют эту песню, "написанную каким-то местным автором". В середине восьмидесятых на Кольском полуострове, неподалеку от Мурманска, местные врачи пытались показать мне могилу того самого Городницкого, который "От злой тоски" написал. "Тут он сидел, тут же в зоне его и пришили…" Моей фамилии они не спрашивали.

А несколько лет назад мое авторство этой песни было признано как раз представителями того самого контингента, который когда-то его оспаривал. Я получил письмо из лагеря,

расположенного в Ленинградской области где-то под Лугой. Письмо было подписано "членами общества книголюбов". "Дорогой Александр Михайлович, - было написано в письме, - мы любим ваши песни, особенно песню "От злой тоски", которую считаем своей". В конце письма были стандартные пожелания творческих успехов и счастья в личной жизни. А в конце написано главное: "А ежели что - примем как родного"…

Так проходили мои "северные университеты". Иногда по ночам я просыпаюсь от писка комаров или крика пролетающей над палаткой птицы. Едкий запах густого белого дыма от брошенного в разгорающийся костер сухого ягеля щекочет мне ноздри, и кажется, что пора снова собираться в маршрут. И тогда странная тоска овладевает мною, ешая вспомнить про срочные дела.

Паруса крузенштерна

"Корабль к походу изготовить", - рявкнул вдруг вслед за оглушительным звонком хриплый бас из висящего рядом со мной на переборке небольшого мышиносерого цвета динамика, и я от неожиданности дернул головой, как кот, которому внезапно подули в ухо. Над нашими головами глухо застучали по палубе тяжелые матросские ботинки. Вот уже неделю жили мы на корабле, а все никак не могли привыкнуть к принудительной трансляции - все казалось, что каждая команда, объявленная дежурным офицером, относится именно к тебе, и надо, сломя голову, мчаться куда-то и что-то немедленно исполнять.

Если бы полгода назад кто-нибудь сказал мне, сухопутному геологу, занимавшемуся поисками медно-никелевых руд в районе Норильска, что через несколько месяцев я отправлюсь в плавание в Северную Атлантику, да. еще на настоящем паруснике, я бы посчитал это глупой шуткой. Но еще в начале шестьдесят первого года в пашем отделе геофизики неожиданно появился новый сотрудник, Николай Николаевич Трубятчинский, уволенный в запас молодой худощавый и небольшого роста морской подполковник, жгучий и неимоверно энергичный брюнет с цыганскими усами. Он, как и многие другие офицеры, стал "жертвой женевского, соглашения", одним из нескольких десятков тысяч офицеров, попавших под хрущевское сокращение начала шестидесятых. Вернувшись в родной Ленинград из Калининграда, где он служил, Николай Николаевич пришел в райком партии, который должен был его трудоустроить. Там ему предложили должность директора Сенного рынка. Это, безусловно, блестящее предложение неразумный Николай Николаевич отверг, а поскольку по образованию был гидрограф с геофизическим уклоном, пришел в отдел геофизики нашего Института, где когда-то знали его отца, известного магнитолога, тоже Трубятчинского и тоже Николая Николаевича.

Отделом геофизики тогда руководила профессор Раиса Михайловна Деменицкая, женщина острого и не ортодоксального ума, необозримой честолюбивой фантазии и весьма неожиданных поступков, которая сама еще совсем недавно рассталась с морской формой ГЛАВСЕВМОРПУТИ с нашивками капитана второго ранга. Маленький, энергичный и подвижный как черная ртуть, подполковник ей понравился, а еще больше понравилась идея попробовать наземную геофизику на судах военной гидрографии. Для чего? Во-первых для того, чтобы заменить

современными геофизическими методами, в частности автоматическим каротажом, допотопные способы измерения с борта судна физических параметров морской воды, а во-вторых, чтобы опять же с помощью геофизики изучать геологическое строение океанского дна.

Дело в том, что уже в начале второй половины нашего столетия стало окончательно ясно, что все или почти все, что плохо лежит на суше и доступно для освоения с поверхности, геологи уже нашли. А ненасытный рост промышленного производства все требует и требует новых источников сырья. Тогда вдруг вспомнили, что четыре пятых поверхности нашей планеты, закрашенные на картах и глобусах голубой краской, покрыты водами морей и океанов, а под водой - дно, а в дне - полезные ископаемые.

В начале шестидесятых в США, ФРГ и других передовых странах во всю разворачивались работы по морской геофизике, которые у нас сильно отставали. К чести Раисы Михайловны надо сказать, что она сразу же оценила актуальность этого нового и непривычного для сухопутных геофизиков направления. Пробившись на прием к самым высоким военно-морским начальникам, в числе которых были начальник военной гидрографии, командующий Балтийским флотом и даже Главком, она убедила их в необходимости поставить магнитную и другую геофизическую аппаратуру на военные океанографические суда. Пожалуй, только женщина могла так молниеносно пробить несокрушимые бастионы недоступных для смертных военно-морских ведомств.

И вот я в составе первой геофизической группы из девяти человек под доблестной командой Николая Николаевича Трубятчинского оказался на борту одного из двух крупнейших в мире парусников - экспедиционного океанографического судна "Крузенштерн", того самого, верхушки мачт которого были когда-то постоянно видны из окна нашей комнаты на Мойке. Именно это судно было выделено морским начальством для постановки опытных геофизических работ в океане. В декабре 1961 года оно отправлялось на полгода в Северную Атлантику для проведения там океанографических исследований по программе Военной Гидрографии. Так, хотя и с некоторым опозданием, сбылась моя школьная мечта попасть, наконец, в океан.

Нет необходимости описывать длинную и нервную эпопею оформления визы для выезда в "капстраны", необходимой для загранплавания в Атлантике, эпопею для меня тем более трудную, что я при всех своих анкетных недостатках оформлялся впервые, ни на что при этом особо не надеясь. Тем большей была

нечаянная радость, когда я узнал, что меня "пропустили". Немало хлопот доставила мне и строжайшая медицинская комиссия и заполнение "медицинской книжки моряка". Главным источником неприятностей за более чем тридцать лет прохождения разного рода медкомиссий для меня было (да и сейчас, конечно, осталось) артериальное давление, которое, даже если за полчаса до этого было нормальным, немедленно подскакивало при комиссионной проверке. Эффект этот, являющийся, видимо, следствием неизлечимой уже внутренней боязни "не быть как все", приобрел характер постоянного нервного синдрома, весьма типичного для моего поколения.

Но вот, так или иначе, все рогатки чистилища, выездные и медицинские комиссии пройдены, и в морозный декабрьский день мы подогнали свои грузовики с оборудованием на пирс Балтийска, где у самого выходного маяка стоял великолепный четырехмачтовый барк "Крузенштерн", готовящийся к трудному походу в штормовой зимней Атлантике.

Парусник "Крузенштерн" - один из трех крупнейших в мире немецких парусников, построенных в начале века специально для перевозки кофе и пряностей из Южной Америки в Европу. Дело в том, что кофе, чай и пряности не выносят запаха солярки, поэтому для их перевозки решено было построить гигантские парусники водоизмещением около семи тысяч тонн каждый. Это были нынешние "Крузенштерн", "Седов", стоявший здесь же, в Балтийске, неподалеку от нас и также собиравшийся в поход, и "Памир".

"Крузенштерн" и "Седов" были захвачены в качестве трофея после Второй мировой войны и приведены в Кронштадт, где и простояли много лет, поскольку неясно было, на что их употребить. Тем более, что на нашем флоте не было парусной команды, которая могла бы такие большие парусники освоить. Тем не менее, команду подготовили, оба парусника отремонтировали, отодрав в каютах переборки красного дерева и другие ненужные советским морякам излишества, и приспособили их в качестве океанографических судов для научных работ в океане.

Судьба третьего парусника - "Памир", оставшегося в ФРГ, сложилась более трагично. Он был после войны превращен в учебное I судно и много лет плавал во всех океанах. В 1957 году, недалеко от Азорских островов, имея на борту экипаж - девяносто шесть гардемаринов и двадцать офицеров, "Памир" был застигнут внезапным ураганом, неся в этот момент полное парусное вооружение. Тогда еще не было приема карт погоды по телетайпу, и штормовое г предупреждение на судне вовремя получено не

было. Когда командир понял, что надвигается ураган, он приказал немедленно убрать 1уваруса, но было уже поздно. Паруса, как говорят моряки, "застенило", то есть прижало лобовым ветром к стеньгам. Небывалой силы шквал опрокинул парусник и перевернул его. Из всей команды чудом спаслись только два человека.

"Крузенштерн", спущенный в верфи в Гамбурге в 1929 году, первоначально назывался "Падуя", о чем извещала латинская надпись на старой корабельной рынде. Судно действительно было Огромное для парусника - 105 метров в длину и 17 в ширину, водоизмещением 6700 тонн. Высота его мачт, изготовленных не из дерева, а стальных, достигала 53 метров. Парусное вооружение состояло из 56 больших и малых парусов. На "Крузенштерне" кроме Парусов был еще не слишком мощный дизель, который годился только для маневров при подходе к берегу и "не выгребал" против сильного ветра. Собственно говоря, по замыслу создателей судна, двигатель ему был не очень нужен. Выйдя из Гамбурга в Атлантику, судно спускалось на юг до границы Северного тропика, где дуют постоянные пассаты западных румбов, и, поставив все паруса, с крейсерской скоростью около 10 узлов, шло к берегам Америки. Там, приняв груз кофе, оно двигалось обратно, примерно с той же скоростью, уже к югу от экватора, где пассаты постоянно дуют на восток. Пассатные эти широты раньше носили название "лошадиных" - дело в том, что испанцы когда-то возили по этим пассатным зонам на своих парусниках в Новый Свет лошадей, так напугавших аборигенов.

Сейчас в огромном носовом трюме, где прежде размещался дорогой и благоуханный груз, разделенном переборками, находились матросские кубрики. Главным достоинством "Крузенштерна", обеспечивавшим его долголетие, был корпус. Известно, что срок средней "жизни" современного судна не превышает, как правило, двадцати лет. Причина этого - неостановимая коррозия стального корпуса химически агрессивной морской водой, которой не в силах противостоять никакая покраска. У "Крузенштерна" же стальной корпус при постройке был плотно обшит пробковым деревом, не допускающим контакта морской воды со сталью, поэтому уже более семи десятков лет он не только плавает в океане, но и до сих пор выигрывает призы на парусных гонках вроде полученной им недавно "Голубой ленты Атлантики".

Экипаж экспедиционного океанографического судна "Крузенштерн" (или "ЭОС" - по военно-морской аббревиатуре) состоял из 102 матросов и 18 офицеров, не считая нас - девяти прикомандированных. О нас, однако, разговор ниже. Судно, хоть

и парусное (а возможно именно поэтому), было по военной табели определено как "корабль Первого ранга". Это значило, что должность командира занимал капитан I ранга, должности его заместителей - капитаны II ранга, а командиры "боевых частей" были капитанами III ранга - так же, как на современном крейсере. Главными людьми на "Крузенштерне" были боцмана - палубная команда, управлявшаяся с парусами. Командовал ими второй помощник - капитан III ранга Владимир Тимофеевич Роев, невысокий плотный человек, с курносым носом и озорными глазами, немного напоминавший обликом Фернанделя. Был он мастером спорта по яхтам, парусное дело любил фанатично и знал досконально. "Вот поймают меня в плен американцы, - пошучивал он в кают-компании, раскуривая трубку, - и начнут меня бить, пытать и выспрашивать про ракеты или подводные лодки, а я им - шиш. И скажут они, не добившись от меня показаний, - а ведь совсем неплохо держался этот русский! А что я им могу сказать, когда кроме парусов ничего не знаю?" Именно Роев подробно познакомил меня с названием и назначением каждого паруса и каждой детали рангоута. Оказалось, что барк - испанский корабль, означает в современном флоте парусник с полным прямым и косым парусным вооружением. Из четырех мачт "Крузенштерна", к каждой из которых прикреплена своя команда во главе с боцманом - командиром мачты, три несут упрямое вооружение (фок и два грота), а третья - бизань - косое.

Как музыка из детских сказок звучали произносимые им названия носовых косых парусов "бом-кливер", "миддель-кливер", "кливер", "форстеньстаксель". Вообще тайны звучных морских названий усваивались нами довольно просто: "Ударился? - Как называется?" Это относилось к высоким комингсам, о которые мы били ноги, спотыкаясь, к низким водонепроницаемым переборкам, о которые мы ударялись лбами, забывая вовремя пригибаться, к крутым и скользким трапам, где только оступись - и костей не соберешь, к фальшбортам и кнехтам, на которые не дай бог сесть. Когда я впервые услышал по трансляции грозный приказ: "Городницкому - срочно прибыть на шкафут", - с ударением на "и" в слове прибыть, то долго бегал по судну и спрашивал помещение, где стоит шкаф. Оказалось, что шкафут - это носовая палуба между баком и спардеком, и никакого шкафа там нет.

"Пить чай на клотик" нас не посылали и "принести ведро пару" из машинного отделения тоже не требовали, поскольку прикомандированных штатских вообще поначалу на военном паруснике считали возмутительным недоразумением. Что же касается морских названий, то мне они понравились своим

глубинным историческим смыслом и лаконизмом, идущими от древних немецких и голландских корней, привезенных из обучения в еще закладывающийся только комариный и болотистый Санкт-Питерс-Бурх молодым корабельным мастером Петром Алексеевым. Много раз потом мне доводилось наблюдать, как упорно держат наброшенные швартовы чугунные кнехты, упорные и молчаливые, как солдаты, как быстро закрепляется фал на нагеле, напоминающем вбитый гвоздь. А грозное слово "полундра" - короткий и выразительный перевод на русский выражения "фалл ундер" - бойся предмета, падающего сверху! Привыкнув к этим словам, вошедшим в привычный каждодневный обиход, забываешь об их первоначальном 'смысле и слышать перестаешь. Для непривычного уха даже самые, казалось бы, понятные из них звучат необычно. Вспоминаю, как много лет спустя, в семьдесят шестом году, на судне "Дмитрий Менделеев", штормовавшем в осеннем Охотском море, одна девица пожаловалась мне: "Объявляют по радио - не поймешь ни слова - задраить иллюминаторы на глухари! Сказали бы просто, по-русски, - закрыть круглые окошки на железяки!"…

"Баковые - на бак, готовые - на ют, - заклокотал снова бас в динамике. - По местам стоять, со швартов сниматься". Смысл этой команды, услышанной мною впервые в декабре шестьдесят первого в Балтийске, и много раз слышанной за последующую четверть века, всегда поражал меня своей значительностью. Действительно, что случится, если баковые, не дай бог, пойдут по ошибке не на бак, а на ют, а готовые - наоборот - на бак, и все перепутается?

Но тогда, в первый раз, нам было не до тонкостей командной лексики - мы накинули куртки и выскочили наружу.

На промерзших булыжниках заснеженного пирса стоял небольшой матросский оркестр, зябнувший в куцых тонких шинелишках, и самоотверженно дул в трубы коченеющими губами. Рядом с оркестром, приложив руки к вискам, стояло несколько офицеров во главе с адмиралом, стараясь не реагировать на пронзительный ветер, залеплявший глаза снегом. Поодаль махали руками немногочисленные жены. На открытом мостике "Крузенштерна" также торжественно, в полной парадной форме, стояли командир экспедиции Петр Сергеевич Митрофанов, командир "Крузенштерна" капитан I ранга Власов и другие офицеры. Таких торжественных и парадных проводов мне видеть раньше не приходилось, и сердце мое преисполнилось гордости - вот что значит настоящий флот, настоящее океанское плавание! Впечатление было такое, что мы на судне Колумба плывем открывать Америку.

Торжественность момента, однако, была несколько нарушена. Маленький буксир, отчаянно дымя, начал отводить корму нашего судна от пирса, но швартовая команда зазевалась и не успела сбросить с причального пала один из кормовых концов, который начал опасно натягиваться, угрожая лопнуть и зацепить крутящихся неподалеку накрашенных девиц, машущих матросам на борту. "Уберите детей от концов", - громко скомандовал по радио с мостика не разглядевший их старпом. "Раньше надо было, - весело и громогласно откликнулся в мегафон командир береговой команды, - теперь их от концов за уши не оттянешь". Наконец швартовы были отданы, и подталкиваемые двумя пыхтящими буксирами вдоль неширокого фарватера во льду, мы медленно двинулись от пирса мимо старой немецкой офицерской гостиницы с рестораном "Золотой Якорь", мимо старинного кирпичного маяка, установленного в порту Пиллау еще в прошлом веке, вдоль волнолома, к выходу из гавани, над которым висели свинцовые балтийские облака.

Жить мне довелось вдвоем с Николаем Николаевичем Трубятчинским, в тесной каютке, расположенной в твиндеке, в самой центральной части судна. Преимущество расположения нашей каюты сразу же стало мне очевидно, как только мы вышли из гавани, и нас стало немилосердно качать штормовой балтийской волной. Иллюминатора в каюте не было, его заменял так называемый "бычий глаз" - маленькое подслеповатое и почти не дававшее света отверстие в потолке, именуемом "подволоком". На располагавшейся над нашими головами палубе, называемой "шканцами", все время что-то громыхало, стучало и скрежетало. Убранство каюты было нехитрым - две койки с рундуками, шкафчик и небольшой стол, привинченный к полу ("палубе"). На стенах ("переборках") красовались вентиляционная труба и уже упомянутый динамик принудительной трансляции. Небогатая обстановка этого помещения запомнилась мне хорошо, поскольку в этой первой своей каюте мне пришлось прожить более полугода. Однообразие ее серо-коричневого интерьера нарушалось только многочисленными и неистребимыми тараканами, да нередкими визитами крыс.

За почти три десятилетия плаваний в океане мне довелось сменить немало судов и кают. Среди них были вполне современные и даже роскошные - с ванной, спальней и гостиной - как на "Витязе" или "Келдыше". Однако настоящим "морским домом" для меня навсегда осталась эта сырая и холодная в стужу, неимоверно душная в жару каюта на "Крузенштерне". Конечно, на этом старом немецком паруснике никаких холодильных установок не было - эпоха кондиционеров еще не коснулась

нашего судна. Поэтому, когда мы около двух месяцев работали в Карибском море в районе Гольфстрима, влажность в каюте была такая, что простыни приходилось сушить на верхней палубе на солнце. Не лучше обстояло дело и с питанием. На "Крузенштерне" не было никаких холодильников. Поэтому проблема свежего мяса решалась просто - в Балтийске перед выходом закупили десять живых свиней. На шкафуте, перед полубаком, была устроена специальная выгородка, где они мирно паслись, по мере того, как их поочередно ели. Называли их почему-то "БЧ-8". Мне эти свиньи запомнились надолго. Рядом с ними на шкафуте стояла наша каротажная станция, смонтированная на автомашине ГАЗ-51, на которой нам приходилось ежедневно работать. Уже в Балтике судно попало в сильный шторм. Состояние наше в этом первом рейсе, впервые столкнувшихся с морской качкой, было, прямо скажем, не блестящее. Свиньи же, бывшие нашими соседями, тоже укачивались, и достаточно было в очередной раз взглянуть на их всегда покрытое нечистотами лежбище, чтобы испытать новый приступ морской болезни.

Непрерывные шторма, которыми встретило нас Северное море, а потом и зимняя Северная Атлантика, где мы попали в "ревущие сороковые", были для нас суровым "морским крещением". По старому морскому закону, в штормовую погоду, чтобы команда не укачивалась, на палубу поднималась из трюма бочка с солеными огурцами, и личному составу раздавалась настоящая "тарань" в жестяных запаянных банках. Гирлянды этой тарани висели у нас в каюте и в лаборатории. Небольшой перерыв в штормах наступил только тогда, когда мы вошли в Датские проливы.

Я вспоминаю ясный декабрьский вечер, когда наш парусник медленно двигался Зундом, а вслед нам и навстречу шла непрерывная как автоколонна вереница судов, украшенных флагами всех стран мира. Как тут не вспомнить героя "Баллады о четырех котиколовах" Киплинга, который, умирая, плачет о том что не увидит огни, "по Зунду летящие в ночь!" Мостик на "Крузенштерне" открытый - от ветра, дождя и снега не защищен. Прямо перед ним, на спардеке, расположен такой же открытый штурвал, у которого несут вахту три моряка во главе со старшиной первой статьи Овчуховым. На мостике стоит старший помощник капитан III ранга Виктор Васильевич Шишин, неожиданно умерший от инфаркта в одном из рейсов несколько лет спустя. Рядом с ним - замполит. На берегу, плавно скользящем вдоль правого борта, над заснеженными холмами, вдруг открываются башни старинного замка с островерхими зелеными крышами. Это замок Кронберг, знаменитый Эльсинор,

где жил когда-то героический и несчастливый датский принц. Сейчас в замке - наблюдательный пункт НАТО. "Овчухов, - слышу я с мостика голос замполита, - погляди-ка направо - видишь замок? Это Гамлета замок - ты Шекспира-то читал?" - "Так точно, товарищ капитан второго ранга, - четко откликается Овчухов. - Только, товарищ капитан второго ранга, вопросик к Вам имеется, разрешите обратиться?" "Обращайся", - снисходительно кивает замполит. "Почему замок в Дании стоит? Гамлет-то ведь, вроде, англичанин?" "Эх, Овчухов, Овчухов, - сокрушенно качает головой замполит, - серый ты человек. Политграмоту надо знать. Англичане-то в Средние века, как и теперь, колонизаторы были, вот и наставили свои замки по всей Европе!"

Второй передышкой после изнурительных штормов в Северном море, где волны так заливали палубу, что даже рулевых приходилось привязывать страховочными концами к ограждениям, чтобы не смыло, были английские проливы Ламанш и Па-де-Кале. "Всем прикомандированным, - услышали мы вдруг по трансляции совершенно серьезный голос старпома, - срочно подняться на верхнюю палубу. Проходим линию Гринвичского меридиана. Обратите внимание - через каждый кабельтов вдоль всей линии через пролив горят красные огни на буях". И хотя я догадывался, что это розыгрыш, но все же вместе со всеми другими побежал смотреть.

Северная Атлантика встретила нас непрерывными зимними штормами. Почти две недели "Крузенштерн" и второй парусник-"Седов" с зарифленными парусами держались носом на волну. Укачались не только мы, но и большая часть экипажа, где было немало молодых моряков. Из-за сильной качки невозможно стало варить борщ на камбузе, и обед раздавали сухим пайком. Мне запомнился "военный совет", когда командование судна и экспедиции призвало "на ковер" нашего синоптика капитан-лейтенанта Гену Дегтярева, требуя от него рекомендаций, куда держать курс, чтобы уйти от циклонов. Убегать, однако, судя по представленной Дегтяревым карте, было некуда. В ответ на резкую брань со стороны начальника экспедиции он заявил: "Осмелюсь напомнить, товарищ капитан первого ранга, что по статистике Ллойда от кораблекрушений ежегодно гибнет двадцать тысяч человек. Разрешите идти?"

Настоящий ураган прихватил нас уже у берегов Канады. Сила ветра превысила измеряемые пределы. На моих глазах в руках у матроса, измерявшего скорость ветра, оторвало от прибора крутящиеся "чашечки". Командир, не сходивший с мостика почти сутки, с лицом багровым, задубевшим от пронзительного ветра, уходил вниз, в медсанчасть, где была единственная ванная. Там,

не раздеваясь, он спал в ней, поскольку спать в обычной койке не давала качка. Ударами волн смыло две шлюпки и порвало леера на правом борту. В вахтенном журнале от того времени сохранилась забавная запись, сделанная одним из молодых вахтенных офицеров: "02 часа 07 минут. Наблюдается резкое усиление ветра и высоты волны. Принимаю решение - разбудить командира экспедиции и спросить - что делать". Уже неподалеку от канадского берега стало ясно, что надо менять курс, чтобы парусник не вынесло на скалы. Для этого, однако, необходимо на какое-то время встать лагом к волне, что крайне рискованно, поскольку критический крен судна - около пятидесяти градусов. Все хорошо помнили историю с "Памиром". Другого выхода, однако, не было. Всем было приказано надеть спасательные жилеты и покинуть внутренние помещения судна. Офицеры надели чистое белье и парадную форму. Только мы, штатские идиоты, впервые попавшие в океан, радовались этой морской экзотике, напоминавшей рассказы Станюкевича, наивно полагая по своей глупости, что все идет как положено.

Самое интересное, что когда хриплый голос командира приказал по "спикеру" надеть спасательные жилеты, все немедленно перестали укачиваться. Наконец начали опасный поворот. Судно легло на левый борт и крен достиг пятидесяти градусов. Десяток показавшихся бесконечными секунд - и судно со стоном и скрежетом выпрямилось. Не прошло и двух часов, как все снова стали укачиваться. Пожалуй, за все последующие годы плаваний в океане мне ни разу не довелось попадать в такую критическую ситуацию, как в этом первом рейсе в январе шестьдесят второго года. Ураганный шторм прихватил нас в тот раз и на обратном пути, у самого входа в Английский канал, когда с левого борта уже был виден мерцающий маяк на мысе Лизард. Сильный, внезапно налетевший шквал не позволил убрать вовремя косые паруса в носовой части судна, и оно стало зарываться буширитом в воду. Посылать туда людей было нельзя. Я видел, как все тот же Овчухов, широко расставив ноги и поддерживаемый двумя матросами за бока, расстреливал натянувшиеся фалы из автомата Калашникова, и паруса поочередно с пушечным громом улетали в ночь. Наконец, когда отстрелили последний парус - бом-кливер - судно выпрямилось от носового дифферента и перестало черпать воду.

Значительно позднее, плавая на других, более современных судах, я понял высокую степень их безопасности по сравнению с парусником. На них, однако, никогда не возникало странного ощущения полета, которое охватывает только на палубе парусника, бесшумно движущегося в океане, чуть накренясь на

один борт. Пароходы, толкаемые винтом, рассекают воду, как плуг пашню - парусник же, перемещаемый как и волна, ветром, не режет воду, а скользит вместе с ней. И вместо постоянной неприятной вибрации палубы и стука машин - полная тишина, нарушаемая только негромким шелестом волны о борт и скрипом каната.

Внешний вид белоснежного нашего корабля, идущего под всеми парусами, был, видимо, неотразим. В шестьдесят втором году в Карибском море, куда мы затесались в самый разгар кубинского кризиса, чуть не приведшего к войне, встретившийся нам американский авианосец "Боксер" первым сыграл "захождение" (так встретившиеся военные корабли приветствуют друг друга) и поднял семафор флагами расцвечивания "Восхищены вашим внешним видом".

Пару лет спустя, уже на Бермудских островах, губернатор Бермуд: дядя английской королевы, вызвал из Лондона телевидение и кино, чтобы снять "Крузенштерн", идущий под парусами. Один из таких снимков у меня сохранился.

Удивительной и романтичной казалась мне и специальная вахта, существовавшая на "Крузенштерне" и упраздненная за ненадобностью на современных судах с их прекрасным обзором из ходовой рубки и радиолокацией.

На самой крайней верхней носовой палубе - полубаке, где висит медный корабельный колокол-рында, стоял вахтенный матрос-впередсмотрящий. Каждый час он должен был отбивать "склянки" - время до конца вахты, и докладывать на мостик обо всех опасностях, которые он видит по курсу судна. "Горизонт чист, ходовые огни горят ясно", - слышался время от времени над палубами его голос.

А чего стоили звучные команды, гремевшие по трансляции, когда судно выполняло какой-нибудь маневр: "Все наверх! На брассы, на правую, все реи бакштаг правого галса!"

Ставя и убирая паруса, моряки палубной команды с удивительной легкостью взбирались по вантам на реи и салинги, ловко и уверенно перемещаясь на огромной высоте. Глядя на них, казалось, что дело это простое и легкое. Нам же, прикомандированным штатским, категорически запрещалось даже на метр отрываться от палубы. И все-таки, проплавать полгода на паруснике и ни разу не подняться на мачту было выше моих сил. Плавали мы в это время в Карибском море, погода была тихая, и я решился попробовать свои силы. Командирский мостик на "Крузенштерне" расположен около первого грота. Поэтому для своих подвигов я выбрал второй грот, имея в виду, что вахтенные на мостике обычно смотрят вперед и назад не оглядываются.

Достав выпрошенный у боцманов страховой пояс с карабинчиком, я, оглядевшись по сторонам, начал понемногу подниматься по вантам и так довольно легко достиг марсовой площадки - метрах в двадцати пяти выше палубы. Этого, однако, мне показалось мало, и я решил добраться до салинга. От марсовой площадки вверх уже более узкие ванты, да и угол их был куда круче. Стараясь не смотреть вниз, я бодро двинулся вверх, но в какой-то момент, не удержавшись, все же бросил взгляд вниз и оцепенел. Где же судно? Подо мной расстилался необозримый синий океан, и только внизу у самого основания мачты желтела какая-то узкая полоска. Голова моя закружилась. Вдруг ощутивший себя в пустоте, как муха, висящая на зыбкой паутине, я дрожащими руками пристегнул карабин страхового пояса к вантине и ухватился за нее обеими руками. Дальше рассказывал старпом: "Когда тебя снимали, - похохатывая, объяснял он, - то снимали втроем. Два моряка тебя страховали, чтобы ты с перепуга не свалился, а третий пальцы твои от вантин отжимал". Третьим был все тот же старшина Овчухов, человек страшной физической силы. На пари он не просто гнул руками подкову, а разрывал ее на части. Это он пытался мои пальцы от вантин оторвать! "Но ничего у него не вышло, - продолжал старпом, - ты только головой мотал и мычал, а пальцы от вантины так и не отпускал. Пришлось Овчухову дать тебе легкий подзатыльник, чтобы ты отключился. Тут ты враз пальцы разжал, отключился, и тебя забрали". От "легкого" овчуховского подзатыльника месяца два у меня все не заживал кровоподтек на шее.

По вечерам на шканцах, на открытой палубе, крутили кино. Натягивался экран, и прямо под густой темнотой тропической ночи вспыхивал луч кинопроектора. Зрители сидели на "банках", поставленных на палубе. А над нами мерно, в такт легкой судовой качке, раскачивались над черными реями яркие, непривычна близкие южные созвездия. На этой вечерней палубе придумалась строчка: "И никогда мы не умрем, пока качаются светила над снастями". Строчка оказалась синтаксически неверной, на что мне справедливо и указал редактор моей первой стихотворной книжки "Атланты". Песня, однако, уже пелась, и переделывать строчку было невозможно. Так она и осталась.

Помимо привыкания к трудностям морской жизни, много хлопот доставляло нам привыкание к жизни военно-морской, с ее жестким и часто тупым укладом, "боевой и политической подготовкой". Помню, в первые месяцы пребывания на судне я обратил внимание, как старательно матросы "драят медяшку". "Не проще ли было бы заменить все эти медные поручни

хромированными или никелированными?" - спросил я у Шишина. "Нет, - ответил он, - матрос в море должен всегда быть занят. Все пиратские бунты от того и происходили, что у людей появлялось свободное время". Он был прав. Когда, уже подружившись с нашими офицерами, я вдруг спрашивал, для чего нужно делать то или другое бессмысленное, на мой взгляд, дело, они с грустной улыбкой отвечали: "Чтобы служба медом не казалась". Они же объясняли мне, что если командир, отдав приказ, понимает, что приказал не то, что надо, он свой приказ все равно отменять не должен, иначе подорвет свой командирский авторитет.

Командиром "Крузенштерна" тогда был Павел Васильевич Власов, старый и опытный, по-видимому, моряк, но "высших женских курсов" явно не кончавший и владевший, как говорили "строевым, матерным и русским со словарем". Помню, уже при возвращении в Балтийск, еще на рейде, к нам на борт прибыли таможенники для досмотра. Закончив свою работу, они пришли в кают-компанию на обед. Как раз в тот момент началась швартовка судна, и швартующий нас буксир, неудачно потянув за буксирный конец, чуть не вырвал носовой кнехт на полубаке. При этом с мостика по всей судовой трансляции раздался такой виртуозный мат Власова, что обедавшая таможенница поперхнулась супом, и пришлось вызывать врача. Из всех английских слов, дававшихся ему с трудом, он запомнил только одно - "эбаут". "В нем что-то родное звучит", - объяснял он мне. И во всех случаях при встречах с англичанами говорил "эбаут". Спросят его бывало, например, какова длина вашего судна - метров сто? Он отвечает: "Эбаут". Гости довольны, кивают. "А сколько вы уже плаваете в океане, месяца четыре?" "Эбаут", - отвечает он. И опять все в порядке.

Примерно год спустя, во время второго похода на "Крузенштерне", мы зашли на английскую военно-морскую базу в Гибралтар, и командующий базой контр-адмирал сэр Томас Бест пригласил командира экспедиции и командиров судов, среди которых был и Власов, на званый обед, на котором роль переводчика пришлось играть мне. Когда подали черепаховый суп, и лакеи, стоявшие сзади, налили какую-то прозрачную жидкость из графина в плоские бокалы, поставленные перед нами рядом с обычными рюмками и фужерами, Павел Васильевич, схватив своей крепкой волосатой рукой бокал, сказал: "Переведи

- за мир и дружбу", и, крякнув, выпил. Адмирал начал что-то смущенно говорить по-английски. Смысл его слов, которые я переводить командиру не стал, состоял в том, что это не вино, а виноградный соус, который доливают в черепаховый суп.

В другой раз, в Центральной Атлантике, где вокруг судна все

время сновали акулы, какой-то умник объяснил Власову, что капитан, который съест сердце акулы, становится бесстрашным на всю жизнь. Сразу же после этого началась настоящая кампания по ловле акул, к которой активно подключились наши офицеры. Наконец у какой-то отборной акулы было вынуто сердце, его то ли сварили, то ли поджарили, и вестовой на специальном блюде на глазах у всей команды понес его в командирский салон, куда были приглашены помощники, и где на столе ожидала закуски бутылка "Столичной". Не прошло, однако, и пяти минут, как из салона выскочил командир с багровым лицом и кинулся к фальшборту. Зная, что его никогда не укачивает, я был немало удивлен его бурной реакцией на акулье сердце. Так ему и не удалось стать бесстрашным капитаном.

Вместе с тем, он пару раз выручал меня из довольно критических ситуаций. Дело в том, что у меня почему-то с первых дней пребывания на "Крузенштерне", сразу же не сложились отношения с нашим замполитом.

У замполита нашего были свои непреложные правила. Он считал, например, что рядовые моряки и старшины могут читать только балтийскую многотиражку "Страж Балтики", где все изложено специально для них. А вот центральные газеты - "Правду" или "Известия" они читать не должны, потому что могут кое-чего там и не понять. Поэтому центральные газеты должен им комментировать и объяснять он сам. Что касается офицеров, то они могут читать и центральные газеты самостоятельно. А вот вольнодумные издания вроде "Литературной газеты" не имеет права читать уже никто, поскольку от них можно ждать разных идеологических диверсий.

С самых первых дней, как только мы появились на "Крузенштерне", наш замполит почему-то начал подозревать во мне опасного вольнодумца.

Поводом для этого послужило мое явное сопротивление его приказу не появляться на верхней палубе без головного убора, а также покидать ее всякий раз, когда мы встречаемся с военными судами - "чтобы не нарушать строгого вида военного судна своим распущенным видом". Кроме того, я возражал, хотя и безуспешно, против необходимости сидеть каждый понедельник на занятиях по марксистской философии, наивно ссылаясь на законченный институтский курс этой науки. Конфликт с замполитом, чреватый для меня потерей загранвизы, еще обострился после того, как по его приказу судовая трансляция с утра до ночи беспрерывно на полную громкость передавала одни и те же, безумно всем надоевшие за полгода плавания, песни с нескольких затертых пластинок. Среди прочих была там особенно опостылевшая мне

лирическая песня на слова Михаила Танича "Девушки сидят на подоконнике-обнявшись, вполголоса поют". В конце песни говорится, что девушки ее "оборвут, не кончив, и со смехом побегут с ребятами в кино, и уходит песня грустным эхом через запотевшее окно". Песня эта, крутившаяся много раз на дню, обрыдла нам особенно, но замполиту она нравилась, и просьбы ставить ее пореже успеха не имели.

В тот день, по случаю женского праздника 8 Марта, обед в кают-компании, где мы, штатские, сидели в самом конце офицерского стола, был праздничным. Павел Васильевич, по случаю праздника, одел парадную тужурку с многочисленными орденами. Слева от него, как и положено, сидел замполит, справа - старпом. Подали борщ, и замполит налил себе полную тарелку. И тут, как назло, снова зазвучала эта несчастная песня. Я решил идти ва-банк. "Павел Васильевич, - громко спросил я через весь стол, - разрешите обратиться?" "В чем дело?" - спросил он подозрительно. "Почему в День советских женщин у нас по радио поют такие идейно невыдержанные песни?" Офицеры, разговаривавшие за столом, отложили ложки и стали прислушиваться. Замполит, кося на меня недобрым глазом, тем не менее набрал в рот полную ложку борща. Это-то его и подвело. "Ну, как же, - продолжал я, - вы послушайте, какие оскорбительные, пошлые слова про наших женщин звучат в той песне!" "Какие?" - покосившись на набравшего в рот борщ замполита, снова спросил Власов. "А вот про них говорится, что они "оборвут, не кончив и со смехом". Тут замполит от неожиданности и возмущения поперхнулся и весь свой борщ выдал на ордена парадной тужурки командира. Над столом повисла мертвая тишина. "За борт", - брезгливо отряхивая салфеткой ошметки капусты с лацканов, коротко бросил командир. "Его?" - с надеждой спросил оклемавшийся замполит. "Пластинку", - рявкнул Власов и, поднявшись, вышел из кают-компании.

Замполит, однако, был человек опытный и злопамятный. До этого он служил в Клайпеде на базе подводных лодок, где любил разбирать персональные дела, связанные с супружескими изменами. "Что же это происходит, - заявил он как-то на партийном собрании. - Офицеры плавают в море, моряки с ихними женами спят, а политработники стоят в стороне? Так не пойдет. Мы должны к этому вопросу подключиться". В случае со мной он тоже ждал своего часа и дождался. Поход наш уже перевалил за половину, когда московское радио вдруг передало мою песню "Снег" в исполнении артиста Юрия Пузырева. Примерно через день после этого ко мне явилась делегация от

боцманской команды с просьбой написать "такую же хорошую песню про море, про то, как мы здесь всякие трудности переносим вдали от жен и подруг, но все-таки море любим больше". "Только, если можно, - сказал Овчухов, возглавлявший делегацию, - напишите попросту, по-матроссски, без всяких интеллигентских выкрутасов". И я на свою беду попробовал, написав шуточную матросскую песенку. Морякам новая песня как будто понравилась. Во всяком случае, они ее тут же переписали и даже пару раз успели исполнить на баке вечерком под баян, на котором виртуозно играл старшина второй статьи, известный женский сердцеед Слава Агуреев.

На следующий день, однако, начались неприятности. Распевавшие песню неожиданно получили по два наряда вне очереди, а сам текст песни у них был конфискован. Ко мне явился замполит и сказал: "Ну, когда мы в базу вернемся, с вами Особый отдел будет разбираться за ваши идеологические диверсии. А я все-таки хочу спросить, как это так - я дней и ночей не сплю, личный состав неустанно воспитываю в духе постоянной преданности и духовной чистоты, а вы взяли и мне его весь в один день морально разложили?" Я не на шутку испугался: "Чем же это я разложил?" "Вы что, и вправду не понимаете или Ваньку валяете? Это ваши слова?" - И он сунул мне под нос отобранную у Агуреева тетрадку, где под мою диктовку был записан текст песни. "Мои". "Ну вот, а еще отпираетесь", - сказал он с торжествующей улыбкой. "Вы тут ясно пишете, что у женщины есть грудь!" "Ну и что?" - не понял я. "А то, что вы таким образом на секс намекаете. А для советского человека у женщины грудь в любви - не главное, главное - это моральный облик!" Сразу стало ясно, что общего языка мы с ним не найдем…

В начале июня, когда "Крузенштерн" возвратился в Балтийск, замполит ухитрился внести историю со злополучной песней в свое политдонесение, которое попало на стол к тогдашнему начальнику политотдела Дважды Краснознаменного Балтийского флота контр-адмиралу товарищу Почипайло. Туда же шустрый замполит принес и отобранную у матросов магнитофонную пленку с записью той песни с просьбой прослушать для определения меры наказания для автора, "разложившего личный состав". Начальник политотдела, как рассказывали мне потом случившиеся там офицеры, торопился на футбол - команда балтийцев играла с каким-то сильным противником, но все-таки выслушать песню согласился. "Ну, что же, сказал он,- надевая фуражку, - ничего особенного, правильная песня. Она показывает, что моряк должен любить море больше, чем бабу". И, уже выходя в дверь, обернулся и твердо закончил: "Разрешить!" Это мудрое

решение определило не только судьбу песни, которая не стоила обсуждения в столь высоких инстанциях, но и судьбу автора, дав ему возможность плавать в океане и дальше.

За последующие двадцать восемь лет плаваний мне немало довелось иметь дело с замполитами или "первыми помощниками", как их называют в гражданском флоте. Бывали среди них и порядочные люди. Но уж сама природа этой совершенно не нужной на судне должности такова, что в лучшем случае обязывает человека к безделью, а в худшем - к соглядатайству и доносительству. Отдельные представители славной этой профессии ухитрялись успешно сочетать первое со вторым. Когда судно находится в рейсе несколько месяцев подряд, хуже всего на нем тому, кому делать нечего. Я помню, как мучился один из наших "перпомов" на судне "Академик Келдыш", изнывая от вынужденного безделья. Стосковавшись по земле и оставленному им на берегу садовому участку, он устроил на аварийном мостике над ходовой рубкой настоящую оранжерею, которой мог бы позавидовать самый взыскательный садовод.

Одним из самых порядочных первых помощников, встретившихся мне, был Николай Григорьевич Тур, долгие годы плававший на "Дмитрии Менделееве". О его щепетильности и деликатности ходили анекдоты. Помню, в одном из рейсов накануне дня 8 Марта мы готовили стенгазету, чтобы вывесить ее наутро в кают-компании. Часов в 12 вечера выяснилось, что надо срочно что-то нарисовать. Беспокойный и настырный заместитель начальника рейса, бывший к тому же еще и представителем партбюро Института, настропалил Тура пойти и срочно поднять второго электромеханика - штатного судового художника. Перпом отправился к нему в каюту, но тут же вернулся, несколько сконфуженный. "Понимаете, я постучался к нему, а у него, оказывается, женщина. Я не решился их беспокоить", - смущенно объяснил он.

В первых рейсах нового "Витязя" первый помощник, пришедший сюда с нефтеналивного флота, где строго-настрого запрещалось употребление спиртных напитков, никак не мог привыкнуть к тому, что пьянки с участием иностранцев на борту проводятся вполне официально и называются "научными контактами". Другой, сменивший его на этой должности, пришел на флот из МВД. В конце танцевальных вечеров он объявлял по трансляции: "Товарищи, танцы кончились

- все по камерам!" "Хорошие" перпомы крутили кино, организовывали "нептунники" и другие культмассовые мероприятия и устраивали политинформации. Плохие-следили за "аморалкой", вламывались по ночам в женские каюты,

организовывали стукаческую службу, особенно в портах захода, и изматывали экипаж унылыми политзанятиями. Грозным оружием в их руках было так называемое "политдонесение", которое они писали в "инстанции" в конце каждого рейса. На основании этого секретного документа они могли без всяких объяснений закрыть визу любому участнику экспедиции. Надо сказать, что совершенно независимо от их личных качеств, само их присутствие на судне создавало обстановку подозрительности и не сплачивало, а наоборот - разобщало небольшой коллектив, на долгие месяцы оторванный от суши…

Второй поход "Крузенштерна" зимой шестьдесят второго-шестьдесят третьего годов был тоже нелегким. Новый шестьдесят третий встречали в океане. Поскольку на военном судне был строгий сухой закон, то, укрывшись в одной из дальних кают, раскачиваемой ночным штормом, пили спирт, разведенный наскоро в химической колбе. Спирт попахивал резиной, как всегда - свежеразведенный, и дымился, растворяясь в опресненной воде. Прямо с мостика после вахты, сменившись в момент прихода Нового года, в "ноль" часов, к нам попал лейтенант Володя Георгиев, замерзший, с окоченевшими руками и красным от ледяного ветра лицом. Ему налили спирта, и он, расчувствовавшись, начал предлагать тост "за тех, кто на Земле", за наших жен, "которым сейчас труднее, чем нам, потому что у нас тут соблазнов никаких нет, а у них - сплошные соблазны". Тост этот, однако, мужской поддержки не получил, и Георгиеву пригрозили, что ему больше не нальют, если он и далее будет нести чушь. И все-таки, в первый день Нового года появилась песня "За тех, кто на Земле".

В этом втором зимнем походе, в отличие от первого, когда мы проплавали полгода "без берега", заходы в иностранные порты все-таки были. Первым из них, и вообще в моей жизни, стал заход в порт Гамильтон, на Бермудские острова. Тогда мы еще мало что знали о зловещем Бермудском треугольнике и ничего особенно здесь не опасались. Наоборот, зеленые, залитые ласковым солнечным светом Бермудские острова, забитые респектабельными отдыхающими из всех стран мира, улыбающиеся женщины всех цветов и оттенков, после месячного плавания в зимней штормовой Атлантике, показались нам призрачным раем. К судну тут же подогнали два автобуса с девицами, однако наш бдительный замполит на борт их не допустил. "Как вы так долго обходитесь без женщин?"

- удивлялись журналисты местных газет. Помню, вернувшись в Питер, я рассказал об этом случае на посиделках в доме Нины Королевой. История эта более других понравилась писателю

Сереже Вольфу. "Саня, - закричал он с восторгом. - Вот это настоящие западные женщины, умные, знающие, без комплексов! Это не наши ханжи, которым надо обязательно перед этим два часа про Кафку толковать. Главное, что им про Кафку ничего говорить не надо". Прошло примерно полчаса, и в компании появилась миловидная девица из Праги, редактор какого-то чешского молодежного журнала. Уже успевший слегка выпить и успокоившийся Вольф "положил на нее глаз" и, покраснев от напряжения, сказал: "Скажите, Милена, а вот вы, чехи, считаете Кафку своим национальным писателем?!"

В этом втором походе кроме "Крузенштерна" участвовали еще два судна - уже упомянутый парусник "Седов" и новое гидрографическое судно "Полюс". Кроме нас на этот раз были еще штатские гидрографы из Калининграда, в их числе - на "Полюсе" - несколько женщин.

Более трех месяцев в том втором походе мы проработали в жарких тропических широтах Атлантики. Запасы пресной воды были скудными. Стопроцентная влажность и жара даже ночью не давали передышки. Горячий душ устраивался только раз в месяц (три человека под один рожок, не более чем на пять минут). Глаза, обожженные солнцем и разъеденные соленой водой, слезились от конъюк-тивита. Постоянная солонина с томатной пастой и комбижиром корежила наши неопытные желудки. Все - матросы, офицеры и мы - стосковались по твердой земле под ногами вместо валкой и скользкой палубы, по освежающему холоду вместо изнурительной тропической жары, по деревьям и снегу. И вот в самом начале апреля мы пришли в канадский порт Галифакс в Новой Шотландии. На заснеженном холмистом берегу стояли столь милые нашим стосковавшимся глазам березовые рощи, сменявшиеся сосняком. Пейзаж настолько напоминал родное Подмосковье, что у всех защемило сердце. Тогда-то и появилась грустная песенка "Над Канадой небо синее", начавшая сразу же существовать как бы отдельно.

Примерно через год канадское радио в передаче на русском языке сообщило: "Как нам стало известно, в Советском Союзе впервые написана песня о Канаде. По нашим сведениям, написал ее моряк с военного парусника "Крузенштерн". После этого по радио звучал фрагмент записи этой песни. Уже значительно позднее, в семьдесят шестом году, во время 16 рейса научно-исследовательского судна "Дмитрий Менделеев", попав на заход в столицу Новой Зеландии Веллингтон, я услышал в гостях у новозеландского профессора Киблуайта песню на английском языке, записанную на пластинку, которая показалась мне странно знакомой. Она называлась "Заход солнца в Канаде" и

представляла собой точный английский перевод моей песни. Правда, исполняло ее женское трио под джаз так красиво, что опознать первоисточник было не просто. Люди, посещавшие в разное время Канаду, говорили мне, что песня широко распространилась среди русской эмиграции в Канаде и пользуется там широкой популярностью. Труднее было с публикацией этой песни у нас. В начале семидесятых главный редактор одного из толстых журналов снял ее уже из набора как "явно эмигрантскую".

На песню эту написано немало пародий. Одна из них связана с печальным событием, случившимся в Северной Атлантике, неподалеку от нас, в 1965 году-трагически погибла американская атомная подводная лодка "Трешер". Оказавшись вблизи от места, где это случилось, мы узнали об этом сначала по радио, а потом в районе появился целый американский флот, ведущий поиски. Из сообщений по радио наше начальство узнало также, что поскольку лодка атомная, то в результате бедствия могло раздавить атомный реактор, что создаст радиоактивную угрозу. Надо было что-то срочно предпринимать. У нас на "Крузенштерне" где-то в боцманских кладовых гнили три положенные по штату старых и проржавевших от морского влажного воздуха радиометра, находившиеся на попечении одного из боцманов, числившегося "военным химиком". Попытка включить их и померить радиацию ничего не дала - оба дозиметра были неисправны. Вот тут-то командир Власов вспомнил обо мне. Дело в том, что я, как уже упоминалось, по военной специальности - инженер-радиометрист. Меня немедленно вызвали перед грозные очи начальства и приказали "починить и доложить".

Надо сказать, что когда я впервые попал на военное судно, то четкость команд и докладов об исполнении, все охватывающий и предусматривающий корабельный распорядок, грозные кары за малейшее отклонение от указаний, создали у меня, новичка, обманчивую иллюзию, что уж на военном-то флоте в отличие от "гражданки" существует железный порядок. В 11 часов 15 минут, например, принудительная трансляция разносила по всем судовым помещениям такую команду: "Окончить корабельные работы - команде руки мыть", - чтобы никто не забыл вымыть руки, и только через десять минут после того: "Команде обедать". Уже значительно позднее, отплавав на военных судах, я усвоил, что бардак там не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем на гражданских, поскольку правду начальству все докладывать, как правило, боятся, поэтому, четко по-военному приложив лапу к уху, рапортуют "есть", хотя и знают, что не только нет, но даже и

быть не может. Мне неоднократно приходилось быть свидетелем того, как утяжеленное погонами и золотым шитьем начальство назначало сроки подготовки для выхода судов, зная наперед, что они нереальны, и подчиненные это отлично знали, но все молчали, опасаясь за свои "звездочки". Приходилось только удивляться, как все-таки при таких порядках мы ухитрились выиграть прошедшую войну. Остается предполагать, что у противника, несмотря на его хваленую немецкую педантичность, порядка было еще меньше.

Когда "Крузенштерн" в перерыве между походами стоял в Кронштадте на причале Усть-Рогатки, то командир одного из стоявших по соседству эсминцев, борясь за первенство по объявленной сдаче металлолома, ухитрился сдать пушку, отвинченную для этого с палубы, в итоге чего занял первое место по эскадре и получил поощрение. Наш "особист", купивший в Галифаксе очередной справочник Ллойда по флотам мира, с горечью показывал мне четкий фотоснимок, на котором была изображена наша новейшая подводная лодка в надводном положении неподалеку от Кронштадта. "Понимаешь, когда такая лодка всплывает, то все посторонние суда и близко не подпускают, - с горечью сказал он мне,

- значит кто-то из своих работает…"

Вооружившись тестером и паяльником и призвав на помощь весь свой прошлый опыт по ремонту радиометров, почерпнутый в основном в студенческие годы, я к концу дня с трудом собрал из трех отсыревших и ржавых радиометров один. Каждый час меня дергал вестовой от командира (телефона у нас в лаборатории не было), интересующегося, как идут дела и нетерпеливо поторапливавшего меня. Эта нервозная обстановка и страх перед грозным начальством заставили меня поторопиться и привели к тому, что я второпях по ошибке неправильно припаял клеммы ампервольтметра. Поэтому, когда я включил прибор, чтобы опробовать его, индикатор сразу же зашкалил, сигнализируя о сильнейшей радиации (более 100 рентген/час). Холодный пот прошиб меня. Я хорошо помнил описанную выше недавнюю историю с испытанием атомной бомбы на Новой Земле, когда у нас вот так же точно зашкалило все радиометры. Поэтому я сразу же, как и положено, доложил об этом на мостик. Оглушительные колокола Громкого боя загремели по всему судну, возвещая боевую тревогу. Приказав наглухо задраить все водонепроницаемые переборки и почему-то раздать противогазы, командир дал полный ход, уходя из опасного района атомного заражения. Через два часа был объявлен всеобщий аврал по дезактивации судна. Мыли и чистили все, безжалостно сжигая

ветошь, которой тщательнейшим образом протиралось все оборудование и даже рангоут. Только к исходу суток аврал завершился, противогазы были сняты, и мне было предложено снова провести контрольные измерения. Вот тут-то я и обратил внимание на то, что стрелочный индикатор у меня включен наоборот. Когда я включил его правильно, перекинув минус и плюс, стало ясно, что тревога оказалась ложной. Я, однако, к этому времени уже хорошо знал военно-морские порядки и докладывать начальству не стал.

После возвращения в Ленинград я рассказал об этой трагикомической истории Нонне Слепаковой, и она тут же написала на песню "Над Канадой" такую пародию:

Месяц на небо подвешен
Иностранно и картинно.
Где-то рядом гибнет "Трешер",
Гибнет радиоактивно.
И нельзя назвать причину,
От которой вся кручина, -
Хоть похож я на мужчину,
Только все же - не мужчина.

Однако, пожалуй, самую актуальную и остроумную пародию на эту песню написал уже в шестьдесят девятом году, во время наших серьезных разногласий с Китаем и вооруженных конфликтов в районе острова Даманский, московский пародист Александр Борисович Раскин:

Над Пекином небо сине,
Меж трибун вожди косые.
Хоть похоже на Россию -
Слава Богу - не Россия.

В походе шестьдесят третьего года я подружился с капитан-лейтенантом Володей Мигучкиным, оказавшимся поклонником моих песен. Нередко, выпив изготовленного им самим с большим искусством "шила" (так называется разведенный спирт, настаиваемый обычно на каких-нибудь ингредиентах), он начинал неостановимо петь свою любимую песню: "На материк, на материк, идет последний караван". Это служило привычным сигналом для всех, что Володя уже "в норме" и пора расходиться. Я, однако, по молодости и авторскому тщеславию, был весьма польщен такой явной привязанностью к моей песне и решил

испытать ее пределы. "Володя, вот ты все говоришь, что песня эта гениальная, и что ты только за эту песню -друг мне до самой смерти". "Ну и что -друг, конечно", - зарычал Мигучкин, прервав на минуту пение. "А вот тебе завтра скажет начальство, что Городницкий - враг народа, и ты лично должен его шлепнуть вот из этого пистолета - что ты будешь делать?" - расслабившись от "шила", легкомысленно спросил я и тут же пожалел об этом. Вопрос оказался жестоким. Мигучкин внезапно замолчал и, уставившись в угол, долго и мучительно морщил лоб, на котором выступил пот от непривычного напряжения. Потом, также не глядя на меня, неожиданно трезвым голосом медленно и твердо сказал: "Если прикажут - конечно, шлепну, - и, виновато взглянув на меня и взмахнув отчаянно рукой, добавил, - только запью потом!"

Уже по дороге из Атлантики домой наша небольшая флотилия зашла в Гибралтар, и я впервые увидел знаменитые Геркулесовы Столбы, отделявшие когда-то для древних греков Средиземное море от "истинного Понта" - Атлантики. Как раз в это время самый молодой из наших офицеров, уже упомянутый романтичный и наивный лейтенант Георгиев, получил радиограмму от жены, где она просила простить ее и объявляла, что уходит к другому. Среди офицеров "Крузенштерна" воцарился настоящий траур. На самого Володю было страшно смотреть. По приказу судового врача Виталия Ласкавого за ним приглядывали друзья, "чтобы чего не случилось". Неожиданная эта беда касалась каждого. У любого из 126 мужчин, находившихся на судне, оставались дома жена или подруга.

За более чем тридцатилетнее пребывание в экспедициях, в замкнутых мужских коллективах, на долгие месяцы оторванных от дома - на Крайнем Севере и потом в океане - мне неоднократно приходилось быть свидетелем немалого числа сердечных драм, разыгрывавшихся в итоге "столь долгого отсутствия" мужчин дома. По молодому недомыслию, полностью разделяя общее мнение окружавшей меня мужской среды, я привык относить это к ужасной изменчивой сущности женского характера, не дающей возможность им сохранить верность одному "отдельно взятому" мужчине. Это привело, в частности, к тому, что я написал тогда немало стихов и песен "женоненавистнического" толка. Лишь значительно позднее я понял, что дело вовсе не в женщинах, а в самой несчастной нашей жизни, которая не позволяет долгих разлук. "С любимыми не расставайтесь" - вот единственный надежный рецепт против измен.

Тогда же, стоя у Гибралтарской скалы и переживая по поводу злополучной радиограммы, мы вдруг вспомнили, что за много

лет до нас и даже до нашей эры где-то здесь плавал легендарный Одиссей, который никак не мог вернуться на родную Итаку из-под стен разрушенной Трои, потому что с навигацией у древних греков было еще хуже, чем у нас. И у него тоже были все основания волноваться по поводу супружеской верности его подруги, дом которой осаждали многочисленные женихи. Он, правда, судя по данным мифологии, нисколько не волновался, а попросту перебил всех мужчин, которых застал на территории своего дома. Мы были лишены этой приятной возможности, поэтому нам оставалось только переживать. Одиссей, тем не менее, стал близким нам героем, и в результате появилась песня "Геркулесовы Столбы", заканчивавшаяся словами:

Ты не спеши меня забыть,
Ты подожди немного,
И вина сладкие не пей,
И женихам не верь.

Здесь же, в Гибралтаре, была написана лихая матросская песенка "Моряк, покрепче вяжи узлы", вполне в духе тогдашнего настроения призывавшая:

Не верь подруге, а верь в вино -

Не жди от женщин добра:
Сегодня помнить им не дано
О том, что было вчера.

Песню эту, как выяснилось уже через много лет, любил петь Высоцкий, и она существует на записи в его исполнении.

Неподалеку от Гибралтара, на самой границе с Испанией, мне встретилось небольшое, но ухоженное кладбище, где на серых плитах надгробий латинскими буквами были выведены русские имена, и мне вспомнились наши летчики и танкисты, погибшие в войне за "республиканскую Испанию" в тридцать шестом году. Несчастная эта война, закончившаяся полным поражением и последующим истреблением в сталинских лагерях и тюрьмах всех ее советских участников, была очень популярна в годы моего довоенного детства. Мне было четыре года, когда я, как и все, с гордостью носил "испаньелку" - высокую пилотку с кисточкой спереди - точно такую же, как героические бойцы республиканской Испании.

Возвратившись на судно, я написал песню "Испанская граница". Весной следующего, шестьдесят четвертого года, в

марте, я летел через Москву на станцию СП-17. Самолет Полярной авиации должен был доставить нас из подмосковного аэропорта Захарково, где тогда базировались самолеты УПА, в Косистый, откуда нас забрасывали на Полюс. Поскольку летел я на Север, то одет был соответственно в унты, меховые брюки и выданный нам толстый водолазный свитер. Кроме того, нам, в обязательном порядке, выдавали револьвер, без которого нельзя было возить с собой секретные аэрофотоснимки, необходимые для работы, поэтому сзади у меня болтался офицерский наган-самовзвод в желтой кожаной кобуре. Сдать его в Москве в камеру хранения, положив в рюкзак, я побоялся - вдруг сопрут, а ездить с ним в метро тоже было не слишком удобно - меня дважды забирали в милицию и требовали документы.

Деваться мне было некуда, и во второй половине дня я приехал в гости к переводчику-испанисту Овадию Герцевичу Савичу, жившему в большом писательском доме поблизости от метро "Аэропорт". Увидев мое экзотическое экспедиционное одеяние и кобуру, Савич вдруг припомнил, что когда их отправляли в Испанию в тридцать шестом (а он был там вместе с Эренбургом и работал переводчиком в советском посольстве), то им тоже выдавали такие же свитера и наганы. Как раз в тот день к нему в дом пришли несколько стариков из числа участников войны в Испании, выживших чудом после репрессий и ссылок сталинских лет. Незадолго перед этим, в связи с какой-то годовщиной гражданской войны в Испании, всем ветеранам ее была выдана памятная медаль на красной треугольной планке. Собралось их с такими медалями у Савича всего четверо или пятеро - больные измученные старики, чудом выжившие в потемках ГУЛАГа. Пили присланное Савичу Пабло Нерудой настоящее испанское вино - малагу, в непрозрачной густоте которой, дробясь, поглощается солнечный луч. Я рассказал о кладбище в Гибралтаре, и Савич попросил меня показать песню, которую я и спел неуверенным голосом, робея перед седыми ветеранами испанской войны. Тем большими были мои смущения и растерянность, когда я увидел на их глазах слезы.

Несколько лет спустя, уже в шестьдесят седьмом году, мурманское книжное издательство предложило мне издать книжку стихов. В этом году в Ленинграде только что вышел первый мой сборник "Атланты", и предложение это было для меня неожиданной удачей. "Нам давай все, что хочешь, - сказал мне редактор издательства Саша Тимофеев. У нас все пройдет". И я сдуру дал "все, что хотел". Рукопись же, вопреки легкомысленным посулам Саши Тимофеева, пошла в Москву, в Госкомиздат, где попала на внутреннюю рецензию к штатному рецензенту, некоему

А. Толмачеву, написавшему зубодробительную разгромную рецензию, более напоминавшую донос, после чего издательство рукопись сразу же мне возвратило, а Тимофееву был учинен разнос. Вот что писал бдительный Толмачев по поводу песни "Испанская граница":

"Выходит, что наши добровольцы, вернувшись из Испании, нашли гибель на Колыме. Это же явная ложь. И поныне еще здравствуют многие участники боев в Испании. Их можно найти и в рядах наших прославленных военачальников. А. Городницкий доходит до откровеннейшего кощунства, втаптывая в грязь своих клеветнических выдумок все святое".

Досталось там и морским песням "Моряк, покрепче вяжи узлы" и "Не ревнуй меня к девке зеленой":

"В своих так называемых лирических песнях и стихах автор воспевает неприкрытую постельную похоть, выдавая ее за проявление истинной любви".

"Маска, я тебя узнал", - грустно сказал я, прочитав эту рецензию, и вспомнил замполита с "Крузенштерна"…

Уже в третьем походе "Крузенштерна" в Северную Атлантику, когда мы заходили в Касабланку и опять в Гибралтар, после долгого плавания в открытом океане без заходов, мне почему-то с особенной четкостью вспомнился вдруг Эрмитаж, куда любил меня водить отец. Я попробовал написать стихи об атлантах, тем более, что мы совсем недавно отплыли от Геркулесовых Столбов. Написанные стихи, однако, мне не понравились - что-то мешало читать их как стихи. Я их отложил, а потом и вовсе забыл про них. Где-то примерно через месяц, перебирая старые бумажки у себя в каюте, я вдруг натолкнулся на них и собирался было выкинуть, как вдруг неожиданно для себя стал мурлыкать первую строчку на внезапно появившуюся нехитрую мелодию. Так получилась песня "Атланты".

Это неуловимое, но всегда ощущаемое различие между стихами, которые можно только читать, и стихами, которые обязательно надо петь, а читать с листа нельзя, до сих пор является предметом спора о стиховой правомочности авторской песни. Мне и самому многое здесь неясно - можно ли считать стихами те, что обязательно надо петь, или нельзя? Яростные дискуссии вокруг песен Высоцкого, Галича и даже Окуджавы, которым ревнители "чистого стихосложения без гитарной подпорки", решительно отказывают в литературной принадлежности, с течением времени не стихают. Мне же представляется, что главное все-таки не в форме записи, а в том, чтобы строчки эти хотелось бы потом читать или слушать, а что именно - читать с листа или слушать с магнитофонной кассеты -

не так уж важно…

В шестьдесят пятом году, после возвращения из третьего похода на "Крузенштерне", молодежная редакция ленинградского телевидения, которой руководила тогда талантливая радиожурналистка Галина Позднякова, пригласила меня для участия в передаче с морскими песнями. По этому случаю с "Крузенштерна", стоявшего тогда в Кронштадте, были откомандированы в Ленинград для участия в передаче трое моряков - с гитарой и аккордеоном. Поселились они в квартире Нины Королевой, уезжавшей куда-то в это время, и по флотской привычке навели в квартире такую чистоту, что Нина после возвращения не узнала свой дом. "Нельзя ли их еще раз пригласить? - спрашивала она у меня. - Они мне вычистили до блеска все старые кастрюли и даже окна помыли!"

На телевидении же я впервые столкнулся с новыми для меня проблемами. "Вы - автор музыки? - строго спросила у меня дама - музыкальный редактор, прослушав запись песни "Над Канадой небо сине". - У вас там на шестом такте доминанта наступает на субдоминанту". Я очень испугался, поскольку не понял ни одного слова.

Несколько лет спустя молодой композитор Владимир Струненко, живущий на берегу Азовского моря, в Мариуполе, однажды неудачно переименованном в Жданов, написал свою музыку к песне "Паруса Крузенштерна", и песня эта, попав на радио, часто стала звучать на волнах радиостанции "Юность". А совсем недавно я получил приглашение в Кронштадт на встречу моряков - ветеранов плаваний на "Крузенштерне".

Возвращаясь к давним временам, нельзя не вспомнить еще одну колоритную фигуру-полковника Михаила Михайловича Казанского. Старый моряк, боевой офицер, командовавший ледовой разведкой на Балтике в годы блокады и разжалованный в качестве "стрелочника" после гибели вице-адмирала Дрозда, одаренный океанолог, человек неистребимого жизнелюбия и мальчишеского азарта

- это он, будучи начальником гидрографической экспедиции, первым рискнул поддержать новое и во многом сомнительное начинание. Плотная борцовская фигура в черной морской тужурке с четырьмя рядами боевых, а не за выслугу, орденов. Непокорный, не редеющий, а лишь поседевший, короткий ежик-вихор "под бокс". Не по возрасту озорные светлые глаза дворового хулигана. Он всегда был источником веселой и непобедимой энергии для окружающих. Мне довелось плавать с ним в шестьдесят седьмом году на Балтике, на учебном военном гидрографическом судне "Компас" и потом на Черном море, на

судне "Румб". Каждое утро, пока мы стояли в Севастополе (Казанскому уже тогда было за пятьдесят), он переплывал Корабельную бухту, вызывая зависть у молодых офицеров. Он в ту пору уже преподавал в Высшей Военно-Морской академии, где и я, с его подачи, одно время вел курс морской магнитометрии.

Помню, после первого занятия, он и его друг капитан первого ранга Николай Иванович Егоров, доктор географических наук, тоже немало сил отдавший океанологии, подошли ко мне и сказали: "Надо бы отметить - все-таки первое занятие". "А где? - спросил я". "Ну как - где, мы люди флотские - привычные. Пойдем возьмем коньячку, лимончик и зайдем куда-нибудь в садик или в парадное". Мы отправились в ближайший гастроном у Черной речки и купили коньяк.

"Тут в садике холодно, - сказал Егоров, - пойдем лучше на проспект Смирнова, тут неподалеку, зайдем в кафе, возьмем кофе и с ним вместе выпьем". Кафе на проспекте Смирнова оказалось закрытым.

"Ну, тогда зайдем вот хоть в это парадное, - сказал на этот раз уже Казанский, - не на улице же пить." Мы зашли в парадное.

"Да как-то неудобно здесь, - произнес Егоров, - прямо внизу у двери. Поднимемся хоть на второй этаж, что ли". Мы поднялись на второй этаж.

"Ну, теперь можно, - сказал Казанский - только вот из горла как-то пить нехорошо. Что мы, алкаши, что ли? Давайте в любую квартиру позвоним - хоть стаканчик попросим". "А удобно?" - засомневался я. "Чего ж неудобного

- два полковника, люди солидные - не может быть, чтобы стаканчик не дали",

- с этими словами Казанский позвонил в дверь, она распахнулась… и мы очутились в квартире Егорова, где ожидал специально по этому случаю накрытый стол…

Жена Михаила Михайловича Казанского Александра Александровна в самом начале нашего знакомства сказала мне как-то: "Я хотела бы, чтобы Вы и другие ученики Михаила Михайловича, приходили к нему не только когда он вам нужен, но и потом". Не знаю, как другие, но всякий раз, бывая в Питере, я звоню ему и прихожу в старый дом близ Среднего проспекта на Съездовской линии моего родного Васильевского, где в запущенной коммунальной квартире, в узкой комнате, напоминающей щель, с высоким окном, выходящим на шумную проезжую часть, живут, не желая замечать нищеты и невзгод, двое гордых и несгибаемых пожилых и заслуженных людей, всю свою жизнь отдавших другим. На высоком пыльном шкафу среди убогой комнатной обстановки, красуется, растопырив шипы,

атлантический диадой. Михаил Михайлович несколько лет назад перенес обширный инфаркт. "Прямо пополам сердце раскололось, - объясняет он, - теннис теперь придется бросить". Недавно он показал мне гневное открытое письмо писателю Виктору Астафьеву, заявившему в одном из своих интервью, что "не следовало оборонять Ленинград - несколько десятков каменных коробок". Письмо это, написанное старым фронтовиком и блокадником, отказалась публиковать центральная "Правда", и он передал его мне, но и у меня его никуда не взяли. Сейчас Михаил Михайлович пишет книгу о военной гидрографии в годы войны, новые статьи по океанологии, и когда он сидит за письменным столом, голова его упрямо наклонена вперед, как на старом выцветшем фотоснимке, где изображен он в боевой стойке, так же опустивший вниз подбородок - член сборной ЛГУ по боксу в тяжелом весе в тридцать шестом году.

Плавания на "Крузенштерне" переменили мою жизнь. Уже в шестьдесят третьем году я "завязал" с сухопутными экспедициями в Игарку и твердо связал свою работу с океаном. Этому немало способствовало и то, что сам Институт геологии Арктики тоже понемногу изживал свою сухопутную специфику и все больше переходил на шельфовые моря. Неслучайно теперь старый тот институт свое существование прекратил, а на его месте возникла новая организация - СЕВМОРГЕОЛОГИЯ, начало которой, по существу, положили наши первые плавания.

В моем письменном столе много лет бережно хранятся вместе со значками участника экспедиций на Северный Полюс военно-морской значок "За дальний поход", врученный мне как и всем членам экипажа еще в шестьдесят втором году, и особо ценимый мною бронзовый жетон "За походы на "Крузенштерне". На жетоне, слегка накренясь, летит вперед парусник, напрягая паруса. И я вспоминаю прикосновение горячей пахнущей сосновой смолой палубы к босым ступням, созвездие Южного Креста, немного наклоненное над ночным океаном, как бы для благословения, негромкие звуки баяна на баке, где курят отдыхающие после вахты матросы, мерцающие светила, раскачивающиеся над головой в черной сетке снастей и соленые офицерские байки. И мне на память приходят предостерегающие слова старого римлянина: "Если судно никуда не плывет, ни один ветер ему не попутный".

Остров гваделупа

Проснулся я от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Открыв глаза, я действительно увидел, что на моей груди прямо перед носом сидит на задних лапах огромная крыса и внимательно меня разглядывает. Я с криком вскочил. Спрыгнув на пол, крыса зашипела и неторопливо ушла. Мерное скрипение старых переборок и глухие удары волн о борт вернули меня к действительности. Вместе с Трубятчинским и большой геофизической группой летом 1966 года мы отправились в новую экспедицию, в Пенжинскую губу Охотского моря на судах Дальневосточной гидрографии "Охотск" и "Румб".

Бывший минный заградитель "Охотск", на котором мы следовали из Находки к месту работ, построенный еще в начале века, угольный пароход, переоборудованный под гидрографическое судно, оказался донельзя грязной старой посудиной с проржавевшей палубой и скрипучими расшатанными переборками.

Путь наш в Охотское море лежал через Сахалин, где мы зашли на рейд Южно-Сахалинска. Где-то здесь, по моим сведениям, должен был служить Сергей Карцев, попавший на Дальний Восток после окончания Высшего военно-морского пограничного училища в Ленинграде. Я сказал об этом нашему командиру, он дал на берег семафор, и уже через час к борту подлетел пограничный катер с зеленой полосой. Поднявшийся на борт почему-то в сопровождении двух пограничников с автоматами старшина потребовал меня. Еще издали на причале, где стояли погранкатера, я увидел долговязую фигуру Сергея - он оказался командиром отряда и был уже капитаном II ранга. "Что, напугали тебя мои? - улыбаясь во весь свой большой рот спросил он, - пошли скорее, Неля пирог испекла". До поздней ночи мы просидели у него в доме, вспоминая давние омские и ленинградские времена и лакомясь дымящимися крабами под "шило" (так, как вы уже знаете, на флоте называют разведенный спирт). Тем временем стемнело, и ветер разогнал на рейде волну. Пора было возвращаться на "Охотск". Сергей проводил меня на пирс. "Выгружать с осторожностью", - услышал я сквозь свист шквального ветра его зычный командирский голос с берега и подумал: "Что они там собираются выгружать?" А речь шла обо мне…

Двухмесячные работы в осеннем Охотском море, с его неожиданными ветрами и туманами, с сильными - более пяти узлов приливо-отливными течениями в Пенжинской Губе -

оказались нелегкими.

Уже в Пенжинской Губе нас вместе с геофизиком Мишей Серяковым переселили в другую каюту, где были две койки, располагавшиеся одна над другой. Миша, как более молодой, влез на верхнюю койку, а мне досталась нижняя, чему я, однако, радовался недолго. Соседнюю каюту занимал третий механик, койка которого крепилась на одном кронштейне с моей. Поскольку переборки на судне были старые и расшатанные, любое движение койки соседа вызывало соответственное, как на качелях, движение моей. Первую неделю, пока мы следовали из Находки в Охотское море, все было относительно спокойно. Но в Охотском море третий механик, на мою беду, завел неожиданно бурный роман с судовой врачихой, разбитной шатенкой, изнывавшей от полного безделья. С вахты он сменялся в полночь, и где-то, начиная с половины первого, едва я успевал заснуть, меня будил ритмичный и громкий скрип и такое же ритмичное хождение вверх-вниз моего ветхого ложа. Я пытался предложить Михаилу поменяться, но он наотрез отказался, так что я вынужден был переместиться с тюфячком прямо на палубу.

Вторую половину экспедиции мне довелось проплавать на другом судне - "Румб", поменьше размерами, но более современном. В конце августа мы зашли заправиться водой и топливом на остров Спафарьева, где располагался крабзавод, на котором работало несколько сот вербованых женщин. Было раннее утро, когда мы подошли к безлюдному пирсу. Двое заспанных работяг приняли наши швартовые. Я стоял на правом крыле мостика, неподалеку от командира, капитана III ранга Мишкина, когда мы заметили три странные, одинаковые с виду, но разной величины, как матрешки, фигуры, медленно двигавшиеся вдоль пирса к борту судна. Когда они приблизились, оказалось, что это женщины, одетые совершенно одинаково - в резиновые сапоги, ватники и теплые, серого цвета, головные платки. "Эй, командир, - неожиданно сильным и низким голосом крикнула самая высокая из них. - Я предзавкома местного. Девочки у нас тут целый месяц света белого не видят, на путине вкалывают, а мужиков нет. Так что я тебе предлагаю всех своих морячков уволить прямо сейчас до завтра, а мы по такому случаю выходной объявим".

Командир Мишкин был человеком решительным и настоящим боевым офицером, способным быстро принимать решения в критической обстановке. "Отдать носовой", - скомандовал он упавшим голосом. И мы пошли обратно в море без воды и топлива. "Да, Саня, - делился он со мной, - вовремя спохватились. Ты что, у меня весь экипаж двадцать два человека -

на части же разорвут!" Я в ту пору плохо знал местные порядки и не сразу понял его тревогу. Уже позднее, на рейде Шикатана, я видел, как на старый теплоход "Азия" сеткой с плашкоута грузили вдрободан пьяных вербованных женщин, матерящихся и орущих пьяные песни, и понял озабоченность командира Мишкина.

В последующие годы мне приходилось несколько раз попадать на Сахалин и Курилы в путину, на плавучие и наземные рыбозаводы, где я насмотрелся на каторжную работу по обработке рыбы, работу, которой мужчины не выдерживают, поэтому на нее берут только женщин. С красными, закоченевшими от ледяной воды руками, по двенадцать часов в день (такая смена) они должны отделять большим ножом голову рыбы от тушки, рискуя отрубить себе пальцы. А потом - короткий сон в своей грязной казарме, не дающий отдыха. Культуры и развлечений - никаких: работа, работа, работа. Смертельно усталые от постылого однообразного труда и дикого быта, за пару месяцев они способны потерять не только женский, но вообще человеческий облик.

Скалистые берега Охотского моря, обилие тюленей и нерп, живописные острова, привлекавшие некогда сюда мореплавателей, так контрастирующие с убогой обыденностью местного быта и его жестокими нравами, запомнились мне надолго.

Само пребывание женщин на судне, да еще под хоть и гидрографическим, "вспомогательным", но все же военно-морским флагом, само по себе, с позиций военного начальства, было постоянным ЧП. За ними круглосуточно велось негласное наблюдение, жили они в отдельном отсеке (назывался он "змеюшник") и общаться с ними можно было только на людях. Согласно бдительным указаниям замполита, зайдя к женщине в каюту (или если она вошла к тебе в каюту), закрывать дверь ни в коем случае было нельзя - не на ключ, конечно, упаси Боже, а просто плотно прикрывать. В противном случае замполит отсчитывал пять минут и записывал нарушителю "аморалку".

Несмотря на эти "антисанитарные" условия, корабельные романы все-таки случались. На судах экспедиции шепотом рассказывали легенду про одну настырную пару, которую, заподозрив в "аморалке", усиленно опекал замполит, не давая им уединиться. Они его все же перехитрили - достав у мотористов "мастер" (дежурный ключ, открывающий замок в любой корабельной каюте), дожидались, когда замполит отправится в кино, и устраивались в его каюте.

Нельзя не признать, что присутствие женщин на кораблях, долгое время находящихся в плавании, представляет собой

известную проблему. Мне за почти три десятилетия плавания на самых разных судах довелось быть свидетелем многочисленных драматических ситуаций, возникающих в длительных океанских рейсах, когда на сотню и более мужчин приходится всего несколько женщин, а "моральный кодекс строителей коммунизма" перестает срабатывать уже на третий день после выхода из родного порта. Помню, как сокрушаясь, матерился старый боцман на "Охотске", глядя на живописные курточки наших сотрудниц: "До чего флот довели, это же подумать только. Вот в старое-то время - Императрица в Севастополе свой флот посетила и на флагманский корабль к Ушакову изволила лично ступить. Так потом боцман с целой командой все за ней мыли и чистили, поскольку хоть и Императрица, а всеж-таки баба. Так то царица была, а это что? Тьфу да и только"…

Иначе реагировали на появление женщин вербованные работяги, в основном из бывших зеков, которых везли в Пенжу на какую-то стройку. Жили они на "Охотске" в огромном трюме в районе носовой палубы, куда вел большой люк, плохо различимый в темноте. Поскольку женщин разместили в носовых каютах, хитроумные умельцы из вербованных сняли крышку люка и закрыли его брезентом, рассчитывая, что в вечерних сумерках какая-нибудь красотка ступит на этот обманчивый брезент и провалится прямо к ним в трюм как в медвежью яму. Каково же было их разочарование, когда вместо женской добычи в один прекрасный вечер к ним провалился большой рыжий и толстый техник Лева Фишман!

Что касается офицеров, и корабельных, и гидрографов, то появление стайки молодых женщин на судах означало для них просвет в унылой и безрадостной службе, сплошь заполненной "боевой и политической подготовкой". Начались яростные ухаживания, несколько сдерживаемые внешне необходимостью конспирации от всеведущих замполитов. Романы эти часто приводили к трагикомическим конфликтам. Так, на втором нашем судне "Румб" старпом-высокий и красивый капитан-лейтенант, оставивший во Владивостоке жену с двумя детьми, а на судне "официально" живший с судовой врачихой, вдруг увлекся одной из наших дам, хорошенькой и пухленькой чертежницей Ирочкой, обладательницей прекрасных наивных серых глаз и кукольных ресниц. Кипящая ревностью докторша однажды ночью, застав своего изменчивого старпома на месте преступления как раз в тот момент, когда он украдкой выводил Ирочку из своей каюты, кинулась на него и, явно использовав профессиональные хирургические навыки, так исполосовала ему лицо своими острыми наманикюренными ногтями, что старпом

был уложен в лазарет и через несколько дней сдан в Магадане в больницу, откуда на судно уже не вернулся.

Позднее, плавая на гражданских академических судах, где женщин было уже гораздо больше, да и условия были более вольные, я насмотрелся на множество авантюрных ситуаций, которые, как правило, кончались "бескровно".

Так, один из самых талантливых наших и молодых капитанов, человек вполне интеллигентный и начитанный, прекрасный штурман, в каждом очередном рейсе заводил новую возлюбленную, как правило, из числа буфетчиц, Кончилось это тем, что жена его, живущая в Калининграде, которой доброжелатели все донесли, устроила скандал, да еще вполне по-советски - с помощью парткома. Припертый к стенке партией, женой и предприимчивой любовницей, несчастный капитан, спасая свою загранвизу и должность, вынужден был развестись и жениться на буфетчице, которую, конечно, тут же уволили с судна. В результате, став официальной женой, она потеряла возможность плавать с ним вместе и осталась, как все жены, на берегу, а он через полгода завел себе новую буфетчицу.

Обычно же, по неписанному закону, на академических судах на период рейсов, длящихся, в среднем, около четырех месяцев, романы возникали между экипажем - с одной стороны и "наукой" - с другой. Это в равной степени относилось к недолговечным любовным связям офицеров с дамами из науки и каютных номерных или буфетчиц с научными сотрудниками, то есть с "чужими". Романы эти, расцветая пышным цветом где-то к исходу первого месяца ("Имей в виду, - поучал меня мой приятель - второй штурман на "Дмитрии Менделееве", у нас женщин разбирают прямо на трапе"), заканчивались обычно в последнем порту захода, где надлежало тратить накопленную за рейс валюту, и приходила пора вспоминать о покупках, заказанных семьями, ожидающими на суше. Не все женщины, однако, мирились с этим - некоторые довольно ощутимо мстили своим коварным избранникам, обещавшим по возвращении "жениться". Так, в семьдесят седьмом году на нашем судне "Академик Курчатов", вернувшемся из длинного океанского рейса, произошел конфликт между каютной номерной и вторым штурманом, добившимся ее благосклонности обещанием I жениться и, как выяснилось, оказавшимся женатым. Месть оскорбленной подруги была чисто женской. В Калининграде к штурману на судно приехала встречавшая его жена. Не успела она еще толком обнять долгожданного мужа и взглянуть на привезенные зарубежные подарки, как в дверь каюты постучали. "Извините, - сказала вошедшая номерная, - я забыла здесь свои

вещи". С этими словами она достала из-под подушки у штурмана свою комбинацию и ушла…

Женщины "из науки" в океанских рейсах, как правило, расцветали. С одной стороны, они оказывались свободны от каждодневного унылого быта, порабощающего их на суше - необходимости кормить и ублажать мужей, лечить и воспитывать детей, таскать огромные авоськи с продуктами, стоять во всевозможных очередях. С другой - будучи всегда в меньшинстве, они становились предметом поклонений и ухаживаний почти всего мужского состава экспедиций, причем ухаживания эти, как правило, мало зависели от степени женской красоты. Интересную эволюцию довелось мне наблюдать за много лет. Почти всегда скромные и робкие девицы,

Впервые ступая на палубу судна, сильно страдали от качки. Но постепенно, обвыкнув в повой обстановке, приучаясь мало-помалу

-пить вино или курить, а также теряя понемногу первоначальную неприступность, они, как правило, укачиваться переставали. Вместе с тем, по окончании рейса, вынужденные снова вернуться на берег в свои семьи и убогий советский быт, они были особенно несчастны, не понимая, почему вот только что они были в центре мужского внимания - и вдруг все неожиданно кончилось Так, девочка, взятая прихотливым режиссером из своего родного девятого "А" в кино чуть ли не на главную роль, плачет горькими слезами, потому что картина уже отснята, и ей, уже привыкшей быть героиней, надо снова возвращаться в свою постылую прежнюю жизнь.

Суровым испытанием для несчастных наших женщин, привыкших к клиническому отсутствию в отечественных магазинах хороших товаров, в первую очередь одежды, галантереи и парфюмерии, и впервые попавших за рубеж, становилась первая встреча с западными (или восточными) магазинами с их фантастическим для советского человека изобилием. В 1976 году в экспедиции на судне "Дмитрий Менделеев" впервые принимала участие молодая аспирантка Вера Бань, ранее почти никуда не выезжавшая из своего родного Геленджика и за границей, конечно, не бывавшая. Была она натурой довольно эмоциональной, легко переходящей от веселости к печали. У нас даже частушку про нее сочинили: "Если плачет Вера Бань, это значит - дело - дрянь". В этом рейсе мы зашли в Токио, и Вера впервые в жизни, в составе моей "тройки", попала в один из самых крупных в мире универсальных магазинов "Мицубиси" в самом центре Токио - в Гинзе.

Когда мы вошли в огромный зал первого этажа, откуда

бесшумные эскалаторы подняли нас на второй, и перед Вериными глазами открылись галереи с сотнями ярко высвеченных разнообразных женских вещей -шуб, купальников, сверкающих всеми огнями радуги украшений, мерцающего нежными будуарными цветами белья, искрящихся от искусной подсветки флаконов с всевозможными духами -она вдруг замерла на месте с застывшей палице улыбкой и потеряла дар речи. Минут пять она простояла, не отвечая на мои оклики, а когда я тронул ее за плечо - "пошли" - она оказалась не в состоянии двинуться. С большим трудом мы усадили ее в ближнее кресло. Еще несколько минут она молча продолжала улыбаться. Потом молчание сменилось вдруг бурными слезами и рыданием - у Веры случился нервный шок. Думаю, что большинству советских женщин понять Верино потрясение нетрудно…

Что же касается "корабельных" женщин, - каютных номерных, поваров, буфетчиц, то их контингент, как правило, формировался из сельских или провинциальных девчонок, соблазнившихся на "заграницу" и морскую экзотику. Большинство из них собиралось поплавать "пару годиков", а потом, накопив деньжат, вернуться домой, выйти замуж, найти себе какую-нибудь "земную" профессию. Да и работа на судне представлялась им поначалу несложной: действительно, чего там - полы мыть да пыль вытирать два раза в день. Однако проходили год за годом, и втянувшись в свою неблагодарную и совсем не легкую работу, накупив на валютные гроши тряпок в заграничном порту и мечтая о новых, отвыкнув от сурового земного быта, на готовых корабельных харчах, спаиваемые и соблазняемые моряками, мало-помалу превращаясь из робких и застенчивых девушек в развращенных и циничных "морских волчиц", несчастные эти женщины уже не находили в себе сил вернуться назад на сушу. Тяжелая и грязная работа, многодневная качка, вино и мужчины, отсутствие реальных перспектив в завтрашнем дне преждевременно старили их, и они возвращались на сушу больными, разбитыми и одинокими.

Ни на одном из судов мира, кроме советских, не встретишь женщин в штате команды. Помню, как удивлялись иностранцы, попавшие на наши суда, присутствию на них женщин. Одно время мы по наивности даже гордились этим явным доказательством их равноправия в стране "развитого социализма". Только после долгих лет плаваний я понял, что это "равноправие" ничуть не лучше того, которое дает им право на тяжелую не женскую работу по рытью канав или укладке железнодорожных шпал, работу, от которой отказываются мужчины.

Справедливости ради, надо сказать, что и для наших мужчин

первые загранрейсы иногда оборачиваются нелегким испытанием, хотя соблазны здесь другие. Вспоминаю, как в одном из недавних рейсов "Витязя", уже в конце восьмидесятых годов, во время захода в итальянский порт Реджи-ди-Кабария, один из старых наших сотрудников, бывший военный моряк, дослужившийся до командира подводной лодки, член партии и примерный семьянин, неожидано для себя впервые попал на сексфильм. Вернувшись на судно и слегка выпив, чтобы релаксировать нервную систему, он заявил: "Вот, всю жизнь прожил, и выходит

- зря. Так ничего и не видел".

Другого рода случай произошел в 24 рейсе судна "Академик Курчатов" весной семьдесят седьмого года, когда уже по пути домой мы зашли на Канарские острова, в порт Лас-Пальмас. У меня в магнитном отряде был механик из Ленинграда, тихий и немногословный, на редкость работящий человек, во всех отношениях крайне положительный, но за рубеж попавший впервые. В предыдущих портах захода - Понта-дель-Гада и Каракасе - все с ним было в порядке. А вот в Лае-Пальмасе стряслась такая непредвиденная история.

Как я уже упоминал, согласно строжайшей инструкции, советские моряки в зарубежном порту могут ходить только по трое; Не вчетвером и не вдвоем, а именно втроем. Мне неоднократно объясняли, что цифра три не случайна, а тщательно и всесторонне продумана. Если моряки пойдут вдвоем, то они могут, например, сговориться и совершить самые непредвиденные нарушения - от посещения борделя до покупки запрещенных предметов. Втроем же договориться труднее. В свою очередь, если один из двоих решил сбежать, то другой в одиночку его удержать не смажет, а вот вдвоем, пожалуй, изловят. Опять же, если в группе трое, то старший успевает смотреть за двумя своими подопечными, а вот когда четверо, то за всеми враз и не уследишь. Не про нас ли писал великий российский классик: "Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа могла ты только родиться, в той стране, что не любит шутить". Гоголь попал в точку. Выдумали "тройку" обкомы и политуправления, которые шутить, как известно, не любят.

Утверждение старших групп в рейсах каждый раз представляло собой в известной степени священнодействие. Списки эти долго согласовывались с "уполномоченными товарищами", утверждались на партбюро и вывешивались на доске объявлений перед заходом в иностранный порт. Право формировать тройки долгое время было исключительной прерогативой первых помощников и представителей кружка "хочу все знать". В последние годы, правда, тройки формировались

начальниками отрядов и служб, но утверждались и корректировались только "перпомом".

При заходе в Лас-Пальмас герой моего рассказа Борис попал в "крепкую" тройку. В нее входили двое его коллег, уже много раз бывавших за рубежом. Двое из троих (в том числе и сам Борис) были партийные. Казалось, ничто не предвещает неприятностей. Тем не менее, возвращаясь вечером из увольнения со своей тройкой, я увидел такую картину. К борту нашего судна подъехала испанская полицейская машина, из которой двое полицейских в высоких фуражках вытащили окровавленное и, как мне поначалу показалось бездыханное тело Бориса. Следом, виновато озираясь, выскочили двое его спутников. "Тело" втащили по трапу на борт, и судно через час вышло из порта. Обстоятельства ЧП выяснились только на следующий день, когда "тело" ожило полностью и было посажено под домашний арест в собственной каюте. Специально созданная комиссия установила следующее…

Сойдя с судна, "тройка" бодрым шагом вышла из ворот порта и тут ее внимание привлекла красочная витрина ботл-шопа - винного магазина, располагавшегося как раз напротив выхода. Среди бутылок с разноцветными этикетками Борис, оказавшийся человеком пьющим, сразу распознал родные "национальные" бело-красные цвета "Столичной". Более всего поразила его цена

- "поллитра" "Столичной" стоила всего "рубль местных денег". Не поверив своим глазам, Борис, впервые в жизни попавший в зону беспошлинной торговли, вошел в магазин и желанную бутылку немедленно купил. Друзья стали искать "парадную", чтобы выпить "на троих". Искали долго - парадных поблизости не обнаружили. Выпили поэтому в парке, прямо на скамейке, закусив захваченным с судна бутербродом. "Ребята, - сказал повеселевший Борис, -а вдруг в другом магазине дороже будет? Давайте на всякий случай еще одну прихватим". Потерявший бдительность старший тройки, несмотря на изрядный опыт общения с зарубежными ботл-шопами, не возражал. Вторую бутылку тоже унесли недалеко. Правда закусывали уж купленными бананами. Погуляв пару часов на солнцепеке и полюбовавшись на красоты курортных отелей, где все оказалось несколько дороже, путешественники снова вернулись к облюбованному ими магазину и взяли третью бутылку. Чем они ее закусывали, компетентной комиссии выяснить не удалось. Установлено было только, что после этого Бориса развезло и он улегся на мостовую, решительно заявив, что дальше не пойдет. Здесь старший тройки, осознав, наконец, свою ответственность, начал всячески тормошить Бориса - к сожалению, без всяких

результатов. Вокруг начали собираться любопытные. Тогда старший, сам будучи несколько более возбужден, чем обычно, начал "слегка" пинать лежащего ногами и "нечаянно разбил ему нос". Потекла кровь, испачкавшая рубашку. Вот в этот момент и подъехала полицейская машина.

Целую неделю Борис сидел в каюте. В следующем порту захода он был лишен увольнения. Мне, как начальнику отряда, где случилось ЧП, был объявлен выговор. "Что ж ты, скотина, наделал? - совестил я его. - Себя подвел, нас всех подвел. Неужели же совсем воли нет никакой?". "Саня, - отвечал он мне,

- ну, эти-то дураки не понимают. Но ты-то ведь - наш человек, должен меня понять - всего руль - бутылка!" И в глазах его светилось радостное детское изумление."

Несколько слов о качке, которой часто пугают новичков. Проблема качки и привыкания к ней мне кажется сильно преувеличенной. Может быть, дело отчасти в том, что этому неприятному ощущению много внимания уделяли писатели, плававшие мало или попадавшие в море впервые. Более четверти века проплавав в морях и океанах, я понял, что "прикачиваются" со временем почти все, а если человек все-таки не может привыкнуть к качке - значит, он болен, у него не в порядке вестибулярный аппарат. Это, кстати, совершенно не зависит от степени его героизма или других личных достоинств. Согласно легенде, например, знаменитый адмирал Нельсон всю жизнь страдал от качки, и возле него на капитанском мостике постоянно дежурил матрос с ведром. Знавал я и современных капитанов, не переносивших качку, но упорно продолжавших плавать. Многое, конечно, зависит здесь от нервов. Я уже вспоминал, как на нашем "Крузенштерне" укачивались почти все, пока не было объявлено, что судно терпит бедствие. Надев спасжилеты, все немедленно укачиваться перестали и начали снова охать только после того, как опасность миновала. Мне кажется, что пьющие люди от качки вообще страдать не должны, потому что это ощущение близко к тяжкому похмелью, а человек опытный знает, что от этого не умирают. Если же признаками качки, как гласит судовая шутка, являются повышенный аппетит и отвращение к работе, тогда укачиваются все.

Бывают, правда, клинические исключения. Вспоминаю, как осенью семьдесят шестого года мы работали на судне "Дмитрий Менделеев" в районе Курильских островов. Был конец октября, и тайфуны шли один за другим, регулярно, как курьерские поезда, поэтому мы не столько работали, сколько прятались за острова от очередного урагана. Будучи заместителем начальника экспедиции, я отвечал, в частности, за работу судовой ЭВМ -

старенькой изношенной счетной машины "Минск-22". Поскольку старший инженер, обеспечивавший ее работу, был в отпуске, я договорился во Владивостоке с очень хорошим специалистом, и мы взяли его на один рейс. Электронщик он действительно был классный, и пока судно стояло у причала, машину наладил полностью. Однако в море он не плавал раньше никогда, и как только "Дмитрий Менделеев" вышел за остров Скрыплев, тут же слег от самой легкой качки. На нашу беду, не успели мы дойти до Охотского моря, как машина снова сломалась. А здесь, как назло, пошли один за другим тайфуны. Бедного "начальника машины", еле живого на руках приносили в машинный зал. Как умирающий полководец, он слабой рукой показывал в направлении какого-нибудь шкафа с электроникой, после чего со стоном отключался, и его уносили. Никакие средства не помогали. Когда я обратился за помощью к судовому врачу, он сказал мне: "Ты не о том думаешь. Ты лучше следи, чтобы он за борт не выкинулся". Страх перед качкой у этого несчастного человека был так велик, что ему при полном ее отсутствии достаточно было услышать по судовой трансляции объявление: "Ожидается резкое усиление ветра. Закрепить все оборудование по-штормовому" - и у него тут же начиналась рвота. Что было делать? Вышедшая из строя ЭВМ грозила срывом всего рейса. И тут, в самый критический момент, ко мне пришел старый экспедиционник Саня Буровкин. "Михалыч, - сказал он мне, - его надо психологически вылечить. Значит так, выдай мне поллитра спирта - и все. Берусь его полностью поставить на ноги". Немедленно получив мое согласие, он изложил свой нехитрый план. Дело в том, что как раз в этот вечер у одной из экспедиционных "секс-бомб" был день рождения. Замысел Буровкина состоял в том, чтобы, попеременно используя целительное действие "шила" и неотразимые чары именинницы, уже положившей раньше глаз на страдальца, отвлечь несчастного специалиста от его мучительных ощущений и вернуть в строй. Действительно, как свидетельствуют очевидцы, в тесной каюте, где состоялась шумная праздничная вечеринка, пациент немедленно пришел в себя - пил, веселился как и все и даже целовался с именинницей. Вот тут бы его и брать! Но я наивно решил дождаться утра. Утром же он, снова зеленый, лежал влежку и помирал, а вторую бутылку спирта, затребованную Саней Буровкиным "для завершения активного лечения", я уже выдать наотрез отказался.

Несмотря на неудачу эксперимента, я пришел к выводу, что воспоминания о немногочисленных жизненных радостях помогают страдающим от качки в самые казалось бы жестокие моменты.

Окончательно я в этом убедился, когда все на том же "Дмитрии Менделееве", выполнявшем свой тридцать первый рейс, осенью 1983 года мы попали в жесточайший декабрьский шторм в Бискайском заливе - самом неприятном для моряков месте восточней Атлантики. В составе нашей экспедиции был впервые отправившийся в море весьма известный профессор, один из крупнейших г специалистов по электромагнитным полям. Не успело наше судно выйти из Зунда в штормившее Северное море, как он прочно слеги перестал есть, а в Бискае, несколько суток прострадав, находился постоянно в полуобморочном состоянии, несмотря на какие-то уколы, сделанные ему судовым врачом. Когда волна немного стихла, я по указанию врача выволок полумертвого профессора на кормовую палубу, чтобы он глотнул хоть немного свежего воздуха, потому что находиться в спертом воздухе его каюты было не под силу даже здоровому человеку. Судно стояло "носом на волну", поэтому на кормовой палубе было относительно спокойно. С трудом притащив профессорское тело на корму, я осторожно положил его у кормовых кнехтов, подсунув под голову подстилку. Лицо страдальца было ярко-зеленого цвета, а веки закрытых глаз напоминали замороженную курицу. Корабль тем временем жил своей жизнью, и минут через пятнадцать мимо нас протопала босыми ногами по мокрой палубе здоровенная деваха, вынося из камбуза к кормовому срезу большое ведро с помоями, на радость орущих над кормой чаек. Подол ее юбки был подоткнут, обнажая сильные ноги и по-рубенсовски полные розовые икры. Тут я обратил внимание, что профессор, подняв одно голубое веко, следит за ней безразличным взглядом умирающего. "Саня, скажи, - произнес он вдруг еле слышным слабым голосом, - а тебе нравятся женщины с тяжелым низом?.."

Легче всего справляются с пагубным действием качки люди с крепкой нервной системой. Мне вспоминается в связи с этим один из наших капитанов, в каюте которого от сильной штормовой качки были повалены кресла, по палубе ездили взад-вперед какие-то чашки, книги, опрокинутые стулья и другие предметы. Сам капитан спокойно сидел за столом и работал, не обращая ни малейшего внимания на беспорядок вокруг. На вопрос, не помочь ли ему навести порядок в каюте, он ответил: "Ни в коем случае - каждая вещь должна найти свое место".

Из историй, связанных с качкой, вспоминается еще одна. В сентябре 1977 года мы вместе с Виктором Берковским, Сергеем и ;Татьяной Никитиными и Александром Сухановым прилетали с выступлениями на Сахалин и Курильские острова. Из кунаширского Южно-Курильска на остров Шикатан мы должны

были плыть пассажирским катером, следовавшим что-то около пяти часов через Второй Курильский пролив. Помимо пассажиров, катер вез [почту и какие-то грузы. Примерно на втором часу следования отплоской регулярной волны катер стало сильно качать, а еще через час большая часть пассажиров укачалась полностью. Более всех страдали женщины и дети. Из нашей компании не укачался один Берковский, хотя и ему явно было не по себе. Мы с ним вышли из кубрика подышать и встали к фальшборту, рядом с рулевой рубкой, в открытом окне которой маячила неподвижная и хмурая физиономия рулевого. "Эй, на руле, - крикнул крепящийся Берковский хриплым голосом старого морского волка, - сколько баллов шторм?" Рулевой презрительно скосил глаза в нашу сторону, потом сплюнул через голову Берковского за борт и скучающе ответил: "Какой шторм? Зыбь".

Что касается личных воспоминаний о качке, то меня всерьез укачивало дважды - первый раз во время первого полета на АН-2 в 1957 году под Игаркой и второй раз - в 1967 году на Черном море, на маленьком гидрографическом судне "Компас", трое суток штормовавшем где-то неподалеку от Босфора. Этому, правда, немало способствовало то, что в стекло наглухо задраенного иллюминатора в нашем кубрике все время ударяла туша дохлого дельфина.

Кстати, самые неприятные шторма из всех, которые мне довелось видеть, чаще всего приходились как раз на Черное море. Крутая и короткая морская волна и опасная близость берегов создавали здесь порой критические ситуации, похуже океанских. Так, в 1967 году мне пришлось участвовать в проведении практики по морской геофизике в Черном море на небольшом судне "Московский Университет". Судно это, построенное в Германии по проекту военного тральщика, имело довольно оригинальную историю. Построено оно было в начале тридцатых годов как правительственная яхта персонально для тогдашнего правителя Латвии Ульманиса. Когда немцы захватили Латвию, на яхту положил глаз "наци номер два" Герман Геринг. После войны же, захваченная в качестве трофея, она была доставлена на Черное море и стала личной яхтой "величайшего гения всех времен и народов". Назвали ее "Рион". Большим достоинством этого судна была необычно высокая скорость хода, дававшая возможность владельцам быстро выбраться из любой неожиданной ситуации. Сам Сталин, впрочем, на яхте побывал всего один или два раза. Рассказывают, что когда великий вождь прибыл на борт, он высказал желание выйти в море, и капитан не посмел возразить ему, хотя получил накануне штормовое предупреждение. Как только "Рион" покинул Ялту, он тут же

попал в нешуточную качку. Укачались все - и охрана, и соратники. Не укачался только Сталин. Он сидел у себя в каюте с непроницаемым лицом и курил трубку. Когда судно пришвартовалось обратно к ялтинскому причалу, он вылвал к себе вывернутого наизнанку пожелтевшего Берию и сказал негромко: "Надо бы присмотреться к этому капитану". И капитана не стало…

Что касается нас, то мы, стоя в Севастополе, тоже получили штормовое предупреждение. Оно было тем более существенно для бывшей яхты Сталина, что судно это было не килевым, а плоскодонным, и, согласно правилам Морского Регистра, могло плавать только при волнении не свыше пяти баллов. 6 этом недолгом черноморском плавании я уговорил принять участие моего давнего одноклассника и однокашника по Горному институту Саню Маляв- *8* кипа, который в то время занимался аэромагнитной съемкой в Арктике и немало времени налетал на разных самолетах в суровых условиях Ледовитого океана. "Поехали со мной - отдохнешь, - агитировал я его. - Это тебе не безрадостное Заполярье. Синее море, белый пароход - как у Бендера. Сухое вино, Ялта, Севастополь, девочки". Уговаривать его долго не пришлось, тем более, что в море он, как оказалось, до этого не ходил никогда.

Руководитель практики улетел из Севастополя в Москву на Международный геологический конгресс. Оставаясь за старшего, я немедленно потребовал от капитана выхода в море для проведения гидромагнитной съемки в Евпаторийском заливе, неподалеку от мыса Тарханкут, мотивируя свое предложение тем, что сводки обычно врут. Он неожиданно согласился, хотя капитаном был опытным, хорошо изучившим капризы черноморских "бора".

Не успели мы дойти до Каркинитского залива, как налетел сильнейший шквал, разогнавший волну до девяти баллов. Мы немедленно встали "носом на волну" и стояли так целую ночь, пока на следующий день не уткнулись в спасительный порт - Одессу.

Всю ночь старенькое судно раскачивалось и скрипело под яростными ударами осатаневших волн. В ходовой рубке вылетели стекла, трюм начало заливать. Часа в два ночи, выбравшись из каюты в твиндеке (кстати, бывшей каюты Берия, с интерьером из . красного дерева и зеркалами), где мы помещались вдвоем с Саней ' Малявкиным, я с трудом добрался до капитанского мостика. Там бессменно стоял хмурый и расстроенный капитан, тревожно прислушиваясь к скрипу переборок, глухому стуку ненадежной, за давностью лет и отсутствием ухода, судовой машины и неожиданному визгливому взревыванию вдруг выброшенного из

воды единственного винта. "Ну, ты меня и втравил, - сказал он мне, устало выматерившись, - я сам такой шторм второй раз в жизни вижу". От этого заявления мне стало не по себе, однако поворачивать назад и подставлять лаг волне мы уже не могли. Самое забавное, что еще в хорошую погоду мы успели вытравить за корму гондолу для магнитных измерений на кабеле длиной около 200 метров, и выбрать его теперь не было никакой возможности. Оставалось полагаться на судьбу и надеяться, что кабель не оборвется и не намотается на винт.

Проведя около двух часов на мостике вместе с капитаном в этих невеселых раздумьях, я, цепляясь, как обезьяна, за поручни, отправился в нелегкий обратный путь. Когда я достиг нашей каюты, по палубе которой уже гуляла вода, то застал там бодрствующего Малявкина, который сидел на своей койке, поджав босые ноги, своей позой и отчаянным выражением лица напоминая княжну Тараканову на знаменитой картине Сурикова, и нервно курил. "Синее море-сухое вино… девочки… - яростно зашипел он, увидев меня.- Куда ты меня привез? Я летчик, я могу бояться две минуты, ну, пять, от силы - десять. А целую ночь - это уже бардак!" Саша Малявкин не утонул в море и не погиб при авиакатастрофе, хотя провел в небе немногим меньше времени, чем на земле. Вернувшись из Антарктической экспедиции, где впервые выполнил аэромагнитную съемку Антарктиды, он сгорел за несколько месяцев от неожиданного рака легких, не дожив до пятидесяти лет.

Вспоминая о сильной качке, не могу снова не вернуться мыслями в штормовое Охотское море, в октябре 1966 года, где после "Охотска" и "Румба" я попал на маленькое гидрографическое суденышко ГС-42, под которое был приспособлен обычный рыболовный траулер-"логгер". Жили мы втроем в носовом кубрике. Для того, чтобы добраться до кормы, где располагались ходовая рубка, камбуз и все другие помещения, надо было пройти по открытой палубе. Поэтому, когда, выйдя из залива Шелихова, мы неожиданно попали в жестокий шторм, то четверо суток, не имея возможности выйти на палубу, по которой свободно раскатывали свинцовые волны и наглухо задраив кап носового кубрика, сидели безвылазно, ломая на четыре части ржавые плесневелые сухари. Состояние судна было довольно тревожным - нас грозило снести к скалистым берегам залива, а старый двигатель дышал на ладан. Не укачивался решительно никто - только есть все время хотелось.

Такое же пренебрежение к сильнейшей качке, и в том же самом осеннем штормовом Охотском море, испытали я и мои спутники шесть лет спустя, в 1972 году, когда пересекали его на

тонкостенном суденышке типа "река-море", перегоняемом из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. Суда эти не рассчитаны на морские шторма, поэтому мы рассчитывали пересечь открытую часть Охотского моря и спрятаться за Сахалин по хорошей погоде. Нам, однако, не повезло, и на самой середине моря нас прихватил серьезный шторм. Да вдобавок еще на втором таком же суденышке отказал двигатель, и нам пришлось брать его на буксир. Бегая по обледеневшей палубе, обдирая в кровь об ржавые швартовые концы замерзшие руки в рваных брезентовых рукавицах, никто из участников этой эпопеи, даже новички, совершенно не замечали качки и были озабочены, так же как и капитан, только критическим углом крена.

Привычка же к качке и постоянное ожидание ее проявляются еще долгое время после возвращения на берег, когда стараешься бессознательно не ставить чашку на край стола в своем никуда не плывущем доме…

Главным портом захода в этом охотоморском рейсе был Магадан, печально известная "столица колымского края", еще носивший следы гулаговской империи, еще полный пугливых и несловоохотливых старожилов. На самом входе в бухту Нагаево нам встретился маленький островок, название которого меня поразило

- остров Недоразумения. Не последняя ли надежда невинно приговоренных, что все выяснится и их оправдают, дала горестное название этому острову? Своеобразным памятником тем временам осталось каменное здание школы No 1, где учился сын ссыльной Василий Аксенов и на крыше которой возвышаются над городом фигуры красноармейцев и рабочих - "четыре непьющих человека в Магадане". Впрочем, за четыре дня нашего пребывания в этом городе с трагической и темной историей местная общественность была взбудоражена трагикомическим событием. В местной газете "Магаданская правда" - органе обкома и горкома, была помещена большая передовая статья, посвященная визиту тогдашнего Председателя Президиума Верховного Совета А. И. Микояна в дружественную Индию. Об этом возвещал набранный крупным шрифтом на первой полосе заголовок: "Пребывание А. И. Микояна в Дели". Беда, однако, состояла в том, что из-за досадной опечатки в слове "пребывание" вместо буквы "р" пропечаталась буква "о". Главного редактора немедленно сняли с должности и исключили из партии. От более жестких репрессий его спасло по-видимому то, что дальше Магадана все равно ехать некуда.

Гордостью Магадана в те поры было знаменитое магаданское пиво, к созданию которого приложил руку сам мудрый вождь

мирового пролетариата. Дело в том, что в Магадан в первые же годы войны были высланы из Поволжья несколько семейств потомственных немецких пивоваров. А местная вода оказалась на удивление чистой и вкусной, что также немаловажно для настоящего пива. Пиво это пользовалось настолько большой популярностью, что, как говорили, вывозилось на экспорт. Другой гордостью этого города был легендарный певец и автор песен эпохи тридцатых годов Вадим Козин, сосланный сюда Сталиным и осевший здесь насовсем. Уже в последние годы, в пору перестройки, вышли, наконец, его пластинки со знаменитыми в моем детстве песнями, возвращающими нас во времена странного сочетания всеобщего произвола и страха и подлинно сентиментальных чувств и эмоций, как бы независимых от жестокой среды обитания. Не эта ли независимость, полностью противостоящая всевозможным "маршам энтузиастов" и другим бодреньким и весьма талантливо написанным Дунаевским и другими песням, под которые надлежало маршировать, строить и любить (вспомним хотя бы "Сердце, как хорошо на свете жить!"), справедливо, хотя, возможно, и подсознательно воспринималась властями как неявная психологическая оппозиция, подлежавшая уничтожению?"

В октябре шестьдесят шестого года, вернувшись из Магадана в Ленинград, я попал в состав группы "творческой молодежи Ленинграда", направленной от ленинградского обкома ВЛКСМ на три недели в Польшу - Варшаву, Лодзь, Краков и Вроцлав.

В группу нашу входило человек пятнадцать, в том числе несколько актеров ленинградских театров, молодые литераторы, весьма популярный и еще молодой в те годы эстрадный композитор Александр Колкер со своей женой, тоже известной эстрадной певицей Марией Пахоменко, и мой близкий в то время приятель - режиссер ленинградского театра имени Ленинского комсомола Анатолий Силин. Для меня это было первым открытием Польши, которую в ту пору знал только по знаменитым фильмам Вайды, Мунка и Кавалеровича и стихам польских поэтов в переводах Слуцкого. Нам повезло с поездкой - в Варшаве мы попали в "Повшехный театр" Адама Ханушкевича и другие современные и поэтому непривычные для нас театры. Во Вроцлаве познакомились и успели выпить вина со Збигневым Цибульским, буквально за неделю до его безвременной и трагической гибели, в Лодзи - посмотреть на киностудии более десятка недоступных для нас в Союзе фильмов, в том числе "Восемь с половиной" Феллини, "Дрожь" и "Птицы" Хичкока и многие другие, в Кракове - познакомиться с сокровищами Вавельского королевского замка.

Польша не разочаровала моих "книжных" ожиданий - она оказалась именно такой, какой ее можно было себе представить - "самой маленькой из великих наций" - нищей, гордой до чванливости и непорабощенной страной. Я познакомился в Варшаве с прекрасным поэтом Витеславом Дабровским и его женой Иреной Левандовской, которые показали мне Варшаву. У Витеслава на левой руке не хватало двух пальцев, потерянных во время Варшавского восстания в сорок четвертом году, когда ему было четырнадцать лет. Он пробирался по узким люкам из канализационных труб наверх там, где взрослый пролезть не мог, и кидал гранаты в немецкие танки. "Мы вас, советских, ненавидим, - говорил он мне, - но немцев мы ненавидим еще больше. Такова уж печальная участь нашей малой страны, зажатой между двумя этими хищными гигантами". Помню, тогда он перевел на польский понравившуюся ему песню "Испанская граница". В начале восьмидесятых, уже в пору "Солидарности", он неожиданно погиб при очень странных обстоятельствах. Именно Витек показал мне страшную тюрьму Павиак, где немцы уничтожали польских патриотов, памятник Мордухаю Апилевичу на месте безнадежного и героического восстания в Варшавском гетто, поднятого не из надежды спастись, а только для того, чтобы подороже продать свою жизнь, умереть с оружием в руках. С горечью рассказывал Витек о том, что прежде чем вступить в бой с немцами, еврейские повстанцы должны были перебить внутреннюю охрану юденрата, состоящую тоже из евреев, продавшихся

немцам только за то, что их убьют в последнюю очередь. О том, как подпольная польская организация "Армия крайова", готовившая свое восстание против немцев, отказала "жидам" в помощи оружием; как, когда полыхало с четырех сторон подожженное немцами гетто, поляки с усмешкой говорили: "Клопы горят". Усмехаться варшавянам было недолго. Через несколько месяцев генерал Комаровский-Бур поднял свое восстание против немцев, надеясь на помощь советских войск, уже стоявших на правом берегу Вислы в ожидании приказа Сталина штурмовать. Приказа, однако, не последовало. Великий полководец дал немцам подавить варшавское восстание, как его участники дали тем же немцам уничтожить восставших евреев, и только после того Варшава была взята советскими войсками.

Поляки, живя в нужде и недостатке, первым делом восстановили древнюю часть разрушенной Варшавы - Старо Място, а социалистическое правительство установило памятник сражающейся Варшаве - летящая полуповерженная женщина, отбивающаяся мечом. "У нас в каждом монументе свой смысл, -

говорил мне Витек. - Если стоит - значит, король или полководец, вот как Сигиз-мунд в Старом Мясте. Если сидит - значит, мудрец или ученый, - видел памятник Копернику? Ну, а если лежит, - махнул он рукой в сторону монумента Варшавы,

- значит, блядь".

И все-таки самое тяжелое и незабываемое впечатление на меня произвели лагеря уничтожения - Треблинка и Освенцим. Не берусь описывать увиденное, тем более, что в Освенцим мы попали в День поминовения, когда повсюду горели номинальные свечи, - у входов в бараки, у ворот газовых камер, у каждой железной тележки, на которых вывозили когда-то трупы в крематорий. А эти горы детских туфелек или кисточек для бритья, или женских волос, предназначенных для набивания тюфяков! "Арбайт махт фрай", - прочел я на железных воротах лагеря и невольно вспомнил о наших лагерях, на воротах которых красовались сталинские слова, что труд в нашей стране "дело чести, дело славы, дело доблести и геройства".

Там, в Польше, я написал песни про Освенцим и Треблинку. В Треблинке, где немцы убили и сожгли в печах более 800000 евреев, я узнал, что уже в конце войны, когда в Треблинке вспыхнуло восстание, и евреи, перебив охрану, разбежались, большая часть их была выдана немцам поляками, у которых они пытались найти убежище. Уходя, немцы все взорвали - печи, бараки, газовые камеры. И эти обломки вместе с сотнями местных валунов были поставлены "на попа" на склоне горы, образовав коллективный памятник почти миллиону замученных людей, тщетно предостерегая потомков. Это не помешало правительству Гомулки через пару лет насильно выдворить из страны всех евреев.

Неслучайно пришедший ему на смену Эдвард Герек заявил как-то на заседании политбюро ПОРП: "Мы напрасно выдворили из страны евреев. Теперь, в трудное время, не с кем посоветоваться и не на кого свалить вину".

Уже в конце ноября, после возвращения из Польши, я попал в "не сезон" на две недели в Репино, в дом творчества композиторов. Мне нужно было закончить работу над рукописью первой книжки стихов "Атланты", принятой к печати ленинградским отделением издательства "Советский писатель". Помню, как поразила меня поначалу "роскошь" просторных композиторских апартаментов

- каждый занимал отдельный коттедж из трех комнат, с роялем в центральной. "А почему кровати сдвоенные?" - наивно спросил я у сестры-хозяйки, отпиравшей мой домик. "Это на случай, если к вам захочет приехать жена или соавтор", - ответила

она. Действительно, в столовой увидел объявление: "Желающие поставить на питание своих жен (или соавторов) должны внести заранее деньги из расчета пять рублей за сутки". Пожилая официантка жаловалась: "Наши композиторы музыки не любят. Они, как в столовую войдут, так сразу музыку по радио выключают. Да и как им ее любить, когда они ее сами пишут?"

Соседний со мною домик занимал тогдашний заведующий литературной частью Ленинградского Театра музкомедии Адольф Иосифович Минкин, симпатичный седой и грузный человек. Он страдал стенокардией и поэтому имел привычку заедать коньяк валидолом. Однажды ночью его прихватило всерьез, и я вызвал "скорую". Врач "скорой помощи", старая еврейка явно пенсионного возраста, сделала ему какие-то уколы и, вернув к жизни, села заполнять карточку. "Фамилия", - строго спросила она. "Минкин", - ответил мой сосед слабым голосом. "Имя-отчество?" "Адольф Иосифович". Докторша отложила ручку и долго удивленно рассматривала больного, которого только что обследовала. "Молодой человек, - сказала она наконец. - Вам что, мало чего-нибудь одного?!!"

Первая книжка моих стихов "Атланты" вышла весной 1967 года, в издательстве "Советский писатель". Вошли туда стихи, написанные в основном в экспедициях, и песни, значительная часть которых уже была к тому времени известна. Мне пришлось изрядно повоевать с редактором Александром Рубашкиным, показавшимся мне тогда придирчивым и недоброжелательным. Только через несколько лет, перечитав опубликованные в книжке стихи, я понял, что он был снисходительным и крайне доброжелательным ко мне, поскольку стихи-то по большей части были слабенькие.

Оформил книжку молодой талантливый художник Лев Авидон. Цензура несколько порезвилась над стихами, так что все слова типа "водка", "бог" и тому подобные из книжки были изъяты. Будучи в те поры человеком тщеславным и, пожалуй, маломысленным, я сильно радовался выходу первой "книги стихов". Лишь значительно позднее понял, что радоваться было особенно нечему, поскольку опубликовав посредственные стихи, я на много лет сильно подпортил себе литературную репутацию.

В конце 1967 года я закончил кандидатскую диссертацию на тему "Магниторазведка и электроразведка при изучении морского дна", а поскольку в моем родном НИИ геологии Арктики Ученого Совета по защите тогда еще не было, то диссертация моя весной 1968 года была принята к защите на кафедре геофизических методов исследования земной коры геологического факультета МГУ, которой тогда руководил один из создателей отечественной

разведочной геофизики Всеволод Владимирович Федынский. Кафедра эта была в то время ведущей в области геофизических методов, так что я сильно побаивался ее маститых сотрудников. Надо сказать, что дурную службу здесь сослужила моя песенная "популярность". Так, один из тогдашних профессоров кафедры Роман Филиппович Володарский, поинтересовавшись, зачем я появился на кафедре, сказал: "Это который песенки пишет? И вы что думаете, у него может быть хорошая работа? Наверняка барахло какое-нибудь".

Оппонировать диссертацию согласился известный электроразведчик профессор Огильви, представитель старинного ирландского рода, заброшенный в нашу страну прихотливой судьбой. Согласно легенде, какой-то отдаленный предок профессора, еще в семнадцатом веке бывший известным военачальником, совершил тяжкое злодеяние, за что был изгнан из Ирландии, а род его обречен на скитания по чужбине. С той поры уже триста лет потомки злосчастного фельдмаршала живут во всех странах мира, в том числе и у нас, но в Ирландии

- нет никого. Александр Александрович Огильви, автор фундаментальной книги "Разведочная геофизика", внимательно прочитал мою диссертацию, и она ему понравилась. "Ваша диссертация весьма экзотична, - заявил он мне, - я берусь ее оппонировать". В тот же день на кафедре его молодые сотрудницы рассказали ему, что Городницкий - "еще пишет песни и стихи". Он расстроился и сказал: "Не может быть, ведь я читал его работу - видно, что человек серьезный!"

Вторым оппонентом взялся быть Евгений Дмитриевич Корякин, бывший фронтовик, специалист по гравиметрии, с которым мы были в близком приятельстве. Я даже пару раз останавливался в его доме в бытность в Москве. Помню, меня сильно полюбила его маленькая дочка Машка. Весь вечер она просидела у меня на коленях и нарисовала рисунок, для которого даже придумала стихи: "Травка растет - распускается, зеленеет роща сейчас. Мой любимый дядя Саша идет на работу в этот час". Когда дело подошло к ночлегу, она спросила: "Мама, а где будет спать дядя Саша?" "В твоей комнате, на раскладушке". "А я?" "А ты вместе с нами в другой комнате". "Нет, - сказала Маша, - я хочу спать с дядей Сашей". "Что ты, Машенька, - сказала мама, - разве можно спать с посторонним мужчиной?" И четырехлетняя Машка уверенно заявила: "Если любишь, то можно!"

Диссертация моя была по тем временам закрытой и даже поначалу должна была защищаться в Ленинграде, в Военно-морской академии, но там очередь была большая, поэтому народу на заседании Ученого Совета, кроме его "допущенных" членов,

было мало. Тем не менее я заметил довольно большую группу студентов "закрытой" радиоактивной специальности, никакого отношения к теме диссертации не имевших. По окончании защиты я спросил их, почему они пришли, и староста группы, очень красивая девушка, смутившись, ответила: "Александр Михайлович, мы надеялись, что в конце вы все-таки что-нибудь споете".

На кафедральном совете одновременно со мной защищал диссертацию аспирант кафедры из Судана, с обидной для араба фамилией Муххамед Аид. Тогда еще не было строгих запретов ВАКа на банкеты, и мы с ним вместе организовали многолюдный банкет, поскольку ему, как иностранцу, была выделена для банкета профессорско-преподавательская столовая в МГУ. Поздравлять его явилось все арабское университетское землячество, так что набралось в общей сложности более ста человек. Мне запомнился тост, с которым выступил глава арабского землячества - красивый черноволосый египтянин, неважно говоривший по-русски, и, может быть, вследствие этого провозгласивший тост за Советский Союз, "который указывает всем арабским народам прямую дорогу от феодализма к империализму". Будущие годы, особенно недавняя агрессия Ирака и связанный с ней кризис в Персидском заливе, показали, что тост его был пророческим.

Защита диссертации первоначально планировалась на февраль 1968 года, но как раз перед этим моя песня "Атланты" заняла первое место на Всесоюзном конкурсе и мне неожиданно предложили принять участие в поездке во Францию на Зимние Олимпийские игры 1968 года в Гренобле. Я решил, что если Париж стоил мессы, то уж диссертации и подавно, и, не задумываясь, отложил защиту на май.

Во Франции мы пробыли три недели: четыре дня в Париже, а остальное время - в Гренобле. "По должности" (я входил в состав так называемой "творческой группы" при Олимпийской сборной, вместе с артистами и поэтами) мы должны были время от времени выступать перед нашими спортсменами в Олимпийской деревне и перед "французской общественностью". Поскольку сам я на гитаре играть тогда не умел (и сейчас не умею), в качестве специального аккомпаниатора был оформлен актер театра комедии Валерий Никитенко. Уже в поезде Ленинград-Москва выяснилось, что на гитаре он тоже играть совершенно не умеет. После признания Валерий слезно просил его "не выдавать", поскольку очень хочется в Париж. В результате на концертах во Франции мне подыгрывали гитаристы из грузинского ансамбля "Орэро", и надо сказать, что такого роскошного аккомпанемента

своим скромным песням за все последующие годы я не помню.

В Париже один из руководителей нашей группы, высокопоставленный комсомольский чиновник, во время экскурсии в Лувр возмущался: "Что за музей? Поставили у самого входа какую-то каменную бабу - без головы и с крыльями. А пива нет нигде!" На следующий день, под вечер, успев с утра презрительно отозваться о "бездарных буржуазных портретистах, малюющих косые рыла" (имелся в виду Модильяни), он неожиданно ворвался к нам в номер в состоянии радостного возбуждения, усиленного привезенной с собой "Столичной" и заявил: "Париж - город враждебной идеологии и необходима постоянная бдительность. Поэтому кто стриптиз еще не видел - разбились на боевые тройки - и на Пляс-Пигаль!"

Париж поразил меня своим точным сходством с нашими школьно-книжными представлениями о нем - от Нотр-Дам до Эйфелевой башни. Знакомство с ним напоминало путешествие в книжное Зазеркалье нашего детства - от Гюго и Мериме до "запретных" Золя и Мопассана. Более других запомнились мне Нотр-Дам и музей импрессионистов в Тюильрийском парке.

До сих пор помню тесное купе второго класса поезда Париж-Лион, которым мы ехали до Гренобля. В купе этом, размером как у нас, помещалось не четыре, а шесть человек, и было невероятно душно. Мы встали в коридоре у окна и решили, что подождем, пока кончится Париж, и ляжем спать. Однако мы простояли больше часа, а за окном по-прежиему мелькали дороги и дома, - так мы и не дождались леса или поля. Посреди ночи мы проснулись от резкой и неожиданной остановки, тем более странной, что экспресс Париж-Лион мчался со скоростью более ста километров в час. Оказалось, что один из наших одуревших от духоты соотечественников, выйдя в коридор из соседнего купе, решил открыть окно, чтобы подышать, и потянул за ближайшую к окну скобу, под которой что-то было написано на непонятном для него французском языке. Оказалось, он потянул за ручку стоп-крана. На следующее утро наши активисты ходили с шапкой по вагонам и собирали со всех по пять франков ему на штраф.

В Гренобле нас расселили по одному в семьи членов общества франко-советской дружбы, чьи дети изучали в колледжах русский язык, и вручили билеты па все матчи и соревнования. Раз в день мы собирались в центральном клубе. Не обошлось и без страшных моментов, из которых самым пугающим был тот, когда на заключительном концерте, после завершения Олимпийских игр в Гренобле, мне пришлось петь через два номера после Шарля Азнавура. После концерта по случаю окончания Белой олимпиады состоялся большой банкет. Было

объявлено, что горячие блюда будут типично французские. Поэтому мы несколько удивились, когда нам подали цыплят табака. Только когда мы их основательно отведали, выяснилось, что это никакие не табака, а жареные лягушки. Советские дамы начали падать в обморок, но мужчины оказались на высоте-они попросили еще "смирновской" водки и дружно навалились на лягушек. За десертом сидевший рядом со мной итальянец Фаусто, учившийся в МГУ и понимавший по-русски, обратился ко мне с громким вопросом: "Санья, ну как вам понравился французский женщина?" Сидевший с другой стороны от меня "гебешник", официально именовавшийся директором школы, отставил рюмку и оглянулся на меня. "Не знаю", - запинаясь произнес я. "Почему "не знаю"?" - не отставал Фаусто. "Почему, почему, - постарался я отвязаться от назойливого собеседника, - языка не знаю". Он долго думал над моим ответом, явно не понимая его и морща лоб, потом радостно улыбнулся и закричал: "Зачьем языком? Руками!"

Нам сильно повезло на обратном пути через Париж. Занепогодило в Москве, и фирма "Эр-Франс", извинившись за задержку рейса, взяла на себя заботу об авиапассажирах. Нас немедленно поселили в одной из наиболее дорогих гостиниц Парижа "Лютеция" на бульваре Рашпай - выдали по 500 франков на личные расходы да еще накормили ужином.

Насмерть запуганные советские граждане, тщательно проинструктированные на "случай провокации" и слегка ошалевшие от неожиданных милостей, приученные к тому, что родной Аэрофлот обращается с пассажирами как с военнопленными, мы наотрез отказались от роскошных одноместных номеров, и нас поместили в еще более комфортабельные двухместные. Отужинав за счет фирмы, с бургундским вином, и полночи прогуляв по Большим Бульварам, мы вернулись в наш непривычно богатый номер с мебелью в стиле рококо. И здесь моему соседу, уже успевшему перемигнуться с миловидной журналисткой из нашей группы, пришла в голову безумная мысль. Журналистка эта со своей подругой переводчицей жили в таком же номере, па этаж выше. Сосед мой пытался позвонить к ним по телефону, но телефонистка по-русски не понимала, а ни по-немецки, ни по-английски, ни, тем более, по-французски сосед мой объясниться не мог. Тогда он подступился ко мне и потребовал, чтобы я по-английски пообщался с телефонисткой и узнал номер телефона наших дам. План его был прост до гениальности; его подруга должна была прийти к нам, а я - на ее место, в их номер. Все мои попытки отговорить не действовали на его сознание,

возбужденное парами бургундского и видом роскошной - минимум четырехспальной - постели с альковным балдахином. "Валера, - уговаривал я его, справедливо опасаясь "немедленных провокаций", - ну потерпи до завтра, до Москвы, какая тебе разница?" "О чем ты говоришь? - закричал он. - На французской земле и наши бабы слаще!" Пришлось налить ему еще стакан вина, после чего он, наконец, впал в сонное состояние.

На следующий день, к некоторой нашей досаде, погода наладилась и самолет благополучно вылетел из Бурже в Москву…

Шестьдесят восьмой год запомнился мне еще одним весьма знаменательным событием. За несколько дней до отъезда во Францию, в конце января, в ленинградском Доме писателей состоялся литературный вечер, посвященный незадолго перед этим вышедшему из печати очередному литературному альманаху "Молодой Ленинград". На этом вечере выступали молодые поэты, чьи стихи были напечатаны в альманахе, в числе прочих были Татьяна Галушко, Иосиф Бродский и я. Оказалось, пока я разгуливал по Греноблю, орал "шайбу, шайбу" нашим славным хоккеистам, проигрывавшим чехам, и любовался утренним Парижем с монмартрского холма, в моем родном Питере разыгрался грандиозный скандал, связанный с упомянутым вечером. Группа воинствующих черносотенцев, объединившаяся в литобъединение "Родина" при Ленинградском обкоме ВЛКСМ, во главе с председателем этого "патриотического объединения" неким Утехиным, присутствовавшая на вечере, написала довольно обширный донос в три весьма солидные организации сразу: в Ленинградское отделение Союза писателей СССР, ленинградский обком партии и КГБ. В доносе выражалось "законное возмущение" услышанными на вечере идейно-чуждыми стихами и "попустительством руководства ленинградской писательской организации антисоветской и сионистской пропаганде", которую пытались вести выступавшие. Основной огонь был сосредоточен, прежде всего, на бывшем осужденном тунеядце и будущем нобелевском лауреате, а также на Татьяне Галушко и на мне.

"Не имея с собой магнитофона, - писали авторы доноса, - мы не могли точно записать строчки антисоветских стихов и поэтому вынуждены писать по памяти". Я сейчас, так же, как и они, вынужден цитировать этот замечательный документ по памяти. Полностью он опубликован в рассказе "Вечер в писательском доме" русского писателя Сергея Довлатова, безвременно скончавшегося в конце августа 1990 года в эмиграции, в Нью-Йорке. Донос этот имел настолько откровенно антисемитский характер, что по тем временам, когда официальный

антисемитизм у нас стыдливо отрицался, выглядел довольно ярко.

Браня последними словами "антисоветчика" Бродского, Утехин и компания инкриминировали ему "тайный смысл" прочитанного на вечере стихотворения "Греческая церковь", где оплакивалась разрушенная в Ленинграде греческая церковь. "Не о греках стенает Бродский, а о евреях", - утверждали авторы доноса. "Поэтесса Татьяна Галушко, - писали они дальше, - на самом деле не Галушко, а Санасарян, посвятила свои стихи армянскому царю Тиграну Второму. С какой стати она вдруг посвятила стихи этому древнему и никому не нужному сегодня царю? А не потому ли, что он, как известно, приютил в Армении двести тысяч евреев?"

В мой адрес было написано примерно следующее: "Давно мы начали примечать нездоровую активность на ленинградских подмостках так называемого барда Александра Городницкого. На его выступлениях всегда отмечается присутствие в зале большого числа лиц еврейской национальности, которые встречают все выступления Городницкого суетливыми аплодисментами…

В своих стихах и песнях Городницкий пытается представить историю Великого Русского Народа как непрерывную цепь кровавых злодеяний и несправедливостей. В исполненной им на вечере песне выводится образ некоего тупоголового маршала, посылающего на смерть послушных баранов. А где же великие имена Александра Невского, Суворова и Кутузова, полководцев Великой Отечественной войны? В своих клеветнических стихах он пишет, что Россия ничего не дала своим защитникам и была для них неясно чем. Да и что - честь и слава Великого Русского Народа для поэта по фамилии Городницкий?"

В заключительной части доноса негодующие "патриоты" в ультимативной форме требовали принятия самых строгих карательных мер - запрещения дальнейших публикаций и выступлений, отчуждения упомянутых лиц от писательской организации и предания анафеме. Все эти требования были неукоснительно выполнены.

Два небольших стихотворения Иосифа Бродского, напечатанных в злополучном номере "Молодого Ленинграда", на долгие годы так и остались его единственной публикацией на родине. В июне 1972 года он был насильственно отправлен во вторую, на этот раз уже бессрочную ссылку - не в деревню Норинское болотистого Ко-ношского района Архангельской области, а за рубеж.

Татьяне Галушко было отказано в публикации уже сданной в издательство книги и возвращены подборки стихов из альманахов и журналов.

Мне также была возвращена из издательства рукопись второй книжки стихотворений и отказано в приеме в Союз писателей СССР. Кроме того, наши имена были внесены в "черный список" ленинградского радио и телевидения…

Сразу же по возвращении из Франции меня вызвали в ленинградский обком комсомола к тогдашнему первому секретарю А. П. Тупикину. Поскольку именно ленинградский обком комсомола санкционировал мою поездку, то им, по всей видимости, изрядно досталось за то, что послали "не того". От меня потребовали предъявления "крамольных" стихов и песен - видимо, для представления в "компетентные инстанции", и я был подвергнут грозной проработке. В число предъявленных мною вошли ныне опубликованные стихи "Петровские войны" и "Монолог маршала".

Надо сказать, что в конце шестидесятых годов идеологический нажим на молодых ленинградских авторов вообще заметно усилился. Короткая хрущевская оттепель сменилась устойчивыми брежневскими холодами. Мы, молодые ленинградские авторы, были зарегистрированы в Комиссии по работе с молодыми литераторами при ЛО ССП, функции которой были далеко не однозначны. Достаточно сказать, что секретарь этой комиссии в шестидесятые годы Е. В. Воеводин, который по своему положению практически осуществлял ее решения, предъявил во время инспирированного судилища над Бродским бездоказательные и клеветнические обвинения против него, что сыграло не последнюю роль в жестокой расправе над поэтом. Еще тогда, в шестьдесят четвертом, большая группа молодых ленинградских литераторов, и я в том числе, обратилась в эту комиссию с коллективным письмом, справедливо обвиняя Е. Воеводина в подлоге и лжесвидетельстве.

В шестьдесят девятом году, по инициативе все той же комиссии, была организована встреча молодых ленинградских литераторов с сотрудниками ленинградского отделения МВД и КГБ. Нас всех (по списку) пригласили в печально известный "Большой Дом" на Литейном, как раз напротив ленинградского Союза писателей. Там были устроены экскурсия по Дому, знакомство с "выставкой антисоветской литературы", а также встреча с руководством и лекция о подрывной деятельности американской разведки. Мероприятие это имело предупредительно-профилактический характер, дабы отвратить незрелые умы молодых литераторов от диссидентского направления.

Там же, в музее "боевой славы" я наткнулся на одном из стендов на фотографию молодого Александра Прокофьева, в

кожанке и фуражке, с маузером на боку, датированную двадцать пятым годом. На мой недоуменный вопрос сопровождавший, улыбнувшись, пояснил: "А как же! Это наш старый сотрудник - Александр Андреевич Прокофьев. Направлен нами на литературную работу".

Неослабное внимание сотрудников "Дома на Литейном" к молодым ленинградским литераторам я ощутил на себе еще через пару лет, однако об этом - несколько позже…

В июле того же года я отправился в небольшую прибрежную экспедицию на Белое море на биостанцию МГУ, располагавшуюся на берегу залива Великая Салма. Со мной вместе поехал дипломник геологического факультета МГУ Валерий Каминский - перворазрядник по самбо. Качество это, для меня всю жизнь недоступное, сильно возвышало его в моих глазах. "Мне главное, - говорил он мне, - человека за кисть поймать. Как только я его за кисть поймаю - он уже мой. Вот он еще что-то говорит, а я ему на кисть смотрю". "Такой человек мне нужен", - подумал я и взял его с собой на Белое море, на преддипломную практику.

Мурманский поезд довез нас до маленькой станции Пояконда, на берегу беломорской губы. В ожидании катера, который должен был прийти за нами на следующий день, мы провели ночь в маленькой почерневшей от ветра избушке у восьмидесятичетырехлетней хозяйки Петровны, поразившей меня глубиной и независимостью мышления и удивительной и неповторимой поэзией северного российского языка, сохранившего в первозданной красоте свой смысл и звучание

- быть может, только здесь, на русском севере, в архангелогородщине, куда не добралась конница Батыя. "Если ничего ей не поставишь, - предупреждали меня соседи, - молчать будет. Если две бутылки - только материться. Так что поставь ей одну бутылку, а вторую не давай ни за что. Понял? Тогда разговор будет интересный". Они оказались правы. Нестандартная, непривычная для городского уха речь ее так поразила меня, что я пытался поначалу записывать ее выражения, но она строго-настрого запретила: "Брось тетрадку, не люблю я этого, понял?" Запомнилось лишь немногое из обиходного ее разговора.

- Осьмнадцать лет мне было, и ничего меж нами не произошло. А потом - раскулачивание, война. Четырех мужей схоронила. А пришлось бы сейчас его встренуть - сразу бы признала. Так он мне совпал.

- Отчего берег у нас наволоком зовется? Ты на моторе пойдешь - так погляди, как он на тебя наволакиваться будет.

- Медвежат как ловят - охотники медведицу-то завалят, а

медвежонка собаки в круг возьмут, а зубами не трогат - только лапами угнетают.

- А стихов-то хороших в школе сейчас не учат - все больше какие-то странные.

- Как же это так? Жить, жить - да не топнуть!

Через год бабка Петровна умерла. Безлюдные беломорские деревни, покинутые молодежью, где доживают свой век одинокие и беспомощные старики в добротных рубленных на века пятистен-ных избах с затейливыми резными наличниками. Места, издревле славившиеся своим речным жемчугом и беспошлинной лесной торговлей, а нынче привлекающие к себе только грабителей икон, тягостной памятью запали в душу.

Значительную часть времени на Белом море мы провели в Подволочье, на полуострове Кузакоцкий, в доме моего тогдашнего приятеля Вадима Федорова, морского биолога и страстного собирателя книг, ставшего позднее профессором на кафедре морской биологии биологического факультета МГУ. Человек, близкий к литературе, автор нескольких детских книг, он организовал настоящую литературную игру, в которой принимали участие несколько человек, получивших литературные псевдонимы. Сам хозяин взял себе псевдоним-Василиск Кузакоцкий

- беломорский писатель (очень знаменитый). Мне был присвоен псевдоним Касьян Еловый - по названиям двух небольших островков в заливе Великая Салма. На основании написанных нами (конечно, в поморском духе) стихов и рассказов был составлен альманах "Подволочье".

Когда полевой сезон закончился, неугомонный шутник и мистификатор Федоров добился того, что в районной газете "Лоухская правда" было напечатано такое объявление: "Друзья и коллеги поздравляют поэта Александра Городницкого (Касьян Еловый), завершившего экспедиционные работы в трудных условиях Заполярья".

Вадим вообще был большой мастер на разного рода розыгрыши. Помню, еще на Черном море, на судне "Московский Университет", стоявшем в Севастополе, он уговорил меня принять участие в розыгрыше двух его коллег по кафедре, приехавших на практику, которые никогда перед тем на судах не бывали. Мое присутствие на палубе при их прибытии на судно должно было усыпить подозрения по части розыгрыша. Когда они, усталые и взмокшие от непривычной для москвичей севастопольской жары, взобрались по трапу на корму и облегченно поставили свои чемоданы на палубу, их встретил Вадим, которого сопровождал я, держа в руках два ярко-оранжевых спасательных жилета. На

полном серьезе Вадим объявил им, что согласно строгому судовому уставу, каждый вновь прибывший на судно должен немедленно надеть спасательный жилет и в таком виде идти представляться капитану. Именно так они и поступили, чем вызвали немалое удивление капитана, страдавшего с утра от тяжкого похмелья.

Этим, однако, дело не кончилось. Когда новичков проводили в их каюту, то на ее переборке над столиком они увидели обеденное меню, специально придуманное Вадимом и отпечатанное мною на машинке. Там значились "борщ черноморский", "трепанг отварной", "макароны по-флотски" и даже "акульи плавники с гарниром".

Оробевшим от непривычной корабельной обстановки новоселам Вадим невозмутимо объяснил, что команда судна питается в столовой, а вот научным работникам обед подается персонально прямо в каюту. Поэтому они должны сдать Вадиму свои заявки по части меню, и как только по судовой трансляции прозвучит команда "Обедать", немедленно идти в свою каюту и ждать, пока им принесут обед. Когда настало время обеда, и все, как обычно, собрались за столами в кают-кампаний, капитан обратил внимание на отсутствие вновь прибывших и спросил, почему их нет. "Понимаете, Анатолий Иванович, - тут же ответил Вадим, - это какие-то странные люди. Они заявили, что отказываются сидеть вместе со всеми в кают-кампаний и требуют, чтобы обед подавали им прямо в каюту". Разгневанный капитан, уже обративший с утра внимание на ненормальное поведение новичков, помчался к ним в каюту и, ворвавшись туда, увидел, что они действительно чинно сидят за столом и ждут обеда…

С завершением работ на Белом море связана еще одна забавная история, в которой главным действующим лицом выступил уже упомянутый дипломник-самбист Валера Каминский. Мы тогда проводили измерения электрического поля с борта рыболовного сейнера, который должен был выходить с главной биостанции в шесть утра. Как раз накануне вечером, по случаю окончания студенческой практики, состоялся "прощальный костер" с моим концертом. После концерта, уже неофициально, было организовано грандиозное застолье, длившееся почти до утра. Меня как почетного гостя посадили в самый центр стола и усиленно подливали всевозможные напитки.

Как раз напротив оказалась весьма миловидная особа, выразительно на меня смотревшая и улыбавшаяся. Опьяненный успешным выступлением и суровой местной водкой, я был особенно польщен еще и тем, что сидящий рядом с ней мой верный сотрудник Валера, как легко было услышать, все время

говорит ей что-то обо мне. В процессе шумной беседы прошло не менее пары часов, когда я вдруг обнаружил, что за столом напротив нет ни ее, ни Валеры. Настроение мое, бывшее прежде благодушным, стало резко падать. Уже около четырех утра в ослепительном сиянии белой ночи ко мне подошел капитан сейнера и предупредил, что пора собираться на судно, стоявшее на рейде. Часа полтора, пока перевозили сотрудников и аппаратуру на шлюпке, Валеры нигде не было. Наконец, когда отходила последняя шлюпка, и я в сердцах, движимый ущемленным мужским самолюбием, передал остающимся, что Каминский увольняется за неявку к судну, из ближайших кустов выскочил Валера. На шее у него висела давешняя девица, стараясь еще раз его поцеловать и, вследствие этого, сильно мешающая ему бежать. Увидев эту душераздирающую сцену, я испытал смертельную обиду и яростно закричал: "Не брать мерзавца". Но тут Валерий, освободившись, наконец, от пылких объятий своей подруги, с неподдельными слезами на глазах выкрикнул отчаянную фразу, во многом определившую его благополучное дипломное будущее: "Александр Михайлович, извините! - громко заявил он. - Сам не понимаю, как это получилось - мы ведь только о вас и разговаривали!" Нет необходимости пояснять, что после этой фразы он был взят не только на судно, но после защиты диплома и на работу в наш институт, а впоследствии, став моим аспирантом, успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Следующий за этим семидесятый год сыграл поворотную роль в моей дальнейшей судьбе. Именно в это время я попал в экспедицию на научно-исследовательское судно Института океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР "Дмитрий Менделеев", выполнявшее свой третий рейс в Северной Атлантике, и познакомился с Игорем Михайловичем Белоусовым, руководившим там геофизическим отрядом. Попал я в этот рейс случайно, в состав магнитной группы,

с подачи моего приятеля - магнитчика из института океанологии Толи Шрейдера, вместе с ним и другим геофизиком, Жорой Ва-ляшко, мы довольно дружно проплавали все четыре месяца. Наш начальник, Игорь Михайлович, своей опекой нам особенно не досаждал и в магнитные дела не вникал, предоставляя полную свободу действий. Не по годам грузный, любитель вкусно поесть и выпить, бывший, как выяснилось, морской офицер, переквалифицировавшийся в геоморфолога и защитивший кандидатскую диссертацию, Белоусов обладал совершенно уникальной доброжелательностью, сочетавшейся с не менее редким оптимизмом. Память у него была удивительная,

особенно на диковинные экзотические географические названия, которых он знал множество. "Это что,

- заявил он, когда я как-то раз выразил ему свое восхищение диапазоном его географических и литературных познаний. - Я тебя познакомлю с моей московской бандой, особенно с Эйдельма-ном и Смилгой - вот это люди!" Именно от него я услышал впервые историю о нестандартной "лицейской" дружбе, связывающей уже долгие годы выпускников их класса сто десятой арбатской школы, и восторженные рассказы о его друзьях, из которых выделял он троих - историка Натана Эйдельмана, физика-теоретика Валентина Смилгу и хирурга и писателя Юлия Крейндлина…

После долгих лет плаваний на "Крузенштерне" и других судах военной гидрографии с их суровой мужской обстановкой и системой постоянных запретов, попав на комфортабельное академическое судно, которым командовал весьма колоритный и интеллигентный капитан Михаил Васильевич Соболевский, где официально выдавалось в тропиках сухое вино и регулярно устраивались разного рода вечера - от вечеров филармонической музыки в салоне начальника рейса, академика Бреховских, до еженедельных танцев на верхней палубе с участием многочисленных женщин, я несколько растерялся..Мой трусливый, хорошо отлаженный стереотип поведения забитого и запуганного советского гражданина за рубежом, начал терпеть острый кризис. Этому немало способствовал Игорь Белоусов, бывший, кстати сказать, в ту пору секретарем парткома Института океанологии. Именно он выступал инициатором многочисленных культурно-массовых мероприятий самого разного рода-от шахматного турнира (он был страстным шахматистом) до конкурса на лучшую песню об Атлантиде.

В шахматном турнире Игорь, претендовавший на первое место, потерпел сокрушительное поражение от второго механика. Тогда он придумал неожиданный розыгрыш. Центром возникшего "заговора" стала синоптик Клара Войтова, самая красивая женщина на судне, похожая на таитянку, за которой весь рейс весьма активно и элегантно и, кажется, совершенно безуспешно ухаживал наш блестящий капитан. Помню, во всяком случае, что в день Восьмого марта я, по заданию все того же Белоусова, придумывал персональные стихотворные поздравления всем женщинам экспедиции-для стенгазеты. Красавице Кларе были посвящены такие вирши:

Ах, у Клары, ну и чары,
Кто от них не умирал?

Говорят, что Карл у Клары
От любви украл коралл.

Не успели вывесить стенгазету, как в конце второй строки, после вопроса "кто от них не умирал", кто-то написал карандашом - "капитан".

Одно из главных украшений Клары составляли ее густые и длинные черные волосы, которым было суждено сыграть не последнюю роль в описываемой истории. Дело в том, что Клара немного играла в шахматы. Коварный план Белоусова состоял в том, чтобы заставить проиграть своего удачливого противника не кому-нибудь, а именно женщине, что особенно обидно для мужчины, да еще и моряка. С этой целью против второго механика выставили Клару, неожиданно пожелавшую принять участие в турнире. Клара явилась на игру в открытом ярком платье, глубоко обнажавшем полные обольстительные плечи и шоколадного цвета спину. Кажется, одного этого было достаточно для любого мужчины, чтобы сдаться немедленно. Ее роскошные волосы были собраны в большой тугой узел сзади. Никто из окружающих не мог и подозревать, что под этой пышной прической скрывается портативное корабельное переговорное устройство, которое обычно используется при швартовке или для связи со шлюпкой у борта. В соседней каюте, за такой же шахматной доской, точно дублирующей положение фигур, сидел целый шахматный совет во главе с Белоусовым, обсуждавший каждый ход и дававший команду Кларе. Поначалу все шло блестяще. Второй механик, высокий и серьезный мужчина, признанный лидер шахматного чемпионата, первокатегорник по шахматам, после нескольких же ходов вдруг начал понемногу проигрывать. И кому, какой-то смазливой девчонке. Чемпион начал нервничать и "зевнул" ладью. Огромное число болельщиков набилось в кают-кампанию на этот неслыханный поединок. Это-то и погубило весь замысел. Увидев такое большое количество мужчин, Клара по инстинктивной женской привычке стала поправлять прическу и нечаянно нажала на кнопку приемника. Связь прервалась и покрасневший от напряжения второй механик сумел свести партию к ничьей.

Меня Игорь уговорил провести серию вечеров-концертов, посвященных авторской песне. После военных судов, на которых песни Окуджавы, Галича, Высоцкого и Кима были намертво запрещены, это казалось удивительным. Помогали мне в этих вечерах второй штурман Володя Черкас - прекрасный гитарист и химик Галина Сычкова - исполнительница авторских песен.

Накануне женского дня - самого торжественного праздника на Судне, Игорь Белоусов предложил провести конкурс песен на тему об Атлантиде. Почему вдруг об Атлантиде? Помимо всего прочего еще потому, что полигон наших работ в Атлантике тогда располагался между Азорскими и Канарскими островами, примерно там, где легендарный мистификатор древности Платон поместил свою мифическую Атлантиду. Мог ли я предполагать тогда, что именно здесь, в районе подводной горы Ампер, через десять с небольшим лет, я буду спускаться под воду в поисках этой сказочной страны?

На объявленный конкурс с неожиданной активностью откликнулись все - и экипаж, и наука. Сам капитан Соболевский участвовал в конкурсе и написал песню об Атлантиде. Было создано авторитетное жюри во главе со мной как единственным "профессионалом". Первое место не было присуждено никому. Второе разделили капитан и Игорь Белоусов. Я, естественно, как председатель жюри, участия в конкурсе не принимал, тем не менее песню написал. Справедливости ради следует сказать, что я предлагал эту песню (абсолютно безвозмездно) красавице Кларе, которая, помимо шахматных талантов, пописывала еще и стихи. Она, таким образом, могла принять участие в конкурсе и претендовать на призовое место. Однако, разочарованная своей неудачей в шахматном турнире, |>на мое предложение с негодованием отвергла. По итогам конкурса был устроен большой праздничный вечер на вертолетной палубе, {расцвеченной разноцветными фонариками. После концерта претендентов и вручения призов начались танцы. Судно в это время, судя по навигационной карте, лежало в дрейфе где-то неподалеку от подводной горы Ампер. Мыс Игорем Белоусовым отошли на корму. Прямо перед нами, под кормовыми подзорами, дробилась на воде желтая лунная дорожка. "А что ты думаешь? - вдруг спросил Игорь, махнув рукой в сторону лунной ряби за кормой. - Может быть, она где-нибудь здесь?.."

Песни мои, которые он прежде не слышал, ему понравились, и он стал постоянно интересоваться, не написал ли я чего-нибудь нового. Мы в это время, отработав в центральной части Атлантики, шли па заход на Малые Антилы, на остров Гваделупа…

Помню, в холодной и голодной мужской послевоенной школе-в пятом и шестом классах мы все поголовно занимались собиранием марок. Теперь мальчишки марками так не увлекаются. Почему мы с такой страстью их тогда собирали? Не потому ли, что рас подсознательно манили, притягивали к себе сказочные, недоступные для нас края, изображенные на этих

маленьких бумажных Квадратиках? Ниагарский водопад, дирижабль, летящий над полюсом. Стройные и величественные африканские жирафы, антарктические пингвины и розовые фламинго. Наши неискушенные мальчишеские сердца переполнялись многокрасочным разнообразием и полнотой недоступного для нас мира. Помню, что по наиболее высокой таксе обмена среди опытных филателистов в то время шли марки серии "Французские доминионы", из которых самыми ценными были марки "страны Гваделупа" (я тогда еще и не подозревал, что это остров в Западной Атлантике).

В рейсе в мои обязанности, помимо прочего, входило нести вахту на магнитометре, работавшем круглосуточно. Вахта моя ночью была с нуля до четырех часов утра. Примерно минут за пятнадцать до конца вахты мне в кормовую лабораторию, где стояла наша аппаратура (а оттуда ничего не видно

- даже иллюминаторы задраены наглухо, поскольку работает аппаратура, охлаждаемая от перегрева кондиционерами), позвонили с мостика и голос вахтенного штурмана Володи Черкаса произнес: "Саня, хочешь на Гваделупу взглянуть? Выходи на палубу - остров на горизонте".

Я поднялся на мокрую от утренней росы кормовую палубу и заглянул вперед за надстройку. Плотные утренние сумерки одевали все пространство вокруг серым сырым фоном, не позволяя отличить воду от неба. И только далеко впереди с левого борта, на скорее угадываемой, чем различимой глазом границе двух этих необъятных стихий, едва заметно мерцала цепочка зыбких огней - остров на горизонте. Мне вспомнились нетопленная послевоенная школа на Мойке, крики балтийских чаек, кружащихся за высокими пыльными окнами нашего класса, над старыми кирпичными воротами "Новой Голландии", и бережно заложенные в тетрадку марки с трудно различимыми французскими названиями. Смешанное чувство радости и грусти охватило меня - радости от реального осуществления наивной школьной мечты и грусти от невозвратной утраты того головокружительного мальчишеского ожидания непременного чуда наутро. На следующий день я показал Игорю новую песню "Остров Гваделупа", а поскольку песня эта ему понравилась, то ему же и посвятил.

К вечеру следующего дня мы уже разгуливали по крутым улочкам городка Пуаната-Питр. Шли мы вчетвером, впереди более подвижные и шустрые мы с Валяшко и Шрейдером, а сзади, тяжело отдуваясь, Игорь Белоусов в парусиновом костюме и широкополой шляпе. Путь наш в городок пролегал через "веселые кварталы". У гостеприимно открытых дверей своих домиков

стояли или сидели в соблазнительных позах живописно раздетые мулатки и креолки всех мастей - от черного кофе до молока. Надо сказать, что на нас троих, глянув в нашу сторону опытным оценивающим глазом, они никакого внимания не обратили. Зато появление Игоря произвело на них самое внушительное впечатление. "Эй, босс,

- оживились они, - кам хиа". "Потом, потом", - смущенно промямлил Игорь и бросился догонять нас. К середине второго дня неожиданно выяснилось, что на остров Гваделупа мы зашли незаконно, поскольку на нем находится французская военно-морская база. Местные власти прибыли на борт с требованием в течение двух часов покинуть порт. В противном случае судну грозил арест. Что было делать? Весь экипаж и научный состав, кроме вахтенных, был уволен в город до семи часов вечера, а на часах была половина первого дня. Вот ; тут кто-то подсказал капитану Соболевскому, что в городке Пуанта-Питр - всего один кинотеатр, и в кинотеатре этом идет один-единственный фильм "Я - лесбиянка", смотреть который замполит категорически запретил. Посыльный с судна, с трудом договорившись с контролерами, проник в зал. Примерно через полчаса все уволенные в город были уже на борту, и судно покинуло негостеприимную гавань.

Закончив второй этап работ, уже в апреле, наше судно зашло в порт Дакар, столицу республики Сенегал. В первый же день захода мы вдвоем со Шрейдером отправились бродить по шумному африканскому городу, где за нами немедленно увязался черный мальчишка - чистильщик сапог. Сколько мы от него ни отбивались, он упрямо продолжал нас преследовать. Пока мы лакомились мороженым в кафе, он, незаметно подкравшись под столом, ухитрился начистить одну белую кремовую туфлю Анатолия черной ваксой и

тут же стал требовать плату, угрожая позвать полицейского. С большим трудом мы от него отвязались. К концу дня мы купили по дешевке у какого-то подозрительного черного старика два там-тама, а вернувшись на борт, узнали, что купили мы его в районе, где живут прокаженные. Выбросить купленные там-тамы нам было жалко, поэтому мы ограничились, тем, что помыли их горячей водой с раствором марганцовки. Судовой врач окончательно успокоил нас, заявив, что инкубационный период у проказы - около двадцати лет.

На следующий день на судно прибыл советский посол в Сенегале, от которого мы узнали, что на третий день нашей стоянки в Дакаре приходится национальный праздник республики - День Независимости, в честь которого должны

состояться военно-морской парад и спортивные празднества, включающие гонку пирог и другие соревнования.

В день праздника капитан приказал спустить судовой катер, на который в число избранных, как друг Белоусова, попал и я. Подняв красный государственный флаг, катер смело двинулся в самый центр гавани, где проходил парад военного флота республики Сенегал, состоявшего из нескольких списанных во Франции старых тральщиков и одного эсминца. В честь праздника состоялась показательная высадка десанта на воду. Черные парашютисты бодро выпрыгивали из двух больших транспортных самолетов, неспешно пролетавших вдоль берега. Упав на воду, они ловко раскрывали свои надувные плотики и ожидали подбирающий их катер. Пара парашютистов, видно плохо рассчитав, вместо моря засквозила всторону суши, и главный распорядитель махнул рукой

- этих можно не подбирать. Вот как раз в этот момент я и увидел жену французского посла.

Она стояла на центральной трибуне, неподалеку от президента Сенегала Леопольда Седара Сенгорра, рядом со своим мужем - Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Сенегале. Увидел я ее в подзорную трубу, данную мне капитаном. Все, что я успел разглядеть - это белое длинное платье и широкую белую шляпу, за которой развевался тонкий газовый шарф. Что касается нашего посла, стоявшего на той же трибуне, то он, увидев, что мы затесались почти в строй сенегальских военных кораблей, довольно выразительно погрозил нам кулаком. Лежа на животе, я с трудом выбрал руками маленький катерный якорь, и мы отправились восвояси. Настроение, однако, было праздничным, и вечером того же дня, прикончив вместе с Игорем Белоусовым и другими коллегами бутылку терпкого непрозрачно-красного сенегальского вина, я придумал на свою голову озорную песню о жене французского посла, чей светлый образ некоторое время витал в моем нетрезвом воображении. Неприятности из-за этой песни начались не сразу, а примерно через год, но продолжались много лет. Из их длинного ряда вспомню только два эпизода.

Один из них датируется концом восемьдесят второго года, когда я уже жил в Москве и выступал накануне Нового года на вечере московских студентов в Концертном зале Библиотеки имени Ленина напротив Кремля. В числе многочисленных заявок на песни больше всего было просьб спеть песню "про жену французского посла". "Все равно мы ее знаем наизусть" - писали авторы записок. Обычно я эту песню на концертах не пел, но тут, под влиянием многократных просьб, притупив обычную

бдительность и расслабившись, я ее спел под бурные овации всего зала, и как немедленно выяснилось, - совершенно напрасно. Поскольку, как известно, в нашей стране скорость стука значительно превышает скорость звука, то уже третьего января мне домой последовал звонок из Бюро пропаганды художественной литературы при МО СП СССР со строгой просьбой немедленно явиться к ним. Оказалось, что туда уже пришел донос на меня, составленный "группой сотрудников библиотеки". В доносе отмечалось, что я в "правительственном зале" (почему он правительственный? Потому что напротив Кремля?) разлагал студенческую молодежь тем, что пел "откровенно сексуальную" песню, в которой "высмеивались и представлялись в неправильном свете жены советских дипломатических работников за рубежом". Услышав это обвинение, я не на шутку загрустил. "Так что вы там пели? - спросила меня строгим голосом старой девы самая пожилая дама старший референт, - про жену советского посла?" "Не советского, а французского", - робко возразил я. "Ах, французского? Ну это уже полегче. Ну-ка, спойте нам, пожалуйста". И я без всякого аккомпанемента и без особого удовольствия, осипшим от новогодних застолий голосом, спел им эту песню. Народ за столами заметно оживился. "Ну ладно, - сказала пожилая дама, и в ее металлическом голосе зазвучали смягчающие нотки. - Идите. Только больше этого, пожалуйста, не пойте".

Вторая, вернее первая история, связанная с этой песней, произошла в родном моем Ленинграде на следующий год после ее написания, когда мне понадобилось оформлять визу за рубеж для следующего плавания. Дело в том, что для оформления визы представляется характеристика, подписанная дирекцией института, парткомом и месткомом, и составленная по строго установленной норме. Там, в частности, предусмотрена такая каноническая формула: "Морально устойчив, политически грамотен, в быту скромен. Семья дружная". Если хоть что-нибудь из вышеперечисленного не указано, или указано не строго в соответствии с упомянутыми выражениями, то характеристику можно не подавать

- все равно не пропустят. Документы на каждого проходили четыре строжайшие (инстанции - сначала институт, потом характеристику утверждают на выездной комиссии райкома партии. Мне неоднократно приходилось бывать на этих комиссиях и робко отвечать на дурацкие вопросы тупых "теток в исполкомовской одежде", упоенных своей неограниченной властью.

Помню как-то в нашем Октябрьском районе, во время

очередного оформления в загранрейс, меня представлял комиссии секретарь нашего парткома, мой приятель Володя Мельницкий. Когда я уже ответил довольно успешно на все вопросы о текущей политике я тому подобных вещах (знание которых было мне совершенно необходимо для магнитных измерений в море), Володя на вопрос, увлекается ли чем-нибудь его подзащитный кроме науки, видимо, решив мне польстить, заявил, что Городницкий пишет стихи и песни. Лица членов высокой комиссии, явно склонявшейся к положительному решению, омрачились. Мне предложено было выйти за дверь, а секретарю парткома остаться. Как он рассказал мне потом, его начали подробно расспрашивать, что именно я пишу, нет ли у меня помимо "общеизвестных" песен каких-нибудь песен "для себя", которые я пою в кругу близких друзей и которые "не соответствуют". "Да зачем он вообще эти самые песни пишет? - с сожалением спросил доброжелательный старичок с двумя колодками орденов, - ведь вроде положительный человек, научный работник, и ясе вроде бы в порядке". Остальные также сокрушенно закрутили головами. Характеристику мне все-таки утвердили. "Они меня Испросили, какие я твои песни знаю, - улыбнулся Мельницкий, - а , как назло, только одну и помню - "от злой тоски не матерись" - так что я уж ничего им цитировать не стал".

После райкомовского утверждения, изрядно отлежавшись, характеристики и все документы шли на тщательную проверку в КГБ и только после этого передавались в специальную выездную комиссию обкома партии. Вся эта процедура обычно занимала минимум четыре месяца. Интересно, что все многочисленные и как правило высокооплачиваемые чиновники, явные и тайные, стоявшие (вернее сидевшие) у этого длинного конвейера, обычно были более склонны не пропустить, чем пропустить. Дело в том, что ответственность они несли только в том случае, если вдруг ненароком пропускали не того, кого надо, и возникали какие-нибудь чп. За срыв же важных научных командировок, чрезвычайно дорогостоящих океанографических экспедиций и других работ за рубежом все эти инстанции никакой решительно ответственности не несли. Я прекрасно помню, например, как в 1974 году наше судно "Дмитрий Менделеев", уже полностью снаряженное для выхода в экспедицию, около месяца простояло в порту, ожидая из Москвы "шифровку" с фамилиями участников экспедиции, "допущенных к рейсу". Сведения эти, видимо, были настолько секретными, что о том, чтобы передать их по телефону или телеграфу, не могло быть и речи. Убытки, понесенные в результате этого простоя, исчислялись сотнями тысяч рублей, не

считая валюты, но это решительно никого не волновало: карман ведь не свой - государственный.

Так вот, на следующий год после появления злополучной песни "Про жену французского посла" меня вызвал к себе тогдашний секретарь партбюро, весьма кстати известный и заслуженный ученый в области изучения твердых полезных ископаемых океана, профессор и доктор наук, седой и красивый невысокий кавказец с орлиным носом и густыми бровями, обликом своим напоминавший графа Калиостро. Когда я прибыл к нему в комнату партбюро, где он был в одиночестве, он запер дверь на ключ, предварительно почему-то выглянув в коридор.

"У нас с тобой будет мужской разговор, - объявил он мне. - У меня тут на подписи лежит твоя характеристика в рейс, так вот, ты мне прямо скажи, что у тебя с ней было". Удивленный и встревоженный этим неожиданным вопросом, я старался понять, о ком именно идет речь.

"Да нет, ты не о том думаешь, - облегчил мои мучительные экскурсы в недавнее прошлое секретарь, - я тебя конкретно спрашиваю". "О ком?" - с опаской спросил я. "Как о ком? О жене французского посла". Я облегченно вздохнул, хотя, как оказалось, радоваться было рано.

"Что вы, Борис Христофорович, - улыбнувшись, возразил я, - ну что может быть у простого советского человека с женой буржуазного посла?"

"Ты мне лапшу на уши не вешай, - строго обрезал меня секретарь, - и политграмоту мне не читай - я ее сам кому хочешь прочитаю. Ты мне прямо говори - да или нет!" "Да с чего вы взяли, что у меня с ней что-то было? - возмутился я. "Как это с чего? Если ничего не было, то почему ты такую песню написал?" "Да просто так, в шутку", - наивно пытался объяснить я. "Ну, уж нет. В шутку такое не пишут. Там такие есть слова, что явно с натуры написано.

Так что не крути мне голову и признавайся. И имей в виду: если ты честно обо всем расскажешь, дальше меня это не пойдет, и характеристику я тебе подпишу, даю тебе честное слово. Потому что, раз ты сознался, значит ты перед нами полностью разоружился и тебе опять можно доверять". "Перед кем это - перед вами?" - не понял я. "Как это перед кем? Перед партией, конечно!" Тут я понял, что это говорится на полном серьезе, и не на шутку обеспокоился.

Последующие полчаса, не жалея сил, он пытался не мытьем, так катаньем вынуть из меня признание в любострастных действиях с женой французского посла. Я держался с мужеством обреченного. Собеседник мой измучил меня и изрядно измучился

сам. Лоб у него взмок. Он снял пиджак и повесил его на спинку своего секретарского стула. "Ну, хорошо, - сказал он, - в конце концов есть и другая сторона вопроса. Я ведь не только партийный секретарь, но еще и мужчина. Мне просто интересно знать - правда ли, что у французских женщин все не так как у наших, а на порядок лучше? Да ты не сомневайся, я никому ничего не скажу!" Я уныло стоял на своем. "Послушай, -потеряв терпение, закричал он,- мало того, что я просто мужчина, - я еще и кавказец. А кавказец - это мужчина со знаком качества, понял? Да мне просто профессионально необходимо знать, правда ли, что во Франции женщины не такие как наши табуретки, ну?" Я упорно молчал. "Ах так, - разъярился он, - убирайся отсюда. Ничего я тебе не подпишу!" Расстроенный, вышел я из партбюро и побрел по коридору. В конце коридора он неожиданно догнал меня, нагнулся к моему уху и прошептал: "Молодец, я бы тоже не сознался!" И подписал характеристику.

Что же касается Игоря Белоусова, то, несмотря на внешнюю мягкость характера и доброжелательность, порой он бывал непреклонен. Помню, в самом конце рейса, уже по пути домой, мы зашли в Гибралтар, бывший в то время портом беспошлинной торговли, где все участники рейса обычно "отоваривали" свою убогую валюту, выдаваемую формально для "культурного отдыха на берегу". Надо сказать, что нигде мне не было так стыдно за свою великую державу, как в жалких третьесортных лавчонках Гибралтара и Лас-Пальмаса, Сингапура и Токио, где пронырливые торговцы, по большей части индусы или поляки, ловко ориентируясь на советский спрос, держат специальные "русские" магазины, в которых по более дешевым ценам продают самую разнообразную третьесортицу - от джинсов из подгнившей ткани, зонтиков и презервативов до магнитофонов и видеосистем, через месяц или раньше выходящих из строя. Моряков и рыбаков наших это, однако, нисколько не волнует, так как все барахло приобретается здесь для немедленной перепродажи дома.

До сих пор помню чувство жгучего стыда, испытанного мною в Париже в каком-то "польском" магазине, куда нас привел гид, и где "золотые чемпионки" Олимпийских игр, на глазах у откровенно потешавшихся над ними продавцов, жадно вырывали друг у друга из рук какие-то нейлоновые шубы и более интимные предметы женского туалета. А похмельные оравы матерящихся рыбаков с продубленными соленым ветром лицами и алчными глазами, торопливо волокущие к причалу огромные узлы и свертки с коврами и пальто-болоньями! Игорь в такие лавочки, как правило, не ходил, несмотря на откровенное неудовольствие его жены, и приобретал в основном памятные раритеты - маски,

раковины и другую местную экзотику.

На этот раз мы собрались пойти с ним на экскурсию в знаменитую карстовую пещеру Святого Михаила в Гибралтарской скале, где во время Второй мировой войны размещался британский госпиталь, а в последние годы, ввиду уникальной внутренней акустики, устроен всемирно известный филармонический зал. Игорь зашел за мной, и мы совсем уже было собрались идти, как вдруг ему на глаза попался листочек с двумя строфами песни "Донской монастырь". Я начал набрасывать ее накануне, но конец все никак не получался. "А где продолжение?" - спросил Игорь. "Да вот, вечером попробую что-нибудь придумать", - ответил я. "Зачем же вечером, лучше прямо сейчас", - с улыбкой заявил Игорь и с неожиданной для своего грузного тела быстротой выскочил из каюты. Не успел я опомниться, как в замочной скважине щелкнул ключ, запирающий дверь снаружи. "Ты что, с ума сошел? - возмутился я. - Время увольнения пропадает!" "А ты его зря и не трать! Садись и быстренько пиши. Как докончишь, сразу звонишь мне, и мы немедленно идем на берег". Ни брань, ни увещевания мои на него никакого действия не оказали. В увольнение, однако, хотелось, и я, скрепя сердце, сел за стол. Не знаю уж как по части художественного уровня, но во всяком случае формально, примерно через полчаса, песня была дописана, и Игорь, ознакомившись с текстом, милостиво взял меня на берег.

Во время этого захода в Гибралтар руководитель наших гравиметристов Владимир Александрович Тулин, в те поры еще изрядно выпивавший, за довольно немалые деньги купил в какой-то лавке древностей большой старинный и тяжелый двуручный рыцарский меч (как его уверил продавец - меч Дон-Кихота). Довольный и раскрасневшийся, он приволок его на судно, но Игорь тут же сильно охладил его восторги по поводу этой замечательной покупки, напомнив счастливому владельцу "меча Дон-Кихота", что ввоз холодного оружия в нашу страну таможенными властями категорически запрещен. "Да ты что, это же музейная вещь", - слабо сопротивлялся Тулин. "Ничего себе музейная, - смеялся Белоусов, - по башке стукнешь - и все. Холодное оружие это, вот что". На бедного Тулина было жалко смотреть. Вернуть меч обратно он, конечно, не мог. Поэтому, когда "Дмитрий Менделеев" подходил к родному Калининграду, он попытался спрятать его под диван в своей каюте. "Ну уж это последнее дело, - донимал его Игорь. - Первое, что делает любой таможенник, войдя в каюту, - он немедленно заглядывает под диван". Затравленный Тулин, цепляясь огромным мечом за комингсы и узкие ступеньки крутых трапов, потащил его прятать

в свою гравиметрическую лабораторию, в один из длинных аппаратурных ящиков. "Молодец, это ты талантливо придумал, - похвалил его Игорь. - Это же намеренное укрытие Контрабанды. Минимум пять лет без взаимности!" Убитый Тулин, гремя ржавым куском железа на все судно, обреченно поволок его обратно в каюту. Нет необходимости упоминать, что таможенники, озабоченные "товарными вещами", порнографией и "антисоветской" литературой, на злосчастный меч даже и не взглянули.

Третий рейс "Дмитрия Менделеева" и дружба с Игорем Белоусовым определили перемену в моей дальнейшей жизни. Именно ,он подкинул мне идею перебраться на работу в Москву, в Институт океанологии, тем более, что для переезда в Москву к тому времени у меня были и весьма серьезные личные причины. Игорь в ту пору был секретарем парткома института, фигурой в административной иерархии весьма значительной, и без особого труда договорился с директором института Андреем Сергеевичем Мониным. Справедливости ради, следует отметить, что согласие Монина на мой перевод в Институт океанологии было связано вовсе не с моими научными заслугами, а прежде всего с песенной популярностью, так как сам Монин любил и прекрасно знал поэзию, очень неплохо рисовал.

После "менделеевского" рейса были, однако, события и менее .радостные.

Осенью семьдесят первого года у меня на работе в Ленинграде раздался телефонный звонок. "С вами говорит сотрудник Комитета государственной безопасности Сергеев, - сказал голос в трубке. - Прошу вас зайти в удобное для вас время в районный отдел, в комнату номер пять, для беседы". Радости от этого звонка, будучи '.достойным сыном своей страны, я не испытал никакой и в назначенное время явился в пыльную комнату в бесконечных коридорах Октябрьского райисполкома на углу Садовой и Измайловского, где |двое неприметной наружности людей в штатском со скучающим видом играли в шахматы. Один из них, по-видимому, Сергеев, уединился со мной в одной из комнат и, явно получая удовлетворение от моего трудно скрытого волнения, начал длинную серию многочисленных вопросов, обнаруживая довольно большие познания в моей скромной биографии. Понять, что ему нужно, было совершенно невозможно. Потом он, как бы вскользь, спросил меня, что я думаю о своем коллеге по институту Никите Стожарове, с которым в предыдущем рейсе мы жили в одной каюте, и у которого были какие-то трудности при оформлении визы из-за тетки в Финляндии. Минут через тридцать он очень

вежливо попрощался и отпустил меня. Я наивно обрадовался, что на этом все и кончилось.

Однако примерно через неделю тот же Сергеев (если это была его действительная фамилия) позвонил и снова предложил встретиться. "У нас в помещении неудобно, - сказал он, - давайте встретимся неподалеку, на Садовой, у ворот Юсуповского сада". В условленное время у ворот вместе с Сергеевым меня ждал еще один человек, назвавшийся Владимиром Николаевичем. Вопросы, заданные мне на этот раз, касались уже моих литературных дел: где я печатаюсь, не жалуюсь ли, что меня притесняют и не принимают в Союз писателей. "Имейте в виду, мы можем вам оказать весьма эффективную помощь,

- сказал Владимир Николаевич, - нам нужны талантливые литераторы".

"Вы ведь, небось, считаете, что мы люди неначитанные. Так вот, смею вас уверить, что у нас в Комитете такая библиотека современной литературы, которой может позавидовать даже Публичка. И все ваши книги, современных поэтов и прозаиков, у нас тоже есть, и читаем мы их довольно внимательно".

После этого он неожиданно спросил, знаком ли я с поэтом Николаем Брауном. Я не сразу понял вопрос и вспомнил, что года два назад звонил Николаю Леопольдовичу Брауну по его домашнему телефону. Он взялся рецензировать для издательства "Советский писатель" рукопись моей книжки стихов и, действительно, дал весьма положительную рецензию, хотя знакомы мы с ним почти не были. Моих собеседников, как выяснилось, интересовал не сам Николай Браун, а его сын, входивший, судя по их словам, в какой-то "антисоветский кружок".

Закончив разговор о Брауне, Владимир Николаевич, который, очевидно, был главным чином, сказал, мельком глянув на меня: "Вы должны помочь нашим органам узнать как можно больше о той среде литераторов и научных работников, в которой вы живете и работаете. Поэтому в условленное время и в условленных местах вы будете впредь рассказывать мне и другим нашим сотрудникам обо всех разговорах, свидетелем которых вы окажетесь. Нас интересует конкретно - кто и что сказал, понятно?"

Ужас охватил меня. Я понял, наконец, что меня попросту вербуют в стукачи. "Но почему же именно я? У меня много своей работы, я не могу", - робко промямлил я "Партия учит нас опираться в получении информации только на достойных, заслуживающих доверия людей, - сурово отрезал Владимир Николаевич. - Вы что же, себя таковым не считаете? Значит, у вас

есть что скрывать? И потом, что значит "не могу"? Вы что же, отказываетесь помогать нашим славным органам в борьбе против шпионажа и идеологических диверсий?"

"Да нет, что вы! - испугался я. - Если бы я узнал о каком-то шпионском замысле или диверсии, я сам бы немедленно пришел к вам, я счел бы своим гражданским долгом…"

"Вот и считайте своим гражданским долгом и приходите к нам, - усмехнулся моим детским трепыханиям Владимир Николаевич. - И потом, почему обязательно надо сообщать о-людях только плохое? Можно ведь и хорошее - нас интересует все!"

"Нет, нет, я не могу, я не справлюсь", - трясущимися губами лепетал я. "Превосходно справитесь, - подхватил "Сергеев", - значит так, вот вам мой телефон, через пару дней позвоните. Если сами не позвоните, я вам позвоню". И не слушая больше моего трусливого отнекивания, они покинули меня.

Я остался сидеть на садовой скамейке. Вокруг меня с веселыми криками бегали дети. Неподалеку раздавались звуки оркестра. На солнечных вечерних дорожках ярко вспыхивали первые осенние кленовые листья. Я же сидел убитый. Жизнь кончилась. Не ранее, чем минут через двадцать я справился с внезапным сердцебиением и уныло поплелся домой. Несколько ночей подряд я не мог уснуть, а забывшись беспокойной дремотой, просыпался от страшных видений. То мне снилось, что я стал осведомителем, а все вокруг смотрят на меня с презрением и показывают пальцем. То, наоборот, за мной приезжал "воронок", и три дюжих охранника волокли меня по каменному полу, ударяя лицом о ступеньки. Сергееву я звонить не стал. Примерно через неделю он позвонил сам и елейным голосом передал привет от Владимира Николаевича. Еще через два дня он позвонил снова и осведомился, не пора ли нам встретиться.

"Нет, - дрожащим голосом сказал я ему, - если вы в чем-то обвиняете меня, то арестуйте, а так мы больше встречаться не будем". "Ну что вы, Александр Моисеевич, - рассмеялся он в трубку. - За что же вас арестовывать? А вот если вы все-таки не хотите с нами встречаться больше, то пеняйте потом на себя". Через неделю он звонил еще и спрашивал, что передать Владимиру Николаевичу. Я снова отказался встретиться. "Дело ваше, - спокойно сказал Сергеев, - но мы с вами еще встретимся". На этом звонки прекратились, но я еще примерно полгода шарахался от телефонной трубки.

Самое удивительное, что спустя несколько дней после нашей последней встречи из моей головы начисто выветрилась память о внешнем облике и Сергеева, и Владимира Николаевича: как они

ˆвыглядели, во что были одеты. Хотя во время самой этой встречи Мне казалось, что я их запомню навсегда. Обтекаемость их внешности, полное отсутствие каких-то особых примет, за что бы зацепиться глазу, по прошествии времени стали внушать мысль как бы о некоей нереальности этого события или принадлежности их к потустороннему миру. И еще одно - разговаривая со мной, они почти никогда не смотрели в глаза, всегда куда-то в сторону. Может

быть, именно поэтому и лица их мне совершенно не запомнились. Память же об этой истории осталась как дурной сон на всю жизнь. Помню, когда я прочитал рассказ Фазиля Искандера, в котором от лица героя излагалось, как его вербовали в стукачи, меня поразило удивительное сходство с моей собственной историей. Видимо, стереотипы вербовки, рекомендованные в этом ведомстве, были примерно одинаковыми…

Визу в загранрейсы в 1971 году мне все-таки закрыли и снова открыли только после переезда в Москву, спустя три года. Формально причину лишения визы в отделе кадров объясняли недавним разводом. Приятель же мой, попавший как-то в компанию с подвыпившими гебешниками, "курировавшими" наш институт, на вопрос обо мне в ответ услышал: "За ним много чего есть". Так что встречи с "Владимиром Николаевичем" все же были вполне реальными и имели вполне реальные результаты.

Нельзя не вспомнить, кстати, что Игорь Белоусов в это время, еще до моего перехода в его институт, приложил поистине героические усилия, чтобы помочь мне получить отобранную визу и взять с собой в рейс "Дмитрия Менделеева" к берегам далекой Океании. С его подачи директор института Монин написал специальное письмо в выездную комиссию Ленинградского обкома партии, на которое высокая комиссия даже не сочла нужным ответить. Игорь, однако, на этом не успокоился и отправился к всемогущему Ивану Дмитриевичу Папанину, всемирно прославленному полярнику, дважды Герою Советского Союза, доктору географических наук и прочая, и прочая, и прочая, руководившему тогда Отделом морских экспедиционных исследований Академии наук. Папанин был многолетним другом отца Игоря, известного полярного капитана Михаила Прокопьевича Белоусова, командовавшего в тридцатые годы ледоколом "Иосиф Сталин". Пробившись к Папанину на прием, Игорь подробно живописал все мои достоинства, рассказал историю с неудачей монинского письма и попросил Ивана Дмитриевича позвонить по "вертушке" в Ленинград и договориться с обкомом.

Надо отдать должное Ивану Дмитриевичу Папанину. Несмотря на свою наигранную за многие годы простоватость и нарочитый "матросский матерок" (хотя в молодости на флоте он в основном не плавал, а работал в чека), человек он был в высшей степени умный и непростой, величайший политик и дипломат. За дела, заведомо безнадежные, не брался никогда. Поэтому, дав Игорю полностью выговориться, он широко улыбнулся, топорща маленькую щеточку седых усов над верхней губой, и заявил: "Игорь, я отца твоего любил и тебя люблю. Пошел на…" "Да нет, вы не поняли", - продолжал горячиться Игорь. "Ты что, плохо меня слышишь? - удивился Иван Дмитриевич, - так я тебе еще раз повторяю: я отца твоего покойника любил и тебя люблю. Пошел на…" И Игорь пошел, куда его послали, а "Дмитрий Менделеев" пошел в свой шестой рейс без меня.

Немало стараний приложил по возвращении в Москву Игорь и к тому, чтобы подружить меня со своей "бандой". С самого начала он чуть не испортил все дело, так как пытался с восторженными комментариями напевать своим язвительным друзьям Смилге и Крейндлину мои песни, не имея ни голоса, ни слуха. Как они сами признавались позднее, песни эти вызвали у них откровенное отвращение. Судьбе же было угодно, чтобы мы по-настоящему познакомились уже у Игорева гроба.

Игорь Михайлович Белоусов, моряк и ученый, фантазер и мечтатель, сибарит и добряк, любивший вкусную еду и шахматы, но более всего на свете - своих друзей, один из немногих на Земле людей, умевший по-детски радоваться их успехам, умер от разрыва сердца в больнице у своего друга Юлия Крейндлина, у него на руках, в возрасте сорока двух лет, всего за две недели до начала организованной им Полярной экспедиции в Ледовитый океан на перегонных судах, куда мы все с ним вместе собирались. Последнее время он усиленно занимался гимнастикой, бегал по утрам, стараясь сбросить вес. Помню, примерно за пару недель до смерти, в июне семьдесят второго, когда я уже работал в его институте, он подошел ко мне и показал свою только что сделанную для обмена партийных билетов фотографию, заявив: "Смотри, какой должна быть партийная харя!"

Игорь умер, как выяснилось, от врожденного фамильного заболевания - сужения аорты. Примерно в таком же возрасте и также ушли из жизни его отец Михаил Прокопьевич и брат отца - подполковник.

Мы везли гроб с телом Игоря из Люблино, где в здании института, помещавшегося тогда в Дурасовском дворце, состоялась гражданская панихида, в крематорий Донского монастыря. Длинная вереница автомашин, возглавляемая

"гаишной" машиной с сиреной и мигалкой, которую специально выделил Люблинский райком, тянулась по ухабистой дороге через Текстильщики. От тряски погребального автобуса крышка гроба все время съезжала, открывая ноги Игоря в огромных штиблетах на толстой микропористой подошве. Сидевшие вокруг гроба друзья не скрывали слез. "Наверное, хороший русский человек помер, если над его гробом плачут четыре еврея", - невесело пошутил Крейндлин. Урну с прахом Игоря захоронили на Новодевичьем, в могиле отца. Его квартира в Доме Полярника на Суворовском бульваре, еще недавно шумная и многолюдная, опустела. Вдове Игоря пришлось переезжать в другую, меньшую квартиру, а в ту вселился популярный автор детективного жанра Юлиан Семенов. Докторская диссертация Игоря, о которой было немало разговоров, осталась незащищенной.

Более десяти лет спустя, уже в тридцать первом рейсе все того же судна "Дмитрий Менделеев", мы открыли по данным геомагнитной съемки в Центральной котловине Индийского океана, между разломами Индира и Индрани, новый разлом. Я предложил назвать его разломом Игоря Белоусова и именно так и поименовал в своих статьях. Дальше, однако, дело не пошло, так как высокая администрация это предложение не поддержала: не академик, не герой-простой кандидат наук. С какой стати? Так и не оставил Игорь своего имени на географической карте, о чем мечтал когда-то в юности. Осталась только память в сердцах его пока живущих друзей, да еще, пожалуй, строчка из песни, ему посвященной: "Не страшно потерять уменье удивлять - страшнее потерять уменье удивляться"…

Чистые пруды

Переезд в Москву был для меня мучительным. Даже когда меняешь что-нибудь одно - работу, семью или место, где живешь, долго не можешь привыкнуть к новому. Мне же пришлось поменять все сразу. Из родного своего Института геологии Арктики, где я к тому времени руководил лабораторией морской геофизики, я попал в Институт океанологии на должность старшего научного сотрудника не в научные отделы, где мест не было, а в административную группу "Координационного центра стран-членов СЭВ".

Игорь Белоусов рассчитывал через полгода перевести меня к себе-в отдел геофизики и тектоники океанического дна, но его внезапная смерть поломала эти планы. Ни о какой геологии и геофизике в Координационном центре не могло быть и речи. В обязанности мои входили обслуга приезжающих из соцстран ученых, а также составление и переписывание бесконечных бумажек и мертворожденных планов совместных работ и совещаний. Эта бессмысленная бумажная служба с первых же дней вызвала у меня непреодолимое отвращение. Профессор Глеб Борисович Удинцев, руководивший в то время отделом геофизики и тектоники океанического дна, как оказалось, весьма неприязненно относился к Игорю и ясно дал мне понять, что на перевод мой в его отдел я рассчитывать не могу. Что было делать? Уезжать, не солоно хлебавши, обратно в Ленинград? Я и в самом деле начал всерьез подумывать об этом и да-, же договорился с дирекцией своего бывшего института о возвращении. Однако осенью семьдесят второго года я познакомился с Олегом Георгиевичем Сорохтииым, готовившим тогда к защите докторскую диссертацию и увлекавшимся идеями тектоники литосферных плит, который согласился взять меня на работу в свою группу. С большим трудом, благодаря активной поддержке Сорохтина и благорасположению грозного директора Монина, мне удалось, наконец, расстаться с Координационным центром и перейти в группу тектоники литосферных плит, преобразованную позднее в лабораторию.

Олегу Сорохтину я обязан не только служебным переводом, но и многим другим. Будучи человеком фанатично увлеченным современной геологической концепцией формирования и эволюции нашей планеты, геофизик с широким кругозором и дерзкой поэтической фантазией, он сумел обратить в свою, тогда еще довольно |крамольную веру, своих ближайших сотрудников, в том числе и меня. До встречи с ним я считал себя специалистом

по магнитному полю, и мне этого вполне хватало. В дебри глобальной геологии и тектоники я не вникал, считая это излишним. "Чем вы занимаетесь?" - спросил он у меня при первой же встрече, и узнав что магнитным полем, скептически улыбнулся: "У американцев, да и у всех других зарубежных ученых, нет такого понятия - магнитчик, сейсмик, электроразведчик. Есть одно понятие - геофизик. Ведь Земля - физическое тело и чтобы изучать ее, надо свободно владеть не одним, а несколькими геофизическими методами сразу. Иначе ничего не выйдет". Сам Олег, сейсмик по образованию да еще с "аппаратурным" уклоном, довольно свободно разбирался в физике Земли, теории геофизических полей, геологии и геохимии, не говоря уже о магнитном и гравитационном полях, сейсмике, тепловом потоке и так далее. Именно Сорохтин сделал меня убежденным сторонником новой глобальной теории - тектоники литосферных плит, основывающейся на идеях дрейфа континентов. Надо сказать, что в начале семидесятых годов, концепция эта, уже получившая всеобщее признание на Западе, у нас считалась еретической. Вся "старая гвардия" отечественной геологической науки во главе с членом-корреспондентом В. В. Белоусовым, возглавлявшим Международный геофизический комитет, Академия наук, министерство геологии, Московский государственный университет, стеной встали против этого "буржуазного направления". В свете этого нельзя не отдать должное Андрею Сергеевичу Монину, который, будучи одним из ведущих ученых в области математики и физики, не только сам активно включился в разработку математической модели конвекции, приводящей к дрейфу континентов, но и не побоялся организовать у себя в институте специальную лабораторию "тектоники плит". В то время это было все равно, что поднять красный флаг на броненосце "Потемкин". Вот в эту лабораторию мне и повезло попасть.

Нельзя не отметить при этом, что характер у Монина был крутой, вспыльчивый. Трудясь помногу сам, он требовал такой же отдачи от других, поэтому работать с ним, а тем более под его началом, было совсем не просто. Я помню, как тяжело отдуваясь и хватаясь за сердце, выходил из начальнического кабинета его заместитель по Южному отделению в Геленджике Яков Петрович Маловицкий. "Саня, - сказал он мне, вытирая платком пот со лба, - с Мониным же невозможно работать! Он требует от своих сотрудников мировых открытий, и при этом - каждый день!"

С увлеченностью, сильно подхлестнутой почти годовым отрывом от науки, я взялся за работу. Приходилось в сорок лет переучиваться заново, осваивая азы физики Земли, гравиметрии,

геотермии, тектоники, вулканизма, палеомагнетизма и так далее. Снова вспомнились мне слова безвременно погибшего Стаса Погребицкого: "Лучше работать под заведомо ложную идею, чем вообще под никакую". Одной из наиболее характерных особенностей моих собратьев-геофизиков, да, видимо, и моей, взращенной в нас за долгие годы, было скупердяйское дрожание над полученными экспериментальными данными или какой-нибудь третьесортной идейкой. Общение с Олегом полностью изменило эти мещанские представления. Он щедро расшвыривал идеи, которых у него было всегда великое множество, как будто совершенно не заботясь о собственном авторстве. Именно он впервые открыл мне глаза на то, что любой собранный экспериментальный материал - карта, разрез, результаты лабораторных анализов, не одухотворенный ведущей идеей, мертв. Наше стремление участвовать во всех новых съемках в океане он поддерживал далеко не всегда. "Надо ли тратить свои силы на получение нового материала, когда так много не обработанного и не обдуманного старого?" Когда я, споря с ним, говорил о практической пользе, о полезных ископаемых, он отмахивался: "Нет ничего более практичного, чем хорошая теория".

В самом начале моей работы в Институте океанологии, в конце июля 1972 года, сразу же после неожиданной смерти Игоря Белоусова, я попал в организованную им экспедицию по морям Ледовитого океана. Идея Игоря состояла в том, чтобы пройти по всей трассе великого Северного морского пути на речных судах, караван которых ежегодно перегоняли из Архангельска в дальневосточные моря. Было договорено, что специальный геофизический отряд будет вести попутные работы на борту одного из перегоняемых судов. В состав отряда, который Игорь должен был возглавить сам, он планировал включить своих друзей -Валю Смилгу и Натана Эйдельмана. В полярный рейс, однако, нам пришлось отправиться уже без него.

По-архангельски холодным августовским днем мы вшестером погрузились на борт транспортного суденышка типа "река-море", построенного в Финляндии. Его надлежало перегнать в составе каравана таких же судов из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. Перегоном судов по трассе Северного морского пути занималась тогда "Экспедиция Спецморпроводок СЕВМОРПУТИ", помещавшаяся в Ленинграде. Перегон этот требовал от экипажей особенной выучки и сноровки. С одной стороны, капитанам и штурманам надо было разбираться в сложной речной навигации, непривычной для моряков. С другой - на речных судах, не рассчитанных на морские шторма и ледовую обстановку, пройти

по трассе вдоль всего побережья Ледовитого океана, где и ледокольным пароходам со специальной ледовой обшивкой плавать далеко небезопасно.

Народ в перегонной экспедиции, возглавляемой старым полярником Наяновым, подбирался довольно лихой. Капитаном на нашем теплоходе был Владимир Малышев, примерно за год до этого плававший по перегонной трассе вместе с писателем Виктором Конецким, посвятившим этому рейсу свою повесть "Соленый лед". Группу нашу вместо Игоря возглавлял начальник отдела кадров института Владимир Михайлович с весьма нетипичной для начальника отдела кадров фамилией Гринберг. "Не только единственный в стране начальник отдела кадров с такой фамилией, но и единственный Гринберг, который по паспорту осетин", - говаривал он. Натан Эйдельман в рейс пойти не смог, и единственным из игоревых друзей, принявшим участие в экспедиции, оказался Смилга. Помню, как прибыв в Архангельск, где нас, приехавших раньше, несколько дней не селили в гостиницу "Двина", он заявился прямо к директору гостиницы в старом ватнике и шляпе, заросший седоватой щетиной. "Смотрите, до какого состояния довели интеллигентного человека", - заявил он ошарашенному директору, после чего нас всех немедленно поселили в "люкс". Используя его опыт, примерно такую же операцию мы провели и по окончании экспедиции, уже в Хабаровске, ухитрившись выбить номер в интуристовской гостинице для "академика Гринберга".

Двухмесячный рейс из Архангельска в Николаевск-на-Амуре, несмотря на все трудности и даже опасности, связанные с ним, особенно ледовая проводка в проливе Вилькицкого, где наше утлое суденышко затирало льдами, вспоминается до сих пор как один из самых интересных, и стоит любого из зарубежных рейсов. Плоские берега Баренцева и Карского морей, скалистые берега Охотоморья, пронзительные желтые закаты острова Вайгач и безмолвная цветомузыка полярного сияния в Чукотском море. Пушечный гром ломающихся льдин, их визжащий, надрывающий сердце скрежет о тоненькие борта, когда мы все в спасжилетах, с пластырями и брусьями наготове, чтобы заделать пробоину, стоим на расписанных постах и ждем - авось, пронесет. А бесконечная работа по обкалыванию льда с палубы, чтобы судно не перевернулось в шторм! А вечно окровавленные ладони, которые не спасти от ржавой стали швартового троса никакими брезентовыми рукавицами! Поскольку экипаж на судне был только половинного состава, то нас всех использовали на общесудовых авралах и работах.

По мере нашего движения на восток пришлось заходить на

острова Колгуев и Вайгач, в Андерму, Диксон и другие точки побережья, отстаиваясь то от шторма, то от ледовых полей. Около двух недель наше суденышко "Морской-10" простояло вместе с другими судами на рейде у острова Вайгач, ожидая улучшения ледовой обстановки в проливах Новой Земли. Была короткая полоса ненадежного северного лета - середина августа. На Вайгаче цвела тундра. Неожиданное для сурового и безжизненного северного ландшафта с его черно-белой графикой, буйство красок недолгого цветения хрупких, но непобедимых полярных трав и ягеля, так поразило меня, что я, кажется впервые в жизни, испытал острое чувство зависти к художникам. Только их талант позволяет запечатлеть и увековечить этот странный и неповторимый миг, когда под лучом полярного солнца вдруг вспыхивают желтыми, золотыми и алыми цветами недолговечные ковры летней тундры. Когда я теперь думаю о красотах многочисленных островов, на которых мне посчастливилось побывать, я вспоминаю не знаменитый пляж Вайкики на Гаваях, не похожий на летящую бабочку остров Гваделупа и на сказочный остров Маврикий - "ключ от Индийского океана", а цветущую тундру на арктическом острове Вайгач. Во время этой стоянки я "на нервной почве" написал стихи "Тени тундры", к которым актер ленинградского театра Ленинского Комсомола Юрий Хохликов придумал мелодию.

Навсегда врезались в память и скалистые отвесные берега Берингова пролива, разделяющего два сумрачных материка - Евразию и Америку. Прямо над нашим судном проплыл в сумеречном тумане на нависшей над водой скале огромный черный каменный

крест, который водрузил здесь Семен Дежнев "сотоварищи". До сих пор помню неуловимую смену красок волн в проливе, где свинцово-стальные воды Ледовитого океана понемногу сменяются зелеными тихоокеанскими.

Неповторимая красота цветущей тундры стала, однако, не единственным воспоминанием об острове Вайгач. Мы нашли там обгоревшие остатки гниющих бревен, мотки ржавой колючей проволоки и разбитые взрывами базальтовые глыбы. Местные жители, ненцы, которых переселили сюда с Новой Земли, где в пятидесятые годы был организован полигон для испытаний атомной бомбы, рассказали нам, что здесь в тридцатые годы был огромный концлагерь. Заключенные, обреченные на верную погибель, подняли восстание. Согласно легенде, когда об этом доложили Сталину с предложением послать карательный отряд, он сказал: "Зачем посылать людей? Лучше испытать новые бомбометатели наших бомбардировщиков". Бомбометатели

испытали, уничтожив все живое на острове, включая охрану.

В этом рейсе нам повезло. Мы ухитрились за одну навигацию, без аварий и вынужденной зимовки во льдах, проскочить всю трассу Северного морского пути, что, как оказалось, бывает нечасто. В самом тяжелом в ледовом отношении месте - проливе Вилькицкого, между полуостровом Таймыр и Северной Землей, нас проводил атомный ледокол "Ленин", тогдашний флагман ледокольного флота. Своим мощным корпусом он пробивал узкий фарватер в массивном ледовом поле, который буквально через несколько минут полностью забивался глыбами ломаного льда. Поэтому надо было идти сразу же за ним. Это, однако, тоже небезопасно. Стоя на правом крыле мостика во время проводки, я хорошо видел, как из-под мощных винтов ледокола вылетают, бешено вращаясь, гигантские ледяные глыбы и несутся к нам, гонимые кильватерной струей. Один удар такой ледяной чушки - и наш тоненький борт, совершенно не рассчитанный на льды, пробьет насквозь. Неподалеку от меня в ходовой рубке стоят бледные рулевой и капитан, руки которого судорожно сжимают ручки машинного телеграфа - то "малый вперед", то "стоп". Страшно идти навстречу этим стремительным ледовым глыбам! А с ледокола командир по радио громовым голосом на весь караван прямым российским текстом говорит все, что он думает о самом капитане, о его ближайших родственниках, обо всех, кто с ним на одном борту. "Полный вперед,

- гремит его приказ во всех динамиках. - Ты что здесь, зимовать собрался?" Действительно, всего несколько минут нерешительности - и недолгий фарватер снова заполняется льдом. Ледоколу надо возвращаться и начинать все сначала. А за нашей кормой густо дымят и нетерпеливо сигналят другие суда каравана, которые начинает затирать сходящимися ледяными полями. И идти опасно, и останавливаться нельзя!

В полярной экспедиции мы проводили попутные гидромагнитные и сейсмоакустические работы, а также эхолотный промер. Вольдемара Петровича Смилгу, которого сразу же полюбила наша весьма разношерстная команда, наполовину набранная из алиментщиков и алкашей, списанных с других судов, посадили на вахту на эхолот. К своим служебным обязанностям он относился весьма философски. Помню, как-то я поднялся в эхолотную во время его вахты и обнаружил, что эхолот выключен, а вахтенного нет. Возмущенный, я помчался вниз и обнаружил Смилгу в его каюте, где он возлежал небритый на сколоченном для него топчане в окружении таких же небритых и неряшливо одетых личностей из команды, благоговейно внимавших его словам. "Так вот, все вы теперь ясно видите, что

каждый из нас - всего лишь мышь перед лицом Господа", - услышал я его тихий и как бы потусторонний голос, когда распахивал дверь. "Валька, скотина, ты что же делаешь? - заорал я, ворвавшись в каюту. - Эхолот же стоит. Марш на вахту!" В этот миг я внезапно почувствовал, что какая-то сила, сдавив мне горло воротом моей куртки, отрывает меня от палубы. "Заткнись, сука, - услышал я яростный шепот огромного моториста, схватившего меня сзади за ворот гигантской волосатой лапищей- - Не мешай - человек мыслит!"

Каюта моя находилась рядом с каютой старшего механика, молодого парня, который заочно учился в каком-то техническом вузе. Смилга, как доктор физ-мат. наук взялся готовить его к экзаменам по физике и математике. Поскольку переборка была тонкой и весьма звукопроницаемой, я оказывался невольным свидетелем этих почти ежевечерних занятий. Начинались они, как и полагается, с проверки "домашнего задания", которая длилась, однако, не дольше, чем минут пятнадцать. После этого раздавалось характерное звяканье и бульканье, после чего разговор, заметно оживляясь, обретал тематику, бесконечно далекую как от физики, так и от математики. Когда в Тикси, откуда Смилга вынужден был вылететь в Москву (поскольку его отпуск кончился, и ему надо было срочно возвращаться на работу), место репетитора занял другой наш коллега - Саша Иоффе, кандидат физ.-мат. наук, в прошлом ученик Смилги, он был немало удивлен, что за месяц ежедневных занятий пройдено так мало.

Капитан наш, Малышев, любил учинять многочисленные учебные тревоги - особенно водяную и противопожарную. Тогда мне это казалось капитанской блажью, но теперь, по здравом размышлении, я полагаю, что он был прав. Смилга, согласно аварийному расписанию, состоял при нем вестовым. По его собственному утверждению, при сигнале тревоги он должен был птицей взлетать на капитанский мостик и "преданно смотреть капитану в глаза", что он исправно и делал. Почему-то однажды во время пожарной тревоги он оказался на корме, где был "условный пожар в районе фекальной цистерны" и куда, согласно расписанию, устремился я с топором в руках. Смилга утверждает, что, увидев мои "безумно выкаченные глаза" и топор в руках, он кинулся бежать от меня, уверенный, что я гоняюсь за ним.

Наибольшую славу Смилге в экспедиции, однако, принес шахматный матч. Заняв безусловное первое место в корабельном шахматном турнире, он взялся на пари (в заклад было поставлено две поллитры) играть одновременно партии на двух досках против наиболее сильных шахматистов - капитана и первого

помощника. По условиям пари, проигравший должен был также влезть под стол в кают-кампаний, лаять по-собачьи и громко кричать: "Прости, дяденька, я дурак, больше не буду!" Главной особенностью этого необычного турнира было то, что Смилга должен был играть, не глядя на обе шахматные доски, сидя к ним спиной, да еще и с завязанными глазами. Смотреть на этот уникальный турнир собрались все участники экспедиции. Противники Вольдемара Петровича поначалу были почти уверены в своей победе. Однако, к всеобщему удивлению, медленно, но верно, держа в уме расположение фигур на двух досках сразу, Смилга прижимал и того, и другого. Первым сдался первый помощник. Капитан еще какое-то время безуспешно пытался свести дело к ничьей, но Смилга, развязавшийся со второй доской, неумолимо принудил и его к сдаче в безнадежном положении. Выполняя суровые условия поединка, капитан безропотно влез под стол и кричал, что положено. Перпом же, выставив проигранную водку, лезть под стол отказывался, ссылаясь на то, что он подорвет этим свой партийный авторитет. "Лезь, сука, - заорал, побагровев, уже побывавший под столом капитан, - утоплю!" Пришлось и первому помощнику карабкаться на четвереньках под стол и лаять по-собачьи.

Провожая нас в полярную экспедицию, друзья и приятели наказывали нам привезти в качестве сувенира одну весьма своеобразную костяную часть тела моржа, которую, как они были уверены, легко можно было обменять на любом стойбище на водку. Нигде, однако, куда бы мы ни заходили, сделать нам это не удавалось. Помню, как раз в проливе Вильницкого, во время очередной ледовой проводки, когда мы все стояли, расписанные по водяной тревоге, радист принес мне такую радиограмму от моего приятеля Олега Николаевича из Геленджика: "Привет вам Арктике суровой мечтаю получить моржовый". Замерзший и злой, я тут же заскочил в радиорубку и отправил ему ответ: "Пока что нам не до моржа живем за собственный дрожа". Больше всего расстраивался отсутствием моржовых сувениров Смилга, пообещавший непременно привезти хотя бы один такой экспонат в свой Курчатовский институт. Уже на рейде, неподалеку от Тикси, где мы должны были его высаживать, в самый разгар прощальной вечеринки, вышедший на палубу Смилга вдруг заметил какого-то любопытного моржа, высунувшего свою усатую морду неподалеку от судна. Вольдемар Петрович немедленно кинулся в каюту, схватил поллитру и выбежал на палубу. Находясь, по-видимому, в состоянии некоторого аффекта, он начал, рахмахивая руками и показывая бутылку моржу, предлагать ему взаимовыгодный обмен. Заинтересованный морж

подплыл уже почти к самому борту. Но тут из морских глубин неожиданно вынырнула его разгневанная подруга. Дав супругу мощный подзатыльник, она решительно увлекла его за собой в глубину, негодующе фыркнув напоследок в сторону Смилги.

Ведомый ледоколами через ледовые поля, изрядно поредевший караван (часть судов отстала в попутных портах из-за аварий, а часть ушла на Обь и на Енисей) упорно двигался на восток. Не по этому ли мрачному маршруту возили когда-то безвинно осужденных на Колыму и Чукотку? Размышляя об этом, я написал песенку "На восток", которая особенно понравилась Смилге. Взяв ее на вооружение на борту нашего судна "Морской-10", он уже не расставался с ней на берегу. Особенно ему понравился припев: "А птицы все на юг, а люди все на юг - мы одни лишь на восток". По уверениям его жены, как только он начинал петь "про птиц", следовало срочно забирать его из-за стола.

Выйдя в Берингово море, где нам уже не угрожали льды, мы зашли для отдыха и мелкого ремонта в бухту Натальи на побережье Чукотки. Согласно лоции, в этой бухте располагались крабзавод и рыбзавод. Уже войдя в бухту, мы заметили многочисленные костры на берегу. В бинокль можно было разглядеть, что местное население, как оказалось, почти сплошь состоящее из женщин, радостно приветствует приближение трех наших судов. Как раз в этот момент пришел по радио приказ начальника экспедиции: "Во изменение первого приказа в бухту Натальи не заходить, заходить в бухту Святого Павла. Шлюпок не спускать". Осторожное начальство решило избежать контактов судовых экипажей с вербованными женщинами. Так мы и остались без крабов и без рыбы. По этому поводу была написана грустная песенка про бухту Натальи.

Уже на последнем этапе перегона, после захода в Петропавловск-Камчатский, где милиция забрала нашего моториста, учинившего пьяную драку в ресторане "Вулкан", когда мы пересекали Охотское море, направляясь к устью Амура, неожиданно пришло штормовое предупреждение. Надвигался осенний тайфун, как обычно носивший одно из нежных женских имен. Деваться нам было некуда. Под защиту берега мы убежать не успевали, так как находились в самой середине моря. В то же время судно наше "река-море" никак не рассчитано было на борьбу с океанскими тайфунами. Оставалось вставать "носом на волну" и ждать своей участи. В довершение всех неприятностей на втором судне такого же типа, следовавшем за нами, отказал двигатель. Надо было брать его на буксир в самый разгар шторма. Был объявлен аврал. Надо сказать, что трехчасовая возня с

заводом в шторм буксирного конца (который через полчаса лопнул, и все пришлось начинать сначала), небезопасная и грязная работа на захлестываемой волнами палубе, полностью отвлекли нас от печальных и панических мыслей. Еще через два часа починили, наконец, двигатель на втором судне, и мы благополучно отштормовали, пока тайфун не пронесся дальше. Помню, как поразила меня после этого повесть Георгия Владимова "Три минуты молчания", где описывается аналогичная ситуация: в критическом положении вдруг оказывается, что другому еще хуже, и надо срочно ему помочь, забываешь на время о своей беде, и становится легче.

По возвращении в Москву осенью семьдесят второго мне снова пришлось приступить к постылым бумажным делам в Координационном центре. Помню, как раз в это время в Москве состоялось совещание руководителей морских институтов стран-членов СЭВ. Мне было поручено встречать и опекать представителя ГДР доктора Оскара Мильке - высокого и статного арийца с голубыми глазами и густыми, слегка тронутыми сединой, волосами. На банкете, посвященном окончанию совещания, который состоялся в столовой Дома Ученых на Кропоткинской, мы оказались с ним за столом рядом. Во главе стола сидел замдиректора, пожилой вальяжный красавец Андрей Аркадьевич Аксенов, время от времени провозглашавший разного рода официальные тосты. Мы же с доктором Мильке сидели довольно далеко, и надо было как-то общаться. Общение это было несколько затруднено тем, что ни по-русски, ни по-английски уважаемый доктор как будто не понимал, а мои познания в немецком языке, который я учил когда-то в школе, ограничивались фразой из учебника пятого класса "Анна унд Марта заген". Тем не менее, по мере роста числа тостов, провозглашенных Аксеновым, языковой барьер понемногу начал разрушаться. Я попал за банкетный стол прямо с работы, голодный. Поэтому, когда подали бифштекс, то по извечной своей привычке совершенно автоматически съел сначала гарнир, оставив мясо "для кайфа" на по том. Вдруг я заметил, что доктор Мильке с удивлением смотрит на мои действия и спрашивает: "Варум?" На обломках немецкого, английского и русского языков я начал объяснять ему, что я ленинградец, что детство мое пришлось на голодные военные годы, и что поэтому мясо для меня на всю жизнь - деликатес, который я оставляю на потом. Он, видимо, отлично все понял. Наполнив не рюмки, а полные фужеры водкой из новой бутылки, он вдруг хлопнул меня по плечу со всей арийской мощью и радостно закричал на весь стол, явно передразнивая мои беспомощные англо-немецко-русские

слова: "Ин зис кейс вир зинд бразерс дас ист фюр русси-ши - земляки". "Потому что, - продолжил он уже на русском языке, - я как раз есть воевал ленинградский фронт!"

Переезд в Москву осложнил и мои литературные дела. В конце семьдесят первого года в Ленинграде, в издательстве "Лениздат" вышла вторая книжка моих стихов, "Новая Голландия", во многом благодаря помощи и поддержке Нины Александровны Чечулиной, работавшей тогда редактором в отделе поэзии. В начале семьдесят второго года я сдал в Ленинградское отделение издательства "Советский писатель" рукопись третьей книжки. К этому времени я снова подал документы на прием в Союз писателей. Помню, как давший мне рекомендацию ленинградский поэт Вадим Шефнер сказал, горестно вздохнув: "Саша, у Вас плохие рекомендации. С такими рекомендациями в Союз могут не принять". "Почему?" - удивился я. "Ну, как же - рекомендации трех евреев". "Почему трех?" "Всех, трех, - продолжал Шефнер, - Слуцкий, Самойлов и я". "Но ведь Вы же - не еврей!" "Да, да, конечно, - я швед. Но кто это знает? Фамилия-то - Шефнер". Светловолосый и голубоглазый Вадим Сергеевич Шефнер вел свой род от шведского полковника, взятого когда-то в плен в битве под Полтавой.

В Союз писателей меня все-таки приняли осенью семьдесят второго года, уже после переезда в Москву. В связи с этим меня вызвал к себе генерал КГБ Ильин, возглавлявший тогда московскую писательскую организацию, и предупредил, что меня поставят здесь на учет только в том случае,' если дам подписку, что никаких жилищных претензий к московской писательской организации я иметь не буду. "Мы Вас сюда не звали и жилье Вам давать не обязаны", - заявил он.

Не успел я переехать в Москву, как в Ленинграде тут же выкинули из планов издательства мою третью книжку. "Вы теперь москвич - вот там и печатайтесь". В Москве меня, однако, никто печатать не собирался. Хождение по редакциям не принесло ничего кроме унижений и гадкого чувства устойчивого отвращения к себе и своим жалким стихам. Единственным лучом света в этом темном царстве оказалась хорошенькая девушка, работавшая тогда в отделе поэзии журнала "Знамя", взявшая у меня пару стихотворений, написанных в арктическом перегонном рейсе - еще мало в ту пору известная Наталья Иванова. Только через полгода, когда мои друзья-актеры театра "Современник" Людмила Иванова и Валентин Никулин познакомили меня с редактором отдела поэзии издательства "Советский писатель" Виктором Сергеевичем Фогельсоном, с именем которого были связаны издания таких поэтов как Слуцкий, Самойлов и другие,

мне удалось отдать в редакцию "Советского писателя" рукопись новой книги, которой суждено было пролежать там двенадцать лет. Сам Фогельсон, денно и нощно занятый работой и отягощенный многочисленными рукописями первоклассных поэтов, относился ко мне хотя и снисходительно, но безо всякого энтузиазма. "Может быть, мне пойти на прием к главному редактору?"

- робко спрашивал я у него. "К Егору-то? Ни в коем случае, - решительно обрывал он меня. - Во-первых, он Окуджаву терпеть не может, а ты тоже песни пишешь. А во-вторых, он только нос твой увидит и вообще тебя никогда печатать не будет".

Каждый год в течение восемнадцати лет своей жизни в Москве я как член московской писательской организации регулярно получал письменное приглашение сдать стихи в "День поэзии", и исправно, каждый год, отвозил их, как было указано, секретарю объединения поэтов, наивно надеясь хоть раз увидеть их напечатанными. Простодушные надежды эти оказались напрасными. Только сравнительно недавно умные люди объяснили мне, что посылать или отдавать стихи "просто так" - бесполезно. Надо давать их в руки "своим людям" в редколлегии с твердым наказом следить на всех этапах прохождения, чтобы их не выкинули. Уровень стихов при этом роли не играет. Несколько избалованный отсталой ленинградской этикой и "художественным цензом", я был изрядно обескуражен этим открытием.

Подборки моих стихов в то время по старой памяти продолжали печатать только ленинградские журналы.

Уже в конце семидесятых годов, когда моя рукопись давно и безнадежно пылилась в одном из шкафов на третьем этаже издательства "Советский писатель", где помещался отдел русской советской поэзии, кто-то из моих доброжелателей посоветовал мне отнести новую рукопись стихов в издательство "Современник". Заведующий отделом поэзии, на стол которого я положил папку с рукописью, даже не раскрыл ее. "У вас, - заявил он, - мы стихи для публикаций брать не будем". "Не имеете права, - возмутился я, - я член Союза". "Оставляйте, дело ваше, - сказал он скучным голосом. - Все равно толку не будет". Он был прав. Дав рукописи отлежаться положенное время, он позвонил одному из московских поэтов, известному в те поры своими антисемитскими высказываниями. "Саша, - сказал он, - тут надо одного еврея завалить. Нужна крепкая отрицательная рецензия. Возьмешься?" "Возьмусь, пожалуй, - ответил тот. - А как фамилия?" Услышав фамилию, Саша писать требуемую рецензию все-таки отказался. Не потому, однако, что питал повышенное

уважение к моей писанине, а скорее убоявшись, что это станет известно в кругу общих знакомых. Редактора это нисколько не смутило. Дав рукописи полежать еще, он без труда нашел другого желающего. Интересуясь судьбой своей рукописи и ничего в те поры не зная об активной работе редактора, я попросил было знакомого поэта, узнать, как обстоят мои дела в "Современнике" и по возможности помочь, взяв стихи на рецензию. "А ты какую рецензию писать собираешься? - ухмыльнулся редактор. - Положительную? Нет, нам это не подойдет".

Наконец, уже в январе 1984 года, я получил очень вежливое письмо на бланке издательства "Современник":

"Уважаемый Александр Моисеевич!

Редакция русской советской поэзии направила рукопись Ваших стихов "След в океане" рецензенту издательства члену СП СССР А. Николаеву.

В редакции внимательно познакомились со стихами, содержавшимися в рукописи, и в целом согласились с рецензентом: к сожалению, многие произведения не выдерживают издательского конкурса. Критерии "Современника", предъявляемые им к издающимся книгам, весьма жестки, они еще более возросли после постановлений Ноябрьского и Июньского пленумов ЦК КПСС.

Возвращаем Вам Вашу рукопись "След в океане" с рецензией А. Николаева и редакторским заключением.

С уважением:

заведующий редакцией русской советской поэзии

Л. Дубаев".

Именно в семидесятые годы, практически лишенный возможности печатать свои стихи и песни, испытывая острую необходимость в постоянном контакте с аудиторией, я начал чаще выступать с песнями и стихами. Здесь, в связи с переездом в Москву, тоже возникли некоторые проблемы. Не научившись смолоду играть на гитаре, я все годы постоянно испытывал трудности с аккомпанементом. В Ленинграде в последние годы мне довольно успешно аккомпанировал мой давний друг - исполнитель авторских песен Михаил Кане. В Москве же я оказался без аккомпаниатора. Правда, на самых ответственных концертах мне время от времени помогал своей великолепной гитарой Сергей Никитин, но ведь у него свои выступления! Первые годы после переезда в Москву поэтому мне приходилось перебиваться случайной помощью самых разных гитаристов, пока в 1977 году я на весеннем слете московского КСП не познакомился с одаренным музыкантом и исполнителем Михаилом Столяром. Он не только превосходно владел гитарой,

но и давал примитивным и часто банальным мелодиям моих песен неожиданную и подчас виртуозную музыкальную аранжировку. Стоя рядом с ним на сцене, я всегда чувствовал себя защищенным, несмотря на полное отсутствие у меня вокальных данных. Его абсолютное владение гитарой, чуткий артистический слух и способность на лету менять модуляции и ритмы, давали мне гарантию, что при любых "накладках" с моей стороны все обойдется. Некоторые музыкальные разработки аккомпанемента, сделанные им для таких песен, как например, "Меж Москвой и Ленинградом", "В городе Понта-Делынгада", "Романс Чарноты" или "Воздухоплавательный Парк", как мне кажется, представляют интерес сами по себе.

Оглядываясь назад, нельзя не заметить, что именно семидесятые годы, прежде всего в Москве, были временем максимального взлета авторской песни, подхваченной мощной волной движения самодеятельной песни, быстро распространившегося по всей огромной стране. Именно в это время резко усилившаяся бездуховность и фальшь брежневской эпохи, отразившаяся прежде всего в стремительной деградации песенного искусства и доморощенной и убогой нашей эстрады, заставила молодежь, особенно чуткую ко всякой неправде и двоедушию, искать для самовыражения собственные слова и мелодии. Довольно быстро сообразившее это партийное руководство во главе с серыми кардиналами Сусловым и Гришиным к концу семидесятых начали открыто расправляться с этим движением, увидев полную невозможность формализовать его через комсомол и направить в "нужное русло".

Начиная с семьдесят первого года мне довелось быть бессменным председателем жюри знаменитого Грушинского фестиваля на берегах Волги, неподалеку от Самары и Тольятти, о котором более подробно будет рассказано в другой главе "Поющие шестидесятые". Хорошо помню, как всего за несколько лет число участников этого никем не санкционированного и не организуемого фестиваля стихийно выросло от нескольких тысяч до более чем ста тысяч. И обкомом партии, и комсомолом предпринимались самые отчаянные попытки "оседлать" эту многотысячную молодежную стихию, сделать фестиваль "идейно выдержанным". Справедливости ради надо сказать, что я и сам, как председатель жюри приложил к этому руку, справедливо опасаясь провокаций, которые дали бы начальству законные основания закрыть фестиваль. Как только его не называли-и туристской песни, и патриотической песни! Пристегивали к спортивным и общественным мероприятиям и планам идеологической работы. Ничего не помогло. Упрямый дух

вольнолюбия десятков тысяч поющих у костров, песенный "социализм на зеленой горе", упрямо пробивался через официально утвержденную тематику конкурсов, как трава через асфальт. И в 1979 году фестиваль запретили. Одновременно запретили и другие слеты и фестивали-в Челябинске, Ленинграде, Москве, Минске, Киеве, Одессе и других городах. Реакция перешла в открытое наступление. Менее года оставалось петь затравленному и ошельмованному Высоцко му. Юлий Ким, все выступления которого были настрого запрещены, писал песенки для кино и театра под чужой фамилией. Булат Окуджава, махнув рукой на песни, переключился на прозу. Александр Галич, вышвырнутый за рубеж, погиб на чужбине.

Как ни странно, эти официальные гонения не только не достигли своей цели, но наоборот сильно укрепили позиции авторской песни в душах тогдашнего молодого поколения. Наиболее ярко это проявилось во всенародном оплакивании Владимира Высоцкого и широком распространении "магнитофониздата".

Большого труда стоило мне, особенно в первый год после переезда, притерпеться к самой Москве после, как оказалось, такого тихого и провинциального, Ленинграда. Жили мы в узкой комнатушке, в коммуналке, на пятом этаже старого дома на улице Вахтангова, где помещалось Щукинское театральное училище, выходившего торцом на шумный Калининский проспект - "вставную челюсть Москвы". Шумный, многолюдный, вечно грохочущий город, в самой середине которого я неожиданно оказался, неотступно тяготил своим постоянным присутствием. Раздражало поначалу решительно все -горбатые и кривые улочки с разношерстными домами, выводящие путника неизвестно куда, и почему-то бегущая сломя голову толпа на улицах, и московский неряшливый говор с мягким "г", и сами хамоватые и шумные москвичи, так непохожие на вежливых и немногословных ленинградцев. После просторной Невы, Финского залива и многочисленных ленинградских каналов, казалось совершенно противоестественным, как такой гигантский город может жить без воды - с одной только грязной и узкой Москва-рекой. Особенно остро это ощущалось в невыносимо жаркие летние дни, когда в центре города нечем было дышать от бензиновой гари, и приходилось искать спасения в жалких заросших тиной переделкинских прудах или грязных речушках, где воды по пояс.

Дело было, однако, не только в этом. К моему удивлению, сам темп работы и жизни в Москве оказался гораздо интенсивнее, нежели в Ленинграде. Немалого труда стоило приспособиться к этому. Ностальгическая печаль грызла меня, почти не отпуская.

Не реже раза в месяц я старался под тем или иным предлогом попасть в Ленинград, где уже на перроне Московского вокзала жадно хватал ртом его сырой и дымный канцерогенный воздух. Поистине "и дым Отечества нам сладок и приятен". Время шло, и постепенно, приезжая в родной Питер, я понемногу начинал замечать то, чего раньше, взглядом изнутри, мне видно не было. Мои земляки-ленинградцы оказались в массе беднее одеты, выглядели хмурыми и замученными, стройные улицы и гранитные набережные - донельзя забитыми грязью и мусором. Любимые с детства гордые фасады дворцов с их осыпавшейся штукатуркой и потрескавшейся старой краской напоминали прохудившуюся одежду промотавшегося дворянина. Пожалуй, ни в одном другом городе Союза не встречал я таких по-нищенски жалких новостроек, как в Купчино или на Гражданке. С болью признавался я себе, что "губернаторская власть - хуже царской". Почти все - наука, литература - за редким лишь исключением, театры, - все ветшало, становилось второсортным, обрастало трудно смываемым налетом российской провинциальности. Оставалась, пожалуй, незыблемой одна великая архитектура, одухотворенная своим прошлым.

В эти годы трудного привыкания к Москве, когда не слишком ладились дела на работе, не писались и не печатались стихи, единственной отдушиной, помогавшей жить, были наши друзья и знакомые. В дом наш, находившийся неподалеку от Центрального дома литераторов, да и вообще в самом центре Москвы, почти каждый вечер забредали какие-нибудь гости, не оставляя ни времени, ни места для печальных размышлений. "Макромир - ужасен, но микромир - прекрасен", - как любил говаривать Натан Эйдельман.

В тесной нашей комнатушке пересекались три круга приятельского общения. К первому относились друзья и знакомые, объединенные домом поэта Давида Самойлова в Опалихе - от Фазиля Искандера, бывшего вместе с Самойловым свидетелями при моей второй женитьбе, и Лидии и Эдуарда Графовых до историка Володи Лукина, возглавляющего ныне комиссию по иностранным делам Российского парламента. Второй круг состоял в основном из питомцев 110 школы, друзей и однокашников Игоря Белоусова. Больше всего мы подружились с тремя его близкими друзьями - Валей Смилгой, Натаном Эйдельманом и Юлием Крейндли-ным. Третий круг, пересекавшийся с первым и вторым, формировался из "поющих" приятелей - Виктора Берковского, Сергея и Татьяны Никитиных, Юры Визбора и других бардов.

При этом был еще четвертый круг, связанный с домом

писательницы Лидии Борисовны Либединской.

С ее квартирой в старом доме на Лаврушинском переулке и с дачей в Переделкино связаны для меня воспоминания о многих замечательных людях, бывавших там - от Михаила Аркадьевича Светлова и художника Иосифа Ильича Игина, оставившего замечательную галерею портретов-шаржей целого поколения поэтов и писателей, прежде всего своего друга - Светлова, до Александра Иванова и чтецов Александра Кутепова и Якова Смоленского. Не рискую писать об этом подробно, поскольку сама Лидия Борисовна гораздо лучше написала о своих гостях в книге "Зеленая лампа" и других книгах. Замечу только, что сама она многие годы обладала и обладает удивительным талантом притяжения к себе самых интересных людей, собиравшихся за ее столом. Неслучайно у нее в доме хранится скатерть с автографами, отразившими целую эпоху нашей литературы.

Из многочисленных гостей Лидии Борисовны запомнилась мне "Лидочка" Бать, ровесница века, рассказавшая когда-то забавную историю, как ее и других гимназисток в конце октября семнадцатого года юнкера пригласили на осенний танцевальный бал в Зимний дворец. В самый разгар бала вдруг началась какая-то пальба. Дежурный офицер, извинившись перед девушками, объяснил, что танцы временно прекращаются, и проводил их в какую-то комнату, успокоив, что все скоро кончится, и он за ними вернется. В этой дворцовой комнате они просидели всю ночь. Только под утро распахнулась дверь, и в комнату ворвались матросы, перепоясанные крест-накрест пулеметными лентами. Гимназисток они не тронули, более того, даже выделили двух красногвардейцев, которые проводили их по домам, поскольку время было неспокойное. Когда Лидочка подошла к воротам своего дома, то увидела мамашу, стоявшую у ворот с бледным лицом в окружении сочувствующих соседей. "Лидочка, что случилось? - негодующе спросила мать. - Ты, девочка из порядочной семьи, не ночевала дома!" "Мама, революция", - ответила Лидочка, на что мать строго отрезала: "Чтобы это было в последний раз!"

Одна из многочисленных дочерей Либединской, Тата, была давней подругой и однокашницей моей жены. Еще в конце шестидесятых годов мы познакомили Тату с нашим московским приятелем поэтом Игорем Губерманом, за которого она вскоре вышла замуж. Об Игоре стоит рассказать отдельно…

Впервые я встретился с Игорем Губерманом осенью шестьдесят второго года, в квартире общих знакомых, в огромном доме на Большой Бронной улице, где жила со своим мужем переводчица Галя Андреева, приятельница Генриха Штейнберга.

Его некрасивое на первый взгляд лицо с крупным изогнутым носом и ярко выраженными семитскими чертами, уже через полчаса общения с его обладателем казалось обаятельным и прекрасным. Завораживающие, постоянно чему-то смеющиеся глаза, не признающая никаких преград контактность и шутливый, независимо от степени серьезности или даже трагизма темы стиль разговора, сразу же подкупали любого собеседника. О собеседницах нечего и говорить. Однако более всего при первом же знакомстве поразили меня стихи Игоря - короткие, ни на что не похожие, шуточные, как поначалу мне показалось, четверостишия или восьмистишия. Выяснилось, что некоторые из них я уже слышал раньше, но думал, что они "народные". Например, такие:

Из комсомольского актива
Ушел в пассив еще один -
В кармане для презерватива
Теперь ношу валокордин.

Так я впервые познакомился с его стихами…

Поэзия Игоря Губермана - явление во многом уникальное. В его емких четверостишиях, которые он сам называет "дацзыбао", удивительным образом сочетаются лаконизм японской танки, трагически-веселое Зазеркалье обернутое и афористичная сочность русской частушки.

Стихотворчество для него прежде всего игра, скоморошина, где под веселой, нарочито смеющейся личиной, можно спрятать умное и горькое лицо. Традиция эта "горьким слоем моим посмеются", ставшая классической в отечественной прозе - от Гоголя до Зощенко, и нашедшая яркое отображение в авторской песне шестидесятых годов - от Галича до Высоцкого и Кима, достаточно редко появлялась в поэзии со времен Козьмы Пруткова и разгромленных Сталиным обернутое.

Далеко не каждый человек обладает чувством юмора. Стихи Губермана могут служить своеобразным тестом, разделяющим людей на две противоположные категории. Сам поэт так пишет об этом:

Из нас любой, пока не умер он,
Себя слагает по частям
Из интеллекта, секса, юмора,
И отношения к властям.

Возможно именно поэтому емкие легко запоминающиеся четверостишия практически не оставляют читателей или слушателей "равнодушными - их или активно принимают или так же активно не принимают. Помню, как более двадцати лет назад один из известных наших поэтов испуганно выгнал Игоря со своего поэтического семинара, поначалу восприняв прочитанные им там ("тихи как провокацию. Справедливости ради следует сказать, что именно он прописал потом автора в своем доме после его возвращения из заключения.

Родившись в Москве в 1936 году и закончив технический вуз, Игорь Губерман сменил много профессий - от журналиста до "химика"-электрика. Он автор нескольких научно-популярных книг, получивших известность в семидесятые годы. Но, пожалуй, главным в его литературном творчестве были и остаются эти самые "дацзыбао", которые он с необычайной легкостью придумывал всегда и везде. Много лет он разбрасывал их вокруг себя, дарил близким и полузнакомым людям, совершенно не заботясь о дальнейшем судьбе и даже просто сохранности своих стихов, и вряд ли видя в них предмет серьезной литературы. Эти короткие, смешные и едкие четверостишия, постоянно сопровождая автора в его нелегком жизненном пути и чем-то заменяя ему дневник, давали вполне реальную психологическую возможность не принимать всерьез окружающий уродливый социальный мир, где властвовали человеконенавистнические и откровенно лживые законы. Шутовской колпак с бубенчиками, чей звон иногда оказывался погребальным, по самим граничным условиям этой придуманной им игры, позволял выламываться из жестких рамок унылой и фальшивой действительности "страны развитого социализма".

У меня до сих пор лежит на полке его научно-популярная книга "Чудеса и трагедии Черного ящика", сплошь исписанная от руки его четверостишиями. Такими, например:

Я государство вижу статуей -
Большой мужчина, полный властности.
Под фиговым листочком спрятан
Огромный орган безопасности.

или:

Вожди милее нам втройне,
Когда они уже в стене.

или:

За все на еврея найдется судья -
За живость, за ум, за сутулость.
За то, что еврейка стреляла в вождя,
За то, что она промахнулась.

Игра эта, однако, оказалась далеко не безопасной. Не будучи нигде напечатаны, его стихи ходили в списках или в изустном переложении по всей нашей огромной стране в течение "застойных" лет - как своеобразное проявление современного фольклора. Мне, например, в семидесятые годы неоднократно читали самые разные "дацзыбао" Игоря то в Киеве, то в Челябинске, то в Петропавловске-Камчатском. Острая и беспощадная политическая сатира его легко запоминающихся строк не могла не обратить на себя самое пристальное внимание "литературоведов в штатском". Не об этом ли написал он сам в своих насмешливо-трагических строчках?

Лубянка по ночам не спит,

Хотя за много лет устала,
Меч перековывая в щит
И затыкая нам орала.

Характерной особенностью стихов Игоря Губермана, вызвавшей особенно резкую реакцию всех охранительных учреждений, явилось то, что в них впервые получило свой голос русское еврейство, еще с послевоенного времени и "дела врачей" обреченное на вынужденное молчание. Утвержденный еще Сталиным государственный антисемитизм, хотя, конечно, и ханжески отрицаемый властями, начало которому было положено печально известной борьбой с "космополитами", особо пышным цветом расцвел в годы брежневского правления. Если раньше били "космополитов", то теперь "сионистов", понимая под этими терминами, придуманными для "отмазки" от западной прессы, все тех же евреев. Именно эта многолетняя пропаганда, нагнетавшая истерию "борьбы с сионизмом", создала реальную базу для разнузданного параноического антисемитизма нынешней "Памяти" и ее "литературных" вдохновителей. Не об этом ли писал Губерман в одном из своих пророческих четверостиший:

Дух старый, но свежеприлипчивый,
Когда воцарится везде,

То красный, сходя на коричневый,
Обяжет нас к желтой звезде.

или:

Царь-колокол не звонит поломатый,
Царь-пушка не стреляет, мать ети!
И ясно, что евреи виноваты -
Осталось только летопись найти!

- Еще в конце шестидесятых, наблюдая начало эмиграции евреев 'из страны, он с горечью написал:

Евреи продолжают разъезжаться
Под свист и улюлюканье народа,
И скоро вся семья цветущих наций
Останется семьею без урода.

И все-таки, при всем том, стихи Игоря Губермана - явление прежде всего российской поэзии. В строках его, казалось бы, самых саркастических стихов без труда просматривается наивная неистребимая любовь к неласковой своей Родине, невозможность существования вне ее:

Живым дыханьем строки грей
И не гони в тираж халтуру:
Сегодня только тот еврей,
Кто теплит русскую культуру.

Принявший участие в диссидентском движении семидесятых годов, Губерман, видимо, отчетливо сознавал, чем рискует. Не зря написал он в то время:

Когда страна - одна семья,
И все вокруг отлично ладят,
Скажи мне, кто твой друг, и я
Скажу, когда тебя посадят.

Будучи человеком азартным и страстным, в силу своей неистребимой доброжелательности и контактности, чрезвычайно доверчив к мало знакомым людям, еще и став на свою беду при

этом собирателем икон, он быстро оказался жертвой сфабрикованного в 1979 году уголовного дела и получил пять лет лагерей.

И я сказал себе - держись,
Господь суров, но прав:
Нельзя прожить в России жизнь,
В тюрьме не побывав.

Именно здесь проявились мужественность и стойкость его характера, столь отличного от улыбчивого веселого облика. В нечеловечески трудных условиях принудработ и карцеров он ухитрился написать десятки новых "дацзыбао", хотя прекрасно сознавал, что будет, если их обнаружат при "шмоне", и собрать материал для автобиографической книги прозы "Прогулки вокруг барака".

Вот что пишет по этому поводу сам автор в предисловии к одному из зарубежных изданий своих стихов: "Во время следствия, тянувшегося очень долго, ибо расследовать было заведомо нечего, я усердно писал стихи. То же самое делал я, странствуя по этапам из одной тюрьмы в другую, покуда, как замечательно сказано классиком, я приближался к месту своего назначения. Это доставляло мне удовольствие куда большее, чем занятие тем же самым на воле. Только вот хранить эти клочки бумаги было невероятно трудно. Гораздо труднее чем исписывать. Кроме обязательного обыска при поступлении в каждую тюрьму, а часть и при выезде из них, были еще десятки обысков: плановых, по случаю, по подозрению, по доносу, просто приуроченных к празднику. Почему именно 8 марта, 1 мая и 7 ноября заключенные особенно опасны, я понять и дознаться так и не сумел, но в праздники нас всех и камеры непременно обыскивали. К этому еще следует добавить обыски в вагонах на этапе. Тем не менее, мне удалось сохранить и переправить большую часть написанного в тюрьмах и по дорогам между тюрьмами. Сохранить стихи эти мне хотелось не только из-за естественного для автора заблуждения относительно их качества, но и от яростного желания доказать, что никогда и никому не удастся довести человека до заданного состояния опущенности, безволия, апатии и покорного прозябания в дозволенных рамках.

Очень многие, часто совсем неожиданные люди помогали мне, никогда не спрашивая, что они прячут."

Отбыв срок наказания и вернувшись в Москву в 1984 году, Игорь Губерман пытался вновь заняться литературным трудом, писал сценарии научно-популярных фильмов, начал работу над

книгой прозы о семье художника Бруни. Въезд в Москву для него был воспрещен, и он жил в Малоярославце, на "сто первом километре", по поводу чего написал "шуточные" стихи:

За городом такая красота!

На воздухе я счастлив беспредельно:
Сбылась моя давнишняя мечта, -
Любить свою семью и жить отдельно.

Длилось это, однако, недолго. Время от времени ему неизменно ; напоминали, что он "под колпаком". А через три года его вызвали и объявили, что министерство внутренних дел приняло решение о его выезде. Вновь, уже в который раз, сработала тупая и неумолимая машина, выбрасывающая российских литераторов за рубеж. Уже перед своим отъездом, с надеждой и тревогой всматриваясь в завтрашний день нашей страны, он писал:

Погода наша хорошеет,
Но мы с эпохой не в ладу -
Привычка жить с петлей на шее
Мешает жить с огнем в заду.

Наблюдая еще не оперившуюся, робкую, трудно рождающуюся 'нашу демократию, он посвятил ей напутственные слова:

Весело и отважно,
Зла сокрушая рать,
Рыцарю очень важно
Шпоры не обосрать.

Не Астафьеву ли и Распутину адресуются его горькие стихи:

Любой большой писатель русский,
Жалел сирот, больных и вдов,
Слегка стыдясь, что это чувство
Не исключает и жидов!

И уже не вызывают никакой улыбки его предотъездные стихи:

Не могу эту жизнь продолжать,

А порвать с ней - мучительно сложно.
Тяжелее всего уезжать
Нам оттуда, где жить невозможно.

Теперь Игорь Губерман живет в Израиле. Живется ему там по-фазному. В силу неистребимой непримиримости своего насмешливого характера он и там уже успел поссориться с всемогущими религиозными фанатиками, не позволяющими правоверным евреям ставить на один стол мясную и молочную еду, зачитав по иерусалимскому радио такие стихи:

Еврею нужна не простая квартира.
Еврею нужна для житья непорочного
Квартира, в которой два разных сортира -
Один для мясного, другой для молочного.

Не без грусти написал он мне в одном из последних писем:

Варясь в густой еврейской каше,
Я остаюсь угрюм и тих.
Кругом кишат сплошные наши,
Но мало подлинно своих.

Прочитав эти строки, я вдруг вспомнил, как в конце шестидесятых в моем родном Питере, где-то на Таврической улице около двенадцати ночи Игорь, выйдя вместе со мной из гостей, прыгал по тротуару на одной ноге, громко распевая песню:

Норильск не порт и не курорт -
Это лагерь, стеной огороженный.
Там бьют жидов у кромки льдов,
А потом заедают мороженым.

Пение это внезапно было прервано милицейским свистом. Подошедший постовой потребовал от нас штраф за то, что мы нарушаем покой граждан после нуля часов, но услышав, что речь идет о жидах, сказал: "Ладно, пойте, только потихоньку". Наши лица он в темноте не разглядел.

В последние годы у Губермана за рубежом вышли три книги стихов и уже упомянутая книга "Прогулки вокруг барака",

поражающая трагизмом своей жестокой документальности и неистребимым оптимизмом автора.

И все-таки лучшие его стихи остались на родине. Чаще всего как безымянный народный фольклор, без имени их автора. Грустные и смешные, добрые и непримиримые, полные горьких раздумий и жизнелюбия, они могут жить подлинной жизнью только внутри российской действительности, их породившей.

Летом 1973 года, в Коктебеле, мне довелось познакомиться с вдовой Максимилиана Волошина - Марией Степановной, незадолго до ее смерти. Мы с ней несколько раз поднимались на гору к могиле Волошина и она рассказывала еще не опубликованные в те годы истории о его не состоявшейся дуэли с Гумилевым, о письме, которое он написал во врангелевскую контрразведку, чтобы вызволить арестованного Мандельштама. По просьбе благоволившей ко мне Марии Степановны мне даже посчастливилось петь свои песни в высокой мастерской Волошина для небольшого круга пожилых людей, еще помнивших недолгий "серебряный век" российской поэзии.

Помнится, тем же летом поэт Юрий Ряшенцев познакомил меня с заместителем директора Центрального дома работников искусств Петром Семеновичем Фрединым, невысоким бодрым старичком с густым бобриком коротко стриженых седых волос и энергичной походкой. Выяснилось, что Петр Семенович, которому в то время исполнилось уже восемьдесят четыре года - личность в известной степени легендарная. Еще до революции он был одним из известнейших одесских шансонье, пел на свадьбе у Бени Крика ("Ну, таки, не у Бени Крика, а у Мойши Япончика, но вы ведь понимаете, что это одно и то же лицо!"), вел дружбу с Ядовым - автором знаменитой "Мурки" и был всеобщим любимцем одесситов.

Юра представил меня ему как одного из ведущих современных бардов. "Это вот вы один из тех, которые современные?" - прищурившись, спросил Петр Семенович, скептически оглядев меня. - Что они все такие же паршивенькие? Нет, нет, молодой человек, вы, пожалуйста, не обижайтесь, я думаю, что вы не хуже тех других, которых я не видел. Но ведь, если разобраться, что вы можете? Вас что, кто-нибудь знает или любит? Вас уважает кто-нибудь, как уважали меня в старое время? Думаю, что нет. Вот когда я в Одессе ехал со свадьбы Бени Крика, то меня везли на фаэтоне с зажженными фонарями, а на подножках слева и справа стояли налетчики в черных масках и с наганами, чтобы меня, не дай Бог, никто не обидел. Так меня уважали, потому что я был народный певец. Вы можете на это пожаловаться?"

Я упрашивал Петра Семеновича спеть что-нибудь из своего репертуара. Он долго отнекивался, но, наконец, сдался и спел пару своих старых песен. Одна из песен была посвящена любовной теме. Автор описывал свою любовь к весьма толстой даме, с которой у него ничего не вышло, а потом он полюбил тощую. На фоне довольно пошлого и банального текста мне в память запали две поистине замечательные строчки:

Целовал без всякой злости
Эти кожи, эти кости.

В конце тридцатых Петр Семенович был посажен, как и многие, по ложному доносу и около пятнадцати лет отсидел в Колымских лагерях. Только его несокрушимый оптимизм и твердый характер да оказавшееся богатырским здоровье, помогли ему выжить в этих

нечеловеческих условиях.

"Когда меня допрашивали, меня били палкой по голове, - рассказывал он,

- и требовали, чтобы я сознался, что я - резидент итальянской разведки. Я сначала никак не мог понять, что такое - резидент. Я думал, что резиденция

- это дом такой, дворец, где живет высокий гость. А меня все били и кричали, чтобы я не валял дурака и сознавался. И знаете, у них-таки были к тому основания". "Какие основания? - спросил я, - Вы что, были в Италии?" "Да нет, конечно, не был". "Может быть, у вас какие-нибудь родственники в Италии?" "Не морочьте мне голову, неужели я по вашему похож на человека, у которого могут быть родственники в Италии?" "Так какие же основания у них были?" - удивился я. "Дело в том, что когда я в двадцать первом году был в Житомире, то целые сутки жил в гостинице с названием "Италия"... - История прижизненной реабилитации Петра Семеновича была не менее трогательной.

"Меня вызвал к себе очень симпатичный молодой полковник , - улыбаясь, продолжал он свое повествование, - и сказал: Петр Семенович, выяснилось, что мы зря продержали вас пятнадцать лет в лагерях. Только я очень вас прошу, не держите за это на советскую власть". "И что вы ему ответили?" "Я ему ответил: товарищ полковник, ну как я могу держать на Советскую власть? При какой другой власти бедный местечковый еврей мог бы стать резидентом итальянской разведки?"

Осенью семьдесят третьего года мне снова открыли визу в загранрейсы, и началась полоса почти ежегодных океанских экспедиций в самые разные районы Мирового океана. В

последующие десять лет мне довелось плавать во всех океанах, высаживаться на берега многочисленных островов от Северной Атлантики до Антарктиды, опускаться на океанское дно на обитаемых подводных аппаратах.

Больше всего мне пришлось ходить в те годы все на том же "Дмитрии Менделееве", где теперь меня внесли в список "ветеранов судна". В 1973-1976 годы мне довелось четырежды побывать в Австралии, и дважды - в Новой Зеландии. Первое же знакомство с Австралией, так непохожей на европейские страны, сразу показывает, что вы попали на другой материк, почти на другую планету. Все - вверх ногами: жаркий север и холодный юг. Солнце светит с севера. Единственное хищное существо на всем континенте (не считая крокодилов) - дикая собака Динго, да и та завезена европейцами. Помню, как поразило нас, когда мы обнаружили, что в городе Сиднее существует пивопровод. Поворачиваешь кран, и прямо в твоем доме из крана течет превосходное пиво! Не забывай только платить по счетчику.

При первом же заходе в Австралию, в порт Аделаида, нам, как и положено, раздали паспорта перед увольнением. Прибывший на судно советский консул однако сказал, что паспорта с собой брать не надо. "Как не надо? - не понял перпом, - а как же я смогу удостоверить, что я - это я?" "Очень просто - скажете" - улыбнулся консул. Нас, советских людей, страшно поразило, что люди, оказывается, могут жить без паспортов и, как выяснилось, довольно неплохо. В Австралии, однако, удивляло многое. Удивляли черные страусы эму и кенгуру, свободно разгуливающие в эвкалиптовых парках в пригородах Мельбурна и Аделаиды. Удивила в воскресный день демонстрация женщин в Сиднее, во главе которой две здоровенные девахи несли своеобразный транспарант. "У вас что, запрещена лесбийская любовь?" - недоуменно спросил я у нашего австралийского коллеги. "Нет, конечно", - ответил он. "Чего же они требуют в таком случае?" "Заключения законных браков".

Помню в первом же увольнении в Сиднее мы с моим приятелем Олегом Николаевым, страстным собирателем морских раковин, пришли на роскошный городской пляж с тонким жемчужным песком и, несколько удивленные тем, что никто не купается при такой теплой воде, немедленно бросились в нее. Мы уже доплыли до буйков, когда заметили, что по берегу бежит какой-то человек, машущий нам руками и кричащий: "Шакс, шакс!" Оказалось, что купание в этот день было настрого запрещено, - близко к берегу подошли акулы. Когда до нас дошел смысл его криков, мы со всех сил устремились к берегу. Надо сказать, что несмотря на испуг плыли мы довольно медленно, так

как выгребали только одной рукой. Второй каждый оберегал свое наиболее дорогое и уязвимое место.

В том же Сиднее, часов в десять вечера, когда увольнение в город, разрешенное обычно только на "светлое время суток", уже закончилось, заместитель начальника рейса, бывший одновременно представителем институтского партбюро на судне, и первый помощник потащили меня в качестве переводчика на берег смотреть сексфильм "Австралия после полуночи". Около двух часов, усадив меня в середине, они мучили меня постоянными требованиями синхронного перевода, хотя события, происходившие на экране, ни в каком решительно переводе не нуждались. "А что он ей сейчас сказал?" - ежеминутно интересовались мои соседи. "А она ему?" Когда свет, наконец, зажегся, выяснилось, что в зале находится еще одна тройка с нашего судна: две буфетчицы из кают-кампаний в сопровождении судового механика. Увидев помполита, они тут же растворились в толпе. Уже поздно вечером, когда мы возвратились на судно, в дверь моей каюты постучали. Вошли обе девицы, Таня и Галя, встретившиеся нам в кино и поставили на столик бутылку "Столичной", которая сама по себе была на судне крайним дефицитом. Судя по румянцу на их лицах, перед этим они уже успели выпить. "Александр Михайлович, - заявила Галя, - мы вот с вами вместе в кино были. Но мы английского не знаем, поэтому не все поняли. Вы не могли бы нам кое-что перевести и объяснить?" - "А почему же вы вдвоем пришли?" - неловко попытался пошутить я. "Как почему? - совершенно серьезно ответили они. - Там же все время - две женщины с мужчиной".

В городе Аделаида, увидев напротив городского пляжа небольшой остров Кенгуру, оказавшийся вполне реальным, я вспомнил вдруг свое давнее знакомство с Новеллой Матвеевой, из песни которой я впервые услышал, что есть такой остров:

Где-то есть страна Дельфиния
И остров Кенгуру.

Помню, в середине шестидесятых годов, открыв для себя акварельную живопись ее жизнерадостных песен, как бы продолжившую недолговечный сказочный мир Грина, я решил обязательно с ней познакомиться. Жила она тогда в огромной коммунальной квартире в большом доме, выходившем окнами на железную дорогу и Ваганьково кладбище, на углу Беговой улицы и Хорошевки. Нищета и неустройство ее быта, несоответствие реалий суровой жизни с добрым и безгранично-щедрым миром ее счастливых героев поразили меня. Каким же талантом, и

поэтическим, и душевным, надо было обладать, чтобы, упорно не замечая убожества несчастного нашего существования, выстроить в черно-белых московских сумерках, наполненных железным лязгом поездов белорусского направления и сизой бензиновой гарью от самосвалов, громыхающих по Хорошевскому шоссе, этот многоцветный мир, пахнущий океанской солью и диковинными цветами!

Именно от запаха цветов, струящегося снаружи через открытые иллюминаторы, я проснулся рано утром, когда судно медленно втягивалось в бухту порта Хоббарт на острове Тасмания. Нигде и никогда более не видел я такой первозданной природы, эндемичного, как у Конан-Дойля, мира и счастливых людей, совершенно непричастных к нашим европейским проблемам, не говоря уже, конечно, о российских.

Не меньшее впечатление оставила и Новая Зеландия, небольшая и чистенькая "овечья" страна, благословенные задворки беспокойного мира. Помню, как сокрушалась приехавшая на судно молоденькая жена нашего пресс-атташе: "Я думала, Володя меня действительно за границу везет. А здесь такая скукота - прямо как у нас. Одно название, что Новая Зеландия". В Веллингтоне я неожиданно встретился с собственной песней, правда, уже переведенной на английский язык и записанной на пластинку в исполнении джазового трио "Сансет ин Кенада".

Местные корреспонденты, побывавшие на "Менделееве", сокрушенно писали, что, судя по всему, в России плохо с белой мукой, так как русские на борту вынуждены питаться черным хлебом. Одновременно представители советского посольства бережно грузили в свои "холдены" и "форды" буханки "черняшки", чтобы потом порадовать своих домочадцев…

В том же семьдесят четвертом году, в 12 рейсе "Дмитрия Менделеева", я впервые попал в Токио, один из крупнейших городов мира, поразивший нас своей принадлежностью уже пожалуй не к двадцатому, а двадцать первому веку. Я долго вспоминал, где я уже видел этот гигантский мегаполис, рассчитанный не столько на людей, сколько на автомобили, и вдруг узнал его. Видел я его в фильме Андрея Тарковского "Солярис", снятом по фантастической повести Станислава Лема, где изображается город будущего.

В семьдесят шестом году, уже в 16 рейсе "Дмитрия Менделеева", снова заходившего и в Австралию, и в Новую Зеландию, мне посчастливилось попасть на острова Тасманова моря Норфолк и Лорд-Хау, а также Антарктические острова Кемпбелл и Маккуори. На острове Маккуори, где живут пингвины

и морские слоны, нам не повезло. У самого берега, не защищенного от открытой океанской волны, неожиданно перевернулась резиновая лодка, доставлявшая нас на берег (мотобот не мог подойти к береговым камням вплотную), и мы оказались в воде. С непостижимой скоростью, вскочив на ноги, мы побежали от следующего океанского вала. Бодрость наша подстегивалась тем, что температура воды у берега была около девяти градусов. На берегу нам на помощь пришли австралийские полярники, приложившие все усилия, чтобы не дать простудиться. В ответ на их заботы мы пригласили их на судно. Оттуда они уехали уже далеко заполночь, размахивая подаренным им красным флагом и сильно рискуя не отыскать в темноте свой родной остров.

Случались в этом рейсе истории и менее веселые. На острове Норфолк неожиданно погиб во время прибрежного купания тридцатилетний моторист Юрий Пересторонин. Мне впервые пришлось наблюдать мрачный и торжественный погребальный обряд морских похорон.

В семьдесят седьмом-семьдесят девятом годах, в 21 и 23 рейсах Дмитрия Менделеева", мне довелось много плавать в северной части Тихого океана - от Токио до Сан-Франциско и дважды заходить на Гавайские острова. Забавный случай произошел с нами в Гонолулу в 1978 году. Тройка наша во главе с начальником нашего ряда Иваном Ивановичем, страстным фотографом, отправилась, вечер поглазеть на "местный колорит". Надо сказать, что выходы в город в одной тройке с Иваном Ивановичем всегда отличались обычных. Фанатичный фото- и кинолюбитель, Иван Иванович всегда таскал с собой минимум два фотоаппарата - для слайдов и черно-белой пленки, киноаппарат, и, кроме того, всевозможные насадные объективы и разного рода штативы и экспанометры. Объемистое это имущество грузилось в специальный саквояж, который таскали все по очереди. Сам Иван Иванович, обвешанный тремя аппаратами, два из которых он постоянно держал в руках, ретро перебирая своими худыми ногами в белых тропических шортах, обычно стремительно вырывался вперед, стараясь углядеть какой-нибудь живописный кадр. Мы с моим приятелем Лешей Сузюмовым еле за ним поспевали. Так было и на этот раз. Уже стало темнеть, когда мы добрались до припортовой части Гонолулу - так называемого "Китайского города", где располагались многочисленные секс-шопы, кинотеатры, ночные бары со "стрип-шоу" и другие сомнительные заведения. Иван Иванович, как обычно, шел впереди. Вдруг из ближайшей подворотни выскочило какое-то лохматое существо, как оказалось

женщина, либо пьяная, либо "под кайфом", с криком "секс-секс" бросилось на Ивана Ивановича, намертво спившись худыми пальцами в самое его мужское сердце. От неожиданности, а возможно и от боли, Иван Иванович вскрикнул. Руки его, однако, были заняты фотоаппаратами, и он оказался совершенно беззащитен. Женщина, не отпуская, потащила его за собой в калитку - и он пошел (а что он мог еще сделать?). Мы бросились ним. "О - кей", - заулыбалась женщина, увидев нас и радуясь большому заработку. "Аппараты возьмите!" - страдальческим голосом крикнул Иван Иванович. Мы с Алексеем подхватили у него аппараты, и он начал отчаянно отдираться обеими освободившимися руками. Поняв, что добыча буквально ускользает из рук, женщина в свою очередь яростно закричала. На ее крик немедленно появились еще два или три таких же лохматых видения. Выдернув из ее цепких рук Ивана Ивановича, мы позорно бежали до самого судна, лишь пару раз остановившись, чтобы перевести дух. Примерно неделю лечил он кровоподтеки и царапины, ставшие результатом этого внезапного нападения.

В том же двадцать первом рейсе мне впервые посчастливилось принять участие в одном из первых погружений на океанское дно в обитаемом подводном аппарате "Пайсис", незадолго до этого построенного по заявке нашего института в Канаде. В свое первое погружение я попал случайно - "дуриком". Прибывшие на борт "Дмитрия Менделеева" лихие наши подводные пилоты во главе с Анатолием Сагалевичем и Александром Подражанским, уже набравшие немалый опыт погружений на "Пайсисах" на озере Байкал, любили петь песни под гитару, в том числе и мои. Толя Сагалевич и сам писал песни. Подружившись со мной, они начали требовать, чтобы я написал для них "Песню подводного пилота". В ответ я им объяснил, что умею писать только "с натуры", как обучавшие меня некогда эвенки. "Возьмете в погружение - напишу, а нет - так ничего не получится". Это и решило мою участь, дав начало удивительной серии подводных погружений в разных океанах на всех имеющихся видах подводных аппаратов - "Пайсисе", "Аргусе" и, наконец, "Мире". Но об этом - несколько позднее.

Следует сказать, что обещанную песню подводного пилота я после первого же погружения написал. Пилотам она понравилась, и они взяли ее на вооружение, дружно распевая на всех многочисленных вечеринках. А вот директору института Монину она пришлась не по душе. "Это трусливая песня, - со свойственной ему безапелляционностью заявил он, прослушав. - Они радуются тому, что всплывают. А настоящие подводники

должны радоваться, когда погружаются". Не знаю как "настоящие подводники", а я каждый раз радовался очередному всплытию не меньше, чем погружению. Судя по тому, что и у самих пилотов любимый тост гласит: "Чтобы число всплытий равнялось числу погружений", они тоже ближе к моему, а не директорскому мнению.

В семьдесят седьмом году на другом судне, "Академик Курчатов", мы отправились в геолого-геофизическую экспедицию с Ю. П. Непрочновым в Северную Атлантику и юго-восточную часть Тихого океана для изучения глубинных разломов океанского дна. В этом трудном рейсе нам впервые удалось получить сведения о строении одной из самых больших трещин в океанской коре

- разломе Элтанин, расположенном в юго-восточной части Тихого океана, на полюсе относительной недоступности, где шторм девять баллов - нормальная погода. По пути мы заходили на солнечные Азорские острова. До сих пор помню маленький городок Понта-Дельгада на зеленом острове Сен-Мигел, прилепившийся на склоне одного из величественных вулканов, гниющую воду в порту Кальяо у берега Перу, над которой с криками кружатся сотни пеликанов, маленький безлюдный остров Кокос в Тихом океане, сплошь заросший "дождевым лесом" и усеянный кокосовыми орехами. Больше всего запомнился однако Панамский канал, соединяющий два великих океана, по которому судно наше двигалось много часов, перепрыгивая снизу вверх, по водяным ступенькам шлюзов. В связи с этим вспоминается история, рассказанная мне когда-то Игорем Белоусовы м о его первом прохождении Панамского канала. Они со Смилгой набрали "изысканных напитков" и устроились в каюте Белоусова перед большим квадратным окном, чтобы посмотреть на Панамский канал. Поскольку судно еще стояло в заливе в ожидании своей очереди входить в канал, они решили для начала выпить по стаканчику. Когда они снова посмотрели в окно, То опять увидели океан. Выяснилось, что канал давно прошли. Уже на обратном пути судно зашло в Лас-Пальмас, где случилось описанное выше "питейное происшествие", и в шведский порт Гетеборг. Здесь, в порту, у причала стоит старинный памятник погибшим морякам - бронзовая позеленевшая от времени фигура женщины. Подняв фонарь в правой руке, она мучительно и безнадежно всматривается в морскую даль.

Огромное, незабываемое впечатление осталось от коралловых островов в Океании и Полинезии. В те годы добыча кораллов на безлюдных коралловых островах Тихого океана еще не была запрещена, поэтому каждое такое посещение превращалось в

настоящую охоту за кораллами и раковинами. После захода на коралловые атоллы на судне долго нечем было дышать - во всех лабораториях даже каютах стояла нестерпимая вонь гниющих кораллов, упорно обороняемых их владельцами. Неслучайно возникла судовая пословица "свой коралл не пахнет". Дело однако даже не в кораллах. Когда плывешь, медленно перебирая ластами и опустив лицо в маске в прозрачную воду над коралловыми рифами, тебя охватывает "лущение непередаваемого счастья от созерцания солнечного и многокрасочного мира, медленно скользящего под тобой, как земля под летящим ангелом. Красными, зелеными, голубыми цветами мерцают коралловые рощи, между которыми порхают серебряные стайки рыб. Ярко малиновыми, лиловыми и синими бархатными красками вспыхивают распахнутые тридактны. Лучи ослепительного солнца, преломляясь в бирюзе прозрачной воды, вдруг выхватывают из мягких сумерек то ползущего бочком краба в розовом панцире, то лунно-молочную устричную раковину, то белоснежный коралловый песок. При добыче кораллов плавать приходилось в кедах, тренировочном костюме и перчатках, потому что от коралловых царапин остаются долго не заживающие ранки. На руке висит сит на веревке фомка для отламывания кораллов. При этом постоянно надо следить, нет ли поблизости акул. Помню, как на атолле Хермит в Южно-Гвинейском море, подплыв к борту кораллового рифа, я сдуру сунул фомку в какое-то отверстие. Оттуда немедленно высунулась отвратительная змеиная морда с кривыми зубами и горящими зелеными глазами. Мурена! От страха я так растерялся, что пару секунд тупо и неподвижно смотрел на нее, как кролик на удава. Потом, опомнившись, рванул прочь со скоростью атакующего торпедного катера. К счастью, мурена меня не преследовала.

Что касается акул, то они доставляли нам больше всего неприятностей. Дело в том, что измерения магнитного поля в океане, которым я обычно занимался в экспедициях, производятся прибором, датчик которого буксируется на немагнитном кабеле за судном, на расстоянии не меньше трехсот метров (чтобы избежать влияния железного судового корпуса). Герметичная гондола с датчиком, которую первоначально красили в яркие белые или красные цвета, напоминает большую рыбу. Акулы поэтому часто их атакуют и откусывают. Если учесть, что каждый прибор стоит очень дорого и чаще всего изготовляется в институте ценой большого труда, в количестве двух-трех экспериментальных макетов, легко понять наше расстройство при каждом таком случае. Не раз и не два я предъявлял "аварийной

комиссии" обрывки немагнитного буксировочного кабеля с обломками акульих зубов, чтобы списать дорогой откушенный ею магнитометр. Наконец в каких-то японских статьях я прочел, что акула в воде не видит черных и темно-зеленых предметов. Помню, как потешались надо мной мои коллеги, когда я, сидя на кормовой палубе, упорно перекрашивал наши красивые бело-красные гондолы в грязно-зеленый цвет. Как ни странно, это помогло. Атаки акул на нашу аппаратуру прекратились. Команда надо мной подшучивала. В судовой стенгазете была даже помещена карикатура, на которой я был изображен с обрывком кабеля в руках. Ниже красовалась такая подпись:

Спасу нет от произвола
Посреди нейтральных вод:
Съел магнитную гондолу
Немагнитный кашалот.

Забавная история произошла в 23 рейсе "Дмитрия Менделеева" во время нашего захода в Сан-Франциско, где заранее по радио на борт была приглашена группа ведущих американских ученых из геологической службы США. Не успели мы пришвартоваться к причалу, как на борт явился встревоженный консул и объявил нам, что резко возросла напряженность между СССР и США, что мы "накануне второго кубинского кризиса", и что лучше всего нам как можно скорее убраться отсюда подобру-поздорову, пока нас не интернировали. Попытки нашего начальника Ю. П. Непрочнова сказать, что мы планируем прием для американских ученых, вызвали только раздражение: "Какие там ученые! Никто к вам не приедет. Смотрите, чтобы вас бомбами не закидали!" Непрочнов загрустил, однако к приему мы на всякий случай приготовились, хотя и не очень надеялись. Тем не менее, ровно в восемь вечера перед самым бортом затормозило более десятка машин, и вся американская группа прибыла к нам в полном составе. Глава геологической службы, высокий и стройный седой геофизик с мировым именем, провозгласив первый официальный тост за гостей, заявил, поднявшись над столом, на чистом русском языке: "Этот слюнтяй Картер и его убогая администрация пытались нам запретить общаться с вами из-за каких-то своих очередных политических махинаций. В связи с этим считаю своим долгом заявить вам, что мы - прежде всего люди науки. Поэтому мы срать хотели (я правильно сказал по-русски?) на наше правительство. Надеюсь, вы точно так же относитесь к своему", - закончил он, обращаясь к Непрочнову. Тот, скромно промолчав, вежливо

улыбнулся, и все дружно выпили…

В июне 1982 года я защитил докторскую диссертацию на тему Строение океанской литосферы и формирование подводных гор". В основу ее легли палеомагнитные реконструкции океанов и континентов геологического прошлого Земли от 600 млн. лет до нашего времени, впервые рассчитанная карта мощности твердой оболочки пашей планеты - литосферы в океанских областях и результаты изучения вулканических подводных гор в океане. Экспериментальную основу работы составили материалы по геофизике и геологии, собранные в шестнадцати океанских рейсах за годы плаваний. В 1985 году в издательстве "Наука" в Москве вышла монография того же названия.

В ноябре 1983 года, снова вместе с Ю. П. Непрочновым, я попал в новый рейс "Дмитрия Менделеева", следовавшего через три океана, из Калининграда во Владивосток, по маршруту - Копенгаген, Монтевидео, остров Маврикий, Коломбо, Сингапур, Владивосток. Новый, восемьдесят четвертый год, мы встречали в Уругвае. Помню, как в десятом классе и на первом курсе Горного института мы охотно распевали весьма популярную в то время песенку про сказочный Уругвай:

Я иду по Уругваю.
Ночь хоть выколи глаза.
Слышны крики попугаев
И мартышек голоса.

Когда судно выходило из порта Монтевидео по мутным водам залива Ла-Платы, я обратил внимание на большой черный крест, торчащий прямо из воды. Штурман объяснил мне, что это не крест, а верхушка мачты печально знаменитого в годы Второй мировой войны немецкого "карманного линкора" "Адмирал граф Шпее", наводившего когда-то ужас на дорогах Атлантики, нападая на безза щитные гражданские суда. Линкор был потоплен здесь в сорок четвертом году после долгого и кровопролитного морского боя. Мне снова вспомнились послевоенный голодный Ленинград, холодные утренние стены нашего нетопленного класса и лихая мальчишеская песенка про недоступный и таинственный Уругвай. Так появилась, как продолжение этой, песня "Я иду по Уругваю"…

Обогнув Мыс Доброй Надежды, по пути, проложенному когда-то Баурджедом и Васка-да-Гамой мы вышли в непривычно ласковый и сказочно-голубой Индийский океан, так непохожий на суровую штормовую Атлантику и неспокойный Тихий океан. Потом, конечно, начались такие же шторма, как и в других океанах. Но именно под влиянием этого первого впечатления в

одну из тихих лунных ночей сама собой написалась песенка "Индийский океан".

На Цейлоне в мою каюту вселился шумный и жизнерадостный кинорежиссер Савва Кулиш, грузноватый неистребимый весельчак с запорожскими усами. Его появление на борту (он собирал материал для нового фильма) сразу же внесло заметное разнообразие в наш унылый и скупой быт, не только для женщин, наперебой старавшихся обратить на себя его внимание, но и для мужчин. Большой любитель разного рода розыгрышей, это он пустил по судну слух, что "дубленки", накупленные всеми без исключения участниками экспедиции еще в Монтевидео, обязательно надо проветривать и сушить на солнце, иначе они сгниют. Надо было видеть, как все население "Дмитрия Менделеева" наперебой начало вывешивать свои шубы на всех палубах, в результате чего судно стало напоминать плавучий комиссионный магазин. Именно он организовал и поставил грандиозное шоу в связи с праздником 8 Марта. Помню, уже поздно ночью мы вышли с ним на крыло капитанского мостика подышать. В черной тропической влажной ночи с левого борта ярко вспыхивали береговые огни наплывавшего на нас Сингапура. "Саня, ночь-то какая! - мечтательно вздохнул Савва. - Были бы крылья - полетели бы сейчас под этими звездами на таинственный берег!" "Тройками?" - скептически спросил я. Савва махнул рукой и пошел в каюту.

Осенью того же восемьдесят четвертого года вышла, наконец, третья книжка моих стихов "Берег" в издательстве "Советский писатель", рукопись которой пролежала там около 12 лет. Выходу ее в немалой степени помог сменивший Исаева на посту главного редактора Игорь Михайлович Бузылев, спустя несколько лет безвременно ушедший из жизни от неожиданного рака. Мы успели с ним подружиться, но дружба эта была, к сожалению, недолгой.

Возвращаясь мысленно назад, думаю, что долгие годы, которые рукопись лежала в издательстве, пошли ей на пользу, дав возможность убрать многие слабые стихи и заменить их более поздними. Пока я был молод, мне казалось, что у меня хватит стихов на десяток книг. Гораздо позднее я осознал, что с трудом могу набрать стихи в лучшем случае на одну очень небольшую книжку.

Сколько миль до атлантиды

"Никто не знает флага той страны." А.Кушнер

"Самое главное - отпихнуть ногой берег", - говорит наш старший механик. И он прав - стоит судну оторваться от причала, и все земные заботы, еще совсем недавно казавшиеся самыми главными, растворяются за кормой вместе с исчезающей в тумане полоской суши. Начинается новая жизнь…

Поздним июльским вечером, борясь с сильным "прижимным" ветром, разогнавшим крутую волну, наше судно покинуло Цемесскую бухту и взяло курс на Варну. За завесой внезапно налетевшего дождя исчезли во мраке мигающие огни Новороссийска. Начался очередной рейс нового "Витязя".

Последние дни перед выходом, как всегда, заполнены бесконечной предотходной суматохой - погрузка оборудования, тягомотное оформление выездных документов, медицинских книжек и паспортов, получение топлива, которое каждый раз вырастает в настоящую эпопею, и множество других неотложньис дел. Только сейчас, когда палуба привычно подрагивает от слаженной работы машин, в левый борт ударяет волна, оставляя соленые брызги на стекле, и неспешно поскрипывают переборки, можно перевести дух и оглядеться.

Должность заместителя начальника экспедиции, пожалуй, самая неприятная. Приходится отвечать сразу за все, а возможность принимать самостоятельные решения - довольно ограниченная. Кроме того, все время уходит не на науку, а на бесконечное планирование круглосуточной работы судна и постоянные проблемы сочетания многочисленных видов научных измерений, ведущихся десятью научными отрядами в скупом пайке вечно дефицитного судового времени.

Гораздо проще было заниматься своим родным магнитным полем…

Если выйти из моей каюты, расположенной напротив капитанской и спускаться по главному трапу, ведущему во внутренние помещения судна, то сразу увидишь на переборке три яркие акварели с изображениями старинных судов. Корабли эти, такие разные с виду, носят одно и то же имя - "Витязь". Так издавна по традиции называли в России научно-исследовательские суда. Вот трехмачтовый корвет, как бы возникший из рассказов Станюковича. Построенный в семидесятые годы прошлого века, он был когда-то новинкой

техники. Именно на нем достиг Миклухо-Маклай островов Океании. Неподалеку - второй "Витязь", тоже парусно-паровой, но уже более совершенный, спущенный на воду в 1886 году. Он изображен, как видно, в одном из портов юго-восточных морей, рядом - китайская джонка с ярко-красными косыми парусами. Долгая и славная жизнь прожита этим судном. Им когда-то командовал знаменитый русский флотоводец и ученый-океанолог адмирал Макаров, совершивший на нем кругосветное путешествие. А вот и портрет Макарова - раздвоенная седая борода, безукоризненный флотский воротничок, черные адмиральские орлы на погонах. Немало открытий сделано на втором "Витязе". Неслучайно это имя выгравировано на доске музея океанологии в Монако в списке самых знаменитых в истории научных судов.

А вот и третий "Витязь" - уже из наших дней. Он изображен в открытом океане. Тяжелые штормовые волны обрушиваются на его палубу, над гребнем пенной волны с криком несется альбатрос. Небо в тучах. Зарываясь носом в кипящую темную воду, он упорно идет своим курсом. Более тридцати лет проплавало это судно после Второй мировой войны, совершив 65 океанских рейсов под вымпелом Академии наук СССР. Немало важнейших открытий сделали на нем ученые. На морских картах - подводная гора имени "Витязя", разлом имени "Витязя", самая глубокая впадина в океане, в Мариинском желобе, глубиной свыше одиннадцати тысяч метров, где впервые были обнаружены признаки жизни. Именно на этом "Витязе" учеными-биологами был открыт на океанском дне неизвестный ранее тип морских существ - погононофор. Третий "Витязь" был настоящим плавучим институтом. Он бросал якорь в бухтах островов Океании и Антарктиды, у берегов Южной Америки и в таинственном "Бермудском треугольнике". До сих пор помню то чувство ученической робости, с которым в 1966 году во Владивостоке я впервые ступил на палубу всемирно известного судна. Каким современным и недоступно-роскошным (красное дерево, зеркала) показался он мне, плававшему в те годы на ржавом стареньком прокопченном угольном паровичке "Охотск"!

Но корабли, особенно построенные в двадцатом веке, быстро старятся. Их расшатывают удары волн, разъедает беспощадная коррозия. Гниет и сгорает без огня дерево. Устает металл. Корабли уходят на пенсию. И знаменитый когда-то "Витязь" встал на вечный прикол в Калининградском порту. Первоначально решено было создать на его базе мемориальный музей советской океанологии и даже перетащить его для этого в московские Химки. Об этом даже писали в газетах. Но потом как-то забыли.

Прошло уже несколько лет. Заслуженное судно так и ржавеет, всеми позабытое, у пустынного причала, заваленного железным хламом. Видеть его здесь грустно и обидно. Выведенное славянской вязью имя еле просматривается на некрашеном и проржавевшем борту.

Наш "Витязь", четвертый по счету, изображен на последней акварели. Построен он на Гданьской верфи в Польше в 1981 году. Когда смотришь со стороны, его облик кажется странным: нет обтекаемых, наклоненных назад контуров рубки и мачт, как на "Академике Курчатове" или "Дмитрии Менделееве", поджарой и грациозной кормы. Судно похоже скорее на утюг: короткий нос, скошенная корма со "слипом", как у рыболовных траулеров, раздвоенная труба. "Современный дизайн" - как мне объяснили. Зато мореходные качества у него оказались отличными - он устойчив в любую штормовую погоду, снабжен дополнительными винтами, позволяющими перемещаться вбок (так называемый "активный руль"). Новый "Витязь" может проводить океанографические работы в зимнем штормовом океане, там где другие современные суда работать не могут. Поэтому ему и достаются самые трудные рейсы. На его борту более тридцати лабораторий, современная электронно-счетная машина, спутниковая навигация, самое совершенное оборудование, включая лебедки с гидравлическим приводом. Но главное-не в этом: четвертый "Витязь" - судно нового поколения, первый в советском научном флоте корабль, специально оборудованный для ведения не только надводных, но и подводньхх исследований, своего рода орбитальная станция на орбите гидрокосмоса. Вся кормовая часть судна занята уникальным оборудованием, позволяющим человеку опуститься на морское дно. Здесь, в специальном эллинге, помещается обитаемый подводный аппарат "Аргус", - маленькая подводная лодка, рассчитанная на трех человек. Здесь же размещен водолазный гипербарический комплекс, в состав которого входят барокамера и своеобразный подводный лифт-водолазный колокол. Об этом стоит рассказать подробнее.

Человек живет на планете Земля и наивно полагает себя ее хозяином, однако более двух третей земной поверхности покрыты водой и для нас почти недоступны. Можно, конечно, исследовать океанское дно с поверхности воды, опуская туда различного рода приборы и тралы, что мы и делаем много лет, но возможности таких исследований крайне ограничены. Действительно, представьте себе на минуту, что геолог вместо того, чтобы ходить с молотком и компасом по земле, где он хорошо видит обнажения горных пород и может всегда отобрать в нужном месте образцы,

должен лететь над поверхностью Земли на высоте около 5 километров (это примерная глубина океанского ложа), да еще вся Земля будет скрыта под облаками (мы ведь с поверхности воды океанского дна не видим!). И вот в такой обстановке он должен изучить геологическое строение, например. Кавказского хребта, и прежде всего отобрать образцы горных пород. Для этого он использует нехитрое оборудование, которое морские геологи называют драгой. Драга - это большое стальное ведро без дна. Верхние края у него зазубрены, а к нижним приделана стальная сетка, так называемая "юбка", для сбора образцов. Ведро это на мощном стальном тросе с помощью лебедки опускают на дно и волокут, пока оно не зацепится за какой-нибудь скальный выступ. А дальше - как в известной сказке про репку. "Тянут - потянут - вытянуть не могут". Чаще всего после мучительных дерганий трос лопается и драга остается на дне или срывается со скалы и приходит наверх пустая. Только в редких случаях этим методом "забрось на авось" удается вытянуть на поверхность какие-нибудь образцы. А определить, оторваны они от коренных пород или упали откуда-нибудь сверху, например, с растаявшего айсберга, и подавно нельзя. Даже если мы и поднимем вслепую несколько образцов с отдельных гор подводного хребта, разве этого достаточно, чтобы получить исчерпывающие сведения о его геологическом строении? У биологов дело обстоит еще хуже. Вспомним, как рыбачил старик в пушкинской "Сказке о золотой рыбке":

В первый раз он закинул невод -
Пришел невод с травой морскою.
Второй раз он закинул невод -
Пришел невод с одною тиной…

А золотая рыбка ему попалась только на третий раз. И то можно считать, что старику крупно повезло. Ведь морские биологи именно так уже долгие годы работают в океане, только вот невод им и на третий, и на пятнадцатый раз может принести одну тину или морскую траву, а ведь вместо старухи результаты их находок принимает Ученый Совет.

Что же касается археологов, то им приходится совсем плохо: с поверхности моря ничего не увидишь и ничего путного не найдешь. Разве только то, что совсем недавно упало. Дно морей и океанов непрерывно засыпается морскими илисто-глинистыми осадками - от нескольких миллиметров до двух-трех сантиметров в год. За десятки и сотни лет они бесследно хоронят под собой как отдельные предметы - древние амфоры или обломки боевых

трирем, так и целые города. Когда не так давно искали и поднимали английский крейсер "Хук", затонувший в Баренцевом море во время Второй мировой войны с грузом золота на борту, то он оказался почти целиком захороненным илисто-глинистыми осадками, которые доставили много хлопот водолазам даже на сравнительно небольшой глубине. Как же обнаружить то, что затонуло не 40, а несколько тысяч лет назад?

Для того, чтобы изучить геологию океанского дна, найти залежи полезных ископаемых, обнаружить неведомых дотоле обитателей подводных глубин, совершенно недостаточно исследовать океан, только плавая на его поверхности - надо самим опуститься в неизведанную пучину.

Сделать это, однако, не так уж просто. В нашем институте, в отделе подводных исследований, создана целая серия буксируемых подводных аппаратов, которые позволяют вести телевизионное наблюдение и измерения самых разных параметров вблизи от океанского дна. Хватило бы только кабеля, но ведь и это не заменяет погружения на дно самого человека - как лунный трактор не заменил астронавтов на Луне.

Помню, несколько лет назад профессор Ястребов, выступая на банкете по поводу моего пятидесятилетия, сказал: "Сейчас во всем мире можно насчитать не более ста человек, побывавших на дне океана". И сидевший с ним рядом писатель Фазиль Искандер мрачно добавил: "Не считая утопленников." Действительно, дно океана, вроде бы такое близкое от нас, оказалось менее доступным, чем космос. И это не преувеличение. Сегодня доставить человека на поверхность Луны легче, чем на дно океана на пятикилометровую глубину. А выйти в открытый космос реальнее, чем в открытую воду на большой глубине. Научную лабораторию легче создать на орбите, чем в океане на глубине в несколько тысяч метров.

Первыми такими лабораториями стали подводные обитаемые аппараты, маленькие подводные лодки с прочным корпусом, способные опускаться на глубину в сотни и даже тысячи километров. Аппараты эти могут со скоростью до нескольких узлов двигаться в толще воды, ложиться на грунт или неподвижно зависать в толще воды в режиме полной тишины. Находящиеся в них люди могут в самой непосредственной близости наблюдать интересующие их объекты, отбирать образцы и пробы, проводить фото- и киносъемку.

Такой подводный обитаемый аппарат есть и на борту "Витязя". Построен он в Южном отделении нашего института, в Геленджике, назвали его "Аргусом", в честь мифического стоглазого существа. У нашего "Аргуса" тоже много глаз - это три

иллюминатора в обитаемом отсеке, откуда можно вести наблюдение и вверх и вниз, а также объективы фотокамер. Экипаж Аргуса состоит из трех человек: первый и второй пилот сидят наверху в креслах и перед ними - верхний иллюминатор, а пилот-наблюдатель лежит внизу, удобно устроившись на тюфяке, и ведет наблюдение через нижние иллюминаторы. Мне неоднократно доводилось принимать участие в погружениях и могу сказать, что под водой вести геологические наблюдения гораздо приятнее, чем на суше. Не надо карабкаться, рискуя сорваться, по горным кручам-тебя доставят со всеми удобствами на любую, даже самую отвесную скалу, - ведь "Аргус" может зависнуть в любой точке, приобретя нейтральную плавучесть (у пилотов это называется "в нуле"). Не нужно, примостившись где-нибудь на камне да еще под дождем или отмахиваясь от комаров, торопливо записывать в пикетажку результаты наблюдений. Здесь лежишь себе на мягком тюфяке, и глядя в иллюминатор, "наговариваешь" результаты наблюдений на магнитофон, а под рукой - тумблеры прожекторов и спусковой крючок фотокамеры. Кроме глаз у "Аргуса" есть и механическая рука - стальной манипулятор, которым можно взять с морского дна образцы растений и фауны или камни. В обитаемом отсеке поддерживается нормальное "комнатное" давление. Запас кислорода дает возможность экипажу находиться под водой до 48 часов, а подводные движители-винты позволяют аппарату перемещаться под водой со скоростью около двух узлов (две мили в час).

В нашем рейсе обслуживает "Аргус" его постоянный экипаж. Командир Виталий Булыга, инженеры Леонид Воронов и Сергей Холмов. Это молодые ребята, спокойные и немногословные, фанатично влюбленные в свой "Аргус" и в далеко небезопасные погружения. Круглые сутки возятся они в эллинге, где стоит аппарат, отлаживая его сложные механизмы и системы жизнеобеспечения. У них, как и у саперов, нет вариантов для ошибок. Характеры у ребят разные: Виталий-человек решительный, увлекающийся, иногда резковатый, Леонид - более мягкий, улыбчивый и спокойный, Сережа Холмов - задумчивый, немногословный и скромный, пишет стихи и песни, хотя показывать их по застенчивости не любит. Нервы у ребят - стальные. Я никогда не слышал, чтобы они раздражались и ссорились даже в самой критической ситуации.

Вспоминается драматический случай, когда несколько лет назад, во время одного из погружений неподалеку от Геленджика, "Аргус" ухитрился "влезть" под проложенный по дну толстый кабель. Кабель этот ни на каких картах отмечен не был, а "Аргус"

системой подводного маяка, которая позволила бы его найти под водой, не снабжен. Все попытки освободиться от кабеля оказались безуспешными - он так "ловко" вклинился между рубкой и сигнальным буйком, что ни работа винтами, ни даже аварийный сброс балласта для срочного всплытия не помогли. На этот случай предусмотрен в "Аргусе" аварийный буй на длинном и тонком тросе, который должен выстреливаться на поверхность. На буе установлена лампочка-мигалка и радиомаяк. Однако по нелепой случайности еще на суше буй этот поставили на стопор, "чтобы зря не выстреливался". Оставалось одно - лежать на грунте и ждать помощи сверху. При этом необходимо было экономить кислород: экипаж прекрасно понимал, что найти "Аргус" да еще и освободить его от кабеля будет нелегко. На берегу все были подняты по тревоге, для поисков и спасения использовали все возможные средства. Надо было спешить: 48 часов - срок небольшой. А на морском дне царило полное спокойствие - никакой паники и уныния. Нужно было продержаться, а для этого расходовать минимум кислорода. Известно, что меньше всего человек потребляет кислород, когда спит, и поэтому все время спали, оставляя одного вахтенного для связи. Сережа Холмов, например, проснувшись однажды, когда пошли уже вторые сутки и положение стало почти критическим, спросил: "Нас еще не нашли? Ну ладно, тогда я еще посплю". Попробуйтека спокойно заснуть в такой обстановке!

Виталия Булыгу я только один раз видел в разъяренном состоянии - когда при подъеме, во время сильной качки, "Аргус" ударился о борт судна, отчего погнулся и вышел из строя винт вертикального движителя. Наверное, если бы Виталий вывихнул собственную руку или ногу, то реагировал бы на это менее болезненно.

Кстати сказать, "Витязь" специально оборудован для спуска на воду подводного обитаемого аппарата. Для этого у него на корме есть специальная рама и уже упомянутый "слип", и труба у него раздвоена не для красоты, а чтобы вахтенный с мостика видел, что происходит на корме и отдавал нужные команды в машину. Экипаж "Аргуса" может занимать свои места прямо на борту судна в Г эллинге. После этого "потолок" эллинга автоматически раздвигается и сам "Аргус" на гидравлической платформе подается вверх на кормовую палубу. Здесь его цепляют тросом и с помощью рамы осторожно опускают в воду. Затем водолазы обеспечения отцепляют трос, и тогда "Аргус" готов к погружению. Связь с ним поддерживается по подводному телефону. А смена экипажа на воде проводится с помощью мотобота и специальной резиновой надувной лодки.

И все-таки подводный обитаемый аппарат человека на дне полностью заменить не может. Например, механической рукой никак не оторвешь образец породы от сплошной скалы. Мы много раз пытались это сделать, но ничего не вышло. А вот если опустить на дно водолаза, да еще с кувалдой, тогда, конечно, выйдет. Да и обзор из иллюминатора сравнительно невелик, а водолаз повернул голову - и все увидел. Вот и получается, что человек все равно должен научиться выходить в открытую воду на океанском дне.

Сделать же это совсем не просто: в океанских глубинах подстерегает страшный враг - высокое давление. Уже на глубине 40-50 метров входящий в состав воздуха азот вступает в реакцию с клетками головного мозга, вызывая отравление, ведущее к параличу и гибели. Поэтому при погружениях азот надо заменять гелием. С другой стороны, если водолаза с большой глубины быстро поднимать на поверхность, начинается чрезвычайно опасная для организма "кессонная болезнь" - закипает растворенный в крови кислород. Для борьбы с этим грозным врагом и служит специальный водолазный гипербарический комплекс - сердце нового "Витязя". Он состоит из двух частей - судовой гипербарической системы и водолазного колокола. Основа системы - барокамера, настоящий дом, занимающий большую часть кормового отсека. Если через толстые стекла иллюминатора заглянуть внутрь, то увидишь жилые "комнаты" для акванавтов. Здесь ставятся ответственные, полные риска и напряжения эксперименты по имитации условий высокого давления и последующего постепенного снижения его до "выхода на поверхность". В камеру, куда помещаются испытуемые акванавты, подается смесь кислорода и гелия, соотношения между которыми при разных давлениях рассчитываются на специальной электронно-счетной машине. После достижения заданной "глубины" давление медленно и последовательно снижается. Живущие в камере акванавты находятся от нас на расстоянии вытянутой руки, и все-таки они - в другом мире. Вынужденные долгие дни проводить в барокамере в условиях полной изоляции, чтобы снова вернуться "на поверхность", они ближе всего к космонавтам, совершающим многодневный орбитальный полет.

Смесь гелия с кислородом сильно меняет условия артикуляции языка и губ. Поэтому разговаривать в барокамере нельзя - приходится объясняться записками. В Южном отделении Института океанологии в Геленджике создан наземный гипербарический комплекс. Недавно там, впервые в нашей стране, был успешно завершен эксперимент - создание условий

давления, соответствующих погружению человека на 400 метров. Сейчас на борту "Витязя" главные его участники во главе с заведующим лабораторией подводных исследований Олегом Николаевичем Скалацким.

Что касается судового гипербарического комплекса, то в него кроме барокамеры входит также водолазный колокол. Это своего рода подводный лифт. Он герметично стыкуется с барокамерой. Опускающиеся на дно акванавты занимают в нем места прямо на борту, и внутри колокола устанавливается то же давление, что и на глубине, куда они должны опуститься. После этого колокол автоматически подается на верхнюю кормовую палубу и на специальном кабеле-тросе, с помощью все той же рамы, опускается в воду. Экипаж колокола состоит из трех человек. Два акванавта работают на грунте, а третий поддерживает связь с судном и следит за работой системы жизнеобеспечения. Закончив работу на грунте, акванавты возвращаются в колокол, который герметизируется и поднимается на борт, где снова стыкуется с барокамерой. После этого акванавты переходят в барокамеру для прохождения декомпрессии.

Но это еще не все. Новый "Витязь" снабжен также подводными роботами. Это буксируемая система "Звук", с помощью которой можно вести телевизионное наблюдение и фотографирование дна с близкого расстояния и даже брать образцы грунта. Прибавим к этому стандартные методы исследования океанского дна: аппаратуру для непрерывных измерений интенсивности магнитного поля, приборы для определения величины теплового потока, стальные геологические трубы и черпаки для отбора донных осадков, эхолоты для определения глубины дна и многое другое.

Новый "Витязь" молод и молод его капитан - Николай Вадимович Апехтин, хотя капитанский опыт у него солидный. Мы познакомились в 1974 году, в Тихом океане, на борту "Дмитрия Менделеева", когда его капитанская карьера только начиналась. В джинсах и модной цветной рубашке он показался мне совсем мальчишкой.

За четверть века плаваний в океане на разных судах, - от старого парусника "Крузенштерн" до нового "Витязя", мне довелось встречаться со многими капитанами. Что ни капитан - то характер, и от этого характера во многом зависит успех экспедиции. Я пом то капитанов старого поколения, с лицами, выдубленными ветрами и солеными брызгами от долгого стояния на открытом мостике, и с голосами, осипшими от громких команд, усиленных, для лучшего понимания, крутыми морскими оборотами. Тех волновали в первую очередь безопасность судна и

его внешний вид. На науку иногда смотрели как на досадную помеху "флотскому" порядку на судне. Николай Апехтин - капитан нового поколения, скромный, образованный, любит стихи, штурман по призванию

- никакого морского волка, "обветренного как скалы", не изображает. Зато в результате научных исследований заинтересован всегда не меньше, чем сами ученые. Я его видел в разной, иногда самой сложной обстановке, например, во время урагана в юго-восточной части Тихого океана, когда огромные волны ломали надстройки, и угол крена достиг критического. Не помню, чтобы ему изменяли спокойствие и чувство юмора…

Руководит экспедицией профессор Вячеслав Семенович Ястребов, заместитель директора Института океанологии.

Путь "Витязя" лежит сейчас в Тирренское море, а затем - за Геркулесовы Столбы, в Северную Атлантику. Цель наших исследований - подводные горы, древние вулканы, возникшие когда-то на дне морей и океанов. Чаще всего эти горы образуют цепочки или вулканические хребты, либо причудливо рассеяны по дну. Только в Тихом океане их обнаружено более пяти тысяч, в Атлантическом и Индийском - более чем по тысяче в каждом. Многие из этих подводных сооружений были когда-то островами, а потом погрузились в воду. Когда и как они образовались? Какая неведомая сила заставила их погрузиться в пучину? Проблема, однако, не только в этом. Современные плавучие буровые установки могут пробурить дно океана не больше, чем на десятки метров. А подводные вулканы - это природные буровые, дающие возможность судить о составе глубинного вещества в недоступных геологам недрах Земли. Именно отсюда, вместе с расплавленной магмой, выносится огромное количество рудных компонентов, формирующих на дне океана залежи полезных ископаемых. И это еще не все. Само возникновение жизни на нашей планете в последние годы связывают с подводными вулканами.

Для наших буксируемых и обитаемых аппаратов именно вершины подводных гор-самый доступный объект изучения. Они находятся сравнительно неглубоко - иногда всего лишь в десятках и первых сотнях метров от водной поверхности и вполне доступны не только для подводных обитаемых аппаратов, но и для водолазов.

Пройдя через взбаламученное штормами Черное море, "Витязь" зашел в Варну, где к нам на борт взошли веселые и шумные болгарские водолазы, принеся с собой знаменитые габбровские истории и запах ракии.

Поздним вечером судно покинуло Варну и легло курсом на

Босфор и дальше, к берегам Италии, в Тирренское море, дно которого также усеяно многочисленными подводными вулканами, образование которых связано с геологической историей Средиземноморья. Помню, как в нетопленой ленинградской школе военной поры учительница приносила в наш серый класс празднично-нарядный глобус, где на голубом фоне океанов ярко выделялись знакомые желто-зеленые контуры материков. Как мечтали мы, тогдашние полуголодные мальчишки, побывать у мыса Горн, в пампасах Южной Америки, в густо-зеленой долине Амазонки, на песке пронзительно-желтой пустыни Сахара! Какими незыблемыми и нерушимыми казались эти огромные континенты, на поверхности которых шли войны, горели города, прерывались недолгие человеческие жизни! Так именно нас и учили в школе: материки во все времена располагались на поверхности Земли так же, как сейчас. Действительно, стабильное расположение огромных континентов представлялось совершенно очевидным - ведь земные породы столь тверды, а массы материков громадны, что кажется - нет таких сил, которые могли бы сдвинуть их с места. Именно так и думали геологи в начале нашего века. Никому даже в голову не приходило усомниться в этой очевидной аксиоме, тем более, что господствовавшая в то время контракционная теория объясняла образование гор остыванием Земли и сокращением ее радиуса. Но ведь не менее очевидным казалось ученым древности, что Земля стоит на трех слонах или китах. А в Англии до сих пор существует общество сторонников плоской Земли. Собираются ученые джентльмены и делают глубоко научные доклады, убедительно опровергая результаты давних плаваний Магеллана и современных полетов орбитальных космических станций.

Человеческое сознание консервативно. Приняв однажды на веру школьные представления об устройстве окружающего мира, мы с большим неудовольствием расстаемся с ними в зрелом возрасте. И чем старше становимся, тем труднее соглашаемся с тем, что всю жизнь, оказывается, совершенно неправильно воображали картину мира. Вспомним, какую бурю всеобщего негодования вызвал великий Коперник, разрушивший такую привычную и удобную геоцентрическую систему Птоломея. А как забеспокоились физики и философы, когда казалось бы незыблемая масса вдруг стала исчезать после того как Альберт Эйнштейн сформулировал основные положения теории относительности! Примерно то же самое происходит и сегодня. Одна из наиболее "спокойных" областей науки - геология вдруг превратилась в арену поистине революционных событий, и привело к этому изучение океанского дна.

Судьба научных открытий бывает разной. В результате математических расчетов или физического эксперимента привычная картина может измениться почти мгновенно. Когда же речь заходит о природе, окружающей человека повседневно, и о новом, непривычном для большинства толковании уже известных фактов, дело обстоит гораздо сложнее. Тут нужна настоящая революция в человеческом сознании. Именно такая перестройка и происходит сейчас в науках о Земле.

Пионером и основоположником новой идеи об устройстве и развитии нашей планеты был выдающийся немецкий ученый и естествоиспытатель Альфред Вегенер.

Метеоролог по профессии, он прожил недолгую, но героическую жизнь, безвременно оборвавшуюся во время очередной экспедиции в Гренландию. Но даже смерть его не была напрасной: он первым проник в недоступные прежде центральные районы Гренландии и внес большой вклад в их освоение. Альфред Вегенер был одним из первых в области метеорологических наблюдений в верхних слоях атмосферы. Однако главной его научной идеей, сделавшей имя ученого бессмертным, стала гипотеза дрейфа континентов.

Еще в 1912 году, внимательно рассматривая географические карты, он обратил внимание на то, что очертания континентов, окружающих Атлантический океан, если их мысленно соединить, складываются как рисунки на детских кубиках. Казалось бы, просто - взгляните на глобус и убедитесь сами! Но эта простая идея "складывания материков" вызвала настоящую бурю. Сейчас говорят о том, что дрейф континентов предполагали и раньше, что знаменитый Френсис Бэкон писал о подобном еще в 1620 году. Однако только Альфред Вегенер сформулировал эту гипотезу, сразу ставшую предметом ожесточенной дискуссии.

Согласно гипотезе Вегенера, континенты по обе стороны Атлантического океана, Северная и Южная Америка с одной стороны и Африка и Европа - с другой, когда-то были единым материком, который потом раскололся, а его части разошлись, образовав Атлантический океан. Вегенер первым предположил, что все материки около 300 млн. лет назад были объединены в один гигантский суперматерик - Пангею, окруженную одним Палеотихим океаном. Потом континенты разошлись, образовав современные океаны. Несмотря на то, что эта гипотеза даже ее автору сначала показалась фантастической, он смело взялся за ее разработку. Для этого Веге-неру пришлось изучить области наук, далекие от его специальности - геологию, палеонтологию, палеоклиматологию. Эту упорную работу, начатую в 1910 году, он продолжал несмотря на длительные экспедиции в

Гренландию, которые уносили много сил и времени, несмотря на Первую мировую воину, где он был ранен. Наконец, в 1915 году Вегенер опубликовал свой главный труд "Происхождение материков и океанов", а в 1924 году совместно с метеорологом В. Кеппеном выпустил книгу "Климаты геологического прошлого". Этими революционными работами, выдержавшими много переизданий и обосновавшими идею дрейфа континентов, он дал необратимый толчок наукам о твердой Земле, намного опередив своих ученых современников. Гипотеза Вегенера бросила дерзкий вызов всей классической геологии. Камнем преткновения был вопрос: если материки движутся, то за счет каких сил? Вот этого Вегенер объяснить не смог и теория начала рушиться. Смертельный удар ей нанес знаменитый английский геофизик Г. Джеффрис. Он показал, что нет силы, способной двигать континенты по твердой мантии, слою, подстилающему земную кору и назвал дрейф континентов "физически нереальным".

К началу тридцатых годов теория Вегенера, родившаяся в 1912 году, была похоронена окончательно, ненадолго пережив своего автора.

Окончательно ли? Новые драматические события, воскресившие эту идею, развернулись на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов нашего века. Толчок дало изучение магнетизма горных пород. С XIV века моряки используют магнитный компас, чтобы отыскать дорогу в открытом океане. Придворный врач английской королевы Елизаветы I Уильям Гильберт еще в 1600 году предположил, что сама Земля представляет собой огромный круглый магнит, у которого полюса совпадают с географическими.

Как показало изучение горных пород, большинство из них, особенно те, которые образовались при застывании магмы, обладают сильной намагниченностью. Когда порода застывает, образующиеся в пей магнитные минералы ориентируются на юг или на север. Значит, определив географические координаты изучаемой породы и направление вектора намагниченности, можно узнать, где находился магнитный полюс Земли в то время, когда порода застывала. Если поверхность Земли всегда была неподвижна, то положения древних магнитных полюсов для пород разного возраста должны полностью совпадать с современным. А если нет?

Много лет посвятил этой проблеме ленинградской геофизик профессор Алексей Никитович Храмов, оппонировавший мою докторскую диссертацию. Год за годом он и его немногочисленные помощники отбирали ориентированные образцы в разных областях нашей огромной страны, на Русской

платформе, на Сибирской платформе. В лаборатории эти образцы распиливали и подвергали нагреванию и обработке переменными магнитными полями, чтобы выделить ту самую первичную намагниченность, по которой определяется древний магнитный полюс. Невысокий, с тихим голосом и мягкой улыбкой. Храмов внешне мало походил на ниспровергателя основ классической геологии. Однако именно исследования его лаборатории показали: древние магнитные полюса не совпадают с современными при сегодняшнем расположении континентов, а вот если континенты сложить вместе так, чтобы получилась Вегенеровская Пангея, то они совпадут для возраста около 300 млн. лет. Такие же результаты получили и зарубежные палеомагнитологи Мак-Элхинни, Ирвинг и Ранкорн. Поэтому именно магнитологи стали первыми последователями преданной забвению теории Вегенера.

Но подлинное возрождение теории континентального дрейфа наступило только с началом изучения океанского дна, уже в середине шестидесятых годов. Именно тогда в океанских глубинах открыли Срединные хребты, обрамляющие гигантские трещины, называемые "рифтовыми". По этим трещинам из земных недр, как было установлено при глубоководных исследованиях, постоянно поступают новые порции расплавленной магмы, "раздвигающие" океанское дно. Такие наблюдения в зоне рифтовой трещины Красного моря были проведены на подводных обитаемых аппаратах "Пайсис" в 1979 году. Опустившись на глубину более 1500 метров, геологи прямо наблюдали и фотографировали процессы раскрытия трещин в океанском дне, которые сопровождались излияниями базальтовых расплавов и соляных растворов.

Одновременно появились новые свидетельства дрейфа материков: специфическая картина магнитных аномалий над срединно-океанскими хребтами и глубоководными котловинами и результаты бурения океанского дна. Современная геофизика дала возможность предложить убедительный механизм движения континентов, объяснить, какие силы сталкивают с места казалось бы неподвижные материковые массивы. Согласно современным физическим моделям, таким энергетическим источником, движущим континенты, служит химико-гравитационная дифференциация вещества в глубинах нашей планеты. В результате возникают восходящие и нисходящие конвективные течения, преобразующиеся у поверхности Земли в горизонтальное движение материков.

Так старая гипотеза превратилась в новую убедительную теорию, получившую название тектоники литосферных плит.

Согласно основным положениям этой теории, верхняя жесткая кристаллическая оболочка Земли-литосфера, подстилаемая снизу частично расплавленным веществом астеносферы, состоит из отдельных плит, которые могут перемещаться по астеносфере на большие расстояния - в десятки тысяч километров. Там, где конвективные течения глубинного вещества в недрах нашей планеты идут вверх, плиты расходятся (как например, в Атлантике), возникают рифтовые зоны и срединно-океанские хребты. Происходит раскрытие океана, и континенты, Африка и Европа с одной стороны и Северная и Южная Америка - с другой, отодвигаются друг от друга. Там, где конвективные течения идут вниз, например, вдоль Курильских островов и побережья Камчатки, плиты наоборот сближаются, сталкиваются, пододвигаются одна под другую. Процесс этот сопровождается землетрясениями, вулканическими извержениями и другими геологическими катаклизмами, приводящими иногда к катастрофам, уносящим тысячи человеческих жизней и разрушающим города. Когда два материка сходятся вместе, то разделяющий их океан "закрывается", а сами континенты, сталкиваясь своими краями, образуют в пограничной зоне высокие горные системы, такие как Альпы или Гималаи. С этими процессами тесно связано образование полезных ископаемых, и прежде всего - нефти и газа. Сейчас считают, что нефтяные месторождения могут образовываться при поддвиге одной плиты под другую в осадочной толще края надвигающейся плиты.

Вернемся к океану Тетис. Несколько лет назад мы с доктором геолого-минералогических наук Львом Павловичем Зоненшайном составили серию карт -реконструкций расположения континентов и океанов на поверхности нашей планеты за время "фанерозоя" - существования явной жизни, то есть от 570 млн. лет до наших дней. Получилось несколько "древних глобусов" с интервалами 100 млн. лет. Согласно этим реконструкциям, около 200 млн. лет назад, в юрскую эпоху, между северными континентами - Европой, Азией и южными - Африкой, Индией и Австралией располагался огромный океан Тетис, соединявший Палеотихий океан с начинавшим раскрываться Атлантическим. После раскола Гондваны и движения южных континентов на север, Тетис начал уменьшаться в размерах и закрываться. На его северном краю в результате сближения Африки и Евразии возник гигантский пояс островных дуг с огнедышащими вулканами, протянувшийся от Юго-Восточной Европы до Гималаев и давший богатейшие месторождения золота, олова, вольфрама, полиметаллов. В кайнозойскую эру океан Тетис почти полностью закрылся, и Африка неотвратимо надвинулась на Европу, сминая ее южную

часть. Так образовались Альпы. Этот натиск Африканской плиты продолжается и в наши дни: частые землетрясения сотрясают незаживший шов между Африкой и Европой, время от времени возобновляются извержения вулканов в Италии. Только узкая полоска Тетиса осталась незакрытой - это Средиземное и Черное моря. Незаживший шов, граница между Африканской и Евразиатской плитами, протягивается и к западу от Гибралтарского пролива, уже в Атлантике, до самых Азорских островов. Здесь она проходит по Азоро-Гибралтарской зоне разломов.

Я уже упоминал, что новая глобальная теория была поначалу "в штыки" принята нашей официальной наукой. После выхода из печати нашей с Зоненшайном книжки о дрейфе континентов один из приверженцев старой "фиксистской" теории написал на нас на-

стоящий донос в Академию Наук. В этой замечательной бумаге авторы книги обвинялись в "низкопоклонстве перед буржуазной лженаукой" и попытке обмануть "простых советских людей". Подчеркивалось также нерусское звучание наших фамилий. Помню, в описанном выше рейсе судна "Академик Курчатов" я по просьбе экипажа прочел научно-популярную лекцию о дрейфе континентов. После лекции ко мне подошел первый помощник и спросил:

"Скажите, а мы можем контролировать движение материков и направлять его?" "Кто мы?" - не понял я. "Как кто? - удивился замполит, - конечно, партия и правительство." "Да нет, что вы, - рассмеялся я, - человечество не в силах это сделать." "Значит, плохая у вас наука. Надо научиться", - недовольно заявил мой собеседник.

В 1982 году, в первом рейсе "Витязя", мы проводили детальные исследования дна в восточной части Средиземного моря, у берегов Кипра, где на поверхность выходят остатки древней океанской коры - офиолиты. Теперь, в 7-ом рейсе, нам предстояло изучить подводные горы в Тирренском море и в Атлантике и выяснить их связь с закрытием древнего океана. В работах в Тирренском море должны были принять участие итальянские ученые. Наш путь поэтому лежал в порт Чивитта-Веккия…

В яркий солнечный день "Витязь" медленно идет через Мессинский пролив. На воде сильная рябь, возникающая не только из-за ветра, здесь сходятся два сильных течения, образуя завихрения и круговороты. Слева высвечиваются желто-зеленые склоны Сицилии. Справа грозно торчит из моря огромный вулкан-остров Стромболи. Не здесь ли Одиссей проплыл когда-то между Сциллой и Харибдой? Ведь для маленьких, плохо

управляемых весельно-парусных древнегреческих судов именно этот скалистый пролив с его сильными течениями, резкой сменой шквалистых ветров и угрозой внезапного вулканического извержения, был поистине роковым. Теперь, в век дизель-электроходов, радиомаяков, штормовых предупреждений и спутниковой навигации, страхи вроде бы позади. На зеленом склоне спящего вулкана, у самого его подножья, доверчиво приютился живописный белый городок. Маленький пассажирский пароход, отчаянно дымя, спешит к берегу, пересекая залив. Почему люди с таким упорством живут в опасном соседстве с вулканами? Ведь покой и сон их обманчивы. Никто пока не может предсказать, когда снова пробудятся эти исполины.

Я вспоминаю городок Сен-Пьер на далеком острове Мартиника, куда наше судно "Дмитрий Менделеев" зашло несколько лет назад. Цветущее райское место у подножья спящего вулкана Мон-Пеле. В начале нашего века этот вулкан неожиданно проснулся и в течение ˆнескольких часов сжег весь город с его обитателями - 18000 человек погибло. Катастрофа произошла столь молниеносно, что стоявшие на рейде корабли сгорели, даже не успев выбрать якори.

Несколько лет назад на острове Кунашир, где расположен грозный современный вулкан с обманчиво-ласковым именем Тятя, местные жители поведали мне весьма поучительную историю, довольно точно отображающую возможности современной вулканологической науки. У них в Южно-Курильске выступал как-то один из известнейших наших вулканологов, профессор, доктор наук, автор многих книг о вулканах. Он рассказывал о признаках, по которым можно опознать угрозу близкого извержения. Лекция прошла с большим успехом. После лекции заинтересованные слушатели спросили у профессора, когда, по данным науки, можно ожидать извержения вулкана Тятя. Вопрос, сами понимаете, не праздный: вулкан - вот он, из окна виден. Лектор успокоил собравшихся, обстоятельно разъяснив, что следующего извержения следует ожидать не ранее, чем через сто лет. Все, довольные, разошлись по домам, а на следующее утро неожиданно началось сильное извержение Тяти, и в первых рядах бегущих видели уважаемого профессора.

Как же предсказать столь внезапные катастрофы? Для этого необходимо изучить связь вулканической деятельности с движением плит.

Детальное изучение вулканических подводных гор, их строения и происхождения - одна из главных задач нашего рейса…

27 июля судно встало к пирсу в небольшом итальянском

городе Чивитта-Веккия - аванпорте Рима. Большие морские паромы идут отсюда на остров Сардиния и в другие места Средиземноморья. Это огромные суда "Леонардо-да-Винчи", "Палермо" и другие, вмещающие сотни автомашин с туристами. Сейчас июль - время летних отпусков, и порт буквально забит автомашинами с прицепами, до отказа заполненными многодетными и шумными семьями. Длинные автомобильные очереди выстраиваются к причалам уже с утра. А вот и цыганский табор. Только вместо традиционных коней, телег и пестрых шатров на их вооружении вполне современные и комфортабельные автофургоны "Фиат".

На судно приехали итальянские участники экспедиции. Один из них-доктор Карло Савелли, ученый-петрограф из геологического института в Болонье, автор многих широко известных работ по геологии Тирренского моря и Аппенинского полуострова. Это спокойный улыбчивый человек лет сорока пяти. Второй итальянец, молодой и очень молчаливый, с вьющимися темными кудрями, в очках

- Марчелло Грелини. Он из Рима и представляет концерн, занимающийся поисками полезных ископаемых. Вместе с ними еще несколько специалистов и представителей фирм. Обсуждается выбор первоочередного объекта для подводных исследований. Тирренское море, хотя и невелико, но по сложности своего геологического строения не уступает любому океану. Большая группа подводных

гор расположена в центральной и южной его частях - это подводные вулканы, напоминающие океанские. Один из них несколько лет назад был открыт советскими учеными на судне "Академик Вавилов". Он так и назван на всех картах "Гора Вавилова". Не так давно на глубоко погруженных горах Вавилова и Маняги проводило детальные работы с поверхности другое судно нашего института- "Профессор Штокман". В результате было установлено, что обе эти горные - вулканы, по составу близкие к океанским.

Другая группа гор протягивается цепочкой в северо-западной части моря, вдоль побережья Корсики и Сардинии. Сюда входят в подводный хребет Барони и гора Верчелли. В отличие от других, вершины этих гор находятся на сравнительно небольшой глубине, недоступной и для подводного аппарата и для водолазов. О составе пород, слагающих гору Верчелли, ни у нас, ни у наших итальянских коллег никаких сведений нет. Что это - вулкан или гряда, оторванная трещинами от острова Сардиния? Именно на горе Верчелли решено сделать первый полигон детальных работ. Представители концерна просят обратить внимание, нет ли на

склонах горы Верчелли каких-нибудь признаков полезных ископаемых.

После совещания гости совершают экскурсию по нашему судну, подробно, с большим интересом знакомятся с гипербарической системой и подводным обитаемым аппаратом. Еще бы! Ведь такого оборудования у них пока нет. Потом итальянцы пригласили нас на

берег, где стали уже хозяевами. Они повели нас обедать в маленькую тратторию неподалеку от старинных выщербленных временем ворот порта. Традиционное сардинское меню-мидии, королевские креветки, кальмары, острый пахучий сыр. Все это так щедро пересыпано перцем, что нужен огнетушитель - и на столе появляется сухое вино из Абруццы.

В часы послеобеденной сиесты город словно вымирает. Только к вечеру, когда спадает жара, набережная заполняется молодежью. Юноши и девушки, одетые на первый взгляд небрежно, но весьма продуманно (в моде стиль "фама") медленно разъезжают на мотороллерах взад и вперед, курят, пьют и целуются, решительно ни на кого не обращая внимания. Рядом с портом-развалины древней римской крепости. Неподалеку от нее-средневековый форт, когда-то надежно охранявший вход в гавань. Над неопрятным каменистым городским пляжем неподвижно изогнулись редкие пинии.

Поздним вечером "Витязь" выходит из гавани. Навстречу один за другим бесшумно скользят океанские паромы с туристами. Огромное красное солнце медленно плавится в неподвижном зеркале Тирренского моря. Берем курс на него, туда, где в конце этой пылавшей багряной дорожки скрывается под водой гора Верчелли. К вечеру следующего дня вышли в район горы, сделали рекогносцировочный промер с эхолотом, нашли вершину на глубине 30 метров и поставили на ней буй. Не теряя времени понапрасну, сразу же ночью начали детальную геомагнитную съемку и промер с эхолотом, однако уже под утро выяснилось, что стараемся мы зря - буй снесло. Пришлось все начинать сначала.

Пока идет съемка, наши геоморфологи срочно строят детальную карту рельефа дна, чтобы наметить место погружения подводного аппарата. Командир подводников проводит инструктаж по технике безопасности для научных наблюдателей, которые будут принимать участие в погружении. И сразу предупреждает: при возникновении аварийной ситуации первейшая задача наблюдателя лежать тихо, не давать умных советов и не мешать пилотам работать. А главное, не хвататься ни за какие ручки и тумблеры ("которые их не касаются"). Затем

притихшим новичкам показывают, как надо обращаться с танковым противогазом в случае, если в обитаемом отсеке возникнет пожар.

Оба итальянца тоже внимательно слушают перевод этих наставлений и лица их полны серьезности.

И вот - первый день погружений. Все как будто готово. Выбраны места спуска. "Аргус", сверкая свежей бело-алой краской, уже стоит на кормовой палубе. На рубке надпись "Академия наук СССР". Экипаж занят последними приготовлениями. На воду спускается мотобот с резиновой лодкой для пересадки экипажа и группой обеспечения, в которую входят наши водолазы. К "Аргусу" прикрепляют трос и осторожно опускают его за корму. Виталий Булыга прыгает из лодки на скользкую яйцеобразную обшивку аппарата и ловко "отдает" крюк с тросом. Теперь "Аргус" полностью автономен. Все три пилота - один за другим

- скрываются в люке. Первое погружение - пробное, техническое. Второе - уже рабочее. Я стою в рубке "Витязя", рядом с вахтенным штурманом, и мне хорошо слышны переговоры по "подводному телефону": "Витязь, я Аргус. Проверку систем закончил. Глубина по эхолоту аппарата 95 метров. Люк задраен. Прошу разрешить погружение". Капитан отвечает: "Аргус, я Витязь. Слышу вас хорошо. Погружение разрешаю". Яркое сверкающее на солнце белое яйцо с красным поплавком аварийного буйка начинает тускнеть, медленно уходя в воду. Вот уже только краешек рубки торчит из воды. Вот и он скрылся, как будто не было никакого аппарата. Только в динамике звучит голос Виталия: "Витязь, я Аргус. Глубина 30 метров, продолжаю погружение".

Дальше, однако, слушать некогда, следующее погружение - мое.

Захожу в каюту к начальнику экспедиции. Он вручает мне кальку-схему с намеченным маршрутом и дает последние наставления: надо погрузиться на склоне горы и двигаться снизу вверх к ее вершине, внимательно осматривая, описывая и фотографируя скальные выходы пород. Необходимо наметить место работы для водолазов. Надо также, если удастся, взять образцы пород. Мы еще не закончили разговор, когда за иллюминатором застучал мотор приближающегося мотобота. Я хватаю кальку с картой и вскакиваю из-за стола. Мой собеседник недовольно морщится: "Да что ты ее схватил, как сторублевку? Не спеши, не все еще обговорили". Дальнейший мой маршрут лежит на камбуз. Здесь мне вручают бачок с дымящимися котлетами - обед для экипажа, который состоится на дне Тирренского моря.

Надо еще успеть переодеться, точнее - раздеться, так как в аппарате жарко. Наконец, я прибываю в "ландспорт" - это специальное помещение на борту, недалеко от кормы, откуда обычно высаживают в шлюпки. Мотобот, взревев двигателем, резко стартует от борта "Витязя" и, оставляя за собой пенный след, несется по длинным и плоским волнам туда, где сверкает на зеленом фоне яркая точка, рубка уже всплывшего Аргуса".

Люк открыт, пилот, высунувшись из рубки, машет нам рукой. Подходить вплотную опасно, так как волна может навалить мотобот на аппарат и повредить его хрупкие системы. Поэтому за борт выгружается резиновая надувная лодка. Несколько ударов короткого деревянного весла - и мы возле "Аргуса". Смена экипажа - пилот ловко прыгает в лодку, а я, ухватившись за край рубки, пытаюсь перебраться на "Аргус". Это не просто - босые ноги скользят по мокрой покатой обшивке корпуса. Наконец, завершив пересадку, передаю в люк вещи и втискиваюсь сам, попадая таким образом в Обитаемый отсек. Встаю ногой на кресло и, стараясь не задевать Вострые углы, проскальзываю в самый низ, на дно отсека, где перед

нижним иллюминатором лежит тюфяк. Это мое рабочее место. Ложусь на правый бок и осматриваюсь. Прямо надо мной торчат босые ноги экипажа - Виталия Булыги и Сережи Холмова. Выше, за толстым стеклом иллюминатора, в желтизне дробящихся волн, ослепительно вспыхивают солнечные лучи. На уровне глаз-два нижних иллюминатора, за которыми качается ярко-бирюзовая вода с серебряными пузырьками. Правое плечо упирается в пульт с рядом тумблеров. Это включение забортных прожекторов и других электрических систем. Под правым локтем микрофон магнитофона, рядом, на резиновом шланге, спусковой крючок подводной фотокамеры. Стоит нажать на него - и следует ослепительная фотовспышка. Слева, недалеко от тюфяка - два аварийных противогаза. Люк задраен. Холмов включает микрофон подводного телефона: "Витязь, я Аргус. Прошу разрешить погружение". В ответ слышится: "Аргус, я Витязь. Погружение разрешаю". Солнечный свет в иллюминаторе начинает гаснуть. Аппарат поскрипывает. Капли соленой воды из-под люка падают мне на спину. Вплотную приникаю к стеклу. Мелкие пузыри воздуха стремительно проносятся кверху. Рядом с ними медленно перемещаются вверх большие белые хлопья, похожие на снег. Вспоминаю, как во время моего первого погружения в Тихом океане я спросил у командира аппарата: "Саша, почему они всплывают?" - и он насмешливо ответил: "Это планктон. Не он всплывает, а мы погружаемся".

В отсеке снова звучит голос Холмова: "Витязь, я Аргус.

Глубина сорок метров. Продолжаю погружение". Снова две холодные капли обжигают разгоряченную спину. И опять вспоминаю 78-й год. Это было время, когда специализированных судов-носителей подводных аппаратов еще не было, и "Пайсис" опускался прямо с борта "Дмитрия Менделеева". Мне с большим трудом удалось попасть в число научных наблюдателей. Уже опытные подводные пилоты Александр Подражанский, Анатолий Сагалевич и Владимир Кузин относились к нам, новичкам, покровительственно и несколько насмешливо. Еще бы - у них за плечами были многочисленные погружения у берегов Канады и на Байкале. Об этом писали все газеты. Они были настоящими героями, подводными "волками", а мы - робкими "чечако". Тогда погружения на "Пайсисах" в океане только начинались. Аппараты, не имевшие специальных помещений на судах, стояли просто на верхней палубе, что не улучшало их состояния. Иногда поэтому возникали отказы разных систем.

Инструктируя нас, пилоты строго предупреждали, что в обязанности подводного наблюдателя входит прежде всего следить за неполадками в электросети (короткое замыкание может привести к пожару - так уже погиб один американский экипаж), за герметичностью обитаемого отсека (водяная тревога) и за системой очистки отсека от углекислого газа. Обо всех нарушениях надо срочно докладывать командиру. Мы должны также научиться управлять аппаратом, чтобы "в случае, если два других члена экипажа выйдут из строя, обеспечить его всплытие". Инструктируя меня, Саша Подражанский сказал: "Ну, это-то вряд ли понадобится, в случае чего, ты первый загнешься". И улыбнулся: "Ну что, нагнал на тебя страху? Пойдем лучше выпьем".

"Во время первого погружения, - говорят пилоты, - от наблюдателя проку мало - он обалдевает". Действительно, в это время находишься в состоянии, "близком к эйфории". Я как-то спросил одного из наших солидных ученых, первый раз в жизни участвовавшего в погружениях, о его впечатлениях. "Понимаешь, - ответил он мне,-когда задраили люк и аппарат стал погружаться, и все вокруг как-то странно заскрипело и закачалось, я подумал:

"Господи, и зачем я сюда залез, чего мне в жизни не хватало?" "Молодец, что не врешь, - засмеялся я, - со мной в первый момент было то же самое".

Так вот, во время первого погружения на "Пайсисе" в Тихом океане, на атолле Хермит, я старался ни в коем случае не показывать своего волнения и в то же время внимательно следить за всем, что грозит аварийной ситуацией. Помнится, мы уже легли на грунт на склоне океанского вулкана на глубине 400

метров, и я только начал, про все позабыв, увлеченно диктовать на магнитофон первые наблюдения, как вдруг мне на спину что-то капнуло. Я поднял голову, и в лицо мне брызнула вода. Вглядевшись, я, несмотря на жару, похолодел: от крышки люка в верхней части отсека, медленно змеились струйки.

"Саша, вода", - окликнул я командира казалось бы спокойным, но, как выяснилось, сдавленным голосом. "Не бери в голову", - ответил он, не оборачиваясь и не отрывая рук от рычагов управления. Оказалось, что при погружении подводный аппарат попадает из теплых верхних слоев океанской воды в нижние - холодные. Из-за охлаждения внутри обитаемого отсека образуется конденсированная вода. Новичков об этом не всегда предупреждают - то ли по забывчивости, то ли чтобы испытать их "на прочность".

- "Аргус" покачнулся и заскрипел. Голос пилота вернул меня в сегодняшний день: "Витязь, я Аргус. Легли на грунт. Глубина 211 метров. Начали работать". Я щелкаю тумблером, включаю забортные прожектора. Перед иллюминатором в желтом рассеянном свете луча виден пологий склон, покрытый белым песком, на котором лежат мелкие обломки раковин и кораллов. Судя по карте и компасу, мы находимся сейчас на северном склоне горы Верчелли. Задача нашего погружения - провести визуальную геолого-геоморфологическую съемку и фотографирование склона горы до ее вершины. Найти выходы коренных пород и описать их, выяснить, нет ли продуктов подводного выветривания, постараться взять образцы. Надо, кроме того, наметить участки с рыхлыми осадками, где можно воткнуть зонд тепломера. Ведь величина теплового потока

- главный параметр, по которому можно судить, есть ли на глубине разогретый вулканический очаг.

С этого мы и начинаем. Булыга с переносным пультом управления перебирается из своего кресла вниз и ложится рядом со мной, глядя в соседний иллюминатор. Пробуем оценить мощность осадков с помощью "механической руки". Виталий приводит манипулятор в действие. "Механическая рука" по ту сторону иллюминатора оживает, поворачивается вниз. При этом вся "кисть" манипулятора входит в песок полностью. Значит, мощность осадков здесь не меньше 15-20 сантиметров. В поле зрения на песке хорошо видны тонкие кустики кораллов и глубоководных водорослей. Виталий включает винт вертикального движителя, и они взлетают вместе с взвихрившимся песком. Аппарат, оторвавшись от дна, зависает на расстоянии около метра. Пилоты переговариваются: "Перехожу в плюс" (значит, - подвсплываем), или: "Перехожу в минус" -

погружаемся, или: "Сидим в нуле". Вот сейчас мы "в нуле" - висим неподвижно в воде. Такая маневренность дает "Аргусу" возможность вплотную приближаться к интересующим нас подводным ;объектам и долго наблюдать их. ; Ложимся по компасу на курс 140°, туда, где предположительно должна быть вершина горы, и медленно начинаем двигаться. Скорость небольшая - около полутора узлов. Прямо по маршруту, полузарывшись в песок, лежит какая-то большая рыба, похожая на морского окуня. Она не обращает на нас внимания. Слева и справа в луче прожектора вспыхивают редкие кустики водорослей, удивительно похожие на перья. Этими подводными перьями буквально усеяно все дно. Песчаный склон очень пологий и трудно определить, где низ, а где верх. Кажется, все же глубина понемногу уменьшается. Достигнув 205 метров, аппарат входит в огромный косяк ставриды. Рыбы обтекают нас сверху, сверкая в лучах светильников серебряными боками. Как будто монеты сыплятся из рога изобилия в немом кино. Следом за первым косяком идет второй. Я пытаюсь его сфотографировать. От яркой вспышки косяк взмывает и растворяется в сумерках. Мы продолжаем ползти вверх по песчаному склону, покрытому водорослями, напоминающими уже не перья, а веера. На глубине 200 метров снова проверяем кистью манипулятора плотность рыхлых осадков.

Здесь перед нами неожиданно возникает целое семейство огромных лангустов. Какие красавцы! Медленно проплываем над ними. Они шевелят длинными усами и неохотно пятятся. Впереди на песке еще один гигант длиной не меньше 70 сантиметров. Виталий делает маневр и пытается ухватить его манипулятором. При виде надвигающегося аппарата, который должен ему казаться великаном, лангуст нисколько не пугается, наоборот, - становится в боевую позицию, угрожающе задрав передние клешни. Только в последний момент, когда стальная кисть почти смыкается, он неожиданно делает стремительный рывок и ускользает от нас. Поднимаемся по склону. То тут, то там встречаются рыбы, полузарывшиеся в песок, и какие-то непонятные воронки. Такие воронки в песчаном грунте я встречал в разных местах - и в Тихом океане, и на подводных склонах острова Кипр. Что это такое? Никто не знает - биологи кивают на геологов, геологи - на биологов. Здесь же, на грунте, отчетливо видны похожие на палочки белые черви вроде карандашей. Они то лежат неподвижно, то перемещаются рывком, цепляясь за песок носом, как крючком. Большая черная голотурия проплывает под нами. Огромный краб медленно тащится вверх по склону, держа в задних поднятых клешнях зеленый лист водорослей.

Попав в луч прожектора, он, не выпуская лист, становится в боевую позицию, но, видя, что ему не угрожают, продолжает свой путь.

Большой скат пересекает наш курс, плавно обтекая поверхность дна. Его плавники-крылья медленно и мерно вздымаются, как у планирующего альбатроса.

На глубине 148 метров перед аппаратом возникает огромная темная масса. Это большая отвесная скала, сложенная коренными породами. Наконец-то! "Аргус" подходит к подножью скалы и начинает медленно всплывать вдоль нее. Внизу видны крупноглыбовые осыпи, частично засыпанные песком и заросшие водорослями. Какие это породы? Поди разбери через стекло! Скала темно-серого цвета. Обрыв крутой, почти вертикальный, слегка окатан и разбит глубокими трещинами, засыпанными белым песком. В стенах - каверны и ниши, словно настоящие пещеры. Похоже, склон горы разрушался не под водой, а на поверхности моря, где и подвергся выветриванию. Все наши многочисленные попытки оторвать образец, оказываются безуспешными - "механическая рука" скользит по скалам, заросшим органикой. Аппарат кружится на месте, тыкаясь в выступы. Виталий сдержанно отпускает неодобрительные замечания, но все старания напрасны - без кувалды здесь не обойтись. Мы оставляем свои попытки и всплываем выше. Оказывается, это скальная гряда, за которой обнаруживается вторая, сложенная такими же темно-серыми скатанными породами. Очертания выступов похожи на изображения скал на древних иконах. Выше второй гряды обнаруживается третья, такая же, с карнизами, напоминающими террасы. Похоже, что когда-то здесь гуляли волны прибоя. С этой глубины и до самой вершины горы идет причудливый рельеф с вертикальными скальными обрывами. Поверхность как ковром покрыта густой растительностью: губками, мягкими кораллами и другой органикой. Вершины - острые щетки шириной от одного до нескольких метров, вроде зубьев пилы. В глазах рябит от ярко-зеленых сочных и больших листьев ламинарий и каких-то красных водорослей, напоминающих альпийские маки.

Так, переплывая со скалы на скалу и проводя фотографирование, мы медленно поднимаемся к самой вершине горы Верчелли. Пешком такой маршрут не сделать никаким альпинистам. Вершина на глубине 56-60 метров прорезана глубокими ущельями с осыпями, которые держатся на "честном слове". Отсюда под нами хорошо видны крутые склоны, уходящие вниз…

"Аргус, я Витязь", - неожиданно громко раздается в отсеке.

Время вашего погружения вышло. Сообщите готовность к всплытию". Мне показалось, что с начала спуска прошло минут сорок, а доказывается - около четырех часов. С неохотой вырубаю магнитофон. На глубине 60 метров отрываемся от грунта и начинаем всплытие. В иллюминаторах светает. Хлопья планктона на этот раз движутся вниз, как будто идет снег. Еще несколько минут, и пронзительно-алый солнечный свет вспыхивает в верхнем иллюминаторе. Аппарат начинает резко раскачиваться на волнах. "Аргус, я Витязь, - оглушительно звучит в ушах.-Вижу вас, иду к вам." к открыт, и я с наслаждением, после четырехчасовой финской и, падаю в соленую морскую воду на пути к резиновой лодке… На том же самом "Аргусе" мне пришлось снова погружаться на оны подводных гор Тирренского моря еще два года спустя, в но-і рейсе "Витязя". Одно из погружений запомнилось более других. Дело в том, что у "Аргуса", как я уже упоминал, есть манипулятор-механическая рука, которой можно 5рать пробы грунта или отдельно лежащие камни. А вот взять образец породы из коренного залегания, оторвать его от скалы эта рука не может - силенок мало. Поэтому группа наших умельцев во главе с инженером Игорем Ракитиным сконструировала небольшое буровое устройство, приводящееся в действие аккумуляторами "Аргуса". С его помощью можно было пробурить прямо в твердой породе небольшую скважину длиной до 20 см, да еще и взять керн диаметром полтора сантиметра. Устройство это успешно испытали на палубе, пробурив каменную глыбу и получив керн. Однако пилоты наши этой новой технике обрадовались не слишком. Ведь если бур заклинит, "Аргус" встанет на мертвый якорь и не сможет оторваться от дна!

Чтобы избежать этой опасности, Ракитин придумал специальное приспособление: аппарат снабжался двумя опорными штангами, которые могли выдвигаться. Если бур заклинивало, аппарат опирался на боковые штанги, вся система отстреливалась, и можно было всплывать. Систему эту поставили на аппарат и испытали прямо на палубе - все работало прекрасно. В первое погружение с бурением отправились два пилота - Виталий Булыга и Александр Горлов, а также я. Дело было на подводном хребте Барони. Опустившись на дно, мы долго выбирали удобный участок скальной породы для первого бурения. Наконец нашли и начали бурить. Красноватый дымок завихрился из-под бура, медленно, с усилием входящего в породу. Все как будто шло прекрасно, но тут аппарат качнулся, и сверло моментально заклинило. Пытались освободить его обратным вращением, но из этого ничего не вышло. "Жалко, - сказал Булыга,

- придется отстреливать". И как раз в этот момент я увидел, что выпущенные нами штанги висят в воде и до дна не достают. Поверхность скалы оказалась неровной, и как мы ни старались дотянуться штангами до твердой опоры, чтобы освободить бур, намертво приковавший нас ко дну, ничего из этого не получалось. Доложили о случившемся наверх. А толку-то что? Чем они могут нам помочь?

Кстати, у американцев и канадцев подводные обитаемые аппараты в море работают только попарно: один погружается на дно, а второй в полной готовности дежурит на борту судна. Если с первым случается авария, второй немедленно идет ему на помощь. А с "Аргуса" и спроса нет - он у нас в единственном числе, так что спасать его некому, рассчитывать приходится только на самих себя.

Около получаса пилоты упорно раскачивали заякоренный аппарат и пытались обратным вращением вытащить бур из скалы. Муть, взвихрившаяся при движении винтов от илистого дна, залепила иллюминаторы. Скала, однако, держала нас прочно. Мы взмокли и приуныли. Не зимовать же здесь! Тем более, что запаса кислорода хватает только на 36 часов, и больше этого времени гостить на дне как-то не хотелось. "Может, попробуем вперед бурить?" - робко спросил я хмурого Булыгу. "Ты что-чокнулся?" - яростно прошипел он и послал меня довольно далеко, куда даже при всем желании из застрявшего на дне аппарата я отправиться не мог. Однако минут через десять, когда пилотский гнев остыл, а альтернативных вариантов спасения не возникло и терять, похоже, было уже нечего, Саша Горлов начал бурить вперед. К огромному нашему (и прежде всего моему) удивлению и радости минут через десять бур неожиданно освободился, и мы оторвались от дна.

Самое примечательное в этой истории, что когда мы возвратились на борт "Витязя", то обнаружили, что в буровом устройстве остался приличный керн, выбуренный из скальной породы. Так, пожалуй, впервые у нас было проведено бурение дна с подводного обитаемого аппарата. Что же касается Ракитина, то он, довольно невозмутимо выслушав наши весьма эмоциональные замечания по поводу надежности его системы, через пару дней довел ее до кондиции, так что при последующем бурении никаких аварийных ситуаций на дне уже не возникало.

Поскольку в Тирренском море мы работали в пределах итальянской экономической зоны, у нас на борту постоянно находились официальные представители итальянских властей, зорко следившие за тем, чтобы мы не занимались никакой "шпионской" деятельностью.

Один из них, сотрудник итальянской разведки, молодой и красивый парень, которого звали Франческо, первые два дня по прибытии на судно фотографировал все подряд. К всеобщему удивлению, он даже заявился на открытое партийное собрание, куда и своих-то было загнать не просто. Когда все стали удивляться его приходу, он еще раз переспросил, открытое ли собрание, и, уточнив что открытое, остался. Уже через несколько дней, однако, он с чисто итальянским темпераментом увлекся одной из наших научных сотрудниц, забросил свой роскошный фотоаппарат и, вооружившись вместо него гитарой, начал распевать жестокие неаполитанские романсы.

Второй, представитель военно-морского флота, по имени Алчид, был высоким и пожилым мужчиной с седыми висками, который ни во что особенно не вникал и гордился тем, что когда-то жил неподалеку от Триеста в одной деревушке с генералом Красновым. Мы с Алчидом неоднократно посещали судовую финскую баню, которая ему чрезвычайно понравилась. Расслабившись на полке, он обычно рассказывал целую серию итальянских анекдотов про "бамбино Пьерино", точно дублировавших наши отечественные истории про "мальчика Петю" Однажды вечером капитан вдруг вызвал меня на мостик. Пришло предупреждение от итальянских властей, что к восьми часам утра мы должны покинуть район работ, поскольку здесь планируются учебные стрельбы итальянской береговой артиллерии в связи с маневрами НАТО. Я разбудил Алчида. "Ничего страшного, можете работать дальше", - сказал он, ознакомившись с радиограммой. "То есть как-работать? Район же обстреливать будут". "Да я своих артиллеристов знаю - все равно не попадут", - улыбнулся он.

Надо сказать, что американские партнеры по НАТО наших хозяев верили мирным намерениям не очень. Каждый день с утра над судном появлялся американский самолет противолодочной обороны и кидал около нас пару акустических буев, пытаясь обнаружить под нами подводную лодку. Убедившись в ее отсутствии, он улетал, чтобы назавтра снова прилететь.

На исходе дня "Витязь" покинул мерцающую разноцветными огнями Чивитта-Веккию и взял курс на Геркулесовы Столбы, к главной цели нашей экспедиции - большой цепи древних подводных вулканов, протянувшихся от Гибралтарского пролива до Азорских островов вдоль зоны гигантских трещин, по которой проходит граница между двумя огромными литосферными плитами - Африканской и Евразиатской. Цепь эта в плане имеет форму подковы, поэтому англичане ее и назвали "Хосшу". Самые большие горы в этой цепи - Ампер, вершина которой находится

совсем неглубоко от поверхности воды - менее ста метров, и Жозефин - около ста пятидесяти метров. Обе вершины вполне достижимы не только для "Аргуса", но и для водолазного колокола. Эти горы интересны еще и тем, что гора Ампер располагается на Африканской плите, а ее соседка Жозефин - уже на Евразиатской. Их детальное изучение может пролить свет на то, как движутся эти плиты в области их соприкосновения и как это связано с образованием и развитием древних вулканов. Чтобы исследовать, мало опуститься на склоны подводных гор - надо проверить глубинное строение литосферы вблизи от границы плит.

Что же касается подводной горы Ампер, то интерес к ней - не только геологический. С этой горой связано возрождение одной из древнейших легенд - легенды об Атлантиде.

Все началось с фотографии. В 1973 году с борта советского научно-исследовательского судна МГУ "Академик Петровский" сотрудником Института океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР В. И. Маракуевым была сделана серия подводных снимков вершины горы Ампер. На некоторых из них под слоем светлого песка ясно просматривались вертикальные гряды, похожие на стены древнего города. Удивительно было, что гряды эти располагались под прямым углом друг к другу. Всем известно, что природа не любит прямых углов. Не следы ли это легендарной Атлантиды, спор о которой идет вот уже около двух тысячелетий? Снимки попали в журналы. Страницы испанских, голландских, французских и английских газет запестрели захватывающими названиями "Русские нашли Атлантиду", "Новое открытие древней тайны". Писатель Глеб Голубев написал увлекательный рассказ о поисках Атлантиды на горе Ампер. Отважные французские акванавты в этом рассказе, "поверив русским", опускаются на вершину горы в обитаемом подводном аппарате, но терпят бедствие-аппарат запутывается в электрических кабелях, проложенных здесь жадными до сенсаций телекомпаниями.

Так снова ожила древняя легенда - об Атлантиде в Атлантическом океане! Чем дальше проникают люди в океан, тем больше убеждаются в том, что даже у самых невероятных мифов и легенд были когда-то вполне реальные основания. Так, гигантские морские драконы, описанные в сказках многих народов мира, в действительности некогда существовали. Одного из таких огромных змеев несколько лет назад выловило японское рыболовное судно в Тихом океане. К сожалению, капитан, более всего озабоченный уловом рыбы, приказал выбросить его за борт- и бесценная находка пропала для науки. Всемирный потоп на

Земле происходил неоднократно. Ужасная Сцилла, губившая мореходов, не что иное, как остров Сицилия. Есть основания считать, что воспетый Пушкиным легендарный остров Буян - это Кипр. Здесь действительно Правил в средние века герцог Гвидо - князь Гвидон, и отношения с "царем Салтаном" (восточным султаном) у него были довольно сложные.

Разные легенды связаны с океаном. Одни из них возникали в глубокой древности и давно развеялись, другие - порождение павшего века. Чего стоит, например, захватывающий миф о зловещем Бермудском треугольнике", который до сих пор будоражит воображение доверчивых читателей. Но есть, пожалуй, только одна легенда, которая, возникнув в глубокой древности, не только существует до наших дней, но интерес к ней по-прежнему не ослабевает. Ее родоначальник-древнегреческий философ Платон, живший с 427 до 347 гг. нашей эры, ученик знаменитого Сократа. Предание об Атлантиде Платон изложил в двух диалогах - "Тимей" и "Критий". При этом он утверждал, что воспользовался сведениями об Атлантиде, взятыми у афинского законодателя и государственного деятеля Солона, его прапрадеда по материнской линии. Солон почитался в Древней Греции как "мудрейший из семи мудрых". Около десяти лет он путешествовал по странам Средиземноморья и побывал в Египте, где был с почетом принят в древней столице Саисе. При посещении храма богини Нейт жрецы сообщили Солону, что девять тысяч лет назад в Афинах существовало могучее государство, и в это же время в Атлантическом океане, за Геркулесовыми Столбами, располагался большой остров. "А с него,-пишет Платон, - открывался плавателям доступ к прочим островам, а с тех I островов - ко всему противолежащему материку, которым ограничивался тот истинный понт". На острове Атлантида, как рассказали жрецы Солону, существовало некогда грозное государство, представляющее союз царей, которым принадлежала власть над многими другими островами и странами. В те времена атланты владели всей Ливией, вплоть до Египта и Европой - до Аппенинского полуострова.

Этот союз, собрав все свои силы, напал на праафинское и древнеегипетское государства. Началась длительная война, имевшая, по-видимому, характер древней Мировой войны. В этой-войне между народами, живущими по ту и эту сторону Геркулесовых Столбов, Афины то воевали во главе эллинов, то противостояли врагам в одиночку, и, наконец, добились победы. Впоследствие, как рассказано в "Тимее", происходили страшные землетрясения и потопы, в результате которых "в один день и бедственную ночь" древний город-Праафины-"разом провалился в

землю", и остров Атлантида исчез, погрузившись в море. Поэтому и тамошнее море оказывается теперь несудоходным и неисследуемым; плаванию препятствует множество окаменелой грязи, которую оставил за собой осевший остров.

В другом диалоге "Критий" в роли рассказчика выступает Критий Младший, которому Платон приходился внучатым племянником. Здесь подробно описывается мифологическая история создания государства Атлантиды богом морей Посейдоном, и дается детальная картина главного города. Судя по описанию, это был крупнейший порт древнего мира, снабженный сложной системой каналов. В его огромной гавани размещалось более 1200 кораблей. Акрополь города, где располагался храм Посейдона и царский дворец, был окружен тремя концентрическими рвами, наполненными водой и представлявшими собой внутренние гавани. Центральный остров с царским акрополем был обведен каменными стенами. Соединявшие их мосты имели башни и ворота. Обращает на себя внимание важная деталь: камень для стен был трех цветов - белого, черного и красного, и добывался на месте. Как отмечает Н. Ф. Жиров в своей книге "Атлантида", подобный камень встречается на Азорских островах - это вулканические туфы, хорошо поддающиеся обработке.

Замечательная особенность главного города Атлантиды - его геометрически правильная круговая планировка. Улицы города были расположены радиально по направлению сторон света и имели закругленные углы перекрестков, а стены и каналы образовывали концентрические окружности. Жиров объясняет это любовью бывшего пифагорейца Платона к мистике чисел. Планировка столицы Атлантиды похожа на планировку других древних городов - Мохенджо Даро в долине Инда, древнего Карфагена и столицы ацтекского государства Теночтитлана. Жиров считает, что традиция строительства городов в древности по кольцевой системе была, скорее всего, связана с культом солнца. Мне кажется, что причина в кольцевой планировки столицы Атлантиды (если она реально существовала) была иной. Древние города, как правило, использовали в своем строительстве естественные черты природного ландшафта. План столицы очень напоминает форму древнего кратера. Об этом говорит и наличие на острове трехцветного вулканического туфа и утверждение Платона, что там существовали источники с холодной и горячей водой, то есть термальные, характерные для вулканов.

Интересно приведенное в "Критий" описание природы Атлантиды. Рассказывается, в частности, о таинственном дереве,

которое давало "и питье, и пищу, и мазь". Многие комментаторы Платона считают, что это дерево более всего соответствует кокосовой пальме, дающей кокосовое молоко, пищу (сам орех) и масло (мазь). Значит, некоторые острова этого огромного архипелага должны были располагаться южнее 25° с. ш., где растет кокосовая пальма-то есть в Атлантике.

Внешняя стена города была покрыта медью, средняя - оловом, а-внутренняя-сплавом, носившим название "орихалка" и имевшим "блеск огня". В храме Посейдона, украшенном слоновой костью, золотом и серебром, была установлена золотая статуя Посейдона, а вокруг него сто золотых статуй нереид на дельфинах. Вне храма располагались золотые статуи царей, их жен и потомков. В городе было немало храмов других богов, гимнастические залы, сады, манежи и даже ипподром.

Особое удивление в описании Платона вызывает обработка металлов. Ведь в эпоху гибели Атлантиды большая часть человечества находилась еще в мезолите. Человек был знаком всего лишь с луком и стрелами да прибрежным рыболовством. Лишь через несколько тысячелетий он познакомится с природными металлами и методами их холодной обработки! А в Атлантиде уже знали секрет выплавки медного сплава. Надо сказать, что сам орихалк - вовсе не выдумка Платона, он упоминается у Гомера и других античных авторов. По-видимому, это сплав, близкий к латуни. Какое же место занимала культура атлантов в общем развитии человеческой цивилизации?

Первым критиком Платона выступил его ученик - знаменитый философ Аристотель. Дело в том, что общественное и государственное устройство, описанное в "Тимее", уж слишком напоминает идеальное государство, проповедуемое Платоном. Аристотель

считал, что описание Праафинского государства и Атлантиды, а также история их войны попросту выдуманы Платоном, чтобы обосновать свои философские взгляды и превознести афинян, якобы победивших атлантов. Исследователи Платона не раз отмечали, что он был софистом и не стремился точно передавать чужие слова и мысли. Известно, что когда философ публично читал один из своих первых диалогов, "Лизий", его учитель Сократ выражал неудовольствие явными преувеличениями в тексте. Знаменитая "Апология Сократа", посвященная своему учителю, содержит множество таких преувеличений и отступлений от реальных фактов. Многие современники Платона, его ученики и исследователи, вообще считали, что этому философу нельзя ни в чем доверять и что диалоги его полны мифами, им же самим выдуманными. Как же

быть? Верить Платону или не верить?

С одной стороны, никаких источников, послуживших основанием для легенды об Атлантиде так до сих пор и не нашли - ни записей, которые цитирует Платон, ни следов самой Атлантиды. Это более чем странно, учитывая, что в течение долгого времени Атлантида якобы граничила с древним Египтом и Афинами. Ведь даже недалеко от Перми в раскопках нашли египетских "скарабеев", служивших разменной монетой древности. С другой стороны, лишь совсем недавно обнаружены следы огромного Хетского государства, о котором до самого последнего времени ничего не было известно! Более двух тысячелетий, то затихая, то вновь вспыхивая, продолжается спор об Атлантиде. Ей посвящено огромное количество (более двух тысяч) научных работ и художественных произведений. Бальмонт создал поэму "Город Золотых Ворот", посвященную Атлантиде. У Жюль Верна "Наутилус" проходит над развалинами Атлантиды. Конан-Дойль упоминает о ней в фантастической повести "Маракотова бездна". История гибели Атлантиды использована Алексеем Толстым в его знаменитой "Аэлите" и Александром Беляевым - в повести "Последний человек из Атлантиды". Большую популярность получил роман французского писателя Пьера Бенуа "Атлантида", которую автор помещает в Сахаре. Много драматических произведений, опер и кинофильмов посвящено этой легенде.

Прямых следов как будто нет, но есть некоторые интересные косвенные соображения. К их числу, прежде всего, относится загадка древнего населения Канарских островов - гуанчей…

Когда в начале 15 века испанцы впервые прибыли на Канарские острова, они обнаружили там многочисленное местное население - более 20 тысяч человек. Почти столетие продолжалась яростная и непримеримая борьба аборигенов с безжалостными испанскими захватчиками. Она была неравной - гуанчи не знали ни металлического, ни огнестрельного оружия, однако для захвата маленьких Канарских островов испанцам пришлось затратить не меньше времени, чем для покорения огромного Южно-Американского материка. В результате поголовного истребления местного населения, через 150 лет после начала завоевания островов на них не осталось ни одного чистокровного гуанча. На острове Гран-Канария, где мне удалось побывать дважды, еще можно увидеть те немногие следы, которые остались от этого удивительного народа. Сохранились захоронения, имеющие форму пирамид, сложенных из больших необработанных камней, или каменные насыпи, напоминающие современному человеку невысокие терриконы. Знатных

покойников бальзамировали примерно так же, как в древнем Египте. Мумии, как правило, зашивались в шкуры животных. На острове Гран-Канария сохранились также остатки каменных жилищ. Очень интересна оставшаяся керамика, которая напоминает раннюю керамику Крита и Кипра. В музее гуанчей в Лас-Пальмасе можно увидеть небольшие статуэтки людей и животных, а также специальные трафареты из дерева и камня для татуировки. На острове Гран-Канария имелась каста жрецов, а также своеобразный женский монастырь. Интересно, что в музее инков в Лиме нам рассказывали об очень похожем монастыре у древних инков, так называемых "девах солнца".

Как попало на Канарские острова его коренное население, до сих пор загадка. Дело в том, что гуанчи не были знакомы с мореплаванием, не имели лодок и плотов и даже не умели плавать. Аборигены, которых называли берберским словом "гуанчи" (то есть, уроженцы) состояли из нескольких этнических групп. Главную часть населения составляли высокие сильные люди ростом более двух метров с голубыми глазами и светлыми волосами. Этот тип очень сходен с древнейшим типом разумного человека в Европе-кроманьонцами, которые появились в Европе и в Северной Африке около 30 тыс. лет назад. Гуанчи, если верить их испанским современникам, отличались красотой, любили музыку, песни и танцы. Меньшую часть населения составляли черноволосые люди низкого роста, близкие к средиземноморским народам. Были также представители монголоидный И негроидной рас.

По мнению многих атдантологов, гуанчи, возможно, являются потомками атлантов, а Канарские острова- последними остатками Атлантиды.

Ну а как же все-таки быть с Платоном? Мог ли он выдумать Атлантиду?

Историк Н. Я. Эйдельман считал, что психология древних греков должна, видимо, сильно отличаться от психологии людей нашего времени. Легенды могли во многом основываться на реальных вещах. Шлиман, например, поверил Гомеру

- и нашел Трою. Чтобы оценить степень правдивости Платона, надо понять психологию его времени. Мы не можем смотреть на его "Диалоги" как наш произведения современных фантастов, например, братьев Стругацких или Брэдбери. Родовые отношения у древних греков почитались священными и вряд ли Платон мог позволить себе приписать явные небылицы такому уважаемому всеми предку как Солон. Что же касается хронологической точности, когда речь дет о тысячелетиях, о ней говорить не приходится. Геродот нередко путал хронологию событий,

отдаленных от него всего на сто лет. Мы сейчас знаем историю древнего мира гораздо лучше, чем древние греки или римляне. И все же при гигантском разрыве во времени между нами и временами Солона, историки не могут дать ответа на вопрос об Атлантиде.

Но если археология и история не дают ответа, то, может быть, геология способна его дать? Нужно выяснить, по существу, были в послеледниковое время в Северной Атлантике микроконтинент или большой архипелаг, который опустился затем в океан. Поэтому следы Атлантиды могут быть обнаружены на подводных горах.

Многие считают, что Атлантида находилась не в Атлантике, а в Восточном Средиземноморье, на одном из островов неподалеку от Крита. Гипотеза о гибели Атлантиды в Эгейском море была впервые высказана русским академиком А. Норовым еще в 1854 году. В 1983 году, из работ французского вулканолога Ф. Фукэ стало известно, что на острове Санторин под слоем пепла найдены остатки древних построек. Этому посвящена целая книга Галанопулоса и Бекона. Действительно, в Эгейском море, неподалеку от Крита, существовал в древности остров, остатки которого известны под названием Тира. Подводные исследования, проведенные здесь совсем недавно акванавтами под руководством знаменитого Жака Ива Кусто, обнаружили под водой обломки затонувших внезапно древних судов и целые залежи старинных амфор и других предметов. По данным, полученным археологами и морскими геологами, древний город на острове мог погибнуть в результате чудовищного извержения вулкана Санторин около 1500 года до нашей эры. Именно с этим извержением связывается в греческой мифологии так называемый Девкалионов потоп. Галанополус считает, что Атлантида - это Крито-Минойская держава и что катастрофа случилась не за 9000 лет до посещения Солоном Египта, а всего за 900 лет. В итоге извержения остров Санторин раскололся на части и погрузился в море.

Как же быть в этом случае со знаменитыми Геркулесовыми Столбами? Ведь у Платона ясно сказано, что Атлантида располагалась по ту сторону Геркулесовых Столбов, то есть в Атлантическом океане! Может быть, на Санторине погибла не Атлантида, а противостоящее ей Праафинское государство? А Атлантиду нужно искать все-таки в Атлантике, в районе горы Ампер?

Первая попытка проникнуть в тайны горы Ампер была предпринята в 1982 году в первом испытательном рейсе нового "Витязя", где мне довелось руководить геологическими работами.

Тогда нам не повезло с погодой: Атлантический океан встретил нас затяжными мартовскими штормами. Шторм в районе горы Ампер все дни был не ниже шести-семи баллов. И прогноз ничего хорошего не сулил. А времени было в обрез. Нечего и думать, чтобы в такой обстановке опустить за борт "Аргус". "Опустить-то нетрудно, - мрачно шутил капитан Апехтин, - труднее обратно вынуть". Тогда было принято другое решение.

Прямо на вершину горы, на тот участок, где, судя по подводным фотографиям, располагаются таинственные стены, был опущен на стальном тросе водолазный колокол с тремя акванавтами. Задача была нелегкая-штормовые волны не давали возможности встать на вершине горы на два якоря, и только высокое морское искусство капитана и экипажа одержало верх над негостеприимной стихией.

Группой акванавтов руководил Николай Ризенков, за несколько Нет до этого участвовавший в первом погружении на дно Байкала в подводном обитаемом аппарате. Для балансировки колокол был снабжен двумя дополнительными грузами по 450 килограмм каждый, которые опускались одновременно с ним на двух дополнительных тросах. Операция предстояла рискованная, шторм на поверхности гулял вовсю. Когда колокол достиг вершины горы, его начало трясти и бить о выступы скал. Выбрав подходящий момент, Николай вышел на платформу и решительно прыгнул прямо на скалу. "Как с трамвая на полном ходу", - рассказывал он потом.

Перед погружением я его инструктировал. "Внимательно осмотри стены - нет ли следов обработки какими-нибудь инструментами. Тщательно проверь трещины - может быть, заделаны чем-нибудь". Но какой уж тут внимательный осмотр в такой "антисанитарной обстановке! При каждом качании судна наверху тяжелая махина водолазного колокола бьет о скалы. В довершение всего от сильного очередного удара оборвался свинцовый балластный груз и ударился о скалу, чудом не прихлопнув Николая. Зато от стенки рядом с акванавтом откололось несколько кусков породы. Не растерявшись, он схватил один из них и устремился обратно в колокол.

Когда, закончив рейс, "Витязь" возвратился в Новороссийск, на берегу нас ждала торжественная встреча. Судно осадили многочисленные журналисты. На пирсе был организован митинг. Сам Иван Дмитриевич Папанин приехал встречать новый "Витязь". По указанию Новороссийского горсовета в день нашего возвращения во всех кинотеатрах города шел один и тот же фильм - "Вожди Атлантиды". И, конечно, в центре внимания был уникальный камень, извлеченный из глубин Николаем

Ризенковым. Еще бы - кусок Атлантиды! Его многократно снимали на фото- и телекамеры, просили "подержать". Газета "Москоу Ньюс" даже изобразила меня с этим камнем в руках и бессмысленной улыбкой на лице, снабдив заметку своего корреспондента многообещающим заголовком "Анлантида

- вероятна". Все наши скромные попытки охладить энтузиазм журналистов успеха не имели. Наиболее решительные из них, объединившись в коллектив, предложили мне обменять уникальный образец на ящик коньяка. Я с негодованием отверг предложение и с возмущением сообщил об этом начальнику рейса Ястребову, гордясь своей неподкупностью. "Ну и дурень, - недовольно сказал он, - ты что, не мог им какой-нибудь другой камень подсунуть? Им то ведь все равно"…

Смелая вылазка Ризенкова не позволила все же судить о том, рукотворные ли стены на вершине горы Ампер или это природа так искусно их возвела. Гораздо важнее другое: геологическое и особенно петрохимическое исследование образца, отобранного с вершины горы, показало, что базальт такого типа мог образоваться только при застывании лавы на воздухе, а не под водой, то есть на поверхности океана. Значит, гора Ампер в начале своего существования была вулканическим островом!

В августе того же года к берегам Кубы отправилось для работы научно-исследовательское судно нашего института "Рифт" с "Аргусом" на борту.

Для технической проверки подводного аппарата решено было по дороге сделать пробное погружение "Аргуса" "где-нибудь на небольшой глубине". А гора Ампер как раз на пути. И в этом районе, не в пример первому рейсу "Витязя" - полный штиль. Задачи "Аргуса" были далеки от поиска Атлантиды. Экипажу предстояло только проверить, слаженно ли работают системы подводного аппарата, и провести попутные биологические наблюдения. И все-таки…

Примерно через месяц в институт пришло письмо от командира подводников Булыги.

"Что я видел на ампере"

(из воспоминаний подводного пилота)

До нашего погружения я знал об этой горе следующее:

1. Из-за плохой погоды здесь сорвались четыре попытки спустить обитаемый аппарат. В трех разных экспедициях (аппараты "Пайсис" и "Аргус").

2. В Институте имеются фотографии, выполненные глубоководной фотокамерой на этой горе, которых я не видел и на которых запечатлены стенки якобы искусственного происхождения.

3. На гору опускали колокол с водолазами, они взяли "камушек" - вроде бы от стенки, но я его не видел. Говорят, что "камушек" не искусственный, а настоящий природный базальт, и поэтому стенки, наверное, - тоже.

Поэтому ни о каких Атлантидах ни перед погружением, ни в первые часы погружения я не думал. Меня, как пилота, интересовало, в первую очередь, как себя будет вести аппарат в океанской воде, и как бы не влететь в какие-нибудь рыбацкие сети. А рыбу там ловили, вы это видели. И ловят ее там давно, в чем мы убедились на грунте, встречаясь несколько раз с переметами, обрывками ваеров и т. п. Романтического настроения, как вы понимаете, это не создавало. Сели на склоне, на глубине 210 метров, и "поползли" вверх, так как все живое тянется вверх - к солнышку. Наблюдатель тем временем "изводил" пленку на рыбок. Я, занятый со вторым пилотом сугубо техническими делами ("дифферент?.. глубина?.. скорость?..), между делом заметил наблюдателю, чтобы он не увлекался, а поберег пленку на какую-нибудь "каменную бабу". Но он не очень послушался, в чем сам потом раскаивался больше всех. Хотя в душе я его понимал: как, например, не снять мурену, которая пыталась откусить нашу механическую руку? Аппарат же нас слушался хорошо, и мы потихоньку "выползли" на стометровую отметку, .где начиналось плато-вершина горы. Видимость достигала 40 метров. И здесь вот начали встречаться первые "стены" с ярко выраженной кладкой. Но к этому мы были морально подготовлены, так как я говорил выше, что о существовании этих стен было известно и ранее. Стены как стены, но когда мы подвсплыли над грунтом на 20-30 метров, то нам открылась панорама развалин города, так как стены уж очень похоже имитировали остатки комнат, улиц, площадей.

Схожесть добавляли форма и цвет милых нам земных кирпичей. Но попытка отломать один такой "кирпичик" не увенчалась успехом. То ли это действительно стена базальта, то ли предки строи-•ли на совесть. Этот вопрос остался открытым. Удалось взять только камушек-окатыш, из которого была сложена арка, самое, на мой взгляд, удивительно похожее на творение рук человеческих сооружение, из всего, что мы видели.

Об организации "Клуба атлантоведов" конечно, говорить рано. "Но предварительные списки можно составлять…

Вот что я видел на Ампере. И очень хотел бы еще там побывать и побродить по удивительным и загадочным развалинам, зарядив много-много фотопленки, чтобы показать всем вам те красоты!.."

Автор этого письма Виталий Булыга и второй пилот, участвовавший в том уникальном погружении - Леонид Воронов, находились сейчас на борту "Витязя" и можно было надеяться, что на этот раз они скорее смогут отыскать на вершине горы Ампер уже виденные ими "развалины затонувшего города"…

Наш "Витязь" тем временем весело бежит по Средиземному морю и через двое суток в вечерней закатной дымке перед нами открывается синяя от сумерек Гибралтарская скала. Где-то слева смутным контуром проступает высокий африканский берег. Вот они. Геркулесовы Столбы. На верхней палубе звенит гитара, и несколько мужских голосов негромко поют:

У Геркулесовых Столбов лежит моя дорога,

У Геркулесовых Столбов, где плавал Одиссей…

На борту у нас журналисты - Александр Сергеевич Андрошин, представляющий центральную "Правду", и писатель Леонид Викторович Почивалов, корреспондент "Литературной газеты". Оба они чуть ли не каждый день сидят в радиорубке "Витязя", передавая Корреспонденции в свои редакции. Больше всего их, без сомнения, интересует Атлантида. Особенно Почивалова, который пишет книгу о тайнах океана. Обоих представителей прессы обещали допустить к погружениям на горе Ампер - "если погода позволит".

В кают-кампаний я сижу за большим прямоугольным столом, по одну сторону которого - места для руководства экспедиции, а по другую-для руководства экипажа. Сидящий напротив меня старпом Алексей Петрович Кодачигов немало лет бороздит на судах океаны. Он уверяет, что если все макароны, съеденные им на флоте, вытянуть в одну линию, то можно несколько раз обернуть земной шар по экватору. Главный шутник за столом - наш старший механик Анатолий Георгиевич Прожогин. За его

спиной тридцать лет плаваний на танкерах. Худощавый и темноволосый, с живыми острыми глазами южанина, он - неисчерпаемый источник юмора и соленых морских историй.

"А то еще был капитан, - продолжает он очередной рассказ, - который у нас на танкере вместе с собой в капитанской каюте петуха возил. Шли мы как-то Зундом, ну, натурально, - с лоцманом. Идем еле-еле, туман непроглядный. Лоцман нервничает и все время команды подает по-немецки - пролив-то узкий, того и гляди на берег наскочишь. Наконец лоцман успокоился и говорит: "Зер гут" - вышли, значит, из пролива на открытую воду. И вдруг рядом с рубкой как заорет петух! Значит, берег-то рядом! Лоцман за сердце взялся и в осадок выпал - еле откачали".

Наш капитан петуха с собой не возит и поэтому смеется громче всех.

"А дальше двинули мы через Атлантику в Бостон, - не унимается стармех,

- ну, и конечно, судовые часы все время переводили, поскольку на запад идем. А петух-то этого не знает. У него свои часы заведены - они ведь не переводятся. Так он и кукарекал как и прежде, пока однажды не заорал истошным голосом посреди белого дня и сам своего крика испугался. И замолк на весь рейс. Диктор говорил, что у него нервный шок наступил".

Пройдя Гибралтарский пролив, мы повернули налево вдоль африканского берега и зашли на пару дней в Танжер пополнить запасы топлива и продовольствия. Помню, в конце сороковых годов, еще в школе, мы, мальчишки, бегали смотреть знаменитый приключенческий фильм, "взятый в качестве трофея войсками Советской Армии". Фильм назывался "Сети шпионажа" и действие там происходило в Танжере, где скрещивались интересы тайнь разведок всего мира. Преступный и таинственный буржуазный "Вольный город" мерцал на экране, притягивая и отпугивая полуголодных юнцов своими опасными соблазнами. Теперь Танжер входит в состав арабского королевства Марокко, и опасных соблазнов там нет.

Не обошлось, однако, и тут без приключений. Поздним вечером, так и не дождавшись конца внезапно налетевшего шторма, "Витязь" покинул порт и взял курс на вест, в направлении горы Ампер. Всю ночь судно скрипело и раскачивалось под ударами взбаламученной воды. Утром следующего дня, я, как обычно, проснулся от голоса старпома, зазвучавшего в динамике: "Доброе утро, товарищи. Судовое время - семь часов. Волна - семь баллов, ветер-четыре балла. До Танжера осталось тридцать миль". То есть как это - до Танжера? Мы ведь

только вчера вечером ушли оттуда? Оговорился он, что ли? Выскакиваю на палубу и вижу - солнце сияет по курсу судна. Значит, действительно, повернули на восток, обратно в Танжер. Что случилось?

Поднимаюсь на мостик и узнаю новость: на корабле обнаружили "зайца". Молодой араб накануне вечером пробрался к нам на "Витязь", спрыгнул с пирса прямо на корму и спрятался в кормовом трюме. Нашли его только около четырех часов утра и повернули обратно сдавать беглеца. А вот и сам виновник сидит в конференц-зале под охраной вахтенного матроса. Он объясняет по-французски, что ему 27 лет, он механик, денег на билет нет. Надеялся добраться с нами до Франции или до Италии, но когда увидел, что судно идет от берегов Африки на запад, "пошел сдаваться". Одет он в кожаную куртку и брюки. Все пожитки в тощей кошелке. Благодарит за то, что не утопили. "Другие бы утопили, кто же будет из-за этого судно обратно поворачивать, время и топливо тратить. Ведь деньги, и немалые". Его, конечно, кормят. Навстречу нам на рейде Танжера выходит портовый буксир и беглеца забирают. Мы разворачиваемся обратно.

Радости от этого неожиданного происшествия мало. Раз посторонний проник в чужом порту к нам на борт, значит плохо несется вахтенная служба. А вдруг он подложил что-нибудь? Да и один ли он был? Может, еще кто-нибудь на борту прячется? Вечером того же дня сидят себе старший помощник вместе с первым помощником в каюте у старпома и пьют чай. Разговор невеселый - кто и за что теперь отвечать будет. "Витязь" между тем полным ходом идет к горе Ампер. Вдруг без стука открывается дверь каюты и в нее входит второй араб - в бурнусе и в чалме. Старпом и помполит как сидели, так и остолбенели с чашками в руках. Араб подходит к онемевшему старпому, протягивает руку и говорит: "Русский, дай дир-хам!" У старпома отвисает челюсть. Тут гость скидывает чалму и бурнус и преображается в старшего механика.

"Что за дурацкие шутки?" - возмущается капитан. "Да это что, Николай Вадимович, - оправдывается стармех.-Вот мы также как-то на танкере из Адена вышли, а капитан наш тоже вот переоделся арабом, чалму напялил, бурнус и вышел на палубу на носу, прямо перед ходовой рубкой. Вахтенная служба его, конечно, из рубки видит, а что делать, не знает. Звонят капитану в каюту, а его, понятно, нет. Объявляют по судовой трансляции: "Капитана просят срочно позвонить на мостик!" Никто не откликается. Мало того, что араб появился, а тут же и капитан пропал! Что делать? Сколотили кое-как бригаду из добровольцев, кто поздоровее, и послали их на бак араба вязать. А палуба у

танкера огромная. Спрятался куда-то араб в носовую часть, и не видно его. Добежала бригада до носового трюма, а вниз лезть никто не хочет- мнутся. Наконец набрались смелости и вломились втроем. А араб чалму снял и говорит капитанским голосом: "Так-то вы, растяпы, вахту несете!"

Вечером следующего дня пришли на гору Ампер, вышли по эхолоту на участок ее вершины и, выбрав плоское место, поставили буй. Вокруг нас крутится множество рыболовных судов - здесь, на мелководье, много всякой рыбы. Нам они изрядно мешают. Дело не только в том, что эти суда все время ходят взад и вперед, волоча за собой рыболовецкие тралы и мешая съемке, - обрывки рыбацких сетей и переметы густо усеивают неглубокое дно в районе вершины горы и создают нешуточную опасность для "Аргуса". Зато погода нас на этот раз балует, поэтому нужно использовать каждый час. В задачи работ на Ампере входило детальное изучение геолого-геоморфологического строения горы, ее происхождения и развития, И в том числе исследование стен на ее вершине. Решено было ночью сделать съемку рельефа дна и измерения магнитного поля, а также подводное фотографирование, а все светлое время суток использовать для работы "Аргуса" и водолазного колокола. Погружения начались сразу же, на следующее утро. Прежде всего нужно было найти участок со "стенами" и внимательно обследовать его, определив природу этих сооружений. С помощью буксируемого аппарата "Звук" сделана детальная фотопанорама вершины горы, на которой снова отчетливо проявились узкие вертикальные гряды, как бы сложенные из отдельных блоков. Может быть, это все-таки не гряды, а стены? Чтобы ответить на этот вопрос, надо погрузиться в воду. Никакие фотографии и телевизионные осмотры сверху ничего толком об этом не скажут - смотреть надо не сверху, а сбоку. Осадков на вершине горы как будто немного - повсеместно из-под белого песка торчат черные скалы. Здесь работает сильное Португальское течение, которое гонит океанские волны с севера на юг со скоростью два узла. Поэтому илистых осадков на вершине горы нет. А стены вертикальные, с глубокими расселинами…

Составили списки подводных наблюдателей. В них вошли и оба наших корреспондента. Поскольку подводная фотокамера может проводить фотографирование только очень близких объектов, а человеческий глаз видит дальше, то наблюдателей просили зарисовать все, что они увидят в иллюминатор. Ведь в прошлые века именно рисунки ученых и натуралистов были главными документами! Ни у Крашенинникова на Камчатке, ни у Миклухо-Маклая в Океании фотоаппаратов не было, зато как они

рисовали! Решено было каждый день после погружений "Аргуса" собирать Научно-технический Совет для обсуждения результатов.

А подводные пилоты должны были вывести "Аргус" именно на то место, которое они так красочно описали в своем письме. Акванавты в это время усиленно готовили к спуску свой водолазный колокол, в котором после работ на горе Верчелли обнаружились неполадки.

В первый же день на "Аргусе" в качестве наблюдателя погружался и я. Однако на участок "со стенами" тогда выйти не удалось. Сильное течение сносило аппарат под водой, не давая удержаться на курсе. Дно вершины оказалось разбитым многочисленными трещинами и ущельями, засыпанными белым песком. Сами скалы заросли мелкими красными водорослями - литатамниями. Повсюду много обрывков сетей и переметов, столь опасных для аппарата, так что экипаж в постоянном напряжении. Целые косяки рыб скользят перед иллюминаторами, но нам не до них. В основном это окунь и ставрида. Правда, в первом же погружении я нашел, как мне показалось, амфору. Булыга долго и старательно маневрировал, чтобы ухватить ее манипулятором. Каждый раз при включении движителей мелкий песок вихрем взлетал вверх и желанная находка скрывалась от нас. Наконец мы ухватили этот заросший ракушками явно рукотворный предмет и торжественно погрузили его в бункер, сообщив об этом на поверхность. Когда "Аргус" поднялся наверх, все население "Витязя" пришло посмотреть на нашу находку. Каково же было наше разочарование, когда под слоем ракушек обнаружилась старая алюминиевая кастрюля, уж никак не "атлантического" происхождения. В этом же первом погружении нас атаковала большая пятнистая мурена. Когда видишь в двух шагах от себя через стекло ее зубы и безумные глаза, то хоть и знаешь, что ты в безопасности, а все-таки страшновато.

В последующие дни тщательно обследовалась с "Аргуса" вся площадь вершины горы. Шаг за шагом просматривались и фотографировались выходы пород на северном, южном, восточном и западном склонах. Отбирались образцы базальтов, проводились фотосъемки и зарисовки скальных выходов, измерялись по компасу направления простирания трещин и скальных гряд. Уже на второй день геофизик Анатолий Шрейдер обнаружил в районе вершины какие-то округлые сооружения, напоминающие цирки диаметром 40-50 метров, а также квадратные формы рельефа, отдаленно похожие на "комнаты". Однако стен с "кладкой" никто не видел. Начальник отряда акванавтов Валерий Скудин также опустился на "Аргусе", чтобы отыскать место, удобное для погружения водолазного колокола.

После этого погрузили колокол с тремя акванавтами и отобрали образцы из коренных пород, но "стен" так и не нашли. Пилоты наши пожимают плечами и никак не могут определить, где они видели "развалины города". Только на четвертый день геолог Николай Прокопцев, человек тщательный и скрупулезный, неодобрительно относящийся к легковесным фантазиям, а вслед за ним и его болгарский коллега Петко Димитров, обнаружили странные "стены", "комнаты" и даже что-то вроде "арки". Вечером того же дня на "Витязь" пришла радиограмма из города Новокузнецка. Какой-то энтузиаст сообщал нам "точные координаты Атлантиды" и требовал, чтобы мы не теряли здесь зря время и немедленно шли туда, если хотим ее найти.

На пятый день туда, где были обнаружены "стены", погрузили представителей прессы, предложив им зарисовать увиденные объекты. Они тоже сделали наброски "стен". Леонид Почивалов нарисовал даже в одной из "комнат" круглый каменный стол, похожий на жертвенный. В этот день, однако, стала портиться погода, внезапный ветер начал разгонять волну, и последнее "рабочее" погружение было предложено сделать мне, чтобы осмотреть и описать найденные объекты. Это было уже четвертое погружение за день, однако пилоты, хотя и устали, охотно согласились "еще поработать", справедливо опасаясь, что погода не даст такой возможности в будущие дни. Я сменил Александра Андрошина. Мотобот, раскачиваясь и подлетая на сильной волне, помчался к всплывшему "Аргусу", рубку которого почти захлестывала вода. Это момент для аппарата неприятный. Поэтому мы с Андрошиным постарались не держать лишнее время люк открытым. Проскальзывая в него и захлопывая за собой тяжелую крышку, я второпях довольно чувствительно придавил руку, хотя в первый момент даже не заметил этого. Еще бы - ведь предстояло самому взглянуть на "развалины Атлантиды" да еще в компании тех самых пилотов, которые ее "уже видели". "Ну что, - спросил я у Булыги, как только плюхнулся на "свой тюфяк" - нашли, похоже, это место? "Да кто его знает, вроде, похоже", - ответил он. Мы связываемся по подводному телефону с "Витязем" и просим засечь наши координаты. Сильное течение сносит нас в сторону от вершины. Надо торопиться. Задраивается люк и объявляется готовность к погружению. "Аргус" идет вниз. Привожу дальше отрывок из записанных мною под водой на магнитофон наблюдений:

"Аппарат лег на грунт в 13 часов 20 минут на глубине 110 метров, на южном склоне вершины горы Ампер. Координаты точки погружения: широта 35°03 север, долгота 12°53 запад. В поле зрения - скальные выходы коренных пород, хорошо видные

на фоне белого детеритового песка и образующие прямоугольные гряды высотой около полутора метров, отдаленно напоминающие развалины домов. Видимость примерно 50 метров, поэтому можно работать без светильников. Всплываем над грунтом на 3-4 метра и ложимся на курс 90°. На глубине 95 метров, в 200 метрах от точки погружения, ограниченный грядами коренных пород замкнутый прямоугольник длиной около 20м и шириной Юм, напоминающий "комнату". Высота стенок метр-полтора, ширина - около полуметра. "Дно комнаты" засыпано белым песком. У края стен - отдельные глыбы. Стенки сложены сильно измененным базальтом.

Движемся дальше вверх по склону. На глубине около 90 метров перед нами возникает вертикальная стенка высотой 2 метра и шириной - около метра. Ее поверхность полностью заросла мелкими красными водорослями - литатамниями. На их фоне просматриваются как бы следы "кирпичной кладки", очень напоминающие на самом деле кубическую отдельность, образующуюся при застывании излившихся базальтов. Стенка упирается в скалу. Вот хорошо бы посмотреть характер контакта со скалой! Тогда будет ясно, сложена стенка человеческими руками или же это по трещине в старой скале внедрилась новая порция расплавленной базальтовой лавы и застыла, образовав "стенку". В последнем случае край скалы должен носить следы обжига расплавленной лавой. Булыга подводит аппарат вплотную - так, что наша "механическая рука" царапает скалу. Но вся эта часть наглухо закрыта сросшимися глыбами, покрытыми густыми водорослями, и характер контакта не виден.

Всплываем над скалой на пять метров, и перед нами снова открывается панорама прямоугольных гряд, чередующихся с долинами, засыпанными белым песком. На песке хорошо видны вытянутые борозды. Это так называемые рифели

- следы сильного подводного течения, скорость которого на этой глубине достигает полутора узлов - то есть почти столько же, сколько может давать наш "Аргус". Подходим вплотную к одной из гряд и обнаруживаем в стене большие изометрические ниши и каверны, явные следы разрушительного действия волн. Значит стена эта была раньше на поверхности? Стена разбита трещинами, а сами трещины завалены базальтовыми глыбами, которые хорошо окатаны. Между глыбами - галька разного размера, значит, здесь гуляли когда-то волны прибоя. Да и края скал сильно разрушены выветриванием. Все это убеждает в том, что гора Ампер, сложенная вулканическими лавами, была когда-то островом. Аппарат медленно поднимается над сильно разрушенными грядами. Интересно, что простирание этих гряд и

"стенок" имеет два направления - северо-восток и юго-восток. Вершины напоминают зубья пилы. Где-то здесь мы потеряли в первом рейсе якорь: отдали его, а обратно выбрать Не смогли - он зацепился за скалу и оторвался. Ничего удивительного при таком рельефе!

В одной из расселин, прямо перед нами, проступает из зеленых сумерек тонкая нить, пересекающая наш курс. На ней борода водорослей. Лежащий рядом со мной Булыга настораживается, его мышцы напрягаются: перемет! Аппарат взмывает вверх, и опасная снасть остается под нами.

Аппарат продолжает двигаться курсом 90°. На глубине около 90 метров выходим на стенку высотой около 2 метров и шириной полтора метра с отчетливыми следами "кладки". У ее подножия на песке - целая колония морских ежей. Поверхность стенки, сплошь заросшая литатамниями, плоская, как будто обработанная какими-то орудиями. Стена, так же как и в предьщущем случае, упирается в сильно разрушенную скалу, но контакт завален камнями, и все попытки расчистить его оказываются безуспешными. Что это - дай-ка? Куда же в таком случае делся материал той породы, в которую пайка внедрилась? Может быть, древние и сильно разрушенные базальты вмещающей породы оказались размыты, а сама стенка, сложенная более молодым и прочным базальтом, осталась? Ответ на этот вопрос может дать только результат определения возраста базальтов, отобранных из скалы и из стенки. Подходим вплотную. Верхний край стены разбит на правильные кубики с гранью около 15 сантиметров. С большим трудом, раскачивая аппарат из стороны в сторону, Булыга берет манипулятором два образца "кубиков" и кидает их в бункер.

Движемся дальше вдоль склона над грядой, ограниченной двумя параллельными стенками. Внутренняя поверхность стен разбита прямоугольными трещинами. Впечатление такое, что плывешь на "речном трамвае" по родной Мойке. В конце "канала" между стенами - пещера с полуразрушенным навесом из крупных глыб. Все вокруг засыпано галечником и скатанными глыбами. На стенах, разбитых глубокими трещинами, растут ярко-зеленые водоросли, напоминающие хвойные растения. Слева от нас - стена высотой около 20 метров, с большими расселинами. У ее подножья виден прямоугольник, засыпанный песком, посреди которого лежит изометрическая базальтовая глыба. Не это ли Почивалов принял за "жертвенник"? В конце сходящегося ущелья между стенами зияет пещера. Перед ней лежит большой электрический скат, полузарывшийся в песок. Заметив наше приближение, он неспешно скользит в сторону.

Идем вдоль края ущелья по его верхней части. Поверхность скал сильно расчленена и разбита трещинами. В одной из них лежит мурена. Долина под нами, засыпанная песком, напоминает горную реку, врезавшуюся в скалы. За краем гряды открывается новая долина. Впечатление такое, будто летишь на вертолете над заснеженной землей. На поверхности дна под слоем песка просматриваются следы прямоугольных гряд. Перед нами по курсу возникает новая гряда. В глубоких расселинах, рассекающих ее верхний край, видны обрывки сетей и переметы. Как поется у Высоцкого: "Там хорошо, но нам туда не надо". Всплываем над грядой. Ее вершина напоминает сильно разрушенную башню. В верхней части "башни" к скале прилепился крупный осьминог. Подходим к нему вплотную и делаем фотоснимок. При вспышке света он дергается, как от удара. За грядой, внизу, на дне, овальное углубление в скале диаметром около тридцати метров, похожее на цирк. Рядом с ним - целый ярус рыбацких сетей. Да, здесь нужно быть начеку!

На глубине 78 метров перед аппаратом возникает тройное сочленение стен, утыкающихся в скалу. Делаем несколько фотоснимков. Сразу же за этим тройным сочленением, на глубине около 80 метров обнаруживается стенка со следами "кладки", аналогичная вышеописанной. Она упирается в скалу, в которой видна пещера. Над ней подобие свода. Вдоль стены к пещере ведут как бы ступени, засыпанные песком. Ширина ступеней около 2 метров. Делаем несколько фотоснимков. На внутренней стороне стены у ее основания - выступ шириной около20 см. Ниже по склону, под "лестницей", - прямоугольный участок, засыпанный белым песком. Поверхность гладкая, покрытая литатамниями. У основания стены на территории прямоугольника лежит какой-то изометрический камень. Сильно разрушенный "свод" над пещерой отдаленно напоминает кладку радиально расходящихся камней. Неужели все это сделала природа?

Ложимся на курс 270° и движемся вдоль гряды на глубине 102 метра. У основания гряды на фоне песка видны на дне углубления, похожие на колодцы. Слева по курсу - стена с овальными нишами. У ее подножья - "колодец" диаметром около 3м. Делаем снимок. Следуем дальше на глубине 101 м и фотографируем ниши в стене.

В 16 ч. 30 мин., получив команду с "Витязя" отрываемся от грунта с глубины 108 м. Координаты точки всплытия - широта 35°03 15 с.ш., долгота - 12°53 15 зд."

На следующий день было проведено еще одно погружение водолазного колокола на вершину горы Ампер - на этот раз уже

прямо на обнаруженные "Аргусом" стены. Сделать это оказалось не просто - сильное подводное течение мешало поставить буй, чтобы определить точно, где погрузить колокол. Поэтому место постановки "Витязя" на якорь было выбрано после долгого и кропотливого анализа трассы погружений "Аргуса" и, конечно, прежде всего, маршрутов предыдущего дня. Были учтены также и маршруты буксировки подводного аппарата "Звук", при которых в телевизионную установку с борта "Витязя" можно было отчетливо наблюдать скальные гряды, образующие прямоугольные постройки.

Наконец, Апехтин искусно поставил "Витязь" на два носовых якоря в точку с глубиной 101 метр, и в воду пошел водолазный колокол с экипажем из трех человек - водолазы Анатолий Юрчик и Николай Левченко, оператор Владимир Антипов-наш самый способный художник. Уже с глубины 83 метра из колокола в прозрачной воде можно было отчетливо разглядеть на дне чередование ровных гряд, похожих на стены и вытянутых примерно в направлении "нос-корма". Направления под водой водолазы определяли по отношению к корпусу стоящего на якорях "Витязя". Отдельные участки гряд имели уже описанную выше прямоугольную форму и располагались примерно параллельно друг другу. Анатолий Юрчик опустился с платформы водолазного колокола прямо на участок, где эти "стены" соединялись между собой. Их поверхность полностью заросла мелкими темно-коричневыми водорослями, напоминающими мох. На этом подводном ковре то тут, то там примостились колонии морских ежей и гидроидных кораллов. Понадобилось немало усилий, чтобы соскоблить цепкие водоросли с поверхности камня. После этого Юрчик расшатал один из "кубиков" в стене ломиком и отбил образец, отметив предварительно, как он был ориентирован относительно самой стенки. В это же время другой водолаз - Владимир Антипов

- вышел из колокола в воду для испытаний подводной фотосистемы и зарисовки, а третий-Николай Левченко, стоя на платформе, обеспечивал работу своих товарищей. Антипов несколько раз фотографировал "стенку", но старания его, к сожалению, оказались напрасны: когда колокол подняли на "Витязь", выяснилось, что в фотосистему попала вода, и из всего материала сохранился только один кадр, на котором запечатлен водолаз Левченко на платформе колокола.

Однако, главная цель погружения колокола осуществилась - были отобраны образцы пород с таинственных стен, которые сразу же стали объектом тщательного изучения.

Последнее заседание Научно-технического Совета,

происходившее на "Витязе", раскачивающемся над вершиной горы Ампер, было таким же бурным, как и океан. В тот день небольшой конференц-зал был набит до отказа. После долгого обсуждения геологи сошлись на том, что найденные стены все же нерукотворные. Даже Леонид Викторович Почивалов, который, несмотря на свою седину, яростно, с детской настойчивостью, защищал идею Атлантиды, вынужден был отступить перед бесстрастными доводами геологов. "Я так понимаю, что сегодня выносится смертный приговор Атлантиде", - горько заявил он. "Ничего подобного, - возразил я, - речь идет только о стенах на горе Ампер".

Тщательное изучение поверхности горы Ампер показало, что глубокие трещины, разбившие этот старый, давно погасший вулкан, строго ориентированы в двух направлениях: на северо-восток и на юго-запад, примерно под прямым углом друг к другу. Точно такое же направление имеют и таинственные "стены". Вот и получается, что они не людьми сложены, а образовались в связи с этими трещинами. Дело в том, что по трещинам, разбившим старую, уже застывшую породу, при возобновлении вулканической активности могут внедряться новые порции лавы, которые, достигнув поверхности, застывают, отражая прямые линии вмещающих их трещин. Такие внедрения называются дайками. Именно с такими двумя взаимно перпендикулярными системами базальтовых даек мы, по всей видимости, и имеем дело. Дайки эти, секущие склоны и вершину горы Ампер, сложены более молодыми базальтами, которые меньше поддаются разрушительному действию выветривания, чем

старые породы, слагающие вершину. Поэтому, в результате эрозии, более древние базальты в промежутках между "стенками" разрушились и между ними образовались углубления, так похожие на "комнаты".

Ну а как же "кирпичная кладка"? Скорее всего, это не что иное, как система небольших параллельных трещин на поверхности базальтовых гряд, иногда засыпанных белым песком, подчеркивающим зрительное впечатление "кладки". Так называемая "отдельность". Подобное я видел не впервые - когда-то в молодости мне пришлось несколько лет работать в северо-западной части Сибирской платформы, на знаменитых сибирских траппах. Базальтовые образования при выветривании могут образовывать самые причудливые формы, напоминающие башни и стены. Вспомним известные всем Красноярские столбы! Складывается впечатление, что никаких "развалин древнего города" на вершине горы Ампер все-таки нет…

Уже стемнело, когда "Витязь" покинул гору Ампер и

направился на Африканскую плиту, к ее недалекой соседке - подводной горе Жозефин. Из предыдущих исследований горы Жозефин, проведенных несколько лет назад немецким научно-исследовательским судном "Метеор", было известно, что гора эта - тоже потухший вулкан, образовавшийся на океанской коре где-то около 13 миллионов лет назад.

На вершине этой горы, на глубине 150 метров, мы провели детальные работы. Поднятые водолазами ориентированные образцы оказались типичными базальтовыми лавами.

Несколько раз опускался на вершину и склоны горы "Аргус". Подводный телевизор и фотопулемет "Звук-4" дали возможность получить полную подводную визуальную фотопанораму вершины. Детально был изучен рельеф и структура аномального магнитного поля. На склон горы Жозефин на рекордную глубину 200 метров был опущен водолазный колокол с экипажем. С помощью зубила и кувалды водолаз отбил несколько ориентированных образцов. Их геологическое изучение показало, что они моложе, чем базальты, слагающие гору Ампер. Значит, если гора Жозефин имеет возраст около 13 миллионов лет, то гора Ампер древнее? Немаловажно еще одно обстоятельство: плоская вершина горы Жозефин и многочисленная галька, обнаруженная при подводном фотографировании и погружениях "Аргуса", однозначно указывают на то, что гора Жозефин, так же, как и ее соседка, гора Ампер, была когда-то островом. Острая вершина вулкана, возвышающаяся над поверхностью воды, была срезана процессами эрозии, а сам остров по каким-то причинам погрузился в океанские волны. Значит, не только гора Ампер "затонула" - ее участь разделили и соседние острова. И только ли они?..

В конце сентября "Витязь" вернулся в Новороссийск. Встреча на этот раз была скромной: ни митинга, ни журналистов. Ведь это был не первый рейс нового судна, а очередной, рабочий. И вопросов об Атлантиде уже было поменьше, сенсация прошла. Любители невероятного снова переключились на летающие тарелки и экстрасенсов. Груда образцов, которую с таким трудом удалось добыть с вершин подводных гор Ампер и Жозефин, тоже уже никого не волновала, кроме нас самих и коллег - специалистов.

Примерно через полтора месяца после нашего возвращения, в ноябре, состоялось заседание Ученого Совета Института океанологии, на котором докладывались результаты рейса. Много видных геологов и геофизиков, специалистов по геологии океанского дна собралось в зале.

Самые интересные результаты были получены в Атлантике.

Анализ данных показал, что вершины Ампер и Жозефин срезаны надводным выветриванием. Среди базальтов горы Ампер выделяются три разнородных типа. Основной рельеф сложен более древними, сильно разрушенными базальтами, которые и образовали вулканический остров на поверхности океана. Затем остров был разбит многочисленными трещинами и по ним начали подниматься новые порции расплавленной лавы. Застыв, они стали лайками - более молодыми и крепкими базальтами. Эти базальты, как упоминалось, и образуют таинственные "стены" с "кладкой"…

А как же все-таки с Атлантидой? Вопрос о природе таинственных стен, конечно, тоже возникал при обсуждении результатов экспедиции. Мое сообщение об их естественном происхождении было выслушано с большим вниманием, но без особого сочувствия. Председатель Совета Андрей Сергеевич Монин в заключительном слове неодобрительно заметил: "Рано делать окончательные выводы. Городницкий говорит одно, а рисует - другое. Посмотрите на его подводные рисунки. С этим еще нужно разобраться".

Примерно в это же время писатель Леонид Почивалов опубликовал в "Литературной газете" большую статью, в которой подробно описал наши работы на горе Ампер и свое погружение в "Аргусе" на загадочные стены. Он не оставлял надежду найти там Атлантиду. Вскоре я случайно встретился в театре с известным сторонником летающих тарелок и экстрасенсов - Феликсом Юрьевичем Зигелем. "Послушайте, - сказал он мне, - как вы относитесь к тому, что на вашей горе Ампер нашли недавно кусок мрамора? Об этом сообщалось в газетах". "Ну что же, - ответил я, - ничего удивительного. Мы сами дважды находили там куски песчаника и мраморизован-ного известняка. Их рыбаки привязывают к сетям вместо грузил - вот они и падают на дно". "Скушный вы человек, - расстроился Зигель. - Неинтересно с вами разговаривать".

Где же искать Атлантиду? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся снова к геологии океанского дна и тектонике литосферных плит. Старые, отвергнутые современной наукой представления, у которых еще и сейчас есть немало именитых сторонников - "фик-систов" основывались на том, что при неизменном положении континентов океанские впадины возникли в результате опускания отдельных блоков литосферы. Эта гипотеза как будто давала в руки атлантологам веские козыри: ведь если были опускания целых континентов, то могла быть и Атлантида, которая точно так же погибла!

Упомянутая выше теория и многочисленные факты говорят

об отсутствии в океане погруженных с блоков континентальной коры. Это, на первый взгляд, противоречит существованию Атлантиды. Олег Георгиевич Сорохтин, заведующий отделом тектоники плит нашего института, как-то сказал мне: "Никакой Атлантиды быть не может. Это противоречит тектонике плит. Если ты будешь верить в оккультные науки, я тебя уволю!"

Ну что ж, континенты как будто действительно не могут погружаться. А архипелаги? Ведь проведенные нами на "Витязе" исследования убедительно показали, что подводные горы Ампер и Жозефин, да и другие горы в системе Хосшу были когда-то островами. Значит, весь этот огромный горный хребет был когда-то на поверхности, а потом вдруг погрузился, возможно "в один бедственный день и одну бедственную ночь." А если были острова, то на них могли жить люди! Весь вопрос в том, когда эти острова возникли, и когда, а главное - почему, погрузились в океанские воды.

Вспомним слова Платона - он пишет, что катастрофа произошла одновременно на всем Средиземноморье. На востоке погибло Праафинское государство и все афинское войско. Это могло произойти при чудовищном извержении вулкана Санторин, когда погиб город на острове Тира и возможно Крито-Микенская цивилизация. Галанопулос и Бекон связывают с этим временем еще одно интересное событие - библейский исход евреев из Египта. Действительно, подробно приведенное в Библии описание того, как море сначала отступило, пропустив беглецов, а потом, когда конница фараона кинулась за ними в погоню, пришла стена воды и поглотила египетское войско, удивительно напоминает картину пунами. А откуда взяться цунами? Только в результате недалекого и очень сильного вулканического извержения, каким могло быть извержение Санторина и толчков земной коры.

В это же самое время к западу от Геркулесовых Столбов, в результате той же катастрофы, вызванной столкновением плит, раскололся и погрузился в воду огромный архипелаг, протянувшийся от Азорских островов до Гибралтара, а вместе с ним и Атлантида. Первые шаги в глубину, сделанные в наших экспедициях, позволили найти геологическое объяснение гибели этого архипелага именно там, где помещал Атлантиду Платон.

Сторонники "средиземноморской" Атлантиды в районе острова Тира считают, что древние греки плохо знали географию, в Атлантику на своих несовершенных судах не выходили, поэтому Геркулесовы Столбы, упоминаемые Платоном, не Гибралтарский пролив, а один из проливов возле Сицилии. Факты однако говорят о другом. Н.Ф. Жиров справедливо упоминает, что в знаменитой "Одиссее" сам Улисс и его спутники наблюдали

"танцы богини Эос", то есть полярное сияние. В Средиземном море его увидеть невозможно. Для этого судно Одиссея должно было выйти через Гибралтарский пролив в Атлантику, да еще и подняться до 50° северной широты. Значит, не такими уж плохими мореходами были древние греки!

Эйдельман призывал меня верить Платону, и я рискую это сделать. Тем более, что и геологические данные, полученные нашей экспедицией, не противоречат предположению о гибели огромной цепи островов, целой горной страны, между Гибралтарским проливом и Азорским архипелагом.

Поющие шестидесятые

Мы, люди шестидесятых годов, дожили до полной надежд и тревог эпохи, когда песни и стихи как будто перестали быть нужны. Пугающими фактами наполнены газеты и журналы. Они кричат и обличают друг друга, как ораторы на митингах. Всеобщая усталость, разочарование и раздражение достигли опасного предела. Еще не говорят пушки (автоматы кое-где уже слышны), а поэты уже умолкли, и это опасный признак. Не до песен. И поневоле охватывает ностальгия по безвозвратно ушедшей эпохе "поющих шестидесятых", времени наших недолгих юношеских надежд, короткой хрущевской оттепели и первой волны гласности, вызвавшей к жизни среди прочего такое странное явление как авторская песня. "Авторская песня, самодеятельная песня, поющие поэты, барды и менестрели" - какие только названия не находили для того странного на первый взгляд творческого направления, которое, возникнув в конце пятидесятых годов, на исходе короткой и ненадежной хрущевской оттепели, начало набирать неожиданно силу в шестидесятые. Раньше все было просто и понятно: композитор писал музыку для песни, поэт придумывал на эту музыку стихи. Так создавалась песня, которая потом в исполнении профессионального певца (или певицы, или, что еще лучше, хора) звучала с эстрады, кино- или телеэкрана, по радио или с пластинки, а народ радостно эту песню подхватывал. При этом официальное песенное искусство, превратившееся к этому времени в могучую социалистическую индустрию, предусматривало для потребляющей массы довольно широкий ассортимент - от "В буднях великих строек" или "Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин" до "Ясной ночкою весенней при луне" или "Мишка, Мишка, где твоя улыбка". И вдруг весь этот гигантский государственный, отлаженный десятилетиями песенный конвейер, где все роли были четко расписаны и закреплены, начал давать сбои, а потом и вовсе затормозился где-то к середине шестидесятых.

Вместо предусмотренных Музгизом, худсоветами и Главлитом песен, тиражирование которых не только не сократилось, но даже возросло, на тесных московских и ленинградских кухнях блочных "хрущевских" домов, у дымных костров геологических экспедиций и в только возникших тогда студенческих строительных отрядах "технари", студенты, рабочие, интеллигенция стали распевать какие-то странные песни под гитару: "Неистов и упрям, гори, огонь, гори", "Из окон корочкой несет поджаристой", а альпинисты - "Лыжи у печки стоят, гаснет

закат за горой". При этом все смешалось - запели вчерашние слушатели, совершенно не обращая внимания на свои вокальные данные. И совсем не то, что пели вчера. Так неожиданно песня стала средством общения людей.

Исчезло "цеховое" разделение. Авторами новых песен неожиданно стали литераторы, геологи, актеры, учителя. Например, выпускники МГПИ им. Ленина Юрий Визбор, Ада Якушева, Юлий Ким, литератор Булат Окуджава, драматург и киносценарист Александр Галич, актер Владимир Высоцкий, поэтесса Новелла Матвеева и другие. Так, в противовес официозному песенному искусству, возникло второе песенное направление, основанное на несложном гитарном сопровождении. Главным в авторской песне была не музыка, которая, как правило, достаточно проста, а стихи. Само слово "авторская песня", кажется, придумал Владимир Высоцкий, чтобы подчеркнуть, что в этой песне все делает один и тот же человек: сам придумывает стихи и мелодию, сам поет. В 1963 году Алла Гербер опубликовала в "Юности" статью, в которой авторы этих песен назывались "бардами и менестрелями", и слово "барды" осталось, хотя оно и не очень точно. Что же касается официальной прессы, и прежде всего комсомольской печати, которая сразу же приняла новое направление в штыки, то она сразу же присвоила этой песне снисходительное название "самодеятельная", решительно отказав этим унижающим термином авторам в какой бы то ни было профессиональности. Как будто можно назвать Булата Окуджаву или Новеллу Матвееву "самодеятельными поэтами", а Владимира Высоцкого или Юлия Кима "самодеятельными исполнителями".

Основоположником авторской песни обычно считают Булата Окуджаву, и для шестидесятых годов это, пожалуй, верно. Но если мы заглянем подальше, в нашу раннюю историю и даже в античные времена, то немедленно убедимся, что авторская песня существовала всегда. Задолго до появления печатных станков и даже письменности. Именно она легла в основу всех форм современной литературы. При этом изустное творчество неизменно было связано со струнным инструментом - арфа, гусли, саз, гитара. Музыкальное сопровождение древних авторов было, видимо, несложным. Нехитрое струнное звучание не претендовало на оригинальную мелодию, а скорее создавало музыкальный фон для повествования, силовое поле, заставляющее слушателей быть внимательными. Что касается нашей отечественной истории, то одним из основоположников авторской песни можно считать легендарного Бояна или не менее легендарного Садко. Вот уж этот-то, по-видимому, был и впрямь

самодеятельным автором, так как по основной своей профессии работал в системе Внешторга Древнего Новгорода, а песни сочинял явно "идейно невыдержанные", что и привело, если верить былинам, однажды к тому, что реакционная боярская администрация вытолкала его с пира взашей.

Если все это так, то как же получилось, что авторская песня вновь появилась в нашей стране в середине двадцатого века? Ну, средние века - это понятно: из-за низкого уровня письменности, отсутствия радио, телевидения, печати единственной формой песенного общения было изустное. Но теперь-то все это есть! В том-то и дело, что в шестидесятые и семидесятые годы, которые теперь называют "эпохой застоя", все эти могучие средства, находящиеся под строгим контролем государства и партийной бюрократии, для настоящего искусства оказались наглухо закрыты. И народ, со свойственной ему изобретательностью, снова вернулся к средневековым формам общения. Правда, не совсем. С появлением и развитием магнитофонной техники в нашей стране, наряду с "самиздатом", появился "магнитофониздат". Так что сам факт появления ˆавторской песни в затхлые брежневские времена, после того как "наш дорогой Никита Сергеевич" успел напоследок изрядно погромить изобразительное искусство и печатную поэзию, уже был крамольным. Он свидетельствовал о большом непорядке в "датском королевстве". И это было сразу же правильно понято ревнивыми хранителями идейной чистоты нашего искусства, исходившими из принципа, метко сформулированного в одной из сатирических песен Юлия Кима:

> А как у нас по линии искусства? -
> Рады стараться, - Боже, ЦеКа храни!

Действительно, с самого момента своего появления авторская песня постоянно запрещалась и многократно предавалась анафеме "высоких трибун и в печати. Я вспоминаю одно из первых выступлений Булата Окуджавы в моем родном Ленинграде, после которого он был подвергнут травле в доносительской статье некоего Н. Лисочкина, опубликованной в комсомольской газете "Смена". Да выступлении, проходившем в Доме работников искусств на Невском, присутствовало довольно много ленинградских композиторов, которые не стеснялись топать ногами, освистывать автора, выкрикивать: "Пошлость!" и всячески выражать свое возмущение. После концерта, уже в гардеробе, к Окуджаве подскочил именитый в те поры и обласканный властями композитор Иван Дзержинский, автор

популярной в сталинские годы оперы "Тихий Дон". Багровый от негодования, брызжа слюной, он размахивал руками вперед самым носом Булата Окуджавы и кричал: "Я не позволю подобного безобразия в нашем доме. Я

- Дзержинский! Я - Дзержинский!" Обстановку неожиданно разрядил стоявший за разбушевавшимся композитором известный актер БДТ Евгений Лебедев, который хлопнул его по плечу и заявил: "А я - Фрунзе!". В чем же главная заслуга Булата Окуджавы в создании второго песенного искусства? Почему именно его считают родоначальником этого направления, хотя еще до него стали известны песни Юрия Визбора, Ады Якушевой, Михаила Анчарова и некоторых других авторов? Конечно, прежде всего суть в масштабе его поэтического таланта. Но кроме того, еще и в том, что он в своих песнях заменил столь привычное для предыдущих поколений местоимение "мы" местоимением "я", которое звучало не только в стихах, но и в самой интонации его изысканных поэтически, и, как поначалу казалось, камерных песен. Но именно благодаря "камерным" произведениям Булата Окуджавы, впервые после долгих лет маршевых и лирических песен казарменного "социализма", в песенной (и не в песенной) поэзии появилась личность, "московский муравей", единственное и неповторимое "я". Так началась революционная эпоха авторской песни, в которой обрела свой голос интеллигенция…

Сравнительно недавно сын моих приятелей, девятнадцатилетний студент, спросил меня: "А что вы пели, когда не было Окуджавы?" И я вспомнил, что с песнями Булата Окуджавы я впервые познакомился в 1960 году. До этого, в последних классах школы и в Горном институте мы пели песни военных лет, а в студенческие годы - еще и лихое наследие российских буршей: "Там, где Крюков канал", "Быстры, как волны", а также обязательную "Кису-Мурочку", "Жену" и еще что-то такое же легкомысленное. Потом, работая геологом на Крайнем Севере, я познакомился с совсем иными песнями - безымянными, горькими и яростно веселыми, рожденными в грозные и трагические годы. Это был своего рода региональный фольклор. И вот - Окуджава.

Оказалось, что самая сложная гамма чувств и настроений, акварельная система поэтических образов, подлинная стихотворная строка - все это может быть предметом песни. Ибо стихи Окуджавы неразрывно связаны с органикой его неповторимых мелодий. Отсюда невозможность "улучшать" и "аранжировать" его музыку, чего никак не хотят понять некоторые композиторы.

Удивительно, что и проза Булата Окуджавы, особенно более

всего полюбившееся мне "Путешествие дилетантов" - это тоже продолжение его песенной поэзии. Только в другой стране, в стране прозы. Может быть, именно поэтому и проза его так же неповторима по своей интонации, как песни.

Творчество Булата Окуджавы произвело революцию в песне и в стихах, уничтожив "железный занавес" между ними, что не раз приводило в ярость ревнителей "чистой поэзии" и "чистой песни". Дело не только в этом. Дело еще и в том, что его песни привили молодежи, и не только молодежи, новый (или утраченный задолго до нас старый) тип самосознания - любовь и уважение к Личности. И пути назад уже нет.

Вот почему я, как и многие другие, радостно сознаю, что живу в "эпоху Окуджавы". Вот почему я и сам, задумавшись над вопросом девятнадцатилетнего мальчика, с удивлением подумал об Окуджаве, действительно, мы жили до него?.."

Не важным событием в шестидесятые явилось рождение того мастера авторской песни как Александр Галич. Само превращение преуспевающего драматурга и киносценариста в автора ярких уничтожающих обличительных песен представлялось удивительным. До этого он тоже порой писал песни, но это были либо милые песенки к кинофильмам, вроде "Плыла-качалась лодочка по Яузе-реке", либо типа песни на музыку В. П. Соловьева-Седого, под которую все мы когда-то бодро маршировали: "До свиданья, мама, не горюй". И вдруг… Горькая, едкая обличительная сатира, галерея зощенковских персонажей - от Клима Петровича Коломийцева, выступающего на митинге по указке и шпаргалке парткома ("Как мать, говорю, и как женщина: требую их к ответу") до незадачливых героев песни про "товарища Парамонову" и "О Прибавочной стоимости". В отличие от лирических песенных монологов Булата Окуджавы песни Александра Галича, почти всегда персонифицированные, имели острый драматургический театральный сюжет. Сочный язык улиц перемежался в них с издевательски-подчеркнутой канцелярской, безжизненной речью тупой аппаратной олигархии. Именно поэтому многие считают Галича предтечей Владимира Высоцкого. Наконец, горькие, патетические, высокие в своем трагизме песни "Мы похоронены где-то под Нарвой", "Уходят друзья", "Памяти Пастернака", "Облака". Именно это "второе Искусство" сделало Александра Галича уникальным, неповторимым поэтом, и, как результат этого, привело к необратимому крушению его житейского благополучия, исключению из Союза советских писателей, изгнанию из страны и трагической смерти на чужбине в 1977 году. Только сейчас песни его, долгие годы уничтожавшиеся как крамольные, возвращаются на родину.

Несколько позднее, примерно с середины шестидесятых, в "интеллигентскую" авторскую песню бурно ворвался хриплый и громкий голос Владимира Высоцкого. На первых порах нарочито надрывная манера его исполнения, "блатная" тематика ранних песен, полуцыганская нарочитая аффектация и примитивные мелодии создавали впечатление чего-то вторичного, узнаваемого. Но стихи… Я помню, как поразили меня неожиданно своей удивительной .поэтической точностью строки одной из его "блатных" песен: "Казалось мне, кругом - сплошная ночь, тем более, что так оно и было". Становление поэта происходило стремительно, как будто он Угадывался о своем безвременном уходе. В коротких песенных текстах (а песня длинной быть не может) он с мастерством подлинного художника ухитрялся отобразить целую эпоху: от трагичных и героических лет войны ("Час зачатья я помню неточно", "Жил я с матерью и батей на Арбате - век бы так!" до сегодняшних дней "Разговор у телевизора" или "Мишка Шифман"). Каким только гонениям не подвергался Владимир Высоцкий при жизни! До сих пор помню обличительную статью в газете "Советская Россия", опубликованную в 1967 году, в которой в откровенно бранных выражениях Высоцкий объявлялся "антисоветчиком", проповедником пошлости и мещанства. К статье этой мы еще вернемся. Гонения на Высоцкого не прекратились и после его смерти. Теперь они приняли форму "литературных" ниспровержений со стороны самой реакционной части "профессиональных литераторов" типа Станислава Куняева…

Юлий Ким. Упоминание этого имени сразу же вызывает улыбку. Действительно, в авторской песне, стремительно взлетевшей в шестидесятые годы, Юлий Ким - явление уникальное и исключительное. Его недостаточно "читать с листа" или слышать голос на магнитофонной кассете или пластинке - его обязательно надо видеть. Этот удивительный человек один воплотил в себе целый театр - с автором, музыкантом, режиссером и многочисленным и талантливым актерским коллективом. В его яркой разнообразной труппе есть пьеро и арлекины, герои и героини, карикатурные и отвратительные персонажи

- бюрократы, "аппаратчики", пьяницы, подхалимы, уже знакомые нам по сказкам и старинным книгам герои классических произведений, получившие в песнях Кима вторую жизнь. Рыболовы и пираты, гусары и кавалергарды, школяры и комедианты, неунывающий и непримиримый Тиль и грустный Петрушка, романтичный мошенник Остап Бендер и хамоватый гегемон Присыпкин - все они теснятся на сцене, перевоплощаясь в

этого небольшого, заряженного гремучей песенной ртутью человека с гитарой в руках. И несмотря на все их многообразие, в каждом из героев виден неповторимый почерк, яркая индивидуальность создавшего их автора - Юлия Кима.

Много лет назад, когда я еще не был знаком с Кимом, я услышал его ранние песни в исполнении Юрия Визбора на одном из концертов в Ленинраде. Представляя песни Кима со сцены, Визбор сказал: "Юлий Ким окончил МГПИ имени Ленина в Москве. Работает школьным учителем на Сахалине. И чем хуже ему приходится, тем более веселые песни он пишет. Так что веселых песен у него много". Именно тогда впервые прозвучали для меня его жизнерадостные, искрящиеся крутой и влажной морской солью песни "Рыба-кит", "Подо мной глубина", "И все ж, друзья, не поминайте лихом - поднимаю паруса". Честно говоря, они немало укрепили во мне, в те поры еще сухопутном геологе, желание обязательно когда-нибудь попасть в океан. Ах, эта наивная юная романтика, кажущееся ощущение свободы на берегу безбрежного и неведомого океана, шестидесятые Годы с их надеждами и верой в завтрашний счастливый день, томительный запах прибрежных водорослей и морской соли! Герои первых песен Кима - рыбаки и китобои, беззаботные школяры, распевающие лихие и совершенно антипедагогичные песенки, вроде "Бей баклуши, бей баклуши, а уроки - не учи"; свирепые, но благородные корсары устрашающего вида - "Через лоб повязка, через череп - шрам. Это не жизнь, а сказка - говорю я вам". Искристое веселье, безбрежное как океан и щедрое как встающее из него камчатское солнце. Ощущение беспредельного богатства, несмотря на более чем скромный учительский оклад: "если хочется кому-то маринованного спрута, значит "Ждут его Калькутта или порт Бордо". И при этом "железные" законны равенства и братства: "подношу к свету последнюю галету и делю на семь персон", или: "все, что море дарит нам, делим пополам". Несколько позднее появились сразу завоевавшие всенародную популярность знаменитые песни из цикла "1812 год". Кто не распевал тогда лихую песенку лейб-гусаров, предлагающих в порыве верноподданных чувств заменить царя, или тонко стилизованную под народную песню бомбардиров "Генерал-аншеф Раевский сам сидит на взгорье"? Казалось, Ким так и останется автором задорных мальчишеских песен и театральных стилизаций. Жизнь, однако, судила иначе.

Вслед за короткой и ненадежной хрущевской оттепелью началась длительная пора брежневских заморозков. Волею обстоятельств, а также в силу прямоты души и непримиримости ко лжи, после возвращения в Москву, Юлий Ким оказался близок

к узкому Кругу тех самоотверженных интеллигентов, которых раньше называли диссидентами, а сейчас - предтечами перестройки. Его выгнали с работы, запретили преподавать. Оставшийся практически без средств существования с так же лишенной работы женой Ирой Якир и маленькой дочерью на руках, он пытался писать песни для театральных постановок, но само имя его, попавшее в "черные списки", отпугивало режиссеров. Тогда-то и появился "автор песен Ю. Михайлов". Имя это быстро прижилось на экранах кино и телевидения. Чего стоят, например, тут же подхваченные зрителями ,песни из кинофильма "Бумбараш" или телевизионного фильма "Обыкновенное чудо"? Немногие, однако, знают, что сценический псевдоним "Ю.Михайлов" был взят Юлием Кимом не просто "для пущей важности" (как написано на конверте его первой пластинки), а от "хорошей жизни".

Театральные, телевизионные и "киношные" песни Ю. Михайлова сослужили их автору хорошую службу, дали ему необходимую профессиональному литератору школу и навсегда связали его с любимым им театром. Это во многом определило особенности развития его поэтического таланта в последующие годы. Для многих "прикладных" песен их театральный сюжетный смысл, стилизация под "другую обстановку" были только камуфляжем. Булат Окуджава как-то сказал, что он никогда не писал исторических романов, Что "Путешествие дилетантов" или "Свидание с Бонапартом" - не более чем перенесение его сегодняшних проблем и героев в другие времена. Что-то подобное происходило и с "театральными" песнями Кима. Диапазон их звучания, их подтекст нередко гораздо шире того сценического действа, для которого они были написаны. Достаточно вспомнить романс захватившего власть "гегемона" Присыпкина, в строчках которого тонко пародируется фонетика одного из тогдашних лидеров "Я в бою с мировой буржуазией заслужил себе личную жизнь", или знаменитый марш бюрократов, вызывавший в самые глухие годы застоя бурные овации всего зала: "Поступью железной, дружно как стена, мы шагаем вслед за, невзирая на"…

Юлий как-то рассказывал мне, что после того, как он написал песни к телевизионному фильму "Короли и капуста" по О. Генри, они принимались телевизионным худсоветом. (Ох, уж эти телевизионные худсоветы! Мне самому в конце семидесятых худсовет ленинградского телевидения "зарубил" песню, написанную к какому-то телефильму, со следующей формулировкой обвинения: "Вызывает неконтролируемые ассоциации"!) А у Кима было так: один из героев поет по сюжету песенку, где есть строчки:

Куда ты скачешь, мальчик,

Скажи ты мне, куда?
Везде одно и то же -
Бардак и суета,
Да что за беда,
Да что за беда,
Да что за беда, ей-Богу?
Поеду понемногу
Куда-нибудь туда.

"Стоп", - закричал председатель худсовета. - Это куда же туда? И песню запретили. Пришлось автору менять выражение "куда-нибудь туда" на "туда - куда-нибудь". Так - прошло.

До сих пор, услышав неожиданно хорошую песню в телефильме или в радиоспектакле, особенно стилизованную под другие времена, я думаю: "Наверное, Ким". Он обладает удивительным музыкальным слухом к звучанию слов в их родном контексте, чутким ухом пересмешника. И все это при абсолютно современной естественности изложения. Один из лучших примеров такой "стилизации" - замечательная трагикомическая песня, в которой излагается печальная (но со счастливым концом) история незадачливого российского драматурга Василия Васильевича Капниста, пострадавшего от гневного самодержца Павла. В песне с редким мастерством и изяществом на фоне напряженного развития сюжета сочетаются обиходный язык двадцатого века с "высоким литературным штилем" восемнадцатого. "Василь Васильевич Капнист метался на перине. Один и тот же страшный сон, что был уже в четверг: что он взобрался на Олимп, но, подошед к вершине, Василь Кириллыч цоп его за… спину - и низверг" или: "Да, испарился царский гнев уже в четвертом акте, когда злодей опознан был и не сумел уползть. Сие мерзавцу поделом - царь молвил, и в антракте послал гонца вернуть творца, завернутого в полсть". А в страшном облике самого курносого "ценителя искусств" "белеющего жуткой тенью" как не опознать других самодержавных вершителей судеб многострадальной нашей литературы - от Сталина и Жданова до Хрущева и Демичева? "Вот как было в прежни годы, когда не было свободы" - этой саркастической строчкой кончается песня.

Создавая песни для фильмов и спектаклей, уже упомянутых и многих других ("Недоросль", "Точка, точка, запятая", "Красная шапочка" - всего и не перечислишь), Юлий Ким успешно сотрудничал с известными композиторами - Владимиром Дашкевичем, Геннадием Гладковым и другими. Для меня, однако,

всегда оставалось загадкой, как они пишут мелодии - ведь все его песни уже содержат музыкальную пружину.

В ту пору смутного безвременья, которой, казалось, не будет конца, Юлий Ким писал не только за "Ю. Михайлова", но и за себя. Это были едкие, горькие обличительные песни, где улыбчивые театральные маски были сброшены. Такие, например, как песня "Четырнадцати лет пацан попал в тюрьму", посвященная его тестю Петру Якиру, или беспощадная по своей точности песня, где отражена попытка брежневско-сусловской администрации незаметно, шаг за шагом, снова втащить на опустевший пьедестал статую "величайшего гения всех времен и народов": "А как у нас по линии марксизма? - Ленин-гений, Сталин покамест нет". Именно колючие песни Кима в те времена, вместе с песнями Галича, легли в основу "магнитофониздата", крамольного не менее, чем "самиздат".

Прошли годы, а число веселых песен у Юлия Кима не убывает. Хотя на смену официальным гонениям пришло, как будто, достойное признание. (Хорошо, что при жизни, это у нас бывает редко - достаточно вспомнить Высоцкого или Галича). Вышла перовая пластинка с его песнями. Пьесу Кима "Ной и его сыновья" поставил Московский драматический театр имени Станиславского. Ставятся и другие спектакли по его пьесам. Вышли из печати большая книга, сборники стихов и песен. Сам автор, не мыслящий жизни без театра, успешно работает с новым театром-студией "Третье направление", инсценирующим авторские песни. Кима, однако, не купишь. Острота и непримиримость его сатиры остаются прежними. Он и в ненадежную для России пору кажущейся вседозволенности и гласности ухитряется писать такие песни, от которых у бывалых слушателей и сейчас холодок по спине пробегает. Так в самом начале "эпохи гласности", когда А. Д. Сахаров еще был в ссылке в Горьком, Ким написал веселую "детскую" песенку про Машу, не верящую в бодрые речи "прозревших" бюрократов и постоянно твердящую: "Да, а бедный чижик, он все сидит в клетке, не поет, не скачет - плачет". Несколько позднее появилась "бодрая" песенка о возможной завтрашней судьбе энтузиастов перестройки: "Встанешь с видом молодецким, обличишь неправый суд - и поедешь со Жванецким отбывать чего дадут".

И, наконец, уже совсем недавно приобрели широкую известность созданные им сатирические песни "Открытое письмо Пленуму Союза писателей РСФСР", печально известному своими откровенно антисемитскими декларациями и "Письмо Великого московского князя литовской княгине", где высмеиваются бесплодные потуги центрального правительства удержать Литву

от отделения.

Песни эти лишний раз показали, что уничтожающая сила смеха во много раз сильнее десятков серьезных обличительных статей. Приведу только один пример: песня "Открытое письмо…" кончается такими строчками:

А вам скажу, ревнители России,
Вы приглядитесь к лидерам своим:
Ваш Михалков дружил со Львом Кассилем,
А Бондарев по бабке - караим.

Не прошло и месяца со дня первого исполнения этой песни, как Наум Каржавин позвонил по телефону из США одному из своих московских друзей и спросил, правда ли, что Юрий Бондарев по бабке - караим…

Когда думаешь о том, что отличает авторскую песню от других форм поэзии, то приходит в голову, что автору песен для того, чтобы его слушали (ведь могут и не захотеть слушать!) совершенно недостаточно быть только одаренным поэтом и музыкантом или исполнителем. Надо еще обязательно быть личностью. Интересной для окружающих. Чтобы позиция того, кто поет, была небезразлична для других. Чтобы ему верили. Так вот, Юлий Ким - личность. Как Александр Галич, как Булат Окуджава, как Владимир Высоцкий. И это очень важно для нас - его современников. Поэтическая основа авторской песни многогранна. Песни Окуджавы и Новеллы Матвеевой - это лирические монологи с, как правило, серьезной драматической интонацией разговора. Песни Галича, Высоцкого и Кима - это прежде всего театр. Что же отличает песенный театр Кима от театра Галича и Высоцкого? В первую очередь смех с его многообразными оттенками, точно прописанные автором. Почти все герои его песен вызывают улыбки. Вот только улыбки эти разные. От сочувственной доброй сердечной улыбки, которую рождают незадачливый герой песни "Сенсация", схваченный инквизиторами Галилей или наивные, но героические персонажи песни "Мы с ним пошли на дело неумело" до презрительной ухмылки, которой только и могут быть удостоены тупоголовые начальники, вплоть до "верхнего эшелона", палачи, сексоты, воинствующие бюрократы и мещане, подхалимы и алкаши. Чего стоит хотя бы один его знаменитый "Казачок", где танцуют две страшненькие "великие тени", обмениваясь на ходу под веселенький припев "Джан-джан-джан, чок-чок-чок" богатым опытом репрессий и подавления ("Дорогой Леонид, ты меня послушай: если есть аппетит, ты бери и кушай".)

Но Юлий Ким - не только мастер сатиры. Он автор многих "серьезных", глубоко лирических и даже трагических песен. И в них его поэтический почерк отличается точным ощущением внутренней гармонии слов, безошибочным вкусом, моцартовски легким мастерством. Диапазон этих песен также широк: от грустной песенки безнадежно-одинокого Петрушки и лирического гимна пушкинскому лицею до трагического "Реквиема", от которого сжимается горло ("Не собирай посылки, мама"). И в этой последней песне опять почти неуловимая и точная по своему вкусу стилизация под народную "зековскую" песню, которая только одна и может позволить себе роскошь обойтись порой без рифмы.

Диапазон литературных возможностей этого человека порой кажется безграничным. Одна из его последних работ в театре - музыкальное представление в двух частях "Московские кухни". Здесь в свойственной художнику лукаво-улыбчивой манере излагается совсем не смешная, драматичная и героическая история "освободительного движения" московской интеллигенции, возникшего в начале шестидесятых и беспощадно подавленного брежневско-андроповской системой к концу семидесятых. Со своими героями, своими отступниками, своими палачами и злодеями. Это, по существу, .первое значительное театральное произведение, посвященное диссидентам. Его прекрасно реализовал театр-студия "Третье направление". Действие, которое начинается с улыбки, кончается героическим реквиемом памяти павших и, к сожалению, недостаточно широко до сих пор известных героев этой эпохи "недавнего прошлого", которое грозит нам повторением в "недалеком будущем".

Глядя на Кима сейчас, в начале девяностых годов, трудно поверить, что ему уже за пятьдесят: он так же непроницаемо молод внешне, в нем все тот же электрический заряд энергии и таланта, все то же силовое поле солнечной улыбки и разящего как молния смеха. Когда-то, много лет назад, от имени одного из своих литературных героев Юлий Ким написал песню с таким припевом: "Белеет мой парус, такой одинокий, на фоне стальных кораблей". Пожелаем попутного ветра этому парусу в наши грозящие штормовыми прогнозами дни - он указывает нам верный курс…

Нельзя себе представить эпоху поющих "шестидесятых" и без Михаила Анчарова, о котором в последнее время незаслуженно забыли.

Теперь, когда прошла мода на пение под гитару на московских кухнях и у таежных костров, когда сам собой умер запретный еще недавно "магнитофониздат", а пластинки с

песнями Галича, Кима и Высоцкого заполнили прилавки магазинов, когда авторская песня во многом стала уже историей, настало время оглянуться назад и послушать как по-новому звучат старые песни. "Старая песенка - новый звук", как пророчески написал когда-то еще молодой в ту пору Михаил Анчаров. Шумная волна неслыханной прежде популярности авторской песни миновала, уступив место другим модным увлечениям, миновала, оставив несколько имен, в числе которых имя Михаила Анчарова…

С Анчаровым и с его песнями я впервые познакомился в 1963 году, когда во время очередной командировки в Москву через каких-то знакомых случайно попал на одно из частых в те поры песенных сборищ в непривычно просторную квартиру потомков Григория Ивановича Петровского, председателя большевистской фракции Государственной Думы, в печально известный "Дом на набережной", населенный зловещими тенями убивавших и убиенных.

"Ну где этот ваш мальчик из Ленинграда?" - услышал я голос в передней, и в комнату шагнул плотный, как борец, черноволосый, коротко стриженый мужчина с правильными чертами лица и внимательными, часто моргающими глазами.

Из всех его песен тогда я знал только приписываемую ему, ставшую уже народной "От Москвы до Шанси", а в этот вечер я впервые услышал сразу же полюбившиеся мне "МАЗы", "Органист", "Тихо капает вода - кап, кап" и многие другие. Яростная экспрессия этих песен на фоне мужественного облика их автора, опаленного пороховым дымом великой войны (я подумал, что он и моргает часто от того, что глаза были раньше обожжены) и его рассказов о парашютно-десантных войсках, где он вроде бы служил в конце войны, произвели на меня сильнейшее впечатление. У Анчарова была удивительно обаятельная, уже утраченная ныне, "цыганская" темпераментная манера исполнения. В сочетании с сильным низким "подлинно мужским" голосом она придавала особый колорит его песням. Да и гитара в его руках была старинная, инкрустированная, как мне тогда показалось, каким-то серебром и перламутром, чуть не из прошлого века. Мы подружились, и он дал мне прочесть рукопись только что написанной и еще не опубликованной своей повести "Теория невероятности", которую никто тогда не хотел печатать. Первые же ее строки вызвали у меня скептическую улыбку недоумения. Повесть начиналась так "Недавно я влюбился. Я совсем юный - мне сорок лет". "Вот старый хрен, - подумал я (мне тогда было неполных тридцать), - он еще влюбляется!" В его-то возрасте! И не стыдно ему об этом писать!" Повесть, однако,

захватила меня почти так же, как песни. Была в ней какая-то стихийная сила личности яркой, мятущейся и нестандартной, не вписывающейся в привычный мне стереотипный уклад. Впрочем, сам Анчаров только начинал тогда свое литературное поприще, считал себя прежде всего художником, жил в писательском доме в Лаврушинском переулке, в квартире своей тогдашней жены Джои Афиногеновой, был, как выяснилось, скор на выпивку и кулак, и писал песни.

Живописные его работы также обнаруживали в нем несомненный талант, но при этом как бы некоторое отсутствие профессионализма. Он был тогда подобен витязю на распутье - короткая оттепель конца пятидесятых опьяняла его, бывшего фронтовика, множеством неожиданно открывшихся ему дорог и возможностей. Чем заняться всерьез? Песнями? Живописью? Литературой? Все удавалось ему. В то время он часто выступал с песнями и выступления эти неизменно сопровождались успехом. Помню, после очередного его концерта в Ленинграде мы с друзьями провожали его на "Красную Стрелу". Концерт кончился рано, было что-то около восьми вечера, и поскольку в провожающей компании было много актеров, решено было зайти в ресторан ВТО, в Дом актера, располагавшийся почти рядом с Московским вокзалом на Невском, что внушало уверенность и отъезжающему и его провожатым в невозможности опоздания. Тем большим было наше удивление, когда, прибыв, наконец, на Московский вокзал (а пеший путь к нему оказался трудным, так как Анчаров, пришедший в состояние полной эйфории, почему-то пытался свою только что купленную в Питере кепку засунуть в каждую из встречных урн, и приходилось ее подолгу оттуда извлекать, мы неожиданно установили, что давно ушла не только "Стрела", а вообще все поезда на Москву. Поскольку Михаил упорно настаивал на немедленном отъезде, всей компании пришлось перебазироваться на Витебский вокзал, откуда около трех часов ночи отправлялся какой-то пассажирский поезд "Москва - Бутырки", следовавший через Новгород и прибывавший в Москву, на Савеловский вокзал, где-то к концу суток. Засыпающего на ходу и ставшего сразу грузным и неподъемным Анчарова с трудом водрузили в общий вагон, среди чьих-то бесчисленных мешков и кошелок, кепку его вручили сидевшей напротив бабке с твердым наказом - беречь ее до конца пути и вручить хозяину только когда он полностью протрезвеет - и вырубившийся за время погрузки бард был отправлен в столицу. Проснувшись с больной головой в середине следующего дня где-то в районе Твери, он долго озирался, пытаясь понять, где находится и куда едет. "Где я?" - тоскливо спросил он, и

упомянутая выше бабка охотно откликнулась: "А в поезде, милок! К Твери подъезжаем!" - "А товарищи мои где?" "Известно где - погрузили тебя и ушли, а чемоданчик твой - вот он. И кепочка твоя цела, так что не сумлевайся". И радостная бабка вручила похмельному пассажиру до неузнаваемости измятую и перепачканную сажей окурков "питерскую" кепку…

В последующие годы Михаилу Анчарову как будто удалось добиться литературного признания. Одна за другой были напечатаны и "Теория невероятности", и последовавшие за нею другие повести.

Он стал модным писателем. Ему начали наперебой заказывать сценарии телефильмов. Инсценировки по его произведениям охотно ставили московские театры. Песни были заброшены - Анчаров полностью ушел в прозу и драматургию. И тут судьба сыграла с ним злую шутку. За первым длинным сериалом телефильма "День за днем", куда вошла отчасти его биография и где органично звучали песни, последовал следующий бесконечный телесериал, где были уже "труба пониже и дым пожиже". Герои сценариев Анчарова, вызывавшие ранее полное доверие, начали вдруг говорить ходульные фразы и в псевдонародном стиле воспевать и романтизировать свой коммунальный рай, а соседи по кухне превратились в воинствующих резонеров, воплотивших в себе высоты "общественной нравственности", и безапелляционно обучающих смыслу жизни сомневающихся и ненадежных интеллигентов. Так безусловный талант художника начал разубоживаться, необратимо разъедаемый вкрадчивой отравой брежневской конъюнктуры. Вспыхнувший на какое-то время интерес к писателю Анчарову пропал, и о нем мало-помалу забыли, хотя он продолжал жить и писать, а сравнительно недавно у нас и во Франции вышел его интересный роман "Самшитовый лес"…

Прошли годы. Взошли на литературном небосводе другие имена. Настала долгожданная пора гласности. И теперь стало ясно, что, может быть, именно песни, написанные Михаилом Анчаровым в пятидесятые и шестидесятые годы, в самом начале его, казалось бы, такой успешной литературной карьеры, одни только и воплотили в полной мере творческий и личностный талант художника, еще не зависимого в то время от железных тисков худсоветов и издательств. Михаил Анчаров относится к тому выбитому временем поколению последнего военного призыва, о котором он сам сказал в одной из своих песен: "Мы почти не встречали целых домов - лишь руины встречали и стройки". Свои первые песни под гитару он написал еще в конце тридцатых - задолго до эпохи "бардов и менестрелей", так что

именно его можно считать одним из основоположников этого жанра. И в песнях его, по мужски жестких, поражающих прямотой разговора, живет сложная и трагическая послевоенная эпоха, где юношеский романтизм и фанатичная вера рано повзрослевших на войне юнцов сталкиваются с беспощадной повседневностью быта, начисто лишенного романтического комуфляжа: "Мне тыща лет. Романтика подохла. Кузьма Иваныч пляшет у окна". Тема этого постоянного противоборства образует главную доминанту большинства песен Анчарова - "Рынок", "Баллада об относительности возраста", "Аэлита" - и достигает высокого драматизма в одной из лучших его песен - "МАЗы", вошедшей в первый диск. Стихи анчаровских песен сочны, насыщены точными деталями: "Словно масляные губы улыбается еда", "И трупы синие торчат, вцепившись в камыши". И в то же время фольклорно напевны, полны воздуха: "Пыль ложится на висок. Шрам повис наискосок. Молодая жизнь уходит черной струйкою в песок". Неслучайно некоторые из них стали безымянными и народными. Страшная эпоха шпиономании, искалечившая не одно поколение, постоянно приучавшая людей к тому, что они со всех сторон окружены врагами, и вселившая в их души маниакальный страх, доживший до сегодняшних дней, с удивительной художественной точностью воплотилась в "Песне про психа из больницы имени Ганнушкина, который не отдавал санитарам свою пограничную фуражку":

Скоро выйдет на бугор
Диверсант, бандит и вор.
У него патронов много -
Он убьет меня в упор. …
Грохот рыжего огня,
Топот чалого коня -
Приходи скорее, доктор,
Может, вылечишь меня.

В строках анчаровских песен живет грозное дыхание минувшей войны, ее горькая и жестокая романтика. Особенно ярко это проявляется в песне "Цыган-маша", где мелкий уголовник, погибнув в штрафбате, превращается в героя:

Ты жизнь свою убого
Сложил из пустяков.
Не чересчур ли много
Вас было, штрафников?!

Босявка косопузый,
Военною порой
Ты помер, как Карузо,
Ты помер, как герой!

Любимый герой песен, повестей и пьес Анчарова, в котором легко угадываются биографические черты автора - пожилой и бывалый человек фронтового поколения. В героя этого влюбляется молоденькая девчушка, безошибочно угадывая в нем подлинного мужчину и беря на веру его духовные ценности. Помню, в одной из пьес Анчарова, поставленной театром имени Ермоловой, герой приводит свою юную подругу в бывшую свою школу на вечер встречи, где объявляют вальс: "Танцуют только выпускники 41 года!" "Почему же никто не танцует?" - удивляется она…

Жаль только, что духовные ценности воспетого Анчаровым поколения сильно потускнели в наши дни, да девчонки стали умны и недоверчивы!

Михаил Анчаров - художник. И может быть, именно поэтому так живописно и красочно отобразился в его песнях мир детства и юности автора - мир московских предместий, где во дворах "забивают козла", "белье танцует на ветру весенний танец липси", и звучат, щемя сердце, "мещанские вальсы" в микромире нашего городского обитания. Как у каждого подлинного художника, у Анчарова есть родина, это - Благуша - голодная и воровская дальняя окраина тогдашней Москвы, превратившаяся в его песнях в сказочную страну детства ("Только в лунную ночь на Благуше повстречал я в снегу красоту"). И это неистребимое детское ощущение обязательной потребности в красоте и надежды на счастье, которое должно наступить завтра, сохранившееся на всю жизнь со сладкой поры первого освоения велосипеда ("Король велосипеда"), окрашивает даже самые трагические песни Анчарова в светлые тона: "Уходит мирная пехота на вечный поиск живой воды". Эта упрямая надежда, несмотря ни на что, не может оставить равнодушными слушающих эти песни, безоговорочно верящих автору, который:

Душу продал
За бульвар осенний,
За трамвайный
Гулкий ветерок.
Ой, вы, сени,
Сени мои, сени, -
Тоскливая радость

Сердцу поперек.
("Прощание с Москвой")

Песни Михаила Анчарова не умозрительны, не "книжны", они написаны не "человеком со стороны". Автор темпераментно и яростно живет в самой гуще несчастной нашей городской жизни, внутри ее радостей и страданий, любви и ненависти. Это определяет и подлинность их языка. И в то же время песни эти населяет столь несвойственная дворовому бытию мечта "чтоб летящая к звездам московская тройка мне морозную пыль уронила в лицо",

Чтобы Земля,
Как сад благословенный,
Произвела Людей, а не скотов,
Чтоб шар земной
Промчался по Вселенной,
Пугая звезды
Запахом цветов.

Все это обеспечивает незаслуженно забытым песням Михаила Анчарова долгое существование.

В те же шестидесятые песни неожиданно начали писать и поэты, ранее писавшие только стихи. Возникновение этого, видимо, было следствием потребности более полного самовыражения, непосредственного авторского контакта с аудиторией. Наиболее ярко это выразилось в песнях Новеллы Матвеевой, создавшей в них удивительный акварельный гриновский мир добрых и грустных сказок ("Страна-Дельфиния", "Капитаны") или нежной и глубокой лирики ("Окраины", "Любви моей ты боялся зря"). Негромкая завораживающая задушевная интонация ее песен - полная противоположность громовому звучанию Высоцкого или Галича - создавала воздух той удушливой эпохи, порождала в поющих надежду на алые паруса на хмуром и пасмурном горизонте…

В Ленинграде в это время инженеры и учителя дружно распевали лихие куплеты песни "Когда качаются фонарики ночные", сочиненной молодым Глебом Горбовским или другой его песни "На дива-, на диване, на диване, мы лежим - художники".

Несколько позднее начали придумывать песни на свои стихи ленинградские поэты Виктор Соснора ("Летел Литейный в сторону вокзала" или "У майора жена") и Нонна Слепакова

("Старый друг, сказать по чести, потеряли мы контакт").

Важным самостоятельным направлением в авторской песне шестидесятых было туристско-альпинистское. Это не случайно. Техническая и гуманитарная интеллигенция, недавние студенты рвались в трудные походы на неприступные вершины и в тайгу, чтобы хотя бы на время уйти от сложных проблем и фальши городской жизни, почувствовать себя настоящими мужчинами, прикоснуться к истинным неискаженным ценностям человеческих отношений - любви, дружбы, испытанным трудными условиями и опасностями.

Именно поэтому еще с конца пятидесятых годов зазвучали, сначала в альпинистских и горнолыжных компаниях, а потом уже и по всей стране, песни Юрия Визбора, рождая снежную лавину подражаний. Популярность этого человека при жизни, оборвавшейся в 1984 году, когда Юрию только исполнилось пятьдесят, поистине была фантастической, и вовсе не потому только, что Визбор был еще и талантливым актером, сыгравшим, в частности, роль Бормана в "Семнадцати мгновениях весны". Его песни "Лыжи у печки стоят", "По судну "Кострома" стучит вода", "Серега Санин", "На плато Расвумчорр не приходит весна" и многие другие создали подлинную романтику этой совсем не романтичной эпохи. Визбор - певец мужества в трудных условиях, истинной доблести несмотря ни на что, столь не модного в наш прагматичный век мужского рыцарства. Атрибуты его героя - "вот это для мужчин - рюкзак и ледоруб", кабина взлетающего самолета - "пошел на взлет наш самолет", отсек подводной лодки - "наша серая подлодка в себя вобрала якоря". Когда слушаешь эти песни сейчас, в девяностых, сердцем овладевает острая ностальгия по собственной юности…

Я был знаком и дружил с Юрой более двадцати лет, с 1962 года. До сих пор помню распахнутые по-летнему окна в доме на Неглинной улице - угол Кузнецкого моста, где в огромной коммунальной квартире, на одной лестничной площадке с управлением культуры, жили такие молодые тогда Юра и Ада, сразу одарившие меня счастливым игом своих песен. Начинались шестидесятые годы - время надежд, горячих споров, стихов и песен. И, пожалуй, комната Юры и Ады, где кипели яростные дискуссии, беспрерывно звенела гитара, собирались друзья и друзья друзей, была одним из песенных центров столицы и всей нашей страны. Во всяком случае, такой она казалась тогда мне - ленинградцу.

С первой же встречи Визбор поразил меня богатством и многогранностью своей натуры. Автор песен, журналист, литератор, спортсмен, художник, обаятельнейший и талантливый

собеседник, он повсюду сразу же становился центром компании, ее энергетическим источником. Как всем по-настоящему талантливым людям, ему была свойственна творческая щедрость и нечастая способность искренне радоваться удачам своих собратьев по песням. Именно от него я услышал впервые песни Юлия Кима, Геннадия Шпаликова и многих других, в ту пору еще не известных мне авторов. До сих пор многие песни, и не только Юрины, я слышу как бы поющимися его голосом. В том числе и свои ранние.

Я хорошо помню Грушинские фестивали самодеятельной песни на Волге, под Самарой, собиравшие порой более ста тысяч человек. Стотысячная толпа сидела на горе, у подножья которой на волжской протоке была оборудована сцена-плот в форме гитары. Грифом гитары был трап, по которому на сцену поднимались выступающие. Паруса яхт с другой стороны плота образовывали задник. Конкурсные концерты длились, как правило, до глубокой ночи. А после этого - еще концерт членов жюри, в которое входили, конечно, тоже авторы песен: Сергей и Татьяна Никитины, Виктор Берковский, Дмитрий Сухарев, Александр Дулов и другие. Восхождение каждого из них по трапу на плот-гитару сопровождалось дружными аплодисментами. Но когда на сцену поднимался Юрий Визбор, вся гора, погруженная в темноту, вспыхивала тысячами фонариков и взрывалась ураганом аплодисментов. И ураган этот долго не стихал. Таких оваций стотысячной аудитории, самой большой в нашей стране, а может быть, и на всей планете, не знал никто.

На этих фестивалях, где мы с Юрой попеременно возглавляли жюри, не обходилось порой без курьезных историй. Как раз в то время вышел телефильм "Семнадцать мгновений весны", где Визбор сыграл роль Бормана и немало гордился, когда его опознавали на улице. Я помню по-июльски жаркий день фестиваля. Мы с Юрой в одних плавках идем по тропке к берегу, а вслед нам и навстречу в таких же купальных нарядах друг за другом гуськом движутся сотни молодых людей. Прямо за нами идет стайка молоденьких девушек, и вдруг одна из них, самая хорошенькая, на которую Визбор скосил глаза, говорит подруге: "Смотри, Маша, как мужик на Бормана похож". "Да что ты, Нина, - отвечает вторая, - ну нисколечко не похож!" Юра расстроился, покраснел и буркнул сердито: "Саня, ну, что за идиотка! Это я-то не похож на Бормана!"

Выйдя на берег и искупавшись, мы сели в тенек, и Юра взял в руки гитару. Вокруг сразу же образовался молчаливый кружок слушателей. А надо сказать, что как раз в это самое время на поляне фестиваля во всю работало "предварительное жюри",

проводя отбор авторов и исполнителей на заключительный конкурсный концерт. Мы с Юрой, как почетные гости и руководители "Большого жюри" - от этой изнурительной работы были освобождены. Послушав пару Юриных песен, один из слушателей произнес: "Слушай, парень, чего ты здесь просто так поешь? Ты иди покажись в жюри - тебя обязательно на конкурс пропустят". Кажется, тогда на берегу Волги мы с Юрой и сочинили вместе шуточную песню с придуманным им припевом: "Омск, Томск, Москва, Чита, Челябинск".

В другой раз нам была выдана байдарка, на которой мы вдвоем катались по живописным волжским протокам. День был воскресный, и все островки были усеяны загорающими телами. Мы никак не могли наладиться вместе грести, и Юра, старый "ас" гребного спорта (каковым он себя считал), все время угнетал меня едкими замечаниями. Вдруг мы заметили, что с соседнего уединенного островочка усиленно машут две загорающие там девицы. "Меня опознали", - самодовольно улыбнулся Визбор, - давай подгребем". Подплыв поближе, мы обнаружили двух совершенно незнакомых, весьма привлекательных, но уже сильно навеселе бабенок, одна из которых громко заявила: "Зинка, себе я оставлю этого толстого. А ты с чернявым забирай вторую поллитру и греби вон на тот островок". Услышав это, мы с Юрой, не сговариваясь "рванули" в два весла от берега. Уже почти на середине Волги Визбор сказал: "А ведь неплохо гребем. Чего я к тебе придирался?"

На каждом Грушинском фестивале традиционно устраивались футбольные матчи: "Сборная Куйбышева" против "Сборной гостей". В каждом из этих матчей Юра принимал обязательное участие, играя, как правило, в нападении. "Смотри, сам Визбор играет". Но однажды, получив удачный пас, Юра стремительно помчался по правому краю и, легко миновав защиту, напрямую вышел к воротам. Тут уж было не до почтения. "Лысого держи, лысого", - заревела толпа.

Никогда не забуду, как однажды, уже после большого конкурсного концерта, окончившегося в четвертом часу утра, сонное и донельзя усталое жюри во главе со мной пыталось распределить места победителям. Юре из исполнителей больше всех понравился дуэт "Кляксы" из Челябинска, которому он предлагал дать первое место. Против этого, однако, выступили Александр Дулов и Сергей Никитин. Все длительные мои попытки добиться согласия между ними ни к чему не привели. Пришлось ставить вопрос на голосование. В результате Юрино предложение было "завалено" большинством в два голоса. И тут-то выяснилось, что эти два голоса принадлежат жене Дулова -

Маше, которая представляла в жюри журнал "Турист" и Татьяне Никитиной - жене Сергея. Обозлившийся Визбор по своему обыкновению "завелся", покраснел и сказал: "Ну, погодите, я на следующий фестиваль привезу всех своих трех жен и буду иметь перевес в один голос".

Характер Юрия не был простым. Он любил первенствовать и никакого соперничества решительно не признавал. Когда на общем концерте кому-то другому хлопали больше, чем ему (как казалось), он краснел и сердился, хотя старался не подавать вида. Правда, случалось это нечасто.

В те годы, когда сам я еще редко выступал со своими песнями, он в своих концертах довольно часто их пел. Один из его биографов - Ролан Шипов отмечает, что по частоте исполнения у него на втором месте были песни Ады Якушевой, а на третьем - мои. По этой причине некоторые из моих старых песен - "Кожаные куртки", "Деревянные города" да и некоторые другие - часто приписывали Визбору.

В связи с этим вспоминается история, произошедшая со мной в начале семьдесят седьмого года на борту научно-исследовательского судна "Академик Курчатов", пересекавшего Атлантический океан. Мне в каюту неожиданно позвонил начальник радиостанции и сказал: "Ну-ка иди скорей в радиорубку - тебя Би-Би-Си передает…" Не слишком обрадовавшись этой новости, я все же пошел в радиорубку, а когда вошел, то увидел, что там уже сидят капитан, первый помощник и еще один член экспедиции "в штатском", которого в команде называли "Федя - лохматое ухо". Из динамика несся мой голос, поющий песню. Все присутствующие обратили на меня свои участливые взоры - так смотрят на дорогого покойника. Сесть никто не предложил. Наконец песня кончилась, и диктор Британского радио произнес: "Мы закончили очередную передачу из цикла "Русский магнитофониздат": поэты-певцы, не признаваемые Советским правительством…" Взгляд первого помощника, устремленный на меня, приобрел стальную жесткость и непримиримость. "Перед вами только что прозвучала, - продолжал диктор, - песня Юрия Визбора "Чистые пруды" в исполнении автора…"

"Ну что, слышали?" - сказал я присутствующим и ушел.

Помню, году в шестьдесят седьмом Юрий Визбор приехал в Ленинград в командировку от журнала "Кругозор" вместе со своим талантливым приятелем - фоторепортером Виктором Сакком. Появился первый очерк о ленинградских бардах

- в том числе и обо

мне. Сохранилась гибкая пластиночка, где Визбор сам

исполняет мою "Канаду", сообщив перед этим слушателям, что делает это вместо автора потому, что "Городницкий, как всегда, между двумя экспедициями, и его огрубевшие руки плохо справляются с гитарой". Справедливости ради надо отметить, что мои "огрубевшие руки" до сих пор с гитарой справляются плохо…

Радиограмму о смерти Юры я получил на борту "Витязя", который в это время стоял в порту греческого города Пирей, и наша бортовая радиостанция работала только на прием. Это неожиданное трагическое известие было ударом не только для меня, но и почти для всех участников экспедиции. Вечером того же дня мы собрались, тесно набившись в моей довольно-таки просторной каюте

- научные сотрудники, моряки, водолазы, механики. Всю ночь пели Юрины песни

- их знали все. За переборкой мерно поскрипывали швартовые концы, гудели суда в ночном порту. В распахнутом окне над темными Афинами тускло светила одинокая звезда Парфенона.

Только на третий день, когда вышли в море, заработал передатчик. Мы послали радиограммы соболезнования и отдали Юре последние почести. И я подумал: "Ему бы это понравилось". Юра любил море. И не только море: суровую и непокорную Арктику, неприступные и постоянно манящие горы, необъятные просторы пятого океана. Его привлекала не только экзотика, хотя и это было. В первую очередь его привлекали люди, вступающие в единоборство со стихией и с собой, проявления их душевных качеств на границе человеческих возможностей. С песнями Юрия Визбора вошли в нашу жизнь действительная мужская романтика, понятия о деле, достойном настоящих мужчин, и, наконец, столь не модное сейчас рыцарство. Именно поэтому его песни уносят с собой подводники и альпинисты, полярники и космонавты. Именно в этом секрет неистребимой привязанности молодежи к Юриным песням.

Он любил море. На мой пятидесятилетний юбилей принес в подарок сине-белый военно-морской флаг, на котором было написано "Старшему матросу А. Городницкому от матроса Ю. Визбора". Я спросил у него: "Юра, а почему же старшему?" "А я тебя моложе, - ответил он, - на полгода. Дольше проживу". И засмеялся. Таким вечно молодым он и остается…

Какие только песенные открытия не совершались нами в шестидесятые годы! Казалось иногда, что, придя в гости, на день рождения или просто так, люди только для того и собирались, чтобы не | поговорить, не потанцевать, а именно - попеть. Каждая новая песня "авторская" была радостью. Здесь и тонкие

лирические песни ?- Ады Якушевой ("Синие сугробы" или "В речке Каменке"), и полные мужской силы песни столь много обещавшего тогда Михаила Анчарова, и знаменитое "Бабье лето" трагически погибшего молодого поэта и режиссера Геннадия Шпаликова. Это - в Москве. А в Ленинграде пели в турпоходах и просто дома песни механика Валентина Вихорева ("Лето уходит на юг"), молодого физика Бориса Полоскина ("Ты идешь то тайгой, то болотами"), инженера-строителя Евгения Клячкина ("Ни страны, ни погоста" на стихи Бродского), тренера по фигурному катанию Юрия Кукина ("Париж", "Город") и многие другие…

Я вспоминаю, как в 1965 году в переполненном зале Дворца культуры имени С. М. Кирова на Васильевском острове, где проходил заключительный концерт I Ленинградского конкурса самодеятельной песни, на сцену вышел молодой человек с пышноволосой курчавой головой и, смущенно улыбаясь, представился как "тренер по фигурному катанию". Потом он взял гитару и запел: "А я еду, а я еду за туманом". Так сразу, одним махом, вошел в авторскую песню Юрий Кукин, без которого нельзя теперь представить ни авторскую песню незабвенных шестидесятых, ни нашу тогдашнюю ленинградскую жизнь. Песни Кукина с удивительной быстротой стали распространяться по всей стране. Эта популярность не была сродни шумной эстрадной популярности некоторых современных бардов, покоряющих многотысячные дворцы спорта. Песни Кукина негромко пелись у дымных костров геологических экспедиций, в тайге и среди болот, где он кормил комаров наравне со всеми. Так они обрели свою подлинность, доверительность разговора, задушевную интонацию, мягкий, едва ощутимый юмор.

Лирический герой Юрия Кукина далек от "суперменства", он не кичится своей страстью к путешествиям и тяготам экспедиционной жизни, в нем нет ничего показного. Наоборот, он как бы просит извинения за органическую неспособность жить атрибутами мещанского уюта, наблюдать восходы с закатами из окна и "колера" - на выставках. Для него "берег не место для встречи, а скорее - начало пути". Несмотря на внешнюю мягкость разговора, полное отсутствие поучающего назидательного тона, восклицательных знаков в строке, эта жизненная позиция Кукина - чрезвычайно тверда.

Юрий Кукин обладает несомненной поэтической одаренностью, хотя стихи в его песнях не всегда равноценны, они часто поражают своей удивительной точностью и образностью:

И что кролик - всего только кролик,
А король, он и голый - король.

Или:

Горы головы в землю упрятали,

Обхватив их руками дорог.

Любимые герои песен Кукина - сказочник, канатоходец, волшебник и, наконец, клоун - персонажи, несущие людям добро и улыбку, избавляющие их от грусти и уныния:

Если же внезапно истинную грусть

Как-нибудь случайным жестом обнаружу,

Я подпрыгну вверх и я перевернусь,

И тогда опять вам буду нужен.

За обликом клоуна в этой, одной из лучших песен Юрия Кукина, легко угадывается сам автор с его бескорыстной добротой и грустной улыбкой. Песни Юрия Кукина, приглашающие собеседника путешествовать во времени и пространстве, зовущие в реальный мир тайги и нереальный мир сказок, которые переплетаются, - подобие золотого ключика, открывающего добрую волшебную страну, "край забытого детского сна". В этом секрет их долговечности и жизнеспособности, их неистребимой романтики в наш, увы, прагматический век.

В этот период, где-то в середине шестидесятых, у авторской песни стало закладываться и другое направление - появилась целая плеяда молодых самодеятельных композиторов, как правило, начисто лишенных музыкального образования, которые стали придумывать под гитару мелодии на полюбившиеся им стихи. Так в рамках "авторской песни" возникло еще одно альтернативное направление - "второе искусство" в песенной музыке.

Наиболее яркими его представителями стали доцент Московского института стали и сплавов Виктор Берковский, автор знаменитой в те годы песни "Гренада" на стихи Михаила Светлова, "поющие физики" Сергей и Татьяна Никитины, создавшие целую песенную антологию русской советской и мировой поэзии, кандидат химических наук Александр Дулов, автор прекрасных песен на стихи Николая Гумилева, Мориса Карема и других поэтов, уже упомянутый Евгений Клячкин и некоторые другие авторы. Несмотря на жестокую (и, как правило, необъективную) критику со стороны "композиторов в законе", песни, созданные этими представителями технической интеллигенции, быстро запоминались, подхватывались и в короткое время становились известными по всей стране, хотя никаких записей ни на радио, ни на фирме "Мелодия" в те поры не было и даже быть не могло.

В музыкальном творчестве Евгения Клячкина особое место

занимает цикл песен на стихи Иосифа Бродского. Поэзия Бродского - по-видимому, крупнейшего русского поэта нашего времени, как будто совсем не нуждается в гитарном сопровождении. Да и сам Нобелевский лауреат неоднократно высказывал свое равнодушное отношение к жанру авторской песни. Что же побудило Евгения Клячкина, автора многих популярных песен на собственные стихи, обратиться к сложной и, на первый взгляд, далекой от песенного мира поэзии Бродского? В чем причина того, что именно благодаря музыке Клячкина, написанной к поэме "Шествие" и некоторым другим стихам Бродского в начале шестидесятых и в семидесятые годы, стихи эти, ни разу не опубликованные в печати в те "застойные" времена и бывшие достоянием сравнительно узкого круга московских и ленинградских интеллигентов, знакомых с ними изустно или .по бледным машинописным копиям "Самиздата", сразу стали популярны и известны по всей стране? Хорошо помню, как в сибирской тайге и ленинградских электричках геологи, туристы, студенты, распевали в ту пору чеканные строки: "И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога, и значит, остались только иллюзии и дорога". Появившиеся в то глухое безвременье песни Клячкина на стихи Бродского вместе с песнями Галича, Окуджавы, Кима и раннего Высоцкого, заложили основы "магнитофониздата", вызвали множество подражаний и послужили великому делу приобщения к истинной поэзии людей, от нее далеких.

Дело, видимо, прежде всего в чутком поэтическом слухе Евгения Клячкина, его редкой музыкальной одаренности, давшей возможность извлечь для слухового восприятия внутреннюю сложную, но гармоничную мелодию стихов Бродского, во всей их многоплановой полифонии. Ему, как никому другому, удалось уловить не только музыку самих стихов, но и авторскую манеру их чтения. Мне неоднократно приходилось слышать, как Бродский читает свои стихи и, кажется, что при всей внешней непохожести пения Клячкина на глуховатый чуть завывающий голос читающего поэта, звук гитарной струны, щемящий, иногда кажущийся резким до диссонанса, внезапная смена лирической плавной мелодии ("Ах, улыбнись, ах, улыбнись, вослед взмахни рукой") драматичным и напряженным мотивом ("Жил-был король…"), создают близкое по знаку к авторскому чтению силовое поле. Услышав хотя бы раз в музыкальном прочтении Клячкина эти стихи или такие, например, как "Ни страны, ни погоста" или упомянутых уже "Пилигримов", в мелодии которых слышится вагнеровские отголоски, уже не хочется слушать их иначе. Так поэзия Бродского, взятая "с листа", получила как бы

отдельное звуковое существование.

В песнях на стихи Бродского полностью реализовался безусловный талант Клячкина-композитора, автора удивительных мелодий ("Баллада короля", "Ах, улыбнись", "Романс скрипача" и многие другие). Талант этот сочетается с высоким вкусом в музыкальной интерпретации сложных поэтических монологов, где голос автора неуловимо переплетается с голосами его театральных героев

- Арлекина, Коломбины, Честняги, князя Мышкина, и вновь возвращается к их создателю, человеку, как и они обреченному на одиночество и непонимание во враждебном ему мире, сам воздух которого для него губителен.

И здесь мы переходим к самому главному. Когда я вспоминаю ранние стихи Бродского, написанные еще в Ленинграде, в бесславные для нас, его современников, годы судебной расправы над ним как над "тунеядцем" и последующего изгнания, то невольно сам собой возникает вопрос, почему его прекрасные стихи тех лет - "Джон Донн", "Письма римскому другу" и другие, воспринимающиеся сейчас как классика и далекие от обличительной политизированной поэзии, такой, например, как песни Галича, вызвали, тем не менее, откровенно неприкрытую враждебность у партийных и литературных чиновников брежневской поры, да и сейчас служат красной тряпкой для подкармливаемых этими чиновниками охранных отрядов, состоящих из полуграмотных ревнителей "истинно русской" поэзии? Не потому ли, что в самой интонации этих стихов, как прежде великих стихов Мандельштама, органично содержится чуждый им дух одинокого, непокорного, мучимого мировой скорбью неприкаянного мыслящего интеллигента, само существование которого чревато угрозой их сытому благополучию? Именно это ощущение обреченности в бездуховном мире, где утрачены действительные ценности, трагическая щемящая интонация стихов, подчеркнутая и усиленная музыкой, является основной особенностью этих песен, дает тот гармоничный синтез, который обеспечивает им долгую жизнь.

И еще одно интересное и уникальное по природе своей явление. Начиная с середины шестидесятых годов вокруг авторской песни начало развиваться движение "самодеятельной песни". Многочисленные любители авторской песни, люди разных возрастов, специальностей, в самых разных концах нашей огромной страны, стали объединяться в клубы самодеятельной песни, петь песни любимых ими авторов, пытаться сочинять сами, устраивать песенные фестивали.

В моем родном Ленинграде авторская песня в конце пятидесятых - начале шестидесятых годов появилась и развивалась как бы отдельно от Москвы. Основными ее истоками с одной стороны были "геологические" (именно геологические, а не туристские) песни, изустно переносившиеся в многочисленных экспедициях ленинградских геологических организаций - таких как Всесоюзный геологический институт, мой родной Горный институт. Институт геологии Арктики. В Ленинграде интерес к самодеятельной песне стал заметно проявляться уже в начале шестидесятых. Мало-помалу появился круг активных любителей этого жанра, который весной 1965 года провел 1-й городской конкурс авторов и исполнителей. Я хорошо помню заключительный концерт этого конкурса, который проходил на Васильевском, в битком набитом театральном зале Дворца культуры им. Кирова. Мне вместе с Окуджавой довелось участвовать в работе жюри этого конкурса. Именно на этом концерте впервые и заявил о себе совершенно неизвестный до того Юрий Кукин, вызвавший бурные аплодисменты всего зала.

Рождение авторской песни в Ленинграде связано с клубом "Восток", который нашел себе пристанище в Доме культуры работников пищевой промышленности, разместившемся в старинном дворянском особняке, неподалеку от "Пяти углов" на улице Правды, дом 10. Запущенный этот особняк, выстроенный в ложноклассическом стиле, с флигелями, украшенными лепными карнизами, охватывавшими с двух сторон небольшой дворик, в центре которого чернела тяжеловесная и чужеродная здесь статуя Ильича в широких мешковатьк брюках, на долгие годы и даже десятилетия стал крупнейшим центром авторской песни в стране. Основу клуба составила группа молодьк ленинградских авторов, в число которых вошли Евгений Клячкин, Борис Полоскин, Валентин Вихорев, Валерий Сачковский, Юрий Кукин, Валентин Глазанов, исполнители авторских песен Виталий Сейнов и Михаил Кане, некоторые другие. Назван был клуб - "Восток" - по имени первого космического корабля, на котором Юрий Гагарин поднялся с Земли в космос.

Интересно, что этот первый песенный клуб, родившийся в 1961 году, вовсе не был "клубом самодеятельной песни" - он объединял прежде всего авторов и исполнителей, а не любителей этого жанра. И не только ленинградцев - участие в концертах и в работе клуба принимали живший очень недолго в те годы в Ленинграде Булат Окуджава, приезжавший часто сюда из Москвы вместе с театром на Таганке и отдельно от него Владимир Высоцкий, быстро подружившиеся с клубом Михаил Анчаров, Ада Якушева и Юрий Визбор. Так что можно считать, что в середине

шестидесятых ленинградский клуб "Восток" стал основным центром авторской и самодеятельной песни.

Сейчас, оглядываясь назад, я никак не могу понять - что же притягивало сюда молодьк авторов? Здесь не было никакой студии или, как сейчас говорят "творческой мастерской", возглавляемой каким-либо знаменитым мэтром, способным отечески погладить по голове или преподать уроки поэтического и музыкального мастерства. Не было также и средств массовой информации, которые могли бы помочь начинающим авторам завоевать аудиторию. Была только тесная комната, милостиво выделенная клубу администрацией, в которой можно собираться вечерами, читать стихи, петь песни, спорить, курить, разговаривать.

Поначалу встречи устраивались в молодежном кафе "Восток", на первом этаже дворца, в первый понедельник каждого месяца, но число желающих сразу же оказалось во много раз больше числа посадочных мест, а эпизодические концерты в Малом зале Дома культуры также не спасали положения.

Тогда, с осени 1965 года, под яростным натиском любителей песни и совета кафе "Восток", администрация ДК начала проведение цикла абонементных концертов под общим названием "Молодость, песня, гитара" в Большом зале ДК, вмещавшем около 900 человек, хотя и этого вскоре стало мало. Так начались знаменитые абонементные концерты клуба "Восток", пользующиеся неизменным успехом вот уже около тридцати лет.

Вечера эти не были концертами. Скорее это были дискуссионные клубы, где яростно обсуждались и сами исполнявшиеся песни, и все многочисленные, в том числе и острейшие, проблемы, с ними связанные. Первыми ведущими этих вечеров в "Востоке" стали

литературовед доктор филологических наук, работавший тогда в Пушкинском Доме АН СССР, Юрий Андреевич Андреев и кандидат искусствоведения, музыковед Владимир Аронович Фрумкин. Это был удивительный дуэт двух людей, совершенно противоположных друг другу во всем - от внешности и темперамента до художественных и политических взглядов. Они всегда находились в постоянной взаимной оппозиции и, может быть, именно это обеспечивало неизменный успех проводившихся вечеров и остроту разворачивающихся дискуссий.

Надо сказать при этом, что тогдашние вечера клуба "Восток" были первым и далеко не безопасным опытом песенной и разговорной гласности после десятилетий сталинской немоты. Гласности, которая все это время, начиная с основания клуба, постоянно находилась под неусыпным оком ленинградского КГБ,

а также Дзержинского райкома партии и горкома. Неслучайно руководителей клуба время от времени вызывали в соответствующие инстанции и делали грозную накачку или вербовали в стукачи. Я хорошо помню, как дважды отменялись в "Востоке" концерты Окуджавы и Высоцкого, как директор Дома культуры, пожилой запуганный насмерть еврей с боевыми орденами, носивший славную фамилию Ландау, принимал валидол после каждого вызова в райком и жаловался, что у него грозят отобрать партбилет.

Это было время, когда в Ленинграде, так же как и в Москве, авторская песня, начиная с Окуджавы, была сразу же встречена враждебно. Против нее объединились вместе, как это ни кажется теперь странным, и партийные идеологи, и творческая интеллигенция - прежде всего, композиторы и музыковеды: такие, например, как один из самых интересных комментаторов классической музыки Энтелис. К ним скоро присоединились и литераторы. Все они дружно предали авторскую песню анафеме, решительно отказав ей в праве на существование. При этом партийные и комсомольские идеологи утверждали, что песни эти развращают молодежь, в то время как блюстители профессиональности убедительно доказывали, что это - дешевая и недолговечная форма массового искусства, где нет ни поэзии, ни музыки.

Так, в одном из своих выступлений в клубе "Восток", запечатленном на кинопленке в фильме "Срочно требуется песня", о котором речь пойдет ниже, музыковед Энтелис сравнивал эти песни с модным в то время шлягером "Мишка, Мишка, где твоя улыбка?" и утверждал, что не пройдет и года, как песни эти будут полностью забыты. Мне неоднократно приходилось видеть этот фильм, ставший теперь историческим, на разного рода песенных вечерах, в частности, на праздновании двадцатипятилетия клуба "Восток" в Ленинграде, и каждый раз зал встречает реплику Энтелиса смехом и аплодисментами.

И все-таки это были первые "полуоткрытые" дискуссии. "Полуоткрытые" потому, с одной стороны, что они во многом контролировались и режиссировались "власть предержащими" и "композиторами в законе", а с другой

- вовлекали в разговор широкие слои ленинградской молодежи и, прежде всего, технической и творческой интеллигенции, которой уже в те времена зажать рот бьшо не всегда просто. Память об этих вечерах, ставших теперь достоянием истории, сохранили магнитофонные записи, сделанные на старых допотопных и тяжелых бобинных магнитофонах несколькими бескорыстными энтузиастами.

Старейший из них - Николай Федорович Курчев, благодаря которому эти материалы сохранились для потомства и частично использованы здесь.

Интересной особенностью первых вечеров-концертов "Востока", начавшихся с 1965 года, бьшо то, что в них принимали участие одновременно и самодеятельные авторы песен, и профессиональные поэты, композиторы и исполнители - такие, например, как композиторы Андрей Петров, Микаэл Таривердиев, Ян Френкель, Александр Колкер, поэты-песенники Лев Куклин, Ким Рыжов, Олег Тарутин и другие. Для чего это делалось? Вот как ответил на этот вопрос 20 октября 1965 года ведущий первого абонементного концерта 1-го сезона шестьдесят пятого - шестьдесят шестого годов Владимир Фрумкин (расшифровка магнитофонной записи сделана Н. Ф. Курчевым):

"Нам хотелось бы слить воедино, соединить две песенные волны, которые до сих пор существовали и развивались параллельно - это профессиональная песня и самодеятельная песня. Мне вспоминается почему-то такое сравнение: мы присутствуем при торжественном открытии канала, который соединяет две реки. Знаете, как это обставляется всегда? Вынимается последний кубометр земли из перемычки, перемычка размывается, и две реки благодарно сливаются вместе. Правда, бывают два способа - либо взорвать перемычку, либо мирно вынуть оттуда последний оставшийся кубометр. Нам хотелось бы надеяться на мирный способ. Цель этих вечеров будет достигнута, если и те, и другие - и профессиональные и самодеятельные авторы - почерпнут для себя много нового и свежего. В этом случае не останутся в накладе и зрители. Они у нас, кстати, не только зрители, но и участники. Давайте забудем о том, что в зале есть какое-то возвышение, что мы разделены рампой, и договоримся, что мы все здесь - равноправные участники творческого совещания, на котором будем показывать друг другу что умеем делать, и обсуждать это. Вот так нам мыслится стиль этих вечеров. Может быть, я открываю вам секрет, но сначала мы хотели делать отдельно вечера профессионалов и самодеятельных авторов, а потом решили в качестве эксперимента попробовать соединить их и посмотреть, что из этого получится".

На этом первом вечере профессионалов представляли композитор Андрей Петров, весьма известный и популярный в ту пору, и поэт-песенник Лев Куклин, песни которого "Голубые города" и некоторые другие были тогда на слуху у молодежи. Самодеятельные авторы были представлены гостем из Москвы Александром Дуловым и ленинградцами Борисом Полоскиным,

Евгением Клячкиным, Валентином Вихоревым, Виталием Сеиновым и Валерием 1Сачковским. Александр Дулов пел ставшую к тому времени уже знаменитой среди моих коллег-геологов песню на стихи Игоря Жданова "Сырая тяжесть сапога", а также песни на стихи Виктора Сосноры, Юнны Мориц, Александра Кушнера, Олега Тарутина. Закончил он под бурные аплодисменты всего зала песней, которая уже тогда пользовалась всеобщей любовью - "Хромой король", на . слова бельгийского поэта Мориса Карема:

Железный шлем, деревянный костыль -
Король с войны возвращался домой.
Солдаты пели, глотая пыль,
И пел с ними вместе король хромой.

За ним выступал Евгений Клячкин, который спел "Сигаретой опиши колечко", "Этот город - он на вид угрюм", "На Театральной площади" и другие.

После этого ведущий Фрумкин предложил начать дискуссию, однако из зала долго никто выступать первым не решался. Тогда ведущий вызвал к микрофону одного из сидящих на сцене - Бориса Полоскина, который сказал, что говорить пока не о чем, надо бы продолжить концерт. Однако выступивший следом Лев Куклин сказал: "Для меня нет никакой разницы - профессиональная песня или нет. Есть деление только на хорошие песни и на плохие. Если песни хорошие - значит, они профессиональные. Мне как-то вспоминается, что "Марсельеза" это, в общем, самодеятельная песня, да и "Интернационал" написан тоже не членом какого-нибудь творческого союза. Лучшие революционные песни тоже созданы любителями. Достаточно вспомнить, скажем, "Варшавянку", которая написана Кржижановским". Андрей Петров был более критичен:

"Я впервые слушаю песни самодеятельных авторов. Раньше слушал только песни Булата Окуджавы и Новеллы Матвеевой. У Окуджавы прекрасные стихи, а музыка - малоинтересна. Интонации его песен идут от блатных песенок. Новелла Матвеева гораздо более интересна в музыкальном отношении - у нее много элементов, идущих от народной песни. И великолепные стихи. Нужно сказать, что в исполнении профессиональных актеров они много теряют от эстрадной манеры исполнения. Относительно сегодняшних песен хочу сказать, что наметился большой разрыв в отношении к ним музыкальной общественности и широкого круга слушателей. Среди этих слушателей чаще всего встречается равнодушие к официально пропагандируемым песням

профессиональных авторов, в то время как песни, пользующиеся широкой популярностью, встречают резкую критику профессионалов.

Откуда пошел этот разрыв? Началось это лет десять назад, с эпохи культа личности - всем надоело холодное искусство - появилась тяга к искусству эмоциональному, сложному по чувствам и простому по проникновенному исполнению. Однако многие композиторы и поэты по инерции продолжали творить по-старому. Отсюда - расхождение во вкусах, в симпатиях, особенно в тематике. Одна из причин появления и популярности самодеятельных авторов состоит в том, что они восполнили отсутствие песен, которых .не написали профессиональные поэты и композиторы. Отмахиваться от этого явления нельзя. Хотелось бы остановиться отдельно на текстах. Должен сказать, что в профессиональных песнях не часто встречаешься с такими блестящими стихами. Музыкальная же сторона почти всех песен слабее и уступает стихам. В целом у Александра Дулова вкус, пожалуй, немного выше: строй стихов и музыки отличается большим здоровьем. В песнях Евгения Клячкина, слышится что-то из салона двадцатых-тридцатых годов. Было бы интересно встретиться с этими авторами в Доме композиторов и подробнее поговорить об их песнях. Мечтаю о времени, когда по стране будут не единичные самодеятельные авторы, а будут такие же массовые увлечения песней, как в Италии или во Франции".

А вот что сказала на этом вечере сотрудница Пушкинского Дома Галина Шаповалова: "Мне как фольклористке радостно слышать все то, что поют здесь и в поездах. Это хорошо потому, что после долгих лет официальной поэзии начинают, наконец, звучать свободные молодые голоса. У фольклористов всегда стоит один вопрос - существует ли советский фольклор? Сегодня видно, что он существует! Он - перед вами, здесь. Это то, что любимо всеми, всеми распевается. У песни даже неизвестен автор - значит, она затрагивает всех и каждого".

Время, однако, показало, что доброжелателей из числа профессионалов бьшо не так уж много. Тем приятнее вспоминать о них по прошествии четверти века.

Но вернемся к первому абонементному вечеру. Во втором отделении профессиональные эстрадные артисты в сопровождении эстрадного инструментального ансамбля под управлением Александра Бадхена исполняли песни Андрея Петрова на стихи Льва Куклина, Юлии Друниной и Николая Глейзарова. Закончилась концертная программа популярной песней Петрова на стихи Геннадия Шпаликова к кинофильму "Я шагаю по Москве". Зал принимал песни дружелюбно, награждая

артистов аплодисментами. И все-таки вызывающие эстрадные наряды Нонны Сухановой и других исполнителей, их шаблонная манера общения с "публикой" выглядели чужеродно после первого отделения, как бы вернув слушателей в мир официозной эстрады. Оживление в зале вызвал только выход на сцену артиста Малого Оперного театра Артура Почиковского, который должен был петь песню на стихи Льва Куклина про башенные краны. Появление его рослой фигуры, действительно похожей на башенный кран, сопровождалось смехом и дружной овацией.

В конце второго отделения дискуссия была более бурной. Вот что сказал, например, радиоинженер Михаил Дмитрук: "Вот композитор Петров говорил, что есть разрыв между официальной и самодеятельной песней. В чем же, все-таки, разрыв? В том, что, по-моему, в официальной пропагандируемой песне нет права на конфликт, на переживания. Какой там конфликт? Единственный, который бывает - это: он уехал - она осталась или наоборот: она уехала - он остался. И чем (аплодисменты, шум) разрешаются эти конфликты? - Скоро приедет! (Шум). А в тех песнях первым зачинщиком был Окуджава. И он в своих песнях отстаивал право человека на другие конфликты. Он первый отважился петь про переживания, про жизненные конфликты, а что касается полублатного мотива, - ну, что ж, несмотря на такой мотив, песни все же получились гуманистичнее в смысле любви к человеку, чем профессиональные песни. Его песни - о простых людях, о простых и понятных всем нам чувствах. Песни эти ценны еще и тем, что они проникнуты романтикой, например, романтикой городских кварталов. А у профессионалов только и романтика, что жизнь в палатках и на новостройках. А ведь в палатках иногда живут люди, которые поехали только за длинным рублем! (Аплодисменты)". Все участники вечера, сидевшие в зале, получили опросные анкетки, где спрашивали их мнения о лучшей песне на вечере, кто больше понравился и каковы пожелания. Абсолютное большинство зрителей решительно высказалось в пользу первого отделения, в пользу самодеятельной песни.

Вот отрывки из анкет. "Нельзя ли обойтись без пошлости во втором отделении? Зал смеялся, когда пела Нонна Суханова о "первой встрече". Хорош контрастец! Хотели, так как свистеть в зале неприлично, послать на сцену свисток от физфака ЛГУ, но жалко стало свистка. Неумение Дулова держаться перед микрофоном в тысячу раз лучше кокетничанья (особенно отвратительного, когда оно восходит от мужчины, а было и это) исполнителей из второго отделения. Уважаемый музыковед Фрумкин! И вы серьезно можете говорить о тех и этих песнях? Это же несовместимо! Вы же умный человек, неужели вам не

стыдно этого контраста? Да, были и во втором отделении неплохие песни (хотя они и исполнялись манерно), но в общем - тягостное впечатление".

"Пусть больше поют самодеятельные авторы - Петрова мы слышим и по радио".

"Товарищи, где ваше чувство меры? Две половины вашего концерта не стыкуются. Публика смеется над вами. Нельзя путать настоящие песни с большим подтекстом с песнями эстрады".

"В дальнейшем не сочетать эстраду с самодеятельными песнями и их исполнителями. Сравнение - увы - не в пользу эстрады. Ей не хватает искренности и непосредственности".

"В принудительном порядке отправить профессиональных поэтов и композиторов в турпоходы".

И прочая, и прочая, и прочая…

После первого концерта было проведено еще несколько "комплексных" вечеров, где одно отделение занимали самодеятельные авторы, а второе - "профессионалы". Так, 10 ноября 1965 года в первом отделении абонементного концерта выступал один из ведущих ленинградских эстрадных композиторов Александр Колкер с очень популярными в то время профессиональными исполнителями Марией Пахоменко и Александром Серебровым, а во втором отделении - автор этих строк, как известно, никогда вокальными талантами не отличавшийся. На гитаре мне аккомпанировал Валентин Вихорев.

Часть моих песен в этом концерте пел молодой артист-исполнитель Илья Резник, ставший позже весьма популярным и преуспевающим автором, немало песен написавшим для Аллы Пугачевой. Тогда это был высокий, застенчивый и красивый юноша, очень похожий на молодого Блока. На этом концерте он пел песни "За белым металлом", "Палаточные города", "Черный хлеб", "Бермудские острова", "Над Канадой".

Много лет спустя, после долгого перерыва, уже в наши дни, я неожиданно встретился с ним в Ленинграде на перроне Московского вокзала по дороге в Москву. Мы стояли возле вагона "Красной Стрелы", когда рядом с нами величественно проплыла высокая солидная фигура в бобровой шубе и такой же шапке. "Познакомься, - сказал я жене, - это один из столпов современной эстрады". Илья с высоты своего великолепного роста скептически оглядел мою затертую нейлоновую куртку и милостиво протянул два толстых пальца. "Да, - произнес он, снисходительно улыбнувшись. - Еду в Москву встречать Аллочку из Италии. А ведь представляете, с чего я начинал? - неожиданно обратился он к моей жене, - я пел когда-то песни вашего мужа!" И, лучезарно улыбаясь, величественно проследовал дальше. Как раз в эту

минуту двое провожатых доставили в наш вагон Юлия Кима, насквозь продрогшего в своей короткой не по-зимнему курточке и кепке и, судя по запаху, уже изрядно согревшегося по дороге к вокзалу. Как непохож был этот маленький замерзший человек на монументальный облик Ильи Резника! "Вот, полюбуйся, - сказал я жене, - два полюса современной песни".

Но вернемся в 1965 год. Песню "Чистые Пруды" на этом концерте исполнял Евгений Клячкин. Надо вообще сказать, что еще с тех давних лет между ленинградскими авторами установились самые дружеские отношения. Каждый из этой небольшой группы - Вихорев, Клячкин, Полоскин, Глазанов, Кукин - с удовольствием распевали песни друг друга, радовались успехам товарищей. Я ощущал это в первую очередь, так как практически ни петь, ни играть не умел и постоянно пользовался услугами моих доброжелательных коллег. Среди нашей небольшой компании сразу же установилась обстановка дружеской откровенности, подразумевавшей полное отсутствие каких бы то ни было проявления зависти и недоброжелательства при самой резкой и нелицеприятной критике в глаза.

Помню, летом того же 1965 года, на Всесоюзном слете в Бресте, Посвященном героям и жертвам Отечественной войны, был устроен фестиваль самодеятельной песни, председателем жюри которого был маршал Конев. "Жюрил" он довольно своеобразно. Так, выслушав одну из песен, снял свою высокую маршальскую фуражку, утяжеленную золотым шитьем, вытер платком пот на лысом яйцеобразном черепе и негромко, как бы с некоторым удивлением, сказал микрофон: "Хорошая песня - без похабщины". Песня немедленно заняла первое место.

Что касается нас, ленинградцев, то мы вышли, все четверо, и заявили, что соревноваться друг с другом не хотим, а набранные каждым из нас очки просим суммировать для ленинградской команды. Это обеспечило первенство Ленинграду по самодеятельной песне.

Интересно, что дружба эта и взаимное доброжелательство, столь нетипичное для пишущих людей, сохранились потом на долгие годы, несмотря на то, что жизнь нас развела. Помню, как радовались Мы все, спустя уже много лет, когда Юрий Кукин, долго молчавший, вдруг разразился новой песней "Ни горя, ни досады". Все это казалось вполне естественным, и только переселившись в Москву, где отношения между ведущими бардами оказались совсем не простыми, я понял цену этой ленинградской дружбы. Вспоминаю, как Валя Вихорев сказал мне как-то: "Прости, старик, я тут твою мелодию использовал. Не возражаешь?" Речь шла о мелодии песни "Геркулесовы Столбы",

частично взятой за основу в песне Вихорева "На Соловецких островах". Так же, примерно, поступил и Юрий Кукин, взяв полюбившуюся ему мелодию "Атлантов" для своей песни "Солдат Киплинга". Так же, без зазрения совести, поступил и я, приспособив мелодию песни Юрия Кукина "Мой Маленький гном" для своей новой песни "Над Владивостоком". А может быть, все дело в том, что этим мелодиям нашим, вместе взятым, была грош цена в базарный день, и мы все это четко сознавали?

Что же касается того давнего вечера с моим первым выступлением в "Востоке", когда Клячкин и Резник распевали мои песни, а Клячкин еще и аккомпанировал мне на гитаре вместе с Вихоревым, то от него остались только выцветшие любительские фотографии да несовершенные записи на старых пленках.

Помню, что "Пиратскую" песню ("Пират, забудь о стороне родной") и "Атлантов" пели вместе со мной все присутствующие на сцене авторы - Клячкин, Полоскин и Вихорев. Дискуссия "по поводу творчества представленных аудитории профессионального композитора Александра Колкера и самодеятельного автора Александра Городницкого" также развернулась острая. И опять, несмотря на старания В.Фрумкина и Ю.Андреева, пытавшихся установить "дипломатический" стиль разговора, аудитория решительно высказалась в пользу самодеятельной песни.

На этом эксперимент с совместным выступлением в одном концерте "самодеятельных" и "профессиональных" авторов закончился. На следующем абонементном концерте выступал московский поэт-песенник Лев Ошанин, уже без опасного соперничества "самодеятельных авторов". Он читал свои стихи, а затем профессиональные певцы и ансамбли, в том числе Э. Хиль и О. Нестерова исполняли песни на его стихи, написанные композиторами Э. Колмановским, А.Островским, А. Долуханяном, А. Новиковым и Я.Френкелем. Дискуссии же не было вообще. Одна из анкет так комментировала этот вечер: "Ни молодости, ни песни, ни гитары". Автор другой, студентка ЛГУ Т. Чичасова, сожалела "…Не хватало только Бена Бенцианова и одного циркового номера. Ужасная неловкая казенная обстановка и всеобщее разъединение. То, что объединяло нас раньше, ушло. И это очень жаль".

В последующих концертах пели уже, в основном, самодеятельные авторы, вместе с которыми охотно и успешно выступали профессиональные ленинградские поэты Олег Тарутин, Леонид Агеев и другие. А вот композиторы уже не отваживались. Приехал как-то, правда, из Москвы только вошедший в моду Миказл Таривердиев, но узнав, что ему придется выступать "вместе с самодеятельностью", оскорбился и

наотрез отказался участвовать в концерте, оставив вместо себя молодую исполнительницу Елену Камбурову, которая пела песни Окуджавы в музыкальной аранжировке Таравердиева, сильно их исказившей.

Самого Окуджаву на сцену "Востока" партийные власти старались не допускать. Дело доходило до грустных курьезов: сам Окуджава стоял за сценой, в то время как со сцены объявляли об отмене концерта "ввиду его болезни". И все-таки продолжались концерты и дискуссии, а приезжавшие в гости и с выступлениями москвичи Александр Дулов, Юрий Визбор и Ада Якушева, завидовали - "Вот нам бы такой клуб!"

На одном из концертов в декабре 1966 года после выступления Александра Дулова и Олега Тарутина, по инициативе Владимира Фрумкина, развернулась острая дискуссия о "профессионализации" авторских песен.

Дело в том, что к этому времени в самом Союзе композиторов состоялось несколько вечеров, посвященных проблеме самодеятельной песни. В декабре 1966 года первый вечер-диспут прошел во Всесоюзном Доме композиторов в Москве. Выступали там Александр Дулов, Юлий Ким, Сергей Никитин с квартетом и Юрий Кукин. Вечер этот длился с половины седьмого до половины двенадцатого.

В ленинградском отделении Союза композиторов тоже был устроен вечер, также вызвавший ожесточенную дискуссию. Из самодеятельных авторов в нем принимали участие Евгений Клячкин и я.

Несколько композиторов выступили на этом вечере с уничтожающей критикой прослушанного. "Все это - торжество вопиющей музыкальной безграмотности",

- заявил один. Другой (Александр Колкер) сказал: "Когда я слышу песни Городницкого, то ощущаю немедленную потребность спуститься вниз в буфет и чего-нибудь выпить, потому что трезвый человек такие песни слушать не может!"

На упомянутом же очередном абонементном концерте в "Востоке" по предложению Фрумкина был проведен такой эксперимент" одна и та же "авторская" песня звучала сначала в исполнении автора в сопровождении гитары, а затем - в обработке профессионального композитора и в исполнении профессионального инструментального ансамбля.

Начали с популярной песни Юрия Визбора "Серега Санин". Сначала прозвучала песня в исполнении Визбора под гитару, в записи на бытовой магнитофон, а потом - она же, но в обработке профессионального московского композитора Кирилла Акимова, в Сопровождении инструментального ансамбля и в студийной

записи. Композитор, из самых, видимо, лучших побуждений, предпослал песне героическое музыкальное вступление, типичное для эстрадных песен, потом перешел на ритм вальса, а потом, в самых драматических местах, акцентировал трагизм текста замедлением ритма. При этом песню, хотя и под инструментальный ансамбль, пел сам Юрий Визбор. Однако где-то уже в начале песни, когда он стал петь сильно растянутый композитором припев да еще в заунывном сопровождении аккордеона, в зале раздался шум, хлопки и откровенный смех.

"Ну, вот, - сказал Владимир Фрумкин, - а теперь послушайте, что пишет журнал "Музыкальная жизнь" No 16 в статье за подписью Е. Надеинского о самодеятельных песнях. А пишет он следующее: "Пожалуй, это еще не песни, это

- полуфабрикаты. Песнями некоторые из них становятся под руками Кирилла Акимова и в исполнении Елены Камбуровой".

Тут в зале раздались свист и шум, перемежающиеся с громким смехом и криками. Фрумкину долго не давали говорить. В той же статье, о которой вспомнил Фрумкин, жестокой критике с обвинениями в "непрофессиональности" вместе с Юрием Визбором подвергнута была и Ада Якушева. Поводом для этого послужили их выступления на нескольких концертах вместе с профессиональными эстрадными певцами. За это они и попали под обстрел…

Эксперимент в концертном зале "Востока" продолжался. В качестве второй "подопытной" песни была использована песня Юлия Кима "Фантастика, романтика". Вначале была показана запись песни на бытовом магнитофоне в авторском исполнении, сделанная на вечере Юлия Кима в Ленинградском Университете в 1964 году. Портом эта же песня прозвучала в исполнении ленинградского ансамбля "Дружба" под управлением Александра Броневицкого. Прозвучала она "вполне прилично", и зал принял ее хорошо. "Видите? - сказал Фрумкин, - это более тактично сделано. Вот, теперь "Про кита" - Кима. Напомнить авторское исполнение?" "Не надо", - закричали из зала. Тем не менее, эта песня тоже прозвучала в авторском исполнении, записанном на университетском вечере. Затем ту же песню стал петь ансамбль "Дружба". Исполнение было, в общем, неплохим, однако, строчки песни перемежались с разного рода звукоподражаниями, чтобы рассмешить публику. В зале, действительно, начали смеяться и хлопать, хотя и неясно было, что означает этот смех - одобрение или наоборот.

В таком же порядке была дважды исполнена песня Юлия Кима "Про Кольку-хулигана". Ее пела Рина Зеленая, мастерски передавая детские интонации, и песня залу понравилась.

Вот одна из присланных записок "Мне кажется, что только те аранжировки, в которых сохраняется характер, душевность или юмор песни, могут иметь успех и быть приняты слушателями. Если же аранжировщики начинают добавлять что-то свое, получается пошлость".

В развернувшейся после дискуссии первое слово предоставлено было мне. Сохранилась магнитофонная запись этого выступления, сделанная Николаем Федоровичем Курчевым:

"Мне кажется, что для настоящего профессионального композитора так называемая самодеятельная песня не страшна. Ее могут бояться только композиторы с дурным вкусом на поэзию, композиторы ограниченные или грешащие бездарностью в самом существе своего творчества. Самодеятельная песня представляет опасность в первую очередь для бездарных "текстовиков" (есть у нас такая весьма доходная профессия) и композиторов-конъюнктурщиков, у которых "все на продажу". Я считаю, что для них честнее было бы полностью отрицать право на существование для самодеятельных песен, чем так их аранжировать. Потому что такая аранжировка полностью убивает хорошие песни. Без нее эти песни, пусть руганые-переруганые, могли бы жить, а вот после нее - нет.

Неделю назад я попал в Ленинградский Дворец пионеров на диспут "Что поют?" Там я оказался случайным слушателем. Обычно ведь мы привыкли, что распинаемся на сцене, а композиторы сидят в зале, брезгливо морщатся, а потом высказывают все то сугубо негативное, что они о нас думают или пишут бранные статьи. Тут же все оказалось наоборот. На сцене присутствовали композиторы Прицкер и Зарицкий и поэт Леонид Хаустов, автор песенных текстов. Там же были два весьма упитанных и одетых в концертные фраки исполнителя, которые с бодрыми улыбками исполняли "туристскую" песню "Что у вас, ребята, в рюкзаках?" Это было, пожалуй, самым лучшим из того, что там прозвучало - остальное еще хуже и еще бодрее. Пионеры сначала были как-то совершенно подавлены услышанным. Тогда я вышел и сказал, что, по-моему, плохие песни, в том числе и те, что сейчас прозвучали, не могут быть профессиональными, даже если их авторы являются членами союза композиторов и Союза писателей. Слова эти подействовали на зал как "залп "Авроры". Сразу же, перебивая друг друга, стали вставать мальчики и девочки и говорить очень правильные вещи. Растерявшийся композитор Юрий Зарицкий вначале пытался кричать на зал, но его быстро перестали слушать и диспут пришлось прекратить. Мне думается, что фальшь официозной эстрадной песни сегодня чувствуют все, и, может быть, дети еще яснее, чем взрослые,

потому что дети всегда чувствительнее к неправде. А что касается услышанной аранжировки, то это очень хитрый ход, чтобы убить авторскую песню прямо в зародыше. Тут надо быть бдительными.

Вопрос о совместимости авторской песни с эстрадой был главным на этом и на последующих вечерах. Приводилось много примеров с песнями Юлия Кима, которые прекрасно исполнялись с эстрады и в телевизионных программах Пляттом, Мировым, Андреем Мироновым, ансамблем Броневицкого. Были, однако, и другие мнения. Вот одно из них, выраженное в присланной записке: При профессиональной обработке пропадает некоторая доморощенность исполнения, а вместе с ней - непосредственность и душевность. Поэтому обработанные песни приобретают налет эксцентричности и полностью теряют подтекст".

Да и сам Фрумкин в своем выступлении сказал: "Когда сюда Приезжал французский шансонье Жак Брель, он рассказал, что во Франции есть широкий крут его коллег, которые стремятся выбиться в профессионалы, так же, как в спорте. Так вот, там наблюдается часто, что очень многие талантливые шансонье, становясь профессионалами, теряют все свое своеобразие. Очень быстро наступает амортизация".

Спор этот затянулся на многие годы. Некоторые из участников первых вечеров в "Востоке" - такие талантливые авторы как Юрий Кукин, Евгений Клячкин, Александр Дольский - ушли на профессиональную эстраду и связали себя с концертно-гастрольной деятельностью. Все они - великолепные исполнители с редким сценическим обаянием. Для их песен не нужна дополнительная аранжировка или улучшение вокала. Но выиграло ли от этого их творчество? Думаю, что писать им стало труднее, что наиболее явно видно на примере Юрия Кукина.

Тот же вечер, о котором я сейчас вспоминаю, завершился спором другого характера, возникшим между Юрием Андреевым и Владимиром Фрумкиным после того, как Александр Дулов спел свою песню на стихи Евгения Евтушенко "Бабий Яр". Юрий Андреев заявил, что он не согласен со стихами Евтушенко, который почему-то выделяет из числа жертв Бабьего Яра одних только евреев, и что Дулов, передавший в мелодии этой песни национальный еврейский колорит, усиливает неправильный акцент стихотворения. Вот как ответил на это сам Дулов: "Я беру на себя полную ответственность за то, что я взял эти слова Евтушенко. Ни в какой другой редакции брать не хочу: именно эта, и именно об этом я делал свою песню. Почему я делал эту песню? Потому что против фашизма, я думаю, не надо агитировать - это абсолютно всем ясно! Фашизм много всем зла хотел принести, но испокон веку, вообще-то нет даже таких слов,

которые говорили бы о ненависти к украинскому народу, к русскому народу, однако, существует такое слово - "антисемитизм". И фашизм взял одно из основных своих направлений именно на уничтожение евреев. Причем, даже в романе Кузнецова, который сделан гораздо мягче в этом отношении, чем стихи Евтушенко, четко и твердо показано, каким был основной лозунг фашистов, когда они приходили. Уничтожать кого? Не русских, не украинцев, а в первую очередь коммунистов и евреев! Поэтому необходимо выделять именно эту тему из всего остального, что делает фашизм".

С грустью я вспоминаю эти слова почти четверть века спустя, когда слегка замаскированный государственный антисемитизм шестидесятых годов сменился порожденным им откровенным черносотенным разгулом "Памяти", чреватым рождением российского национал-социализма.

В том же 1967 году студия "Ленфильм" решила снять фильм об авторской песне. Режиссером фильма был Слава Чаплин, живущий ныне в Израиле. Съемки шли прямо на концертах клуба "Восток". Снимали выступающих, реакцию зала, реплики. Чаплин делал множество дублей, иногда съемки затягивались до глубокой ночи. Помню такой забавный эпизод. Что-то около часу ночи мы вместе со Славой Чаплиным вышли из клуба после того, как все, наконец, было отснято, полные усталости и нервного возбуждения. "Сейчас бы выпить надо! - заявил Чаплин, - давай добудем где-нибудь поллитру и поедем ко мне". По пустынному Владимирскому мела январская метель. "А где добудем?" - спросил я. "Ну, это просто, - сказал Чаплин, - надо подойти к любой стоянке такси". Мы отправились на угол Марата и Разъезжей, где, не в пример нынешним временам, гостеприимно горели зеленые фонарики, и водители дремали в машинах в ожидании седоков. "Недавно последнюю отдали", - сказали нам. Дуйте на Московский - там у носильщиков всегда бывает". На Московский вокзал мы добрались, когда стрелки вокзальных часов показывали два. Метель усиливалась. "Да нет, ребята, все уже разошлось", - сочувственно сказал нам грузный бригадир с блестящей бляхой на фартуке. - Ну, уж если очень надо, шагайте на Гончарную, дом 3, здесь недалеко. Позвоните в ворота и спросите дворничиху тетю Пашу".

Дом три на Гончарной оказался сразу же за углом вокзала. Минут двадцать мы безуспешно стучали и звонили в заиндевелый звонок у наглухо запертых ворот. Я несколько раз уговаривал Славу

бросить эту дурацкую затею, но он был упорен. Наконец, за воротами раздалось лязганье железных запоров и кряхтение,

открылась дверца и из нее выглянула пожилая заспанная бабка в платке, ватнике и огромных подшитых валенках. "Московская" - пять, "Столичная - восемь", - лаконично заявила она в ответ на Славины Просьбы. Через две минуты нам были вручены две поллитры, и снова залязгали железные засовы, закрывая ворота. Не успели мы отойти от ворот, как услышали неожиданно, что засовы снова заскрипели. "Мальчики, - закричала высунувшаяся тетя Паша, - а девочек вам не надо? Недорого возьму - по трешке!" Эта сказочная несоразмерность рыночных цен конца шестидесятых, так же как и адрес "Гончарная, 3", запомнились мне навсегда… Снятый фильм был назван "Срочно требуется песня". На экране рцпи показаны баталии между "профессионалами" и самодеятельными авторами, резкая критика в адрес самодеятельной песни, с которой выступали композиторы и музыковеды, в том числе уже упомянутый Энтелис.

В этом, поистине историческом, фильме можно увидеть и услышать совсем молоденького Владимира Высоцкого, поющего свою знаменитую песню "Но парус, - порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь" и комментирующего уровень текстов "профессиональной" эстрадной песни: "Есть, например, песня, которая начинается так "На тебе сошелся клином белый свет". Строчка эта повторяется три раза. И два автора текста!" Совсем юный Булат Окуджава поет "Надежды маленький оркестрик" и тут же заявляет, что песен больше писать не намерен. Молодой улыбающийся Владимир Фрумкин полемизирует на сцене с таким же молодым Юрием Андреевым. в? Что касается меня и Евгения Клячкина, то нас из ленты вырезали по личному указанию тогдашнего ленинградского партийного босса Василия Сергеевича Толстикова, который, подобно великому вождю, лично просматривал все фильмы, создаваемые в подведомственном ему городе. "Пока я здесь первый секретарь обкома, людей таким профилем на ленинградском экране не будет", - сурово заявил он, и нас с Клячкиным немедленно из фильма изъяли. Фрумкин же, по явному недосмотру Толстикова, остался. Позднее Василий Сергеевич Толстиков был направлен послом в Китай, где по слухам "принял французского посла… за английского и имел с ним продолжительную беседу", а также якобы спросил, выйдя на трап самолета в Пекине у сопровождавшего его переводчика: "Почему эти жиды сощурились?" Но это уже совсем другая история. Я вспоминаю слова Иосифа Бродского: "Свобода - это тогда, когда ты забываешь имя и отчество диктатора". Справедливости ради, следует признаться, что я до сих пор отчетливо помню все имена и отчества диктаторов и не только такие как Никита Сергеевич, Леонид Ильич или Юрий

Владимирович, но и такие как Фрол Романович, Василий Сергеевич или Григорий Васильевич…

В связи с этим вспоминаются заметки одного из старейших ленинградских писателей Израиля Моисеевича Меттера, опубликованные в статье Я. Гордина "Дело Бродского", о процессе над Иосифом Бродским.

После ареста в феврале 1964 года Бродский содержался под стражей в одиночной камере предварительного заключения Дзержинского райотдела милиции. Заместителем начальника этого райотдела, как пишет Меттер, был капитан Анатолий Алексеев - "на редкость интеллигентный образованный молодой человек, азартный книгочей", который, по возможности, старался облегчить Бродскому его пребывание в одиночке. Вот что пишет И. М. Меттер дальше:

"…В том, как мне все это рассказывал Анатолий, я ощущал некую его сдержанность, вроде бы хотел сообщить что-то еще, но не решался. Перед самым уходом решился. Сказал, не глядя мне в глаза:

- Не советую вам встревать в это дело. Оно безнадежное.

- То есть как безнадежное! Откуда это может быть известно до решения суда?! - взъерошился я. - Не сталинские же времена!

- Да оно уже решенное. Василий Сергеевич распорядился, суд проштампует

- и вся игра.

- А кто он такой, этот Василий Сергеевич? - наивность моя была безбрежна.

- Ну, вы даете! - грустно качнул головой Анатолий, - Василий Сергеевич Толстиков. Первый секретарь обкома"…

Весной того же года, несмотря на яростное сопротивление ленинградского обкома, в Ленинград приехал знаменитый театр на Таганке, и мне довелось познакомиться с Владимиром Высоцким. Спектакли театра игрались на сцене Дома культуры имени Первой пятилетки на углу улицы Декабристов и Крюкова канала. Привезли они свои нашумевшие постановки "Добрый человек из Сезуана", "Живые и павшие", и премьеру "Жизнь Галилея", где главную роль играл Высоцкий. Помнится, мне его исполнение не понравилось. Я представлял себе Галилея маститым средневековым ученым с сединой и величественным европейским обликом, с неторопливыми движениями, а увидел на сцене совершенно непохожего курносого молодого парня, не очень даже загримированного, который хриплым полублатным голосом "прихватывал" инквизиторов. Обо всем этом я и заявил беззастенчиво Володе Высоцкому, с которым встретился в доме у Жени Клячкина, жившего тогда неподалеку от Исаа-киевской

площади в Новом переулке. Значительно позднее я понял, что актер Высоцкий тем-то и отличался от большинства других актеров, что черты своей яростной личности вкладывал в сценические образы. Поэтому-то Галилей-Высоцкий, Гамлет-Высоцкий и Жеглов-Высоцкий это - Высоцкий-Галилей, Высоцкий-Гамлет и Высоцкий-Жеглов. Но, видимо, уже тогда я это подсознательно почувствовал, потому что через несколько дней написал две песни, посвященные Владимиру Высоцкому в роли Галилея - "Галилей" и "Ангигалилей".

С Высоцким мы, помню, подружились и встречались неоднократно в Ленинграде и Москве. Кстати, на первой же встрече у Жени мы договорились встретиться назавтра, чтобы посидеть и попеть друг другу новые песни (в театре в тот день был выходной), однако минут через пятнадцать Володя дозвонился до какой-то "Нинки" и назначил ей свидание на это же самое время. "Ребята, извините, - смущенно пояснил он нам, - никак не могу такой случай упустить". И махнув рукой, сокрушенно добавил: "Ну, и дела же с этой Нинкою!" В ту пору мне как-то пришлось выступать вместе с Володей в помещении какого-то Дома пионеров. Я выступал в первом отделении, Высоцкий

- во втором. Зал был переполнен. В конце вечера Володю много раз вызывали петь "на-бис". Он несколько раз выходил, но зал не успокаивался. Минут пять упорно и ритмично хлопали, топали ногами. Мы стояли за занавесом у края сцены. Зал не переставал шуметь. "Ну выйди, спой", - сказал я ему. Он неожиданно круто обернулся ко мне, и меня испугало его лицо, вдруг осунувшееся, постаревшее, с желтой кожей и запавшими глазами. "Ну ладно, эти не понимают, - яростно прохрипел он мне, - но ты-то

свой, ты должен понять. Да я сдохну, если еще одну спою!" Как же выкладывался он уже тогда, сжигая свои силы без остатка! Осенью шестьдесят восьмого года, во время служебной командировки в Москву, я позвонил ему домой. "Хорошо, что дозвонился, - обрадовался он. - У нас сегодня как раз премьера в теате - "Девять дней, которые потрясли мир". Билет, правда, я тебе достать не могу, потому что все билеты отдали для делегатов XXI съезда, но это неважно, я тебя все равно проведу. Значит, слушай. Мы стоим, одетые матросами, с винтовками, как перед Смольным, у входа в театр - вместо контролеров, и все входящие накалывают свои билеты нам на штыки. Понял? Бери любую бумажку и наколи мне па штык. Я стою у самых левых дверей. Только не перепутай, там у нас сегодня все стоят мордатые". Когда я накалывал пустую бумажку на штык его

"трехлинейки", он подмигнул мне и шепнул: "После спектакля не убегай - поедем ко мне". Это был, посуществу, единственный случай, когда мы просидели у Володи Высоцкого, а жил он тогда со своей первой женой в районе Черемушек, неподалеку от Ленинского проспекта, всю ночь разговаривали, пели песни. Помню, он уже тогда отказывался от налитой рюмки, и когда я начал подначивать его, чтобы он все-таки выпил, грустно сказал: "Подожди, Саня, и ты еще доживешь до того, что будешь отказываться".

В 1968 году официальная пресса начала активно атаковать авторскую песню. 9 июня 1968 года газета "Советская Россия", во все годы бывшая верным оплотом реакции и оставшаяся им и поныне, опубликовала заметку "О чем поет Высоцкий". Авторами статьи были житель города Саратова Г. Мушта - "преподаватель консультационного пункта Государственного института культуры" и корреспондент газеты А. Бондарюк.

"Во имя чего поет Высоцкий?" - грозно вопрошали авторы, и сами себе отвечали: "от имени и во имя алкоголиков, штрафников, преступников, людей порочных и неполноценных. Это распоясавшиеся хулиганы, похваляющиеся своей безнаказанностью… У него, например, не находится добрых слов о миллионах советских людей, отдавших свои жизни за Родину. Странно, но факт остается фактом: герои Отечественной войны, судя по одной из песен Высоцкого, - бывшие преступники, которые "не кричали "ура", но явились чуть ли не главной силой и не будь их - нам не удалось бы победить врага".

Со свойственной им невежественностью авторы инкриминировали Владимиру Высоцкому цитаты из песен Кукина и Визбора. Да и какая разница, в самом деле? Раз приказано, то все равно - ату его! Вот что пишут они о поэте: "В погоне за сомнительной славой он не останавливается перед издевкой над советскими людьми, их патриотической гордостью". И еще: "Все это совсем не так наивно, как может показаться на первый взгляд: ржавчина не вдруг поражает металл, а исподволь, незаметно. И человек не вдруг начинает воспринимать и высказывать чуждые взгляды. Сначала это просто сочувствие преступникам, на том основании, что они тоже люди. Сначала - вроде шутя о милиции, которая "заламывает руки" и "с размаху бросает болезного", а потом возникает недовольство законом, правосудием".

И, наконец, прямой донос: "Привлекательными кажутся многим поначалу и песни Высоцкого. Но вдумайтесь в текст и вы поймете, какой внутренний смысл таится за их внешностью"…

Заметка в "Советской России" послужила долгожданным сигналом для массированного наступления на авторскую и

самодеятельную песню. Вслед за ней последовали другие статьи и заметки. Сурен Кочарян выступил в газете "Правда" с целым "подвалом", где писал об авторах самодеятельных песен:

"С гитарою под полою" или на плече самодеятельные певцы перекочевали из узкого круга своих сотоварищей на сцены клубов и дворцов культуры. Они не только выступают, но (о, ужас! - примечание автора) устраивают состязания, присуждают друг другу премии. Некоторые из них выезжают на гастроли. Иных, говорят, невозможно заполучить, или же - только "по блату" и за солидное вознаграждение… Они называют себя бардами, труверами, менестрелями… но право же, нельзя так уж свободно жонглировать такими глубокосодержательными понятиями. И те, и другие, и третьи выражали думы и чаяния своих народов, являясь их живой памятью, передавая лучшее следующим поколениям, выставляя отрицательное на осмеяние и осуждение. Они умели вглядываться в жизнь, отличать в ней зерна от плевел, умели владеть стихом, инструментом, голосом для песни. Они беспрерывно, хотя и самодеятельно, оттачивали свое мастерство, потому и преуспели в этом".

Во всем вышеперечисленном: народности, таланте, умении владеть стихом, инструментом и голосом для песни" - бардам первого поколения Окуджаве, Галичу, Высоцкому и другим было решительно отказано.

"Музыка здесь и не ночевала, - писал далее Кочарян. - Бренчанье, иного слова и не подберешь, на гитаре - на двух, трех аккордах полное отсутствие голоса. Песня проговаривается хриплым речитативом, а не поется. Манера исполнения рассчитана на "ошеломление" слушателя необычной формой, разухабистой, как у коверных рыжих в дореволюционном цирке. Порой все это напоминает "певцов" в пригородных поездах, что одно время расплодились по железным дорогам. Песни эти, до удивления похожие друг на друга, отличаются между собой лишь степенью убожества мысли, вариациями махрово-блатных выражений. Характерно полное отсутствие воображения, фантазии. Если же они и присутствуют, то весьма дурного тона".

Привычно восприняв выступления печати как команду, клубы и дворцы культуры отказались предоставлять свои помещения для "бардов и менестрелей". Пошли запреты на конкурсы и фестивали. Наконец, чтобы поставить последнюю точку в безоговорочном разломе "самодеятельной песни" и окончательно решить этот вопрос, Газета "Известия" заказала большую разгромную статью одному из ведущих советских композиторов - многократному лауреату ленинских и государственных премий, депутату Верховного Совета СССР, автору популярнейших в

народе песен Василию Павловичу Соловьеву-Седому, жившему тогда на своей даче в Комарове.

Активисты клуба "Восток" прознали об этом и решили обязательно встретиться с Соловьевым-Седым и постараться отговорить его писать эту статью. Всеобщим решением отговаривать должен был я.

Встреча состоялась в жаркий июльский день в Комарове, на литфондовской даче, где раньше жила Анна Андреевна Ахматова, а в тот год - ленинградский поэт Лев Друзкин с женой, позднее выехавшие в Америку. Василия Павловича, дача которого была неподалеку, уговорили прийти туда для разговора о самодеятельной песне. Помимо хозяев и меня в комнате было еще несколько человек, в том числе Володя Фрумкин и ленинградский драматург Аль. По случаю предстоящего разговора на стол было выставлено сухое вино. Все ждали именитого гостя. Наконец, появился Соловьев-Седой в летнем полотняном костюме и тюбетейке, тяжело отдуваясь, покрасневший от жары. На присутствующих он даже не взглянул, а ив взгляды на стол, произнес: "Водки нет - разговора не будет" и, вытирая платком со лба обильный пот, развернулся да выход. Его с трудом уговорили обождать. Побежали за водкой.

Так или иначе, разговор все-таки состоялся. Вели его в основном Фрумкин, Соловьев-Седой и я. В течение без малого трех часов я рассказывал Соловьему-Седому об авторской песне, пел, как мог, фрагменты из песен Анчарова, Кима, Визбора, Высоцкого, Горбовского, Новеллы Матвеевой и других, рассказывал о клубе "Восток", пытался объяснить, что именем композитора хотят воспользоваться для удушения движения самодеятельной песни. Он внимательно слушал и проявил даже неожиданное для меня внимание, много спрашивал, удивлялся, что до сих пор плохо знает об этом направлении. Когда же я упомянул имя Александра Галича, он неожиданно сказал: "Ну, про Сашу ты мне ничего не говори - это мой автор. Мы с ним работаем". "Как?" - удивился теперь уже я. "Да ты что, разве не знаешь?" - спросил Василий Павлович. Оказалось, что песня Соловьева-Седого "Протрубили трубачи тревогу", которую еще в институте мы распевали по команде старшины на строевой подготовке, написана на слова Александра Галича.

Встреча наша оказалась далеко не бесполезной. Будучи человеком талантливым и умным, Соловьев-Седой отказался писать заказанную ему статью. "Закрыть" самодеятельную песню не удалось.

После переезда в Москву в 1972 году мы с Володей Высоцким практически почти не виделись. Он был постоянно занят

спектаклями и зарубежными поездками, я большую часть времени проводил в долгих океанских экспедициях. В конце июля 1980 года, после месячного отдыха в Пярну вместе с Юлием Кимом, мы с женой приехали в санаторий в Друскининкай в Литве и здесь неожиданно из передачи Би-би-си узнали, что накануне в Москве умер Высоцкий. Признаться, я поначалу не поверил - слишком много ходило о Высоцком самых фантастических слухов, - и утром пошел звонить в Москву. Оказалось - правда. Уже в сентябре, после возвращения в столицу, я отправился на Ваганьково кладбище, на могилу Володи. Был ясный и сухой сентябрьский день. На дорожках кладбища жгли сухие листья. Ослепительно блестел купол кладбищенской часовни. У могилы, заваленной свежими цветами, теснилась неизменная толпа. Я впервые в жизни попал сюда, и может быть, именно поэтому мне показалось удивительным, что неподалеку от могилы Высоцкого оказалась могила другого российского поэта, так же как и он безвременно ушедшего из жизни, совершенно, казалось бы, непохожего на Володю и чем-то неуловимо похожего - Сергея Есенина.

Через несколько дней мне неожиданно позвонил из Южно-Сахалинска мой однокашник по Горному институту, бывший фронтовик Вадим Головинский. Слышно было очень плохо. "Саша, - кричал Вадим сквозь треск и шум, - я здесь никому не верю. Скажи, это правда про Володю Высоцкого?" "Правда", - сказал я. "Да нет, я не про то, что умер. Правда ли, что его убили?" "С чего ты взял?" - удивился я. - Нет, он сам умер". "Ты точно знаешь?" - снова спросил Головинский. "Точно, - ответил я. - А с чего ты решил, что убили?" "Ну как же - должны были убить!" ;

Мне думается, что неожиданная смерть Высоцкого, его стихийные никем, по существу, не санкционированные похороны, всенародный плач по нему, опальному и непризнанному, в самую пикфазу глухого времени застоя, в Москве, наводненной милицией и партийными функционерами по случаю Олимпийских игр, показали неожиданно, что у народа, угнетенного и бесправного, смертельно отравленного страхом и фальшивыми лозунгами, все-таки сохранилась душа. Прошло десять лет со дня смерти Высоцкого. Теперь его канонизировали. Все, что он писал, без разбора превратили в ширпотреб. Все киоски кооператоров и "Союзпечати" заклеены его огромными портретами. Собираются открывать дом-музей Высоцкого (хотя непонятно, что там можно экспонировать). Наследники ведут спор за публикации. Официальная пресса изрядно постаралась, чтобы превратить его жизнь в "житие" и изобразить его

благонамеренным патриотом. Теперь его творчеству и облику в глазах потомков угрожает другая опасность - истребление через канонизацию. Хочется надеяться, что после своей безвременной .смерти Владимир Высоцкий вынесет и это испытание, как мужественно выносил при жизни запреты и непризнание…

Что же касается ленинградского клуба "Восток", то он с годами постепенно стал превращаться в концертный зал авторской песни. Уехал навсегда в США Владимир Фрумкин. Разбрелись кто куда авторы первого поколения. Одни "завязали" с песнями, другие, наоборот, стали эстрадными выступальщиками. Уехал в Израиль Евгений Клячкин. Пришли бурные времена перестройки, не располагающие к пению. Но осталась память о недолгом ренессансе шестидесятых годов и собственной наивной молодости.

К началу семидесятых годов клубы самодеятельной песни возникли как грибы уже в 196 крупнейших городах Союза, объединив более двух миллионов человек.

В это же время па берегу Волги, неподалеку от Самары, зажглись первые костры ежегодного фестиваля самодеятельной песни, посвященного памяти Валерия Грушина, куйбышевского студента, погибшего при спасении детей на таежной реке, зазвенели гитары, зазвучали голоса молодых авторов. Более двадцати раз за одну ночь, как в сказке, возникал шумный палаточный город, вмещавший иногда более ста тысяч жителей, и снова исчезал до следующего года. Но исчезал не бесследно: оставались в памяти песни, слышанные здесь, оставалась память в душе каждого, кто посидел водного из этих бесчисленных костров, хлебнул пахнущего дымом чая из закопченной кружки, увидел десятки микрофонов, привязанных к удилищам, протянутым над головами поближе к поющему. Именно этот, никем особо не афишируемый, а потом и.попросту запрещенный песенный праздник стягивал сюда, в самое сердце России, десятки тысяч юношей и девушек из разных областей страны - от Бреста до Петропавловска-Камчатского.

Фестивали, как правило, завершались знаменитой "Жигулевской кругосветкой" - десятидневным плаванием по Волге, Усе и Жигулевскому морю на ялах и байдарках. Здесь любители авторских песен как бы наяву приобщались к суровой романтике того, о чем пели: к необъятному простору воды, к суровым волжским штормам, не уступающим морским, к скупому палаточному уюту и товариществу впервые встретившихся людей, объединенных песней, и наконец, к главному: к плывущей слева и справа любимой своей многострадальной родной земле, израненной карьерами и каменоломнями, потравленной лихими

лесозаготовителями, с реками, почти уничтоженными промышленными отходами. Так в самую глухую пору брежневского застоя, задолго до перестройки и гласности, появился новый социум, объединенный песнями.

У Грушинских фестивалей своя героическая и нелегкая история, и свои авторы, и свои ансамбли. Один из наиболее ярких "грушинцев" - Юрий Панюшкин. В нашу тревожную, но полную надежд пору трудно не повторить вслед за автором заключительную строфу его песни о Жигулевской кругосветке:

Но пока есть у нас утро раннее
Да вдогонку друзей голоса,
До свиданья, счастливого плаванья,
Да попутных ветров в паруса.

Сейчас, когда одна за другой начинают формироваться различные партии и "неформальные объединения", я думаю о том, что именно клубы самодеятельной песни в беспросветное, казалось бы, застойное время - в семидесятые годы, когда Суслов "над страною простер совиные крыла", образовали первое "неформальное объединение". Песни, вокруг которых объединились люди, были не самоцелью, а лишь условным опознавательным знаком "свой-чужой" как на современных реактивных истребителях. "Ты любишь эти песни? Значит, мы любим одно и то же. Тогда иди к нам. У нас общие друзья, а следовательно, общие враги". Как правильно написал Юрий Визбор в одной из своих песен: "Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги - значит, есть, наверно, и друзья".

Повсюду - в институтах, на заводах, в городских районах создавались поющие "кусты", входившие в состав городских, районных и республиканских клубов. Места многочисленных фестивалей сохранялись в глубочайшей тайне, чтобы не пришли "хвосты". И хотя ничего "крамольного" в движении самодеятельной песни не было, оно все время находилось под неусыпным оком КГБ, которое, в частности, неоднократно бесцеремонно вмешивалось в работу жюри и составление концертной программы Грушинских фестивалей. Подсчитывали, например, "число людей еврейской нациоальности" в оргкомитете фестиваля и среди участников. Бдительно слушали у ночных костров, не запоет ли кто-нибудь сдуру запрещенные песни Галича или Кима.

Помню, какой скандал возник, когда после одного из фестивалей, уже на городском концерте, почетные гости и члены жюри Татьяна и Сергей Никитины спели свою знаменитую песню

на стихи Давида Самойлова "Смерть Ивана". Ревнителями идейной чистоты в штатском не понравились строчки: "Может так проживем, безо всяких царей? Что хошь твори, что хошь говори!" "Это чго же такое, кто разрешил петь?" - возмутились "инстанции". Все мои попытки возражать, ссылаясь на то, что эти стихи многократно опубликованы в книгах Самойлова, успеха не возымели. Времена, впрочем, были крутыми. Примерно в ту же пору в Саратове, где выступала с гастролями Елена Камбурова, бдительные партийные власти обратили внимание на "идейно невыдержанные" строчки в одной из исполненных ею песен:

Что ищет он в краю далеком?
Что кинул он в краю родном?

В Москву немедленно был отправлен донос, и выступления Камбуровой надолго были прерваны.

После первой, не вполне удавшейся, атаки на авторскую и самодеятельную песню, организованной в конце шестидесятых годов, партийные власти перешли к прямому запрещению деятельности клубов самодеятельной песни и фестивалей. Поводом для этого послужил очередной "юбилейный" фестиваль московского КСП, в 1980 году плотно обложенный стукачами, после которого сам клуб был распущен, а на дверях его на улице Трофимова в Москве повис рамок.

Говорят, что всемогущему в то время товарищу Гришину доложили, что КСП представляет собой серьезную опасность - "он может, передавая сообщение по цепочке, тайно вывести под Москву и собрать в условленном месте за несколько часов до десяти тысяч человек". "Нам такие клубы не нужны", - грозно заявил партийный лидер. Припомнили и то, что на поляне, где проходил загородный концерт московского фестиваля, красовался плакат "Слава КСП" и многое другое. Сразу же были запрещены и другие клубы, а заодно и все фестивали, начиная с Грушинского. У меня дома до сих пор хранится фотография пустой поляны на берегу Волги, посередине которой на вбитом колу прикреплена надпись "Фестиваль Отменен". Стихийно прибывавших на берег Волги энтузиастов, пытавшихся собраться здесь "нелегально", вылавливала милиция и отправляла обратно. Запреты эти сняты были лишь в последние годы, уже с приходом гласности.

Сейчас, в начале девяностых годов, в бурную эпоху перестройки, авторская и самодеятельная песня как будто потеряла свое былое значение. Из некогда крамольного направления она стала как бы искусством ретро. Ну кому нужно теперь тихое звучание гитары, когда под рев саксофонов певцы

современного "тяжелого рока" громко выкрикивают со сцен под одобрительный гул приплясывающей толпы куда более политически острые строки.

Несмотря на продолжающийся интерес, фестивали самодеятельной песни, теперь вполне разрешенные, как правило, не открывают ничего интересного по части новых авторов и превращаются в песенные "тусовки". На радио и телевидение под маркой "авторской песни" хлынул поток откровенной пошлости и бездарщины.

В последние годы в серии своих интервью, в том числе во время выступлений в США, в штате Вермонт, где он читал лекции в Университете об авторской песне. Булат Окуджава неоднократно подчеркивал, что авторская песня шестидесятых годов умерла раз и навсегда, что родилась она "на московских кухнях" и была своеобразным творческим протестом московской пишущей интеллигенции, сродни тогда же возникшему и раздавленному позднее Андроповым диссидентскому движению…

Это можно считать справедливым только в том случае, если свести все движение авторской и самодеятельной песни только к творчеству ведущей "московской группы" - Окуджавы, Галича, Кима, Анчарова и в известной степени Высоцкого. Несмотря на их определяющий вклад в развитие авторской песни в шестидесятые годы, одно их творчество не в состоянии исчерпать все многообразие массового песенного движения, вдруг объявившегося на рубеже пятидесятых и шестидесятых. Булат Окуджава прав, если брать в расчет только неширокий круг московской интеллигенции, однако кроме интеллигенции был еще многомиллионный обманутый и угнетенный народ, который начал обретать свой собственный голос. Не только на московских кухнях родилась авторская песня, а в "чистом поле" на тяжелом подневольном труде, и в дальнем изнурительном походе, на Воркуте и Колыме в свинцовых потемках ГУЛАГа, где остались безымянными песни сгинувших авторов "Идут на север срока огромные" или "Черные сухари". Так что не на кухнях ей кончаться. Смертелен ли нынешний кризис авторской песни? Трудно сказать - время покажет. Думаю, однако, что как не раз было в многовековой истории народной песни, за падением последует новый взлет.

Время потерь

У моего друга, художника Бориса Жутовского, есть серия портретов, которую писатель Фазиль Искандер, также в нее попавший, назвал "Последние люди Империи". Те, о ком пойдет речь в этой части книги, уйдя из жизни, остались портретами в галерее Жутовского.

Портреты эти, очень разные и в разное время написанные, объединяет одна общая черта - печальный и неулыбчивый облик, хотя при жизни эти люди любили улыбаться. Может быть, дело в том, что "когда человек умирает, изменяются его портреты"? А может быть, в том, что оригиналы ушли из жизни безвременно? Или в том еще, что в их лицах запечатлелись горькие черты уходящей эпохи, в историю которой навсегда врезаны их имена? Или это - печаль об остающихся, которым распад грозной Империи грозит смутными временами и гражданскими войнами, предшествующими возрождению?

Мои воспоминания об этих людях не претендуют на полноту или объективность. Я горюю об их уходе и вспоминаю о них прежде всего потому, что они были близки мне, и как я запоздало понял, сыграли важную роль в появлении в моей изуродованной всеобщим и обязательным конформистским воспитанием душе того трудно уловимого, но незыблемого ощущения, которое мы не очень точно называем самосознанием. А еще я просто любил их. Вот и все…

Давид Самойлов

"Благодаренье Богу - ты свободен
-
В России, в Болдине, в карантине…"
Д. Самойлов

Умер Давид Самойлов, трех месяцев не дожив до своего семидесятилетия. Умер 23 февраля 1990 года, в один день со своим многолетним другом еще с довоенных ИФЛИйских времен Борисом Слуцким, пережив его на четыре года. С его уходом кончилась эпоха послевоенной поэзии, наиболее яркими представителями которой были Самойлов и Слуцкий, всю свою жизнь бывшие друзьями-соперниками, на десятилетия пережившие своих институтских талантливых однокашников - Когана, Кульчицкого и других, сложивших головы на полях сражений.

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет - одни деревья.
Теперь и этих деревьев не стало.

Самойлов умер неожиданно и легко - "смертью праведника". Когда-то он писал: "Надо готовиться к смерти так, как готовятся к жизни". Но все случилось вдруг, в Таллинне, на юбилейном пастернаковском вечере, который он же и организовал. На вечере Самойлов был в приподнятом настроении и, сидя за сценой в артистической, шутил со своим старинным другом актером Зиновием Гердтом. Открывая вечер, он говорил о духовном наследии Пастернака, о том, что только теперь мы начинаем его понимать и осваивать. Говорил прекрасно, для тех, кто знал его близко, может быть, более патетично, чем обычно. Чувствовал ли он, что это последняя речь в его жизни? Ему много хлопали. Вручили, как это водится в Прибалтике, цветы. Обычно он никогда не знал, что делать с цветами - держал их, как веник, вниз головой, старался избавиться поскорее. На этот же раз он, взяв цветы, довольно изящно поклонился залу и пошел за сцену своей легкой танцующей походкой. Там он потом и сидел в артистической, разделенной зеркалами, оживленный,

улыбающийся, довольный своим выступлением. Выступавший следом Зиновий Гердт читал стихи Пастернака. Во время чтения он вдруг услышал за сценой негромкий глухой стук и какой-то шум. Через несколько секунд на сцене появился один из организаторов вечера и попросил врача-реаниматора, находившегося в зале, срочно подняться на сцену. Жена Самойлова - Галина Ивановна, почувствовав неладное, бросилась в артистическую вслед за реаниматором. Когда они вбежали, Самойлов лежал на полу без сознания и без пульса. Врач сразу же начал делать массаж сердца. Через несколько минут Самойлов очнулся, открыл глаза и сказал окружающим: "Ребята, не волнуйтесь, все в порядке". Это были его последние слова. После этого он снова потерял сознание, на этот раз навсегда. Приехала вызванная "скорая". Делали какие-то уколы. Несколько врачей, сменяя друг друга, усиленно продолжали массаж сердца. Но все оказалось бесполезным.

В последние годы Давид Самойлов тяжело болел: гипертония, сердце. Год назад в Ленинграде, куда он ездил выступать, у него приключился тяжелый сердечный приступ. Перенесенная им в свое время неудачная операция по поводу катаракты на глазах сделала его полуслепым. "С постепенной утратой зренья все мне видится обобщенней". И все-таки его смерть была как гром среди ясного неба. Он был из семьи долгожителей. Его мать Цецилия Израилевна прожила около девяноста лет. И сам он до последнего времени оставался бодрым, энергичным, не признающим нытья и жалоб.

Его смерть была третьей из ряда трагических и безвременных смертей, потрясших меня и всех нас на рубеже 89 - 90-х годов. 29 ноября неожиданно остановилось сердце моего друга писателя и историка Натана Эйдельмана, 16 декабря так же неожиданно, во сне, скончался один из величайших людей нашего времени Андрей Дмитриевич Сахаров, которого оплакивала вся страна. И вот - Давид Самойлов - первый поэт уходящей уже эпохи. Случайно ли это трагическое совпадение? Думаю, что нет. При всем несходстве личностей, жизни и характера трех этих замечательных людей, рода их занятий и одаренности, у них была одна главная общность - непоколебимая вера в возможность мирного реформаторского преобразования нашей многострадальной страны, любовь как конструктивная основа бытия, убеждение, что в себе, а не в окружающих надо искать причины наших бед и неудач, надежда на духовное обновление человека, на его нравственное возрождение. Теперь этой могучей веры, питающей нас, не стало. Не знак ли это судьбы перед решительным переломом в ходе сложных событий в нашей стране

к худшему? Не поворот ли от торжества любви и разума, которое они олицетворяли, к смутным временам, к царству ненависти и насилия? Ведь обязательно надо было убить Илью Чавчавадзе, чтобы потом развязать в Грузии "революционный" террор, и застрелить Жореса, чтобы могла начаться Первая Мировая война.

У моего ленинградского друга поэта Александра Кушнера есть строки, посвященные смерти великих поэтов Пушкина, Блока:

И кончилось время, и в небе затмилась,
звезда, и в истории треснуло что-то.

Строки эти в полной мере могут быть отнесены к Самойлову, Сахарову, Эйдельману…

Тело Давида Самойлова привезли для прощания и кремации в Москву, где администрация Дома писателей, не в пример истории с похоронами Слуцкого, гроб которого не допустили в писательский дом, на этот раз расстаралась, и гражданская панихида была организована "по первому разряду": в большом зале, с музыкой, венками, свечами, привезенными из Таллинна, траурным крепом на сцене и последующими поминками в цедеэловском ресторане. Одни говорили, что это связано с "табелью о рангах" - поэт-фронтовик, лауреат Государственной премии, другие - что дело не обошлось без помощи одноклассника Самойлова Анатолия Черняева, высокопоставленного партийного чиновника. На самом деле Черняев, действительно, серьезно помог, только не с панихидой, а с организацией перевозки гроба с телом для прощания из Таллинна в Москву. Так или иначе, панихида, которую вел поэт Владимир Соколов, прошла достойно - было человек семьсот, но все - его друзья и почитатели. Говорили Фазиль Искандер, Юрий Любимов, Борис Чайковский, Юрий Левитанский и другие, Михаил Козаков, Зиновий Гердт, Рафаэль Клейнер читали его стихи. Давида Самойлова кремировали в Донском, и я почему-то впервые обратил внимание, что гроб с покойным, прежде чем опустить его вниз, с уже закрытой крышкой, перехватывают черной траурной лентой и пломбируют, как контейнер. А над сценой в большом зале ЦДЛ, где перед этим шло прощание, висел большой портрет поэта с улыбающимися озорными глазами. Портретом этим занимался бывший главный администратор ЦДЛ Анатолий Семенович, уже давно вышедший на пенсию и похоронивший за свою жизнь не одно поколение писателей, за свой низкий рост прозванный "Малютка". Мне довелось принимать участие в перевозке этого портрета из фотомастерской, когда зашел разговор о том, чтобы отдать его потом вдове. Анатолий Семенович, любивший Самойлова, не

заставил себя долго упрашивать, но при этом поднял палец и значительно сказал: "А вы обратили внимание, какой подрамник я вам отдаю? Это исторический подрамник - я на нем еще Кочетова хоронил…"

Я познакомился с Давидом Самойловым весной 1962 года, придя к нему домой вместе с молодыми московскими поэтами, к которым он благоволил, - Анной Наль и Сергеем Артамоновым. Жил он тогда в старом шестиэтажном московском доме на площади Борьбы ("Площадь борьбы с самим собой", как он в шутку ее называл). Его еще почти не печатали, но мы уже, конечно, знали наизусть его знаменитые "Сороковые, роковые" и "Смерть царя Ивана". В те времена вообще лучшие стихи ходили в рукописях или запоминались на слух, поскольку их, как правило, не публиковали в бдительной хрущевской прессе. Для нас поэтому уже тогда Давид Самойлов, так же, как Борис Слуцкий, были самыми главными поэтами, почти богами. Еще бы! - боевые фронтовики, прошагавшие пол-Европы, да еще такие легкие, звонкие, по-пушкински прозрачные, дышащие свободой стихи.

Со Слуцким я к этому времени уже был знаком, и его суровая осанка, нарочитая офицерская выправка, строгие усы и начальственный тон, заставлявшие робеть, производили на меня серьезное впечатление. Внешность же Давида Самойлова оказалась полной противоположностью моим заочным представлениям - передо мной стоял маленький, как мне сначала показалось, небрежно одетый лысоватый человек с удивительно живыми завораживающими и все время чему-то, даже не относящемуся к разговору, смеющимися глазами, начисто лишенный какой бы то ни было внешней внушительности, подобающей бывалому солдату и классику поэзии, каковым он в действительности и являлся.

Меня удивило и даже поначалу шокировало, что уже хорошо знакомый с ним мой ровесник Сережа Артамонов вместо почтительного обращения к нему "Давид Самойлович" называет его каким-то странным и никак не подходящим детским именем Дэзик. На меня, к моему великому огорчению, Самойлов никакого внимания не обратил, так как почти все оно было тогда поглощено девятнадцатилетней Анной Наль, поражавшей тогда яркой внешностью и необычными стихами. Но мне, в те поры терзаемому юношеским честолюбием и комплексами поэтической иерархии, казалась счастьем сама возможность быть в доме такого поэта как Самойлов и слушать, что он говорит, хотя и говорил он в тот раз почему-то больше не о поэзии, а о вещах от нее, на мой взгляд, далеких - например, о водке. Стихи мои, уже одобренные Слуцким, он слушал недолго, явно скучая, и вполуха.

"Да", - сказал он, хмыкнув, - вы не живописец, - чем поверг меня в полное отчаяние. Потом ему позвонили, и он заторопился в "Метрополь" встречаться с какими-то друзьями.

Снова я увидел его несколько лет спустя, уже в подмосковной Опалихе, куда он, женившись на Галине Ивановне Медведевой, переселился в купленный им просторный бревенчатый дом с довольно большим садовым участком. Дом этот отапливался углем, и поэтому обычно в зимнее время Самойлов наряжался в валенки и свитер, а выходя во двор по хозяйственным делам, облачался в старый армейский ватник и такую же ушанку. На черной бревенчатой стене его кабинета висели старая медвежья шкура, охотничье ружье, несколько фотографий и еще какие-то безделушки. Скрипучая, обитая для тепла дверь вела в коридор и далее - на кухню, где почти круглосуточно хлопотали Галя и ее мать, Ольга Адамовна, что-то дымилось, варилось и пеклось. Вход в "зимний" дом вел через застекленную, насквозь промерзшую террасу, уставленную старыми детскими колясками и пустыми бутылками, разнообразию этикеток которых мог бы позавидовать любой коллекционер. За домом располагались сад и огород, которые, по всей вероятности, могли бы приносить большой урожай, и поначалу действительно приносили, если бы не полное равнодушие главы семейства к садово-огородным занятиям. Поэтому все это понемногу дичало и зарастало, что обеспечивало иногда неожиданное обилие дикорастущей малины.

Почти каждый будний день, не говоря уже о выходных и праздничных, распахивалась никогда не запираемая калитка, и в дом вторгались гости, обычно из числа друзей хозяина. С ними, однако, появлялись затем и их друзья, а то и просто посторонние приезжие люди, желающие повидать поэта и поделиться с ним кто стихами, кто неудачами. Все они, как правило, шли с бутылками, но похоже, что их абсолютно не интересовало, свободен ли хозяин дома от работы, желает ли он сейчас немедленно бросить свои стихи или переводы и общаться с ними. Так что многие дни и даже ночи превращались в непрерывное застолье, где одни гости вдруг спохватывались о делах и убегали к очередной электричке, но им на смену неизменно появлялись другие. Хозяин же, которого и я уже к тому времени тоже привычно называл "Дезик", постоянно пребывал за столом, и приходилось только удивляться, когда же он успевает работать. А работа была каторжная. Стихи Самойлова печатали в те годы мало, и он жил переводами. Семья между тем разрасталась, появились дети - сначала Варвара, потом Петя, потом Павлик.

Надо сказать, что свой второй брак Дезик официально узаконил только в семьдесят первом году, уже после рождения

Пети. При регистрации не обошлось без курьезов. В то время, как "народная депутатка" торжественно зачитывала казенный текст, старшая дочь новобрачных Варвара, которой к этому времени было уже около пяти лет, вырвалась из рук сопровождавших и кинулась к папе с мамой. "А это кто?", - испуганно спросила депутатша, прервав от неожиданности чтение. "А это их будущий ребенок", - невозмутимо ответил один из свидетелей - Анатолий Якобсон. Дети неизменно болели, всех надо было кормить, и воз переводов все возрастал. Возможно, именно в эти годы Давид Самойлов окончательно сформировался как один из главных мастеров русской школы поэтического перевода. Его поначалу-то и в Союз писателей приняли по секции переводчиков. Любил ли он эту свою многолетнюю кропотливую и не всегда благодарную работу, отнимающую время и силы, этот почти пожизненный литературный оброк, связывающий его жесткими сроками сдачи переводов и произволом редакторского вкуса? Ведь не зря ненавидели переводы, занимаясь ими по суровой жизненной необходимости, многие выдающиеся наши поэты. Анна Андреевна Ахматова сказала как-то, что "переводить стихи - все равно, что есть собственный мозг". Помню, уже в Пярну Дезик должен был переводить какую-то огромную драму в стихах, к которой у него душа не лежала. Это называлось "двигать шкаф".

И все-таки мне кажется, что Самойлов любил переводить. Во всяком случае, стихи своих любимых поэтов он переводил с таким блеском и свойственной только ему изящной легкостью, что они органично перевоплощались в русские стихи. Благодаря удивительной музыкальности, тонкому поэтическому слуху и неповторимому таланту пересмешника, русские читатели впервые смогли открыть для себя многих крупнейших поэтов Франции и Польши, Венгрии и Чехословакии, Грузии и Армении, Литвы и Эстонии. Более того, его переимчивый слух позволил ему воплотить в своих стихах многие интонации народной славянской поэзии. Отсюда стихи о воеводе Буке, отсюда знаменитые его строки:

Если в город Банья Лука
Ты приедешь как-нибудь,
Остановишься у
Буга Сапоги переобуть…

Отсюда, наконец, его несколько неожиданные для современников баллады последних лет "Ясеневый листок", "Вставайте, Ваше Величество" и другие. Так Самойлов, как некогда Пушкин, брал вечные камни народной поэзии для своих

поэтических зданий.

Слава Самойлова как поэта-переводчика быстро распространилась по всей стране. Издательства наперебой заказывали ему переводы. Многие поэты южных республик приезжали к нему с ящиками коньяка или винными бочонками, приложенными к рукописям. Заслуживали ли их стихи переводов такого поэта как Самойлов? Не знаю, да это теперь и не важно, потому что русские переводы, опубликованные под их именами, были уже настоящими стихами. Дело доходило до курьезов, когда к Самойлову приезжали эмиссары с юга и за обильным столом говорили ему: "У нас есть очень хороший поэт… Надо, обязательно надо, чтобы именно Вы перепели его стихи. Это настоящий поэт, очень большой. Его надо открыть для русских. Только вот у него рифма иногда бывает слабовата. Надо ему помочь с рифмой. Да, и вот у него образов не всегда достаточно в стихах. И с этим ему надо помочь… Очень просим".

Я вспоминаю авторский вечер одного из действительно хороших литовских поэтов Эдуардаса Межелайтиса, проходивший в Москве в ЦДЛ несколько лет назад. Зал был полон. Сначала Межелайтис читал свои стихи на литовском языке, мало понятном большинству аудитории, а потом эти же стихи читали по-русски поэты, переводившие его - Белла Ахмадулина, Юрий Левитанский, Андрей Вознесенский. В конце вышел Давид Самойлов, который, судя по румянцу и блеску в глазах, попал на сцену уже через буфет. Он блистательно прочел несколько стихотворений Эдуардаса Межелайтиса в своих переводах, а потом неожиданно сказал: "За что я люблю моего друга Межелайтиса? За то, что он очень умный человек и подружился с хорошими русскими поэтами, которые переводят его стихи на русский. Вот поэтому-то он и классики". Межелайтис и впрямь оказался умным человеком, и дело закончилось смехом.

Лет десять назад в Москве, в театре "Современник" была снова поставлена знаменитая комедия Шекспира "Двенадцатая ночь". Поставил ее специально приглашенный для этого английский режиссер Питер Джеймс. По этому случаю Давиду Самойлову театр заказал новый перевод пьесы. И Самойлов перевел Шекспира, притом совершенно современным языком, языком Москвы семидесятых годов, да еще и несколько озорных зонгов написал к комедии на музыку Давида Кривицкого. Я присутствовал на премьере в театре на Чистых Прудах, куда, ввиду отсутствия билета, прошел по номерку от пальто Самойлова из гардероба. В спектакле, конечно, были заняты все ведущие актеры: Мальволио играл Олег Табаков, сэра Эндрю Эгьючика - покойный ныне Олег Даль, шута - Валентин Никулин.

Главное ощущение, оставшееся у меня от спектакля, - постоянное состояние совершенно, до неприличия, неудержимого смеха, овладевавшего мной на протяжении всего театрального действия. Смеялся я так, что на меня оборачивались соседи. После спектакля всех актеров и англичанина-режиссера много раз вызывали на сцену бурными аплодисментами. Наконец, вытащили туда и Самойлова и долго ему хлопали. Вернувшись оттуда, он сказал мне, тронутый успехом: "Ты понимаешь? Я же выходил за автора!".

Помнится, потом поехали отмечать премьеру в его московскую квартиру, бывшую тогда на Пролетарском проспекте. Было много народу, включая английского гостя. Все говорили о том, что Самойлов должен теперь перевести заново все комедии Шекспира, чтобы дать им новую жизнь - как Пастернак дал новую жизнь шекспировским трагедиям. Жена же Галя этой идеи явно не одобряла. Меня это удивило, и когда гости разошлись, я спросил ее об этом. Она сердито ответила: "Дезик должен прежде всего писать стихи". "Что ты, - возразил я, - это ведь тоже стихи - Шекспир". "Ты не знаешь Дезика, - сказала она. - Он все хочет делать сразу: стоять на сцене, переводить Шекспира, пить с друзьями, крутить роман и писать гениальные стихи, и при этом в одно и то же время. Так не бывает". Она была права. Больше Давид Самойлов Шекспира не переводил…

Возвращаясь же к поэтическим переводам Самойлова, можно с уверенностью сказать, что даже если бы он совсем не писал собственных стихов, то все равно остался бы в нашей литературе как непревзойденный мастер поэтического перевода. Когда стихи переводит не просто переводчик, а поэт, всегда происходит как бы противоборство двух личностей, двух поэтических систем, где побеждает сильнейший. Чтобы убедиться в этом, достаточно восстановить в памяти, например, прекрасные переводы шекспировских сонетов, сделанные Самуилом Маршаком, и его собственные стихи, скорее похожие на переводы. Обратный пример - с Эдуардом Багрицким, переведшим "Балладу о рубашке" Томаса Гуда, где перевод убедительнее подлинника. У Самойлова же, сильного и самобытного русского поэта, было редкое чувство вкуса и меры, никогда не позволявшее ему "гнуть под себя" чужие стихи. Может быть, именно это и обеспечило точную гармонию его переводов.

В середине семидесятых годов Самойловы купили - сначала частично, а потом и целиком - дом в Пярну, в Эстонии, на берегу Пярнуского залива, и практически переселились туда. Знаменитый и многим памятный дом в Опалихе был продан и прекратил свое литературное существование. А жаль! Ведь

именно этот дом, где в гостях у Самойлова бывали многие видные литераторы - от Анатолия Якобсона и Фазиля Искандера до Вячеслава Иванова и Лидии Корнеевны Чуковской, стал теперь своеобразным памятником эпохе шестидесятых годов. В нем всегда жили какие-то приехавшие родственники или ученики, а то и просто друзья. Быт, хотя и трудный полусельский, быт дома, где росло трое детей, никогда не бывал проблемой - как на палубе корабля, где в машинном отделении все в порядке.

Частые застолья и вереница гостей образовывали как бы внешнюю декорацию этого дома. Каждое утро, даже с тяжелой головой, хозяин садился за свою нелегкую и часто постылую работу. А разговоры за столом были совсем не праздными. Шли шестидесятые годы, когда перед российской интеллигенцией стоял трудный выбор - эмиграция или духовная внутренняя борьба, противостояние тупой махине полицейского государства. Тесная дружба связывала Давида Самойлова с людьми, близкими к "освободительному движению"

- Львом Копелевым, Лидией Корнеевной Чуковской, Юлием Даниэлем (после его возвращения из ссылки), Вячеславом Всеволодовичем Ивановым.

Самой трагической фигурой в этом окружении оказался поэт и переводчик из семинара, который вели в те годы Давид Самойлов и Мария Петровых, Анатолий Якобсон - самый, пожалуй, любимый ученик Самойлова. Талантливейший литератор, человек с болезненно обнаженной совестью, со всей юной горячностью и непримиримостью он отдал свою жизнь диссидентскому движению, став одним из основных составителей знаменитой "Хроники" и обрекший себя на тюрьму или высылку. Все, что писал в те годы Якобсон, и, в первую очередь, его блестящие литературоведческие работы, в том числе книга о Пастернаке и статьи об Ахматовой, поэме Блока "Двенадцать", советских поэтах-романтиках, во многом черпалось из общения с Дезиком. Самойлов долго и болезненно переживал его вынужденный отъезд и последовавшую затем безвременную и трагическую гибель, которой он посвятил стихи. Для всех этих людей и для многих других, включая А. Д. Сахарова, Давид Самойлов был в те годы мерилом общественного самосознания. Тогда интеллигенция тянулась к поэтическому слову, и он стал одним из главных центров этого поэтического притяжения.

Вместе с тем, Самойлов всегда был последовательным противником эмиграции и убежденно считал, что российский писатель не должен покидать родину, полностью солидаризируясь в этом с Ахматовой и Сахаровым. В его архивах сохранились неотправленные им письма к Солженицыну, где он

формулирует свою позицию. Кроме того, Самойлов, подобно Пушкину, физически ощущал потребность быть независимым как от официальных инстанций, так и от политических движений, которым сочувствовал. К нему полностью могут быть отнесены автобиографические строки Пушкина в его выдуманном переводе "Из Пиндемонти":

Зависеть от властей? Зависеть от народа? -
Не все ли нам равно? Бог с ними! -
Никому Отчета не давать!..

В старом бревенчатом, потемневшем от времени опалихинском доме существовал в те годы особый, не всегда трезвый, но неповторимый социум творческих людей, и витал тот странный дух свободы, который я нигде не встречал за его пределами. Иногда меня охватывает ностальгия по нему. В Пярну тоже был дом, и гораздо более роскошный и вместительный, однако в Пярну это чувство уже не возникало. Может быть, потому, что прошли молодые годы, и все стало восприниматься по-другому, а может быть, и потому еще, что дом этот стоял уже не посередине нашей жизни в Подмосковье, а в эстонском курортном городке, среди чужого языка, чужой истории и быта, и все поэтому виделось не изнутри, а как бы со стороны.

И здесь, однако, Давид Самойлов со свойственной лишь ему редкой особенностью становиться центром общения, создал удивительное литературное силовое поле, в зону действия которого попадали все приезжавшие в Пярну друзья и литераторы. Я в свое время даже придумал выражение "дезоцентрическая система". Поэтому с середины семидесятых многие завсегдатаи Опалихи, в том числе и мы, стали наезжать летом в Пярну. Организовывались совместные купания, хотя купаться Самойлов любил не очень, так как после болезни плавал плохо. "Люблю природу, но не люблю стихию", - сказал он как-то. Устраивались разнообразные литературные игры, до которых Дезик был великий охотник. Чего стоит, например, его стихотворная переписка "Из Пярну - в Пярну" с отдыхавшим там в то время Львом Зиновьевичем Копелевым, которому он писал, в частности:

Ты всегда бываешь, Лев, - лев,
Не всегда бываешь. Лев, прав.

Вместе с рижским писателем Юрием Абызовым, своим

давним приятелем, Самойлов придумал целую страну - Курзюпию, с историей и, конечно, своей литературой, которую они старательно переводили на русский язык. Был создан также специальный словарь курзюпского языка и ряд курзюпских имен - такие, например, как имена двух сестер - Ссална Ваас и Клална Ваас.

Иногда, в вечернее время, совершались посиделки "на Ганнибаловом валу", крепостной стене старинного города Пернова, возведенной, по преданию, под руководством и по чертежам знаменитого прадеда Пушкина - царского арапа Абрама Петровича Ганнибала что нашло потом отражение в известной поэме Давида Самойова "Сон о Ганнибале". Дезик обладал неистощимой мальчишеской фантазией на различного рода выдумки и затеи. Например, надевал шляпу и очки, брал в руки трость и изображал "богатого старика", каким он хотел бы когда-нибудь стать. Или (только что), написав песенку на музыку композитора Бориса Чайковского для детской пластинки "Слоненок-турист", собирал вокруг себя детей и взрослых. Все прыгали на одной ноге и дружно распевали вслед за ним: "Цык-цык, цуцик, цык-цык, цуцик". Рядом с Самойловым на улице Тооминга жил летом вместе с дочкой известный скрипач Виктор Пикайзен, на концерты которого мы ходили, и который неоднократно бывал в гостях у Дезика. Однажды во время утреннего Купания Дезик сказал мне: "Ты знаешь, я вчера был просто потрясен Пикайзеном. Представляешь, он приходит после концерта домой, ужинает кефиром с булочкой и потом сам себе еще играет на ночь на скрипочке! Ему, оказывается, мало! Кроме того я долго думал, - откуда у еврея может быть такая странная фамилия - Пикайзен, и сегодня я, наконец, сделал открытие: никакой он не Пикайзен - обыкновенный Айзенпик!".

Шутки Самойлова были неистощимы. Будучи свидетелем в ЗАГСе при моей женитьбе в 1972 году, он сказал: "Алик, я должен преподать тебе основы этики семейных отношений. Жене, конечно, важно и нужно изменять, но есть нравственные нормы, которые преступать нельзя. Например, - ты пришел домой в пять утра. ну , бывает, - засиделся у приятеля, выпили, ничего. А теперь представь, что ты пришел домой не в пять, а в половине шестого. Это уже совсем другое дело - ты не ночевал дома. Ты понял разницу?".

Вообще, когда я думаю о Самойлове, его облик в моей памяти всегда связан с его домом. В Опалихе или Пярну, но обязательно с домом. В Москве, на Астраханском, у Самойловых была городская квартира, но Дезик ее недолюбливал, бывал в ней недолго, наездом. Просторно он чувствовал себя только в доме. В

доме, где плачут, ли смеются дети, пыхтит и варится что-то на кухне, шумят за столом и спорят наехавшие гости. А на другом столе, в кабинете, лежит начатая рукопись. А за стенами дома лежат подмосковные задымленные снега или шумит неприветливая осенняя Балтика. Не оттого ли образ Дезика легко ассоциируется в моем сознании с образами маститых мастеров Возрождения, в их шумных итальянских домах, окруженных подмастерьями, учениками, детьми и домочадцами. Помните его "Свободный стих"? Сейчас таких мастеров больше нет. Ушел последний. Самойлов вообще чем дальше, тем больше не любил большой город с его суетой, беспрерывными телефонными звонками, отсутствием моря или леса, и своей постоянной зависимости от конъюнктуры событий, здесь происходящих, на которые он, как один из первых поэтов, обязательно должен был реагировать. Он ощущал органическую потребность быть подальше от суетной и бестолковой столичной жизни с ее важными, на первый взгляд, но не имеющими отношения к поэзии событиями. К нему полностью могут быть отнесены строки Иосифа Бродского из "Писем римскому другу":

-Если выпало в Империи родиться,
То уж лучше жить в провинции, у моря.

Давид Самойлов и жил "в провинции у моря", найдя наиболее удобную для себя форму внутренней эмиграции. "Я выбрал залив", - пишет он сам о себе. Пожалуй, именно здесь и проходит его главный личностный и поэтический водораздел с Борисом Слуцким. Тот всю жизнь старался быть как можно ближе к центру событий, жадно впитывал в себя все последние новости, стараясь все время быть в курсе происходящего. Его стихи почти всегда неразрывно связаны с конкретными политическими событиями, переживаемыми нашей страной: "В то утро в мавзолее был похоронен Сталин", "Покуда над стихами плачут", "Евреи хлеба не сеют", "Я строю на песке". Эти и многие другие стихи его поражают прицельной точностью беспощадных жестких формулировок, острой актуальностью и незамедлительной быстротой реакции. На этом фоне стихи Давида Самойлова кажутся мягкими, порой совсем неактуальными. В них часто как бы отсутствует личная позиция автора (как, например, в одном из лучших его стихотворений "Пестель, поэт и Анна"). Самойлов избегает жестких форм и формулировок, поэтических силлогизмов, внешней экспрессии стиха. При внимательном чтении, однако, убеждаешься, что поэтическая ткань его стихов гармонична и неразрывна, и негромкие, казалось бы, откровения

поражают своей глубиной:

Ах, как я поздно понял
Зачем я существую,
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую,
И что порой напрасно
Давал страстям улечься,
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься.

Или:

Ночь стоит ледяно и сухо,
Ночь стоит высоко и звездно, -
Не склоняй доверчиво слуха
К прозревающим слишком поздно.

Одной из главных особенностей стихов Давида Самойлова является присутствие воздуха в его стихах, ощущение удивительной музыкальной гармонии их звучания. Секрет этого остается непонятным. Эта прозрачная пушкинская гармония не "поверяется алгеброй". При всем очевидном несходстве эпох, лексики, судеб и характера поэтических талантов, как это некоторым ни покажется странным, звонкие самойловские стихи более всего сродни пушкинским. Их сближает, помимо прочего, их легкость и кажущаяся острота. Не менее важным параметром, связывающим напрямую поэзию Самойлова с пушкинской, можно считать то постоянное ощущение улыбки, которое присутствует у Самойлова даже в самых серьезных стихах - явление вообще достаточно редкое и потому особенно ценное в русской поэзии: "Все это ясно видел Дибич, но в успел из дома выбечь", или: "По ночам бродил в своей мурмолке, замерзал и бормотал, - нет, сволочи! Пусть пылится лучше не отдам". Не говоря уж о таких его поэмах как "Дон-Жуан" Юлий Кломпус". Помню, как после первого прочтения озорной поэмы "Юлий Кломпус", в Москве, куда он привез ее из Пярну, сказал мне: "Сам не знаю, как она у меня выскочила. Время самое неподходящее. Понимаешь, Петя болеет, Галя - черная денег нет, а из меня, как назло, прет эта поэма- Ну что ты будешь делать!". Может быть, именно поэтому всю жизнь ему оставались ближе других светлые, несмотря ни на что, образы гениального Шуберта и Моцарта: "Шуберт Франц не сочиняет; как поется, так поет". Или: "Но зато - концерт для

скрипки и альта!". Точная поэтическая натура Давида Самойлова была прямым продолжением его могучего жизнелюбия, побеждающего болезни. Помню, как-то в Пярну его вместе с нами пригласили в "генеральскую" финскую баню, стоявшую на берегу реки. Войдя в роскошный устланный оленьими шкурами и увешанный рогами и светильниками предбанник, мы обнаружили посреди него огромный стол, уставленный до отказа разнообразными бутылками и закусками. Все, покосившись на стол, прошли дальше в раздевалку, а Дезик сел и сказал: "Я, вообще-то, баню не люблю. Я бы лучше сейчас отдохнул и чего-нибудь выпил".

Что же касается политизированной декларативной эстрадной поэзии, ставшей столь модной в начале шестидесятых и снова набирающей силу в наши дни, то Самойлов ее откровенно не любил, не считая ее явлением поэтического ряда. С горечью говорил он мне при последней встрече в Москве, у него дома на Астраханском, о мутной волне политизированной поэзии, которая поднимается сейчас, о конъюнктурных однодневках, звучащих с эстрад, о том, что действительная поэзия становится не нужна в наш публицистический период, жадный до сенсаций и разоблачений. При всем при том поэт Самойлов всегда был подлинно русским поэтом с государственным сознанием того ушедшего поколения, которое кровью своей на полях самой кровавой войны в истории человечества заплатило за право на это сознание.

Иногда, хотя на мой взгляд и несправедливо, его обвиняли даже в "имперском" восприятии событий. Так, однажды наш общий знакомый, прозаик Марк Харитонов послал ему прочесть рукопись своего большого романа об Иване Грозном. Самойлов написал автору длинное письмо, где, положительно отзываясь о романе в целом, упрекал в то же время автора в "неправильной исторической концепции при освещении событий. Так татарский историк навряд ли мог бы правильно осветить Куликовскую битву". Сам Самойлов вполне унаследовал моральную традицию ведущих российских писателей от Достоевского до Толстого искать в себе, а не в окружающих, причины общественных неурядиц. В последнюю встречу мы с ним из-за этого даже поспорили, так как он вдруг начал говорить об исторической вине евреев перед русским народом: "Не надо было евреям лезть в первое советское правительство и чека".

Во всем остальном же, впрочем, он был совершенно русским, а не "русскоязычным", как его стараются представить идеологи литературной "черной сотни", писателем. Неслучаен в связи с этим его живой интерес к российской истории. Исторические

стихи и стихотворные драмы Давида Самойлова - тема отдельного исследования. Во всех своих исторических произведениях он концептуален. Это не красочные иллюстрации к минувшим событиям былого, а как бы опрокидывание их в проблемы сегодняшнего дня. Наиболее яркий пример этого

- поражающая своим лаконичным изяществом поэма "Струфиан", в которой императора Александра Первого похищают из Таганрога инопланетяне. Фантастический современный фон, возникший в поэме на основе рассказов и лекций одноклассника Дезика, известного "тарелочника" Феликса Юрьевича Зигеля, совсем не случаен. Он подчеркивает актуальность проблем государственного переустройства бунтующей многонациональной империи. И в челобитной, подаваемой Государю Федором Кузьминым, легко угадывается современная программа сторонников "Патриотической России":

Чтобы России не остаться
Без хомута и колеса,
Необходимо наше царство
В глухие увести леса…
И завершив исход Синайский,
Во все концы пресечь пути,
А супротив стены Китайской
Превыше оной возвести.
В Руси должна быть только Русь.
Татары ж и киргиз-кайсаки
Пусть платят легкие ясаки,
А там - как знают, так и пусть!

В стихотворной драме "Меншиков" тупая махина государства ломает все нормальные человеческие чувства и, прежде всего, любовь Сапеги и Марии Меншиковой. Историческая поэма "Сон о Ганнибале", посвященная, казалось бы, семейной драме знаменитого предка Пушкина, на самом деле посвящена сложным, всегда актуальным проблемам любви и взаимного понимания близких людей. "Он заплатил за нелюбовь Натальи" - это уже о Пушкине и о всех нас. Поэмы Самойлова, как правило, коротки. Для них характерно стремительное развитие сюжетов и характеров героев. Композиция - редкий дар. Давид Самойлов владел им в совершенстве, что еще раз обличает в нем мастера. Он, кстати, сознавал это и не без гордости говаривал: "Ну уж сюжетом-то я владею". Поразительна художественная ткань этих поэм, где реплики героев органично сплетаются в строке с описанием происходящего а сцене: "Дон-Жуан, Чума! Холера!

Треск, гитара-мандолина! Каталина! Каталина! (Входит.) Что вам, кабальеро?". Предельно точны изображения: "Доныне эту вязку я помню под рукой и грустную завязку с искательницей той". Что же касается истории, то и в no- tax, и в емких исторических стихах ("Смерть Ивана", "Конец Пугачева") автора привлекали прежде всего нравственные проблемы, связанные с поступками героев, соотношение государственной необходимости и христианских заповедей. Все беды "Смутного времени" на Москве происходят "потому, что маленьких убивать нельзя. Показателен в этом отношении и диалог Ивана Грозного с обреченным на мучительную смерть холопом:

- Ты милосердья, холоп, не проси.
Нет милосердных царей на Руси.
Русь - что корабль. Перед ней - океан.
Кормчий - гляди, чтоб корабль не потоп!..
Правду ль реку? - вопрошает Иван.
- Бог разберет, - отвечает холоп.

Почти все поэмы Самойлова, от "Снегопада" до "Кломпуса", так же, впрочем, как и стихи, во многом биографичны. Даже когда автор пишет о легендарном мастере средневековья Вите Ствоше, в конце жизни отправившемся в Нюренберг и "запропавшем по дороге", он пишет во многом о себе. Вместе с тем, если развивать дальше дискуссионную тему о сходстве Самойлова и Пушкина, то необходимо отметить еще одну общую черту - некую внешнюю непричастность художника к изображаемым им героям и событиям. Именно эта черта Пушкина вызвала критику со стороны Андрея Синявского в его знаменитой работе "Прогулки с Пушкиным", публикация которой в журнале "Октябрь" наделала столько шума. Так же как и Пушкин, Самойлов равно доброжелателен ко всем своим героям, но как бы отстранен: "Как прощался он с Устиньей, как коснулся алых губ, разорвал он ворот синий и заплакал, душегуб". В стихах и поэмах Давида Самойлова нет резонерства. Они рассчитаны на умного собеседника, который сам сумеет во всем разобраться.

Еще живя в Опалихе, Самойлов наряду со стихами начал писать автобиографическую прозу, книгу о себе, своей эпохе, своих современниках. Книгу эту он не успел закончить, но даже те куски из нее, которые мне посчастливилось услышать в его чтении, очень значительны, как по содержанию и нравственной позиции автора, так и по все той же неповторимой летящей легкости самойловского стиля.

Говоря о литературном стиле Самойлова, с сожалением

приходится заметить, что этот прозрачный пушкинский поэтический стиль, ставший в наше время модных модернистских новаций уникальным, с его уходом может оказаться вообще утраченным. В своей поэзии Давид Самойлов со всей глубиной показал огромные, еще не использованные богатства классической русской поэзии. Не случайно поэтому он занимался специальным изучением русской рифмы, разработкой теории стиха. Его знаменитая "Книга о русской рифме" - одна из редких книг такого рода, написанная не литературоведом, а поэтом, остается бесценным вкладом в поэзию и литературоведение. Всю свою жизнь Давид Самойлов как магнит притягивал к себе поэтическую молодежь. У него было много учеников, однако все они пишут иначе. Его моцартовски-легкий стиль никто из них перенять не сумел. Может быть, именно об этом думал он еще в молодости, когда написал в стихотворении "Старик Державин" пророческие строчки:

Был старик Державин льстец и скаред,
И в чинах, но разумом велик.
Знал, что лиры запросто не дарят.
Вот какой Державин бьш старик!

К своим публичным выступлениям, которых было немало, Давид Самойлов почти всегда готовился тщательно, продумывая их композицию до деталей. У него был на редкость обаятельный голос и такая же завораживающая манера читать стихи - очень мягкая и ненавязчивая. В отличие от многих московских поэтов, превращающих чтение стихов в эстрадный номер или выступление на митинге, размахивающих руками и жестикулирующих, каким-то особым образом вскрикивающих вдруг в процессе чтения своих стихов, чтение Дезика начисто было лишено какой бы то ни было внешней аффектации. Стихи его были настолько насыщены и естественны, что совершенно не требовали никаких звуковых или лирических дополнений при чтении. Голос его - казалось бы, негромкий - с удивительной точностью передавал все оттенки и полутона звучащей строки. Послушайте его стереодиски - и вы сами немедленно убедитесь в этом.

В последние годы на своих авторских вечерах в Москве, Ленинграде и Таллинне, где у Самойлова сложилась своя многолетняя Циудитория, он, как правило, выступал не один, а с кем-нибудь из своих друзей-актеров, которые читали его стихи. Обычно это были Михаил Козаков, Рафаэль Клейнер, Яков Смоленский, Зиновий Гердт, Лилия Толмачева. Все они актеры и

чтецы самого высокого класса, глубоко любившие Дезика и его стихи и вкладывавшие в чтение их весь свой талант. Чтение их, само по себе неплохое, звучавшее, как правило, в первом отделении каждого вечера, - ни в какое сравнение, конечно, не шло с чтением самого автора во втором отделении, несмотря на то, что в последнее время Дезик забывшая строчки и тут же весь зал принимался хором их подсказывать снимал и надевал очки при чтении и держался без всякого сценического напряжения. "Играть" на сцене его даже остросюжетные поэмы было совершенно не нужно. Так, однажды, читая его поэму "Сон о Ганнибале", один из актеров решил почему-то разыграть на сцене роли ее персонажей и стал усиленной мимикой изображать то девицу Моор, то лихого Норцова, что вызвало в зале усмешки и внесло элемент балагана, но нарушило грустный и меланхолический гармонический строй звучащей поэмы, которая была совсем не смешной. Рафаэль Клейнер, много лет работавший с Дезиком, который был режиссером многих его поэтических моноспектаклей (по стихам поэтов, погибших на полях Отечественной войны - "Строки, пробитые пулей", по Алексею Константиновичу Толстому и т. д.), читая стихи Самойлова, всячески смирял свой громовой голос, стараясь передать мягкость дезиковых интонаций.

Так же нелегко было переложить стихи Самойлова на музыку. Я как помню, как нелепо и чужеродно к стихам звучал в сопровождении фортепьяно уж не помню кем написанный романс на стихи "Я - маленький, горло в ангине…", да еще и с вокальной сопрановой колоратурой. Всякая внешняя патетика и напыщенность не уживались с органическим строем этих стихов. Мне кажется, что только Сергею Никитину и Виктору Берковскому, талантливым композиторам-самоучкам с прекрасным поэтическим слухом, удавалось найти правильную интонацию музыкальной аранжировки его стихов. Это относится к песням Сергея Никитина "Триптих о царе Иване", Виктора Берковского - "Сороковые-роковые" и многим другим. Однажды Сергей Никитин спел мне только что написанную им на стихи Самойлова новую песню "Давай поедем в город". Мелодия песни, показавшаяся оригинальной и точной, мне понравилась, о чем я Сергею тут же и сказал, поздравив его с тем, что ему удалось придумать такую хорошую мелодию. "Да я вовсе и не придумывал ее, - ответил он, - она уже была в стихах. Просто я ее оттуда извлек и подчеркнул".

Сам же Самойлов песен, как правило, не писал (не считая, конечно, работы с театрами, в результате которой, в частности, появилась ставшая народной и безымянной и уже упомянутая

песня "Ах, поле, поле, поле" или песен для "хора терских казаков" в годы, когда его не печатали). К авторской песне относился довольно равнодушно, хотя любил, конечно, Окуджаву, Высоцкого и Кима, которому незадолго до смерти написал предисловие для книжки. Помню, как в семьдесят седьмом году я присутствовал на творческом вечере Самойлова на телевидении в Останкине, где он читал стихи и отвечал на многочисленные вопросы. В ответ на вопрос о поэтической ценности авторской песни он сказал: "Настоящая поэзия не нуждается в гитарной подпорке". Я, конечно, остался при своем мнении, но именно стихи Давида Самойлова, одинаково хорошо воспринимающиеся на слух и при чтении с листа, могут служить примером такой поэтической самодостаточности.

Еще с фронтовых и даже довоенных ИФЛИйских лет Самойлов любил застолье и был изрядным сердцеедом. Невысокого роста, подвижный и порывистый в молодости, как Пушкин, с завораживающе красивыми и живыми глазами, на сердца всех женщин действовал он безотказно, что создавало порой то драматические, то комические ситуации. Со скромной гордостью записал он в шуточном сборнике "В кругу себя": "Меня любили дочери пяти генералов, двух маршалов и одного генералиссимуса". "И это был не Чан-Кай-Ши", - заявил на одном из вечеров его друг Зиновий Гердт. Поэт Юрий Левитанский написал про его многочисленные увлечения:

"А эту Зину звали Анной - она была прекрасней всех". Сам Самойлов однажды жаловался мне, что Левитанский "начисто убил" его любимые стихи о Франце Шуберте, начальная строчка которых звучала так "Шуберт Франц не сочиняет - как поется, так поет". Остряк Левитанский заменил всего лишь одну букву в слове "поется", после чего Дезик навсегда вычеркнул эти стихи из своего концертного репертуара. "Все время боюсь прочесть не так", - объяснил он. Один из близких родственников Дезика, живший в незапамятные времена с ним вместе на даче в Мамоитовке, вспоминает, как однажды, в холодный зимний день, Дезик неожиданно появился на этой даче с дочерью "величайшего гения всех времен и народов" и заставил растерянного родственника немедленно убраться на холодный чердак. Однако совершенно неожиданно появилась вдруг жена поэта, и на холодном неотапливаемом чердаке пришлось довольно долго отсиживаться и самой дочери генералиссимуса, которую сердобольный родственник, когда Дезик вынужден бьы удалиться вместе с женой, долго отпаивал горячим чаем и провожал на электричку.

В ресторане ЦДЛ и в некоторых других ресторанах Дезик

пользовался общей любовью (и, кажется, порой даже кредитом) всех официанток. Действительно, в шестидесятые годы он проводил там довольно много времени, и когда случались деньги, щедро поил всех окружающих. Он любил дружеские застолья, ставшие одной из главных составных частей его жизни. Главным здесь для него всегда была, конечно, не выпивка, а "роскошь человеческого общениия". Эту сторону своей жизни он прекрасно описал в автобиографической поэме "Юлий Кломпус", посвященной своему покойному другу. В этих знаменитых московских застольях обсуждались мировые проблемы, выявлялись новые мессии, читались новые стихи и поэмы. С одним из героев поэмы "Юлий Кломпус" произошла в то время в Коктебеле история, в поэме, правда, не отраженная. Он несколько раз подряд возвращался домой уже под утро и каждый раз объяснял жене, что был у Самойлова, где тот всю ночь читал ему новые главы из исторической драмы в стихах "Меншиков". В очередной раз, когда он, также вернувшись поздно ночью, стал раздеваться, чтобы лечь, жена заметила, что брюки на нем надеты задом наперед. "Извини, дорогая, - сказал он, оправдываясь, - драма была очень сильная".

И пил Дезик порой довольно много, однако в последние годы ему пришлось строго ограничивать себя из-за развившейся гипертонии, частичной потери зрения и болезней сердца. Тем не менее, он обладал редкой способностью продолжать писать после рюмки. В те времена, когда в Пярну еще существовали "Эйнелауды" с коньяком в разлив, он обычно, делая передышку, совершал прогулку к паре эйнелаудов и потом оживленный продолжал работать. Одно время в его рабочем кабинете в Пярну даже был оборудован настоящий бар с зеркалами и разнообразными напитками. Бар этот просуществовал недолго. "Понимаешь, - объяснил мне Дезик, - я как-то пришел домой с прогулки, сел около бара и стал методично пить все, что там было. На следующий день Галина Ивановна бар закрыла, и там теперь оборудовали аптеку".

Еще живя в Опалихе, Дезик совершал частые прогулки на станцию. Относясь к ним с подозрением, Галина Ивановна строго запретила ему заходить в станционный ресторан. Там же в то время только что открыли новый фирменный ресторан русской кухни "Опалиха". Дезик попал туда в первый день его открытия и оказался одним из первых посетителей. А поскольку открытие снимало телевидение, то Дезик немедленно оказался разоблачен, так как в тот же вечер снова возник за столиком ресторана на экране семейного телевизора.

Нельзя не подчеркнуть при этом, что продолжать писать

после рюмки Дезик мог только тогда, когда уже "вертелось в голове и шло". Как метко заметила его жена, рюмка лишь "подбадривала Трубецкого". Пьяным он никогда не писал, а если и случалось, выбрасывал или переделывал.

Зная склонность Дезика к застолью, устроители литературных вечеров часто старались ему угодить, однако так случалось не всегда. Помнится, в 1973 году в мемориальном музее А. С. Пушкина на Волхонке состоялся литературный вечер "Поэты читают Пушкина", в котором принимал участие и Самойлов. Помню, готовясь к этому вечеру, я чрезвычайно волновался, стараясь выбрать для чтения (конечно, наизусть!) какие-нибудь не слишком тривиальные пушкинские стихи. Остальные участники отнеслись к этому более спокойно. Маргарита Алигер, например, попросив у хозяев томик Пушкина, стала, заглядывая в книжку, читать: "На берегу пустынных волн". Левитанский почему-то стал говорить, что "Сцены из Фауста" написаны таким современным стихом, что напоминают Андрея Вознесенского, и вместо пушкинских стихов прочел свои. Окуджава же вообще не приехал, и злые языки утверждали, что это, дескать, потому, что он по ошибке выучил "Бородино". Когда официальная часть вечера завершилась и гостей повели к столу за сцену, Дезик сказал мне: "Держись возле меня. Это место приличное - обязательно коньяк поставят". Тем большим оказалось наше разочарование, когда на роскошном столе, в центре которого возвышался огромный как в фильме "Покаяние" торт, сплошь уставленном разнообразными закусками, с фарфором фамильных сервизов и медным сиянием самовара, противостоящего торту, никаких признаков выпивки не оказалось. Дезик расстроился, но виду не подал и, взяв в руки переданную ему чашку чая, громко сказал: "Какая прелесть - чай, с десятого класса не пил".

За этими шутками, однако, была серьезная подоплека. Его каждодневная одинокая и изнурительная работа требовала нервной разрядки.

Характер его не был легким - порой поэт был вспыльчив и несдержан. Иногда, выпив, становился вдруг необоснованно агрессивен, мог неожиданно за столом оскорбить человека или без всякой видимой причины выставить его из дома. Или наоборот, обнявшись на людях с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, к которому тогда и подойти-то боялись, на другой день мог обняться в ресторане с таким человеком, которому в трезвом виде не подал бы руки. Еще в Опалихе мне довелось видеть однажды, как он, пьяный, угнетал свою собаку, никак не понимавшую, чего привязался к ней хозяин. Все это были, однако,

случайные и недолгие всплески отрицательных эмоций на фоне неизменной доброжелательности.

Когда на похоронах Самойлова я слушал речи его многочисленных друзей, соратников и почитателей, вдруг поймал себя на том, pro испытываю то забытое детское ощущение, которое появлялось всякий раз, когда доводилось читать особо полюбившуюся книжку, иллюстрированную рисунками художника. На этих рисунках любимые герои были вроде бы и похожи на самих себя, то есть, конечно, на мое о них представление, и вроде бы не очень. И я подумал, что у каждого из близких друзей Давида Самойлова должно было быть подобное ощущение, ибо у каждого из них в сердце остался такой же единственный образ его, похожий и непохожий на другие. И у меня тоже - свой, не претендующий на объективную фотографическую достоверность..

Давным-давно, лет двадцать назад, в Опалихе, Дезик сказал мне как-то: "Алик, не думай, что поэт или писатель - это "кто-то что-то написал*. Писатель - это прежде всего образ жизни". Давид Самойлов был прирожденным поэтом и писателем. И тогда, когда лежал со своим пулеметом под деревней Лодьва "на земле холодной и болотной", и когда за долгие годы официального непризнания и каторжной литературной поденщины не написал ни одной строки почестей, для славы, для ливреи". И тогда, когда остался чужд соблазнительной возможности стать "властителем дум" с помощью политизированных стихов. Мне выпало редкое счастье разговаривать с ним и слушать его, и я могу сказать, что он был одним из крупнейших мыслителей нашего времени, подлинным российским интеллигентом, внешняя скромность и мягкость которого сочетались с непоколебимой нравственной позицией. И при всем том он был оптимистом, что особенно редко в наши дни. С уходом этого большого художника его поэзия начала новую жизнь, без него. И жизнь эта будет долгой.

Борис Слуцкий

"Я говорил от имени России."Борис Слуцкий

Слуцкий вошел в нашу жизнь в 1957 году, хотя стихи его, конечно, мы знали раньше. Их тогда, практически, не печатали, и распространялись они на слух или в списках. Вообще середина и конец пятидесятьк годов - это начало раздвоения нашей литературы на официальную печатную и неофициальную "непечатную", которая ходила в списках или слепых машинописных копиях на папиросной бумаге. Так было положено начало САМИЗДАТа. Со стихами же было проще - их нетрудно было запомнить наизусть. Первые же услышанные (именно услышанные, а не прочитанные) стихи Бориса Слуцкого (это, кажется, были "Евреи хлеба не сеют" и "Нас было семьдесят тысяч пленных…") поразили меня своей истинно мужской и солдатской (по моему тогдашнему мнению) жесткостью и прямотой, металлической точностью и весомостью звучания, совершенством монолитной строки с единственностью ее грозной гармонии. Впечатление это было таким сильным, что до сих пор я читаю стихи Слуцкого с листа вслух.

Моими любимыми поэтами тогда были Редьярд Киплинг (разумеется, в переводах, ибо мое скудное знание английского ни тогда, ни позднее не позволяло читать его в подлиннике), Гумилев, ранний Тихонов, Багрицкий. Сюда относились также некоторые стихи Луговского ("Басмач", напоминающий перевод из Киплинга), "Стихи 39 года" Симонова и что-то еще. Во всех этих стихах меня привлекали "мужественное звучание", активное вторжение авторов в окружающий мир, яростная экспрессия звучных как металл строк. Поэтому Борис Слуцкий, которого я сразу же отнес к перечисленному любимому ряду, произвел на меня сильнейшее впечатление и стал настоящим открытием. То было время юного идолопоклонничества, и я тут же объявил для себя Бориса Слуцкого первым поэтом. Еще бы! Такие стихи, да еще легендарная био-1рафия - боевой офицер, прошел всю войну "от звонка до звонка". Преклонению моему не было предела. Помню, в ноябре 1961 года, во время встречи в Москве с Иосифом Бродским в доме общего нашего приятеля - поэта и прозаика Сергея Артамонова меня страшно шокировало, что молодой и нахальный Иосиф фамильярно называет этого выдающегося поэта Борух. "Как ты можешь, - возмутился я, - говорить о Борисе Абрамовиче в таком тоне?". "А как же его прикажешь величать?", -

искренне удивился Бродский, особой скромностью в те годы не отличавшийся. "Все эти Борухи и Дезики - только для тебя поэты. Их можно поставить в одну шеренгу и рассчитать на "первый-второй". Все равно это останется бесконечно далеким от истинной поэзии, которую представляю только я".

Так или иначе, но известие о том, что Борис Слуцкий приезжает в Ленинград читать стихи в Технологическом институте и Университете, мигом облетело весь город, и мы, молодые "горняки" из литобъединения Горного института, решили обязательно добиться встречи с ним.

Внешний облик Слуцкого, увиденного на сцене в Технологическом, где он выступал вместе с Евгением Евтушенко, произвел на Меня серьезное впечатление, так как полностью совпал с ожидаемым представлением об авторе услышанных стихов. Полувоенный френч, строгий и независимый вид - никаких улыбочек и заигрываний с аудиторией. Седые аккуратно подстриженные усы. Подчеркнутая офицерская выправка, усугубляемая прямой осанкой и твердой походкой. Лапидарные рубленые фразы с жесткими оценками, безжалостными даже к самому себе. Помню, кто-то попросил его прочесть уже известное нам тогда стихотворение "Ключ" ("У меня была комната с отдельным входом…"). Он отказался. "Почему?", - спросили его, и он строго ответил: "Потому что это

- пошляцкое стихотворение". "Господи, - подумал я, - если он к себе так безжалостен, то что же он скажет о наших стихах?". И непреодолимое мазохистское желание показать этому олимпийскому громовержцу свои несчастные стихи и услышать его пусть беспощадное, но истинное суждение овладело мною и моими товарищами ,по "горняцким музам". На этом грозном фоне выступавшего перед Слуцким молодого Евгения Евтушенко, читавшего, кстати сказать, очень неплохие стихи: "О, свадьбы в дни военные, обманчивый уют, слова неоткровенные о том, что не убьют…", мы почти и не заметили.

Не помню уж, кому и как удалось уговорить его встретиться с нами - молодыми ленинградскими поэтами "глеб-гвардии семеновского полка", как мы себя тогда называли по имени нашего руководителя Глеба Сергеевича Семенова. Встреча состоялась у Леонида Агеева, жившего со своей тогдашней женой Любой и только что родившимся сыном в конце Садовой, на Покровке, именуемой нынче площадью Тургенева, в коммунальной квартире на первом этаже огромного, с несколькими дворами и по-ленинградски закопченного старого доходного дома. В тесной комнатушке Агеева набилось человек двадцать поэтов, их жен и подруг. Было закуплено сухое вино, к

которому, однако, прикасаться не разрешалось до прибытия высокого гостя. Наше ЛИТО было, кажется, в полном составе: кроме меня и хозяина дома присутствовали Елена Кумпан, Нина Королева, Олег Тарутин, Володя Британишский, Шура Штейнберг, Саша Кушнер, Глеб Горбовский, Яков Виньковецкий и еще несколько поэтов и болельщиков. Все изрядно волновались, хотя вида старались не показывать, поэтому разговор не клеился. Наконец, прибыл Слуцкий, не один, а со своим старым, как он сказал, другом

- полковником Петром Гореликом. Этот курчавый черноволосый полковник, снявший штатское пальто и оказавшийся в щегольской офицерской диагоналевой гимнастерке, перехваченной в талии скрипучим ремнем и увешанной орденами и медалями, был для нас, вчерашних блокадных мальчишек, как бы наглядным воплощением того недоступного нам всем фронтового героизма, поэтическим олицетворением которого являлся Борис Слуцкий. Это усилило всеобщее смущение. Борис Абрамович строго посмотрел на нас, прищурился и неожиданно произнес: "Вот вы, ленинградцы, все время без конца твердите, что любите и хорошо знаете свой родной город. Кто из вас сейчас перечислит мне двадцать общественных уборных?". Мы были шокированы этой "чисто московской" шуткой, однако напряжение начало спадать. Пошли в ход сухое вино и самодельный винегрет хозяйки Любы. Разговор, однако, приобрел характер вопросов и ответов, причем спрашивали не мы гостя, а он нас. Строго и пунктуально он требовал немедленной информации о нас самих, о наших специальностях, зарплате, кто где печатается или не печатается и почему. Кажется, не было ни одной мелочи, к которой он не проявил бы живейший интерес. О том, чтобы задать какой-нибудь вопрос ему, не было даже речи. Дошло дело до стихов. Слуцкий вел себя властно и на первый взгляд бесцеремонно. Он мог оборвать читающего, сбить его каким-то совершенно неожиданным вопросом или категорическим мнением. При всем этом стихи он слушал с огромным вниманием, как будто сразу безошибочно определяя их качество. Больше других ему понравились стихи Лени Агеева, и он тут же нам об этом заявил. "Вот настоящий поэт. У него ничего не придумано, а все прямо из жизни, а не из книжек. И стихи жесткие и суровые, в них виден будущий мастер. Вот кто будет большим поэтом!". Как ни странно, стихи Глеба Горбовского, который тогда ходил у нас в главных гениях, произвели на него меньшее впечатление. Александру Кушнеру он сказал:

"Скучные стихи. Правда, стихи, но унылые. И фамилия плохая

- Кушнер. Еврейская фамилия. С такой фамилией печатать не будут". "Но у Вас же тоже еврейская", - возразил кто-то робко. "Во-первых, не еврейская, а польская. А во-вторых, меня уже знают", - отрезал он. Спорить с ним, естественно, никто не осмелился.

Когда дело дошло до меня, я дрожащим голосом стал читать какие-то, как мне казалось, лирические стихи. "Ну, это только для Музгиза", - беспощадно сказал Слуцкий, выслушав их. Я попытался прочесть другие, но он перебил меня на середине и заявил: "А вот этого даже Музгиз не возьмет". "А как ваша фамилия? Городницкий? Ну, это вообще ни в какие ворота… Мало того, что тоже еврейская, так еше и длинная. Такую длинную фамилию народ не запомнит". Я уже совершенно упал духом, как вдруг он спросил, нет ли у меня каких-нибудь стихов про войну, и я срывающимся от волнения голосом, уже ни на что не надеясь, стал читать незадолго перед этим написанные стихи "Про дядьку". Стихи эти неожиданно Слуцкому понравились. Он вызвал из коридора своего друга Горелика, вышедшего покурить, и заставил меня прочесть стихотворение еще раз, сказав: "Повторите - полковникам такие стихи слушать полезно".

О стихах в этот вечер Слуцкий говорил много и увлеченно. Большинство присутствующих были из числа многолетних "студийцев" Глеба Семенова, занимавшихся у него - кто во Дворце пито в Горном институте. Мы уже привыкли к его "классическому" ленинградскому стилю бесстрастного и вдумчивого слушания и обсуждения стихов. Здесь же все было совершенно иначе. Уже позже я узнал, что Слуцкий - прирожденный и профессиональный педагог. Действительно, он всю жизнь возился с молодежью и не жалел для этого ни сил, ни времени. "Если, начиная писать стихи, - сказал он нам, - ты заранее знаешь, чем кончить стихотворение, брось и не пиши: это наверняка будут плохие стихи. Стихотворение должно жить само, нельзя предвидеть, где и почему оно кончится. Это может быть неожиданно для автора. Оно может вдруг повернуть совсем не туда, куда ты хочешь. Вот тогда это стихи".

Рассказывал он и о мало еще известных в то время своих однокашниках - ИФЛИйцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Больше всех о Павле Когане - авторе уже любимой нами тогда "Бригантины" и Михаиле Кульчицком, которого он, как и Давид Самойлов, считал самым талантливым из всех своих сверстников. Тогда от него мы впервые услышали широко известные стихи Михаила Кульчицкого:

Я думал - лейтенант
Звучит - налейте нам, -

И зная топографию,
Он топает по гравию.
Война - совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
Когда, черна от пота, вверх
Ползет по пахоте пехота.

Несколько лет спустя Давид Самойлов, тоже припомнив именно эти стихи, сказал: "Вот замечательные строчки. Почему у Кульчицкого пехота ползет "вверх по пахоте"? Да потому, что ползти так трудно, что кажется, что ты лезешь все время куда-то вверх".

Рассказывал Борис Слуцкий и о неукротимом характере Кульчицкого. Говорил, что когда Кульчицкого друзья-поэты (им тогда всем было по девятнадцать-двадцать, а многим так и осталось) обвиняли, что он порой брал у них понравившиеся ему строчки и беззастенчиво использовал в своих стихах, тот отвечал: "Подумаешь! Шекспир тоже обкрадывал своих малоодаренных современников".

Потом Слуцкий по нашим усиленным просьбам читал свои стихи. Мне тогда особенно запали в душу строки, посвященные памяти погибшего под Сталинградом Михаила Кульчицкого, о котором он только что вспоминал:

Листок поминального текста -
Страница в тонком журнале.
Он был из такого теста!
Ведь вы его лично знали!
Ведь вы его лично помните,
Вы, кажется, были "на ты"?
Писатели ходят по комнате,
Поглаживая животы.
Они вспоминают очи,
Горящие из-под чуба,
И пьянки в летние ночи,
И ощущение чуда,
Когда атакою газовой
Перли на них стихи.
А я убеждаю, доказываю -
Заметку б о нем, три строки!
Писатели вышли в писатели,
А ты - никуда не вышел,
Хотя в могиле, в печати ли,
Ты всех нас чище и выше.

А ты никуда не вышел,
Ты просто пророс травою,
И я, как собака, вою
Над бедной твоей головою!

Второй раз я увидел Бориса Слуцкого уже в Москве, в 1963 году, в его небольшой, увешанной картинами без рам, квартире неподалеку от метро "Сокол", в Балтийском переулке, где он жил вместе с женой Таней, и куда я получил от него приглашение зайти. Все тем же строгим тоном он примерно полчаса выспрашивал у меня все ленинградские литературные и нелитературные новости, а потом сказал: "Ну что ж, читайте, посмотрим, на что вы теперь способны". После недолгой читки последовала прямая и жесткая зубодробительная критика, не оставившая от прочитанных стихов камня на камне. Справедливости ради следует сказать, что когда я сейчас перечитываю стихи, которые осмеливался читать тогда Слуцкому, мне становится страшно. Я совершенно не понимаю, как он мог столь терпеливо слушать эти беспомощные, плохо зарифмованные вирши, да еще и обсуждать их. "Из дерьма строишь свои стихи, из песка. Это не материал. Учись у Андрюши Вознесенского как надо работать со словом, как надо ваять его из камня, каторжно работать. Из камня, а не из песка. А не будешь учиться - так Коржавиным и помрешь". Меня эти слова крайне удивили. Я уже знал широко распространяемые в то время в списках стихи Наума Манделя-Коржавина, и они с раз очень нравились, чего никак нельзя было сказать о стиле Андрея Вознесенского, которые, несмотря на их внешнюю мастеровитость и сложность, казались мне трескучими и пустыми. Раздражало также его неожиданное взвизгивание посреди строки при стихов. Незадолго до встречи со Слуцким я слушал выступление Андрея Вознесенского по "Би-Би-Си", где он заявил, что учеба в Архитектурном институте и, в частности, изучение теоретической механики, помогли ему понять, как силовые линии давят на верную строчку. Мне, тоже выпускнику технического вуза, заявление это показалось пижонством. А вот Коржавина я любил, и он был по мне по духу близок. Особенно стихи "Мужчины мучили детей" и замечательное восьмистишие, посвященное русским женщинам:

Столетье промчалось, и снова,
Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Надеть подвенечный наряд,

Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

Я не стал спорить со Слуцким и только через много лет понял, что он имел в виду. Прощаясь, он неожиданно спросил: "Вам деньги нужны? Если нужны, я вам дам". Оказалось, что он многих молодых поэтов ссужал тогда деньгами, хотя и сам не был особенно богат. Важнее другое: заметив мой интерес к живописи, развешанной на стенах, он спросил: "А вы никогда не видели картины Филонова? Даже не знаете такого художника? Ну, это позор, хотя откуда же вам его знать! Вот что, я вам сейчас напишу записку к его сестрам. Они живут в Ленинграде, на Невском. У них хранятся многие его работы. С моей запиской они вас пустят. Это надо смотреть". И через несколько дней я уже звонил в старую и обшарпанную дверь коммуналки во дворе кинотеатра "Аврора" на Невском, где в страшной нужде жили две пожилые сестры одного из самых крупных художников нашего столетия, основоположника знаменитой "филоновской школы", умершего в блокаду. Меня поразила скромность их быта, отсутствие самого необходимого. Медленно двигались и переставляя картины и рисунки, при слабом свете несильной электрической лампочки, они показывали замечательные работы Филонова, из которых более других поразила меня "Первая симфония Шостаковича". Старухи оказались истинными ленинградками.

С грустной гордостью рассказывали они мне, что Русский музей отказывается брать работы Филонова в свои запасники даже даром, ссылаясь на отсутствие помещения. Что приходили к ним американцы и предлагали огромные деньги в валюте, но что они скорее умрут, чем отдадут это за границу. Что рисунки и картины гибнут здесь, в коммунальной квартире, осыпаются краски и карандашный графит, а у них нет даже бумаги, чтобы переложить рисунки и акварели. Помню, я принес им несколько рулонов кальки и миллиметровой бумаги.

Борис Слуцкий любил живопись и был большим ее ценителем. Правда, нравилось ему не все. Известный художник Борис Биргер говорил как-то при мне, что Слуцкий в живописи ничего не понимал, что "у него были дырки вместо глаз". А я при этом вспоминал историю с Филоновым…

В течение шестидесятых и в самом начале семидесятых годов, до его тяжелой болезни, я встречался с Борисом Слуцким несколько раз. Несмотря на внешнюю суровость, он оказался человеком удивительной чуткости и доброты и крайне ранимым. Все время возился с молодыми поэтами, вел литературные объединения. Работа эта не всегда была благодарной, да и молодые поэты порой посматривали свысока на своего мэтра,

совершенно не понимая, видимо, какая бесконечная дистанция их разделяет.

В конце шестидесятых годов мы неожиданно встретились с ним в Коктебеле, где он жил в Доме творчества писателей. Его жена Таня тогда уже была неизлечимо больна, и он, как мог, окружал ее трогательнейшей заботой. Ходил он при этом по вечерам по набережной все с той же прямой и суровой осанкой отставного генерала. Увидев меня, он потребовал, как и обычно, творческого отчета и потащил к себе в писательский корпус. Кроме него и Тани слушали меня литературовед Апт с женой и поэтесса Юлия Друнина, сделавшая, кстати, несколько дельных замечаний по песне "Романс Чарноты". Большую часть прослушанных стихов он, как будто, одобрил, но одно стихотворение - "Державин" - привело его в неописуемую ярость. В стихотворении речь шла о старом Державине. Я читал:

Не звала чуму на домы
Од высокая хвала,
И поэта на приемы
Государыня звала.
Молодой державы гордость,
Отрывался он от книг,
Шеи старческой нетвердость
Прятал в твердый воротник.

"Стоп, прекратить читать!", - закричал неожиданно Борис Абрамович. - Это безобразные стихи. Полное неприличие". "Почейу?", - спросил я, растерянный его внезапным гневом. "А потопу, - сказал он сердито, - что Державину было всего лишь немного за пятьдесят, и у него не могло быть дряблой шеи".

Жизнь не баловала Бориса Слуцкого. Судьба отняла у него двух самых близких ему людей - мать и жену. Обе болели долго и умерли у него на руках. Он остался одиноким. Ученики не заменили ему семью. Будучи всю жизнь непримиримо требовательным к себе, властным и прямым, он на фронте вступил в партию, свято верил в конечную правоту ее дела, безусловно подчинялся партийной дисциплине. Наш общий знакомый, тоже фронтовик, Юрий Овсянников рассказывал мне, как однажды встретил Бориса Слуцкого на улице, когда тот возвращался из Союза писателей с партийного собрания. "Зачитывали закрытое письмо ЦК", - сказал Слуцкий. "О чем?", - спросил Овсянников. "А ты член партии?", - в свою очередь спросил Слуцкий. "Нет?" - "Тогда я не могу с тобой об этом говорить". Борис Слуцкий был политработником на фронте, на передовой, в самое трудное время войны: "Я был политработником три года, сорок второй и два еще потом".

Жесткая партийная дисциплина, привычка беспрекословно подчиняться партийному решению, идущему сверху, выработанная им еще в годы войны, привела к трагическому для его последующей жизни поступку: будучи членом парткома Союза писателей СССР, он вместе со всеми проголосовал за исключение из Союза Бориса Пастернака. Профессор Вячеслав Всеволодович Иванов, единственный человек, нашедший в те темные годы мужество открыто высказаться в защиту Пастернака, рассказывал мне о своем разговоре со Слуцким на следующий день после того злополучного голосования. Слуцкий телефонным звонком вызвал его на улицу и около двух ,часов говорил с ним, пытаясь объяснить свой поступок. "Он был - совершенно убежден, что Пастернака посадят. А с ним вместе, по всей вероятности, и меня", - рассказывал он. Многие бывшие друзья Бориса Слуцкого, которые и сами не высказались открыто в защиту Бориса Пастернака, осуждали его. Сам он, высоко ценивший поэзию Пастернака и более других понимающий несправедливость происходящего, тяжело переживал свой роковой поступок. Все это - жесточайший разлад с собственной совестью при его органической честности и прямоте, потеря близких людей и последовавшее одиночество, невозможность предать гласности лучшие свои стихи, которые он писал всю жизнь и прятал в стол, не могли не привести к глубокому и неизлечимому нервному заболеванию, отнявшему у него сначала возможность писать, а затем и саму жизнь. Эта трагедия расхождения его яростной партийной веры с реальностью происходящего отразилась в одном из лучших его стихотворений:

Я строю на песке, а тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
А для меня распался и потек.
Я мог бы это дело прекратить.
Я мог бы отдых пальцам дать корявым.
Я мог бы возмутиться и спросить, -
За что меня и по какому праву?
Но верен я строительной программе:
Прижат к стене, вися на волоске,
Я строю на плывущем под ногами,
На уходящем из-под ног песке.

Драматическая, полная трагизма жизнь Бориса Слуцкого, так же как самоубийство Маяковского, со всей очевидностью показывает, что поэт не должен всю свою звонкую силу отдавать "атакующему классу", брать на себя опасную миссию говорить "от имени России". Все это плохо кончается и неизбежно ведет к

потере внутренней свободы и душевному разладу. И снова приходит на ум сравнение с Давидом Самойловым, избегавшим говорить "от имени России", сохранившим эту внутреннюю свободу при жизни. Поэтическая судьба Слуцкого - жестокая борьба поэта за свою бессмертную душу с безжалостным тоталитарным государством, договоры с которым подписываются только кровью. Победа в этой борьбе стоила Слуцкому жизни.

Последние годы перед смертью он мучился сознанием того, что его стихов якобы никто не помнит, что он предан забвению. Переживания были напрасны. Его лучшие стихи помнили и помнят тысячи людей, многие из них стали песнями (например "Лошади в океане"). Уже после смерти поэта в его архивах были найдены сотни неизвестных ранее стихотворений, ныне опубликованных благодаря эпохе гласности и самоотверженным усилиям их собирателя критика Юрия Болдырева. Стихи его, получившие сейчас второе рождение, переведены и переводятся на языки многих народов мира. А я с благодарностью вспоминаю те недолгие часы, когда я с робостью слушал его короткие отрывистые фразы и мог считать его своим ментором.

Последний летописец

"Все переплетено и все, оказывается, чрезвычайно близко… Эта связь, этот стык времени и естьмоя тема".
Натан Эйдемман

Менее чем за два месяца до неожиданной и безвременной кончины Натана Эйдельмана мы с ним, вместе с женами, были в Варне, куда поехали отдохнуть, хотя из этого ничего и не получилось - частично из-за плохой погоды и неналаженного быта "дикого" существования в этой, уже изрядно обнищавшей на пути социалистического развития стране, частично - из-за не знающего меры гостеприимства хозяев, составившего изрядную угрозу для здоровья.

Натан впервые был в Болгарии. Его там, конечно, знали по широко известным книгам о русской истории, а кроме того, еще по .только что прошедшей в "Московских новостях" разоблачительной .Публикации о расстреле польских офицеров в 1940 году в Катыни и под Осташковом. Но при первой же встрече со знакомыми моими, среди которых были океанологи, журналисты и писатели, он неожиданно для хозяев (и для меня) обнаружил такие глубокие познания во всей древней болгарской истории - от Бориса до разгона крестьянской партии и мучительной смерти Трайчо Костова при Сталине, что сразу же завоевал постоянный и непререкаемый авторитет среди них раз и навсегда. Будучи немало лет знакомым с ним, я каждый раз не уставал удивляться его фантастической памяти, удерживающей десятки тысяч дат и имен в их точной и единственной взаимосвязи. Вдруг он вспомнил за столом историю, никому из присутствовавших дотоле неизвестную, о том как государь-император Николай Первый на военном фрегате Черноморского флота в 1829 году отправился в Варну, только что освобожденную от турок русскими войсками. В пути неожиданно разыгрался жесточайший шторм, и императорский корабль неостановимо понесло ветром прямо к турецким берегам. Стало ясно, что русскому царю грозит турецкий плен. Поэтому, когда турецкий берег уже ясно виднелся невдалеке, нашли рослого матроса, похожего на Николая, и надели на него императорский мундир с регалиями, а царь обрядился в матросскую робу. К счастью, однако, ветер переменился и угроза плена в самый последний момент миновала. Именно в Варне я впервые услышал от него,

человека казалось ,бы несокрушимого здоровья, любившего ввечеру выпить и закусить как Гаргантюа, а утром неумолимо будившего нас для раннего купания в холодном осеннем море, непривычные для него жалобы, что "покалывает сердце", жалобы, которым ни мы, ни он сам не придали серьезного значения. (Уже после его смерти вскрытие показало, что у него именно в это время произошел инфаркт легкого).

Однажды, возвращаясь из гостей, мы с ним говорили не помню о чем, и вдруг, без всякой связи с предыдущей темой, он сказал:

"Знаешь, как написано у Зощенко, - у одной женщины умер муж. Она сначала подумала а, ерунда! Оказалось, совсем не ерунда!". "Ты что это вдруг?", - спросил я у него. "Да так, - ответил он, - к слову пришлось". И захохотал…

Я был знаком с Натаном Яковлевичем Эйдельманом с 1972 года и особенно дружен последние десять лет, когда мы вместе снимали дачу в Переделкино - пару маленьких комнатушек и кухню. Познакомил нас его друг и одноклассник, океанолог и военный моряк в прошлом Игорь Михайлович Белоусов, так же неожиданно и безвременно ушедший из жизни в возрасте сорока двух лет. Именно Игорь, человек удивительной доброты и общительности, ввел меня тогда в круг своих школьных друзей, из которых самыми близкими ему были Натан Эйдельман, Юлик Крейндлин и Валя Смилга. После внезапной смерти Игоря эта дружба была передана мне по наследству. Меня объявили "постоянно введенным" членом этого уникального класса 110 школы и регулярно приглашали на все сборы однокашников, ставшие многолетней традицией. И хотя формально я как будто был признан одноклассником Тоника Эйдельмана, на самом деле я никогда не был им, как остальные школьные его друзья, помнившие толстого мальчика в тесной "комбинированной" курточке, с детства отличавшегося удивительной памятью на даты и фамилии. Школьная иерархия, сложившаяся в старших классах - вещь консервативная, и одноклассникам Тоника, особенно тем его друзьям, которые занимали в этой иерархии когда-то более высокие места, хотя и любившим его, конечно, не всегда просто было оценивать его вне сложившихся многолетних стереотипов.

Я же познакомился с Натаном Эйдельманом тогда, когда он уже был известен своими книгами "Михаил Лунин", "Герцен против самодержавия" и другими, а также многочисленными статьями о русской истории. Я застал его уже сложившимся ученым, писателем, человеком. Может быть, именно поэтому мне с самого начала нашей дружбы отчетливо был виден масштаб его

писательского и человеческого таланта, дистанция, нас разделяющая. Он был человеком чрезвычайно доброжелательным и внимательным к людям, вывести его из себя было практически почти невозможно. Мне это однажды, кажется, удалось. Натан был страстным болельщиком - прежде всего футбольным. Когда по телевидению транслировали футбольный матч, всякие дела откладывались. Иногда это был даже некий ритуал, сопровождаемый (легкой, правда) выпивкой и закуской, когда все три упомянутых друга собирались у одного из них "смотреть футбол". Здесь же дело было на даче, куда-то мы с ним торопились, но вдруг выяснилось, что на телеэкране футбол, и Натан прочно уселся на стул. "Погоди, - отмахивался он от моих настойчивых увещеваний, - уже второй тайм начался - досмотрим и пойдем". "А сколько минут длится тайм?" - неосторожно спросил я у него. Тут Натан развернулся ко мне на стуле всем своим внушительным телом. В глазах его было даже не презрение, а какая-то брезгливая жалость, смешанная с откровенным удивлением. "Даже этого не знаешь, да?"

Примерно через месяц после нашего возвращения из Болгарии там начались демократические преобразования, кончившиеся смещением престарелого вождя "брежневской формации" Тодора Живкова. Тоник радовался за наших болгарских друзей. "Теперь тебе бы неплохо съездить в Румынию", - сострил я как-то. Там еще прочно сидел Чаушеску. Однако ни в Румынию, ни в казалось бы даже близкую Швейцарию, куда были взяты авиабилеты на 4 декабря , Натану Эйдельману уже не суждено было попасть никогда. Его сердце остановилось на исходе ночных часов 29 ноября 1989 года в тесном отсеке реанимационной палаты на Каширском шоссе, куда его под большим нажимом жены и друзей почти насильно уложили накануне, не зная еще всех размеров надвигающейся беды.

Можно было, конечно, говорить, что виновата равнодушная и непроницательная медицина, что Эйдельмана "проглядели", однако, все это уже бесполезно, поскольку от судьбы не уйдешь. Осталось лишь запоздалое и бесполезное сожаление, что история эта приключилась с ним здесь, а не неделю спустя в Швейцарии, где его бы, по всей вероятности, спасли. Меня почему-то, помимо прочего, потрясло странное совпадение дат рождения и смерти Тоника и моей покойной матери (18 апреля и 29 ноября).

Поэт Иосиф Бродский заметил как-то, что не "язык - орудие поэта, а скорее наоборот: поэт - орудие языка". Если слова эти можно отнести к истории, то именно таким историком был Натан Эйдельман. Мне довелось жить с ним вместе несколько лет и видеть его каждодневную изнурительную работу, которая его

самого, казалось бы, совершенно не отягощала. Он не просто собирал и изучал документы - он буквально "жил" в материале, как бы перемещаясь в исследуемую эпоху и среду и вступая в прямой контакт с ее героями. Удивительное перевоплощение это напоминало вхождение актера в роль, но там вхождение внешнее подражательное, а здесь глубокое и внутреннее, в качестве собеседника или "содельника", если речь шла о Михаиле Лунине и других декабристах. В Прекрасное владение материалом, блестящая память и могучий ассоциативный ум дали возможность историку и философу Натану Эйдельману в его лучших работах выстроить стройный эволюционный ряд развития российской государственности, российского свободомыслия и российской интеллигенции в восемнадцатом-девятнадцатом веках. Писал он и диктовал на машинку, кажется, постоянно, и творческая энергия его казалась бесконечной. Даже вечером, после целого дня (а день его начинался рано поутру) каторжной работы, он ощущал потребность что-нибудь рассказывать и радовался по-детски любой застольной аудитории. А рассказывать он мог практически бесконечно. Одной из основ нашей с ним близкой дружбы, возможно, была моя постоянная готовность слушать его всегда и на любую тему. Несмотря на возможность каждодневного общения с Тоником, я старался не пропускать его публичных лекций и выступлений и ничуть не жалел об этом, ибо каждое из них отличалось от другого тем, что Тоник говорил, хотя все это, казалось бы, было написано в его книгах. Но он, как знаменитый пушкинский импровизатор в "Египетских ночах", явно увлекаясь темой рассказа и своими комментариями и "заводясь" от полученных вопросов, впадал в состояние истинного артистического вдохновения, лицо его покрывалось румянцем, глаза блистали, а голос, как мне казалось, приобретал рокочущие громовые оттенки. С грустной радостью слушаю я теперь случайно сохранившиеся магнитофонные записи некоторых его выступлений.

Мне вспоминается ясный и холодный декабрьский день в Ленинграде несколько лет назад, где я, оказавшись в командировке одновременно с приехавшими туда Тоником и его женой Юлей, попал, за его широкой спиной, в спецхран Публичной библиотеки, священное место, куда простому смертному попасть не просто. Трудно перечислить те уникальные книги, манускрипты и документы, на которые нельзя было смотреть без сердечного трепета - от древних рукописей Корана и Псалтыря до автографов Пушкина и Кюхельбекера. Удивительно, как меняется представление о человеке, когда видишь его автограф. Так, например, Кюхельбекер представлялся мне, по

Тынянову, сентиментальным, порывистым и нескладным, а здесь я увидел по-немецки аккуратный каллиграфический почерк его писем и рукописей. А строгий, казалось бы, склонный к порядку и благополучный Державин писал, как оказалось, рваным беспокойным почерком человека, лишенного душевного покоя. Меня поразила более всего выставленная под стеклом грифельная доска с записанными его дрожащей рукой предсмертными стихами:

Река времен в своем стремленьи Уносит все дела людей, И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей. А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, То вечности жерлом пожрется И общей не минет судьбы.

Какая пронзительная и проницательная безнадежность на краю смерти! Какая противоположность его же величавому и самоуверенному "Памятнику"!

Залы, где мы находились, как рассказал Тоник, были специально отведены под хранилище редких рукописей, прежде императорское. Я обратил внимание на большое число старых французских рукописей и книг, и Эйдельман, улыбаясь радостной улыбкой миссионера при виде еще не обращенного дикаря, поведал мне забавную историю из времен Великой Французской революции. 14 июля 1789 года, когда дымилась взятая санкюлотами Бастилия, все ее многолетние архивы были вышвырнуты прямо на мостовую. Мимо проезжал скромный чиновник русского посольства страстный коллекционер Дубровин, который, проявив чисто российскую сметку, послал тут же в посольство за подводами. Так бесценные архивы французской королевской тюрьмы оказались в Санкт-Петербурге.

Не менее удивительным, однако, в этом строгом хранилище мне показалась та нескрываемая симпатия, с которой к Тонику относились все без исключения хранители и хранительницы, чья строгость и недоверчивость являлись необходимой частью их профессии. Его человеческое обаяние вообще везде и всегда действовало на окружающих. Он был на редкость органичный человек, никогда не старался подделываться ни под кого, понравиться аудитории или какому-нибудь значительному лицу. Может быть, именно поэтому, будучи полным и грузным, двигался он с каким-то неповторимым изяществом, а лицо его, часто освещенное улыбкой, казалось всегда молодым. Наш общий друг художник Борис Жутовский нарисовал его портрет, на котором Натан Эйдельман совсем не такой

- на портрете он жесткий, монументальный и трагический. Наверное, так оно в самом деле и было, но мне запомнился другой облик Тоника - общительного и веселого. На друзей своих

он сердиться долго не умел и прощал им любые обиды.

Более всего обычно ссорился он в компаниях и застольях со своим самым близким другом Вольдемаром Петровичем Смилгой, человеком во всех отношениях выдающимся, но весьма язвительным и часто изрядно покусывающим Тоника, тем более, что еще со школьной парты он более всех знал его уязвимые места. Шумные ссоры эти, однако, были несерьезными.

Сам Смилга любил вспоминать историю со встречей у него на квартире какого-то, сейчас уже не вспомню какого. Нового года, на которой присутствовали с женами я и Тоник. В три часа ночи, когда веселье уже заметно спало, распахнулась вдруг входная дверь и в доме появился еще один друг и одноклассник Эйдельмана - режиссер Владимир Левертов, преподававший в театральном училище, в сопровождении нескольких юных будущих актрис. По уверениям Смилги, уже через пять минут я пытался петь им какие-то песни, хотя без аккомпанемента обычно петь не люблю, а Тоник, отпихивая меня, начал громко вещать им что-то о Пушкине. Жены наши, однако, были начеку, и нас развели по домам, а что касается меня, то, как обычно едко рассказывает Смилга, "жена по дороге била его о памятники, не имеющие архитектурной ценности".

По его собственному заявлению, дружбу Натан Эйдельман ценил более всего. Он, по существу, был центром того "школьного братства", которое в наш небогатый традициями и долговечными людскими связями век на долгие годы объединило выпускников 110 школы. Класс их, подобно лицеистам, традиционно собирался раз в году, не считая различного рода сборищ на днях рождений. Сам Тоник вел летопись их класса. Ему очень нравилось их сходство с пушкинскими лицеистами. Он даже книгу хотел написать об этом, да вот не успел.

Выполнение любых дружеских обязательств Эйдельман считал для себя священным и непреложным долгом. Когда смертельно заболел близкий друг и коллега Юлия Крейндлина, талантливый хирург Михаил Жадкевич, Тоник регулярно приходил к нему домой и читал лекции по русской истории. На наши дни рождений он сочинял обстоятельные доклады на тему о том, какие события происходили в этот день в различные исторические эпохи. Вместе с тем решительно никаких интимных тайн поверять ему было никак нельзя, потому что он немедленно рассказывал о них кому-нибудь из друзей или своей неизменной подруге Юле. При этом трогательно произносил любимую со школы фразу: "Старик, я тебя не продаду", что совершенно не меняло сути дела. Злого умысла, однако, в этом, конечно, не было никакого. Причина проста - Тоник рассказывал Юле все и

всегда. Иногда это приводило к неожиданным драматическим коллизиям, однако друзья Тоника, зная эту его особенность, на него не обижались.

Так же трудно было договариваться с ним о датах выступлений. Он почти всегда соглашался, но потом оказывалось, что уже назначенное время занято у него чем-то другим. Опытные люди знали, что договариваться следует не с ним, а с Юлей, которая вела все его дела и была не только женой, но и бессменным секретарем, машинисткой, редактором и т. д. Работала она, так же как и Тоник, с утра до ночи, а в то недолгое время, когда он отдыхал, ухитрялась перепечатывать начисто правленые части рукописей.

Мне неоднократно приходилось выступать вместе с Эйдельманом, и каждый раз это было серьезным испытанием, потому что после него на сцене уже нечего было делать: весь зал и все участники выступления знали, что самое интересное уже прошло. Я помню, как в начале июня, в дни очередного пушкинского юбилея, мы ездили вместе с небольшой группой писателей выступать в Сухуми. Встреча с аудиторией должна была состояться в городском театре. Всем было выделено для выступления по пять минут, и только Эйдельману, как основному лектору, предоставили полчаса. Когда перед выступлением он сидел и готовился за сценой, к нему подошел писатель и литературовед Зиновий Паперный, известный своими шутками, и сказал: "Знаешь, Тоник, когда ты будешь им рассказывать про Пушкина, не говори, что его убили - это омрачит вечер".

На юбилейном вечере Булата Окуджавы даже популярнейший Михаил Жванецкий все просил ведущего, чтобы его выпустили выступать перед Эйдельманом, а выйдя все же сразу после него, сказзал: "После Эйдельмана выступать трудно. Ведь он сам гораздо более популярен, чем те люди, о которых он пишет". Друзья Натана, в том числе и я, часто обвиняли его, что он разбрасывается - много пишет всяких, на наш взгляд необязательных, книжек, в том числе детгизовских, где занимается популяризацией истории; что ему следовало бы при таком уме и таланте сосредоточиться на главном. Критиковали, в частности, его "автобиографический" роман "Большой Жанно", написанный как бы от лица Ивана Ивановича Пущина. Некоторые говорили о всяческих "вредных влияниях" на Тоника, которые отвлекают его от основного поприща. Зная Тоника много лет, я могу сказать, что, при всей внешней мягкости характера, в вопросах творчества он был твердым и неподатливым, как на портрете Бориса Жутовского. И влиять на него здесь было практически невозможно - он делал только то, что сам хотел

делать в этот момент. Подобно другим крупнейшим российским историкам - Карамзину, Соловьеву, Ключевскому, Костомарову, Эйдельман был концептуален. Его главная концепция, близкая к пушкинской идее "в надежде славы и добра" состояла в реформаторском преобразовании нашей огромной страны на основе демократии, экономических реформ, культуры и просвещения. Показательной в этом отношении является его последняя прижизненная книга "Революция сверху", которую он подарил мне с характерной надписью "И никаких революций снизу!". И в истории России его привлекали реформаторы и просветители при всем их несходстве - от Лунина и Герцена до князя Щербатова и Карамзина. Петра Первого Эйдельман считал "первым интеллигентом на троне", справедливо полагая, что отмена телесных наказаний для дворян заложила основу для рождения российской интеллигенции. Внуки этого первого поколения "непоротого" сословия вышли на Сенатскую площадь.

В долгих ежевечерних прогулках по зеленым улочкам дачного поселка Мичуринец, где уютно пахло печным дымом, и тишина мягких подмосковных сумерек лишь изредка нарушалась криками играющих детей или шумом проходящей электрички. Тоник, обдумывавший тогда будущую книгу о "революции сверху", подробно рассказывал о сложностях реформаторской деятельности в России во все времена, о страшной силе давления "правых" и "аппарата" на царей-реформаторов, которые только на первый взгляд были "самодержавными", а в действительности не могли, конечно, не считаться с мнением помещиков и губернаторов. "Вот Павел попытался пойти против аппарата - его и убили. Знаешь, он послал своего доверенного чиновника с ревизией в Курскую губернию. Тот вернулся и доложил, что воруют все - от губернатора до последнего коллежского регистратора. И Павел на его донесении собственноручно начертал: "Уволить всю губернию". Представляешь? Обстановка такая же, как сегодня. Ну, а Александр, хорошо помня про папин опыт, против аппарата идти не решался. Ведь на самом деле он очень хотел провести реформы, вот Польше в 1821 году Конституцию дал. Хотел и крестьян освободить, уже специальная комиссия указ подготовила, но консерваторов своих всемогущих сильно побаивался. И более всех при этом постарался великий наш историк Николай Михайлович Карамзин." Карамзина Эйдельман любил больше всех и никогда не расставался с "Историей Государства Российского". "Николай тоже, по существу, готовил земельную реформу. В дневнике Александра Николаевича, наследника, есть такая запись: "Вчера обсуждали с папа и дядей Костей (Великий князь Константин), давать ли

народу свободы. Решили не давать". Так что на аппарат, который во все времена был гораздо консервативнее верховных правителей, даже цари с опаской оглядывались. А ведь против теперешнего аппарата аппарат царский - это детский сад".

В оценке будущего России Эйдельман всегда оставался неисправимым оптимистом. Уже в Болгарии, за два месяца до смерти, он яростно спорил с моими пессимистическими оценками сегодняшнего экономического и политического кризиса в нашей стране, нарастающей волны национальной непримиримости, что может, по моему мнению, привести к правому перевороту и гражданской войне. "Я - оптимист, - заявлял он. - Надо трезво смотреть на вещи. Даже если правые и захватят на какое-то время власть, они ее надолго не удержат. Ведь им нечем кормить народ. Значит, неизбежно будет развиваться рыночная экономика и связанная с ней демократизация общества. Будущее России - прекрасно!". "Да, - возражал я ему, - но ведь нас-то с тобой к этому времени, по всей вероятности, уже укокошат." "Ну и что из этого?" - возмущался он. - Саня, ты эгоист. Разве можно думать только о себе, когда речь идет о будущем великой страны?"

Эйдельман всерьез занимался не только российской историей. Он выпустил книгу "Мгновенье славы настает" о Великой французской революции, писал о Марке Аврелии, которым собирался заняться вплотную, изучал судьбы итальянцев в России. Я уже писал, что с 1982 по 1986 годы участвовал в экспедициях на научно-исследовательском судне "Витязь" в Северную Атлантику, в район подводной горы Ампер, где нами при подводных погружениях были обнаружены странные сооружения на вершине горы, напоминающие развалины древнего города. Я поэтому уговаривал Тоника написать вместе со мной книгу об Атлантиде, в которой он написал бы все, что касается истории, а я - результаты подводных исследований и геологическое обоснование возможности ее существования и катастрофической гибели. Тоник загорелся этой идеей и даже собирался со мной вместе в одну из экспедиций. Планам этим, однако не суждено было сбыться. Несмотря на официальный запрос из моего института, выездная комиссия Союза писателей не дала Тонику разрешения на поездку в зарубежную экспедицию. "Мы с Пушкиным оба - невыездные", - грустно пошучивал он. Его в те поры за рубеж не пускали. Возможно, во всяком случае, так он сам предполагал, это было связано с тем, что еще в Университете Тоник оказался причастным к известному в пятидесятые годы "делу Краснопевцева". Особых улик против Эйдельмана по этому делу как будто не бьию, но он вызвал раздражение следователей, решительно отказавшись давать какие

бы то ни было показания. За это по окончании Университета он был сослан учительствовать в Калугу. Провожая меня в экспедицию. Тоник грустно сказал: "Знаешь что, Саня? Если ты найдешь Атлантиду, не проси там политического убежища". За рубеж, в "капстраны", его начали пускать только после 1986 года, в эпоху перестройки, да и то не "автоматически", а после письма, направленного им после очередного отказа в загранпоездке на имя члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС А. Н. Яковлева. После этого его долго оформляли в Италию, потом сообщили, что уже поздно и что его теперь будут оформлять во Францию. Там тоже что-то не получилось, и началось оформление в ФРГ. Он позвонил мне в радостном возбуждении: "Видал? Я еще никуда не поехал, но уже дважды сменил страну пребывания!"

Потом он все же поехал и в Италию, и в ФРГ (где ЛЮФТГАНЗА потеряла чемодан с его вещами и рукописями, но через месяц чемодан все-таки отыскался) и во Францию, где его восторженно принимали коллеги и русскоязычная аудитория, и в США, где он в Калифорнии более месяца безвылазно работал в архивах, почти не имея возможности взглянуть на открытую им, наконец, Америку. Как ни странно, рассказы его о зарубежных впечатлениях были не особенно интересны. Никакой сенсации для него не произошло от того, что он воочию увидел Венецию или Париж. Совсем другое дело - рассказы о новых находках, о сокровищах в зарубежных архивах, касающихся отечественной истории. Неожиданно точными поэтому оказались строки из посвященной ему песни Вероники Долиной: "Он не открывает Америк - Россия его материк".

И хотя географию он знал так же блестяще, как историю, поражая своих собеседников не только знанием дат и имен, но и многочисленными географическими названиями дальних островов, рек и городов, расположение которых знал досконально, "перемещения в пространстве", по-видимому, меньше занимали его, и он, подобно любимому своему Карамзину, заменил их "перемещениями во времени". Вместе с тем, рассказывая ему о своих плаваниях в отдаленных районах Атлантики, Индийского и Тихого океанов, я неоднократно убеждался, что он просто зрительно точно представляет всю карту, например. Тихого океана" безошибочно перечисляя многочисленные острова и проливы Океании или Индонезии. Прекрасно знал он также и любил истории про известных мореплавателей и пиратов. В свое время даже писал о Френсисе Дрейке, и когда я, вернувшись из Англии, стал рассказывать ему об увиденном мною замке Френсиса Дрейка в графстве Девон, неподалеку от Плимута, сам рассказал мне о нем и о его

обитателе столько интересного, словно это он, а не я побывал там.

При всем при том главным смыслом всей его жизни была русская история, русская литература. Он не мыслил себя вне своей родной страны. Когда при нем кто-нибудь из друзей или знакомых заводил разговор о возможном отъезде. Тоник только сочувственно и беспомощно улыбался, как бы извиняясь и показывая, что понимает, конечно, проблемы своего собеседника и даже вполне сочувствует им, но к нему самому это никак не относится. Эта мысль не возникала у него даже тогда, когда после переписки с В. Астафьевым, о которой речь пойдет ниже, он стал подвергаться анонимным угрозам по телефону и по почте со стороны фашиствующих молодчиков.

Много сил Тоник отдал преподавательской работе, с которой он начинал после Университета, и которую любил, всегда находя время, чтобы прочесть лекцию в школе или даже просто в квартире для заинтересованной аудитории. Вместе со своей дочерью Тамарой, тоже педагогом, он намеревался полностью перестроить преподавание истории в средней школе. Хотел даже написать новый учебник истории, и безусловно написал бы его, если бы не внезапная смерть. Его "детские" книги "Вьеварум", "Твой девятнадцатый век", "Твой восемнадцатый век" с увлечением читают и взрослые, и дети. Во "времена застоя", когда Эйдельман еще не имел возможности выходить на широкую аудиторию, он охотно читал циклы лекций о русской истории для детей своих приятелей и их товарищей, конечно, совершенно бескорыстно.

Вспоминается, как незадолго до смерти, уже в эпоху гласности, во время выступления Тоника в какой-то молодежной аудитории один из шустрых и самоуверенных молодых людей заявил: "Что вы нам можете объяснить? Ваше поколение прожило напрасно". "Нет, не напрасно, - улыбнулся Эйдельман, - мы вырастили вас!"

Всю свою жизнь Натан Эйдельман вел дневники. Вернувшись вечером из гостей или после выступления, как бы ни было поздно, он садился к столу и аккуратно записывал в тетрадь все события прошедшего дня. Внимательно слушал и записывал потом рассказы и байки всех пожилых людей - от Арсения Тарковского до Игоря Черноуцана, руководившего при Хрущеве отделом идеологии в ЦК КПСС. Его, как историка, интересовали все свидетельства уходящей эпохи. Дневники эти теперь так и остаются непрочитанными.

Никогда не забуду, как однажды вечером, в июне 1981 года, мы встретились с ним в гостях у моих друзей - физика

Александра Штейнберга и его жены, поэтессы и литературоведа Нины Короле

вой, тогда еще живших в Ленинграде, в старом доме на Мойке, неподалеку от дома-квартиры Пушкина. Был самый разгар белых ночей, и за высокими окнами квартиры, выходящими на Мойку, желтым негаснущим светом горело закатное небо над крышей дома напротив, отражаясь в неподвижной воде канала. На этом ослепительном фоне торчащий за крышей шпиль Петропавловского собора с насаженным на него ангелом казался черным. Застолье было долгим и шумным, с чтением стихов и исполнением песен. Этим как бы отдавалась дань нашим старым ленинградским, ныне невозвратно утраченным традициям шестидесятых годов, когда мы, еще будучи молодыми, собираясь в компаниях, обязательно читали друг другу стихи или пели песни. Сейчас в застольях песен не поют, а вместо этого говорят о политике.

Помнится, в конце застолья мы всерьез поссорились с моим давним другом поэтом Александром Кушнером. Предметом ссоры послужил Владимир Высоцкий, умерший менее чем за год до этого, и всенародное оплакивание его. Кушнер заявил, что Высоцкий - плохой поэт, что так называемая авторская песня к поэзии вообще никакого отношения не имеет, и что неожиданное по своим масштабам оплакивание его, включая сотни стихов, посвященных его памяти, истерическое кликушество, столь любезное российскому мещанству. Я, естественно, обиделся не па шутку за Высоцкого и авторскую песню и стал в весьма энергичных выражениях, усиленных количеством выпитого, возражать ему. Эйдельман, который с его громовым голосом только и мог перекричать пас, встрял в разгоревшуюся перепалку и загасил огонь, предложив нам, вместо того, чтобы ссориться, пойти па Марсово поле к Инженерному замку, где он па месте расскажет и покажет, как убивали Павла I. Мы, разумеется, немедленно согласились.

И вот около часа ночи мы отправились вверх по Мойке, горевшей полуночной белизной, к тому роковому месту, где она вытекает из Фонтанки и где у развилки этих городских рек, за Садовой, горит темно-красным пламенем фасада безлюдный Михайловский замок, отгороженный когда-то со всех сторон рвами, заполненными водой. Нет никакой возможности воспроизвести вдохновенный рассказ Эйдельмана, бывшего нашим Виргилием в этом полуночном путешествии в прошлое, па грань минувших веков, к кровавым событиям 11 марта 1801 года. Начал он не с заговора, а сначала повел пас па Фонтанку и указал па окна, чернеющие между белыми колоннами старинного дома

па противоположной ее стороне. Здесь, на третьем этаже, была квартира братьев Тургеневых, где молодой Пушкин, сидя па подоконнике и глядя па мрачный замок Святого Михаила напротив - свидетель тогда еще недавнего убийства, набрасывал строки оды "Вольность":

Падут бесславные удары…
Погиб увенчанный злодей.

Потом он обвел нас вокруг замка, подробно, обнаружив великолепное знание всех до мелочи деталей, рассказывая о системе предмостных укреплений, кордергардий, разводных мостов, смены караулов, тщательной проверки всех лиц, допускаемых к императору, которые полностью, казалось бы, исключали для злоумышленников возможность проникнуть во дворец. Рассказал он и о том, как заговорщики, используя болезненную подозрительность Павла, добились того, что преданный ему начальник охраны полковник Саблуков был в эту ночь отстранен от службы. И о том, как душа заговора, решительный и мрачный фон Пален, записки которого до сих пор не найдены, долго поил участников заговора, а потом, когда уже во дворце, они, неожиданно окликнутые караульным часовым, бросились бежать, Беннигсен преградил им дорогу с обнаженной шпагой и заставил их продолжить роковой путь к императорской опочивальне.

Через ту же калитку в воротах, что и заговорщики, проникли мы, озираясь, как будто и нас могли окликнуть и схватить каждую минуту, во внутренний двор замка, вымощенный грубыми булыжниками. Кушнер выронил портфель, который шумно шлепнулся о камни, и все на него испуганно зашикали. Казалось, сама тень курносого убиенного императора смотрит на нас из безмолвных черных окон, в которых отражается неподвижное зарево белой ночи. В абсолютной звонкой тишине звучал только тоже приглушенный и низкий гулко отражающийся от высоких темных стен и поэтому кажущийся потусторонним голос Тоника, заставившего нас подойти к окну спальни, где было совершено убийство, и где испуганный самодержец пытался спрятаться за каминный экран, но свет луны упал на его босые ноги. Я поднял голову и увидел в светлеющем небе бледную луну. Это ночное путешествие запомнилось мне на всю жизнь. Основные исторические труды Эйдельмана посвящены русской истории второй половины XVIII - первой половины XIX веков - "Грани веков". Эпоха эта привлекала его, помимо всего прочего, еще и тем, что она была временем могучего развития российского

просвещения, недолгого единения нарождающейся мыслящей интеллигенции и молодой Империи, единения, разрушенного николаевской реакцией. Эта модель импонировала Эйдельману, в ней он видел надежду на будущее. Чуждый каким-либо шумным сенсациям, историк по самому характеру своей работы с архивными материалами время от времени оказывался первооткрывателем многих тайн российской истории.

Ему даже пару раз пришлось выступать с лекциями на тему "Тайны русских царей" здесь и за рубежом. Ведь как будто именно он установил впервые, что Павел I не был не только сыном официального отца своего - Петра III, но и Екатерины II, его матери. По материалам, найденным им в архивах, Екатерина родила мертвого ребенка, который был незаметно для нее заменен другим по указанию императрицы Елизаветы. Он же нашел личную записку Павла I, в которой он отказывает в престолонаследии сыну своему Николаю на том основании, что в действительности он родился не от него, а от гоф-фурьера Бабкина, на которого был очень похож.

Были и другие скандальные находки. Я помню, что уже после выхода из печати одной из лучших книг Тоника "Герцен против самодержавия" ему удалось найти документы, что Яковлев, которого считали раньше отцом Герцена, отцом его на самом деле не был, так как будущая жена пришла в русское консульство, будучи уже беременна от барона Фаненберга. Этой находки Тонику опубликовать не дали, чтобы не отнимать у нашей литературы Герцена. Я же, узнав об этом, предлагал в шутку заменить название его знаменитой книги: вместо "Герцен против самодержавия" назвать ее "Барон Фаненберг против русского самодержавия".

Уже на панихиде в Центральном доме литераторов представитель Института истории Академии наук СССР выразил сожаление, что Эйдельман мог бы защитить докторскую диссертацию, а вот умер кандидатом. Так же уместно было бы сожалеть о том, что Лермонтов умер поручиком, а Пушкин камер-юнкером. Как историк Эйдельман стоил один целого академического института со всеми академиками и член-корами, не говоря уже о докторах наук. Его в свое время и не брали в институт истории потому, что он был опасен, хотя формальные причины были иными. История для Эйдельмана была не сухим научным предметом

- строгих архивных изысканий, а источником творчества. Карамзин, которому он посвятил книгу "Последний летописец", привлекал его еще и потому, что был одним из ведущих писателей своего времени. По мнению Эйдельмана, правильное

освещение исторических событий, во всей их сложности и неоднозначности, мог дать только писатель, который кроме конкретных фактов обладает еще и творческой интуицией, помогающей правильно их выстроить. Он ведь и сам был писателем и прекрасно это понимал. Отсюда его книга "Пушкин-историк", отсюда постоянный интерес и восхищение, которые он проявлял к Юрию Тынянову.

В наше время самые великие открытия происходят на стыке наук. Натан Эйдельман совершал свои открытия на стыке науки и искусства. Он бьш по-пушкински щедр на сюжеты и обладал удивительным бесстрашием исследователя. Подобно тому, как поэт открывает в обыденности окружающего мира удивительные, невидимые прежде черты, он делал удивительные находки в рукописях и материалах, уже, казалось бы, изученных до этого. Огромная заслуга Эйдельмана состоит в том, что он вновь, после более чем полувекового безвременья, сделал историю предметом литературы, вынес ее на открытую аудиторию…

Главной же любовью Эйдельмана был и оставался Пушкин. И не только книга "Пушкин и декабристы" и другие, посвященные Пушкину непосредственно. Писал ли он о Михаиле Лунине, Иване Ивановиче Пущине, казненном Апостоле Сергее или Герцене, все эти (и многие другие) книги освещал подобно солнцу постоянный свет пушкинского присутствия. Судьба Пушкина, его стихи были как бы главной несущей конструкцией описываемой эпохи, началом координат. Тоник любил говорить, что, как это ни кажется парадоксальным, чем более мы удаляемся от эпохи, тем точнее ее история. Что мы знаем историю Древнего мира лучше, чем Плутарх, который во многом ошибался. Что мы знаем сейчас о Пушкине гораздо больше, чем он сам. Например, Пушкин не знал, кто за ним следил, а мы знаем. Пушкин не знал, что его прямым предком был знаменитый воевода Александра Невского Гаврила Олексич, а мы знаем. И так далее.

Страстное пожизненное увлечение Эйдельмана Пушкиным было настолько сильным, что передалось его близким друзьям. Так, его одноклассник физик Владимир Фридкин, выезжавший в служебные загранкомандировки во Францию и в Бельгию, провел настоящее исследование по зарубежным архивам и написал книгу "Пропавший дневник Пушкина".

Другой школьный приятель, известный журналист Александр Борин, рассказал курьезную историю, произошедшую с ним в Торжке, где, как известно, похоронена Анна Петровна Керн. Местные власти очень гордились причастностью Торжка к жизни великого российского поэта. Дело дошло до того, что стало традицией для новобрачных после регистрации брака класть

цветы к памятнику Анны Петровны, которая, хотя и вдохновила Пушкина на знаменитые строки "Я помню чудное мгновенье", вряд ли могла служить достойным примером нерушимости супружеских уз. Вернувшись в очередной раз из Торжка, Алик Борин рассказал об этом Натану, и тот припомнил не менее знаменитое письмо Пушкина приятелю, в котором поэт писал в частности: "Керн была со мной очень мила, и надеюсь, что на Пасху с божьей помощью я ее...". При следующем посещении Торжка Борин встретился с председателем горисполкома, который, описывая достопримечательности города, не преминул вспомнить и о могиле Керн. "Ведь вы знаете, - сказал он, - многие считают, что у нее с Пушкиным действительно что-то было." "Еще бы!", - воскликнул Борин и немедленно процитировал фразу из упомянутого письма. "Что вы говорите, - оживился председатель, - вот это новость! Завтра у нас как раз заседание, - вот обрадуются товарищи!."

Помню, как смеялся Тоник, когда я рассказал ему, что в моем родном Царском Селе, переименованном теперь в город Пушкин, в дни шестидесятилетия образования СССР поперек главной улицы Ленина красовался огромный транспарант со строкой из Пушкина:

"Друзья мои, прекрасен наш Союз!", в которой слово "Союз" начиналось с заглавной буквы.

Предметы исторических исследований Эйдельмана были, казалось бы, более чем на век отдалены от наших дней, однако это не мешало ему активно участвовать в бурных событиях последних лет. Показательна в этом отношении его, ставшая широко известной, переписка с писателем Виктором Астафьевым, непосредственным свидетелем которой я был. Причиной послужил опубликованный в журнале "Наш современник" рассказ Астафьева "Ловля пескарей в Грузии", в котором карикатурно, штрихами, оскорбительными для их национального достоинства, изображались грузины. Эйдельман обратился к Астафьеву с письмом, где, отдавая должное его известным книгам и мастерству писателя, упрекнул в некорректности по отношению к малым нациям, непозволительной для крупного русского писателя, представителя великого народа. Писал он о том, что великим русским писателям прошлого было свойственно в себе, а не в инородцах искать причины неурядиц, приводил цитаты из Хаджи-Мурата" Толстого. Письмо кончалось с большим пиететом адресату: "Уважаемый Виктор Николаевич, извините меня за прямоту но Вы сами своими произведениями учите нас этому". Ответ Астафьева, которого мы до этого действительно уважали как автора "Царь-рыбы" и "Печального детектива", оказался

неожиданным. Он содержал грубую и откровенно антисемитскую брань лично в адрес еврея Эйдельмана, которого автор письма обвинял в "гнойном еврейском высокомерии" за непозволительную дерзость (поучать истинно русского писателя. Ни о каких грузинах и о рассказе, вызвавшем письмо Эйдельмана, речи в ответе вообще не было. Надо сказать, что письмо это было написано несколько лет назад, когда открытая антисемитская пропаганда и брань не стали еще такими повседневными и безнаказанными явлениями нашей жизни, как теперь - благодаря многочисленным публикациям в "Молодой Гвардии", "Нашем Современнике", "Москве" и других вполне официальных изданиях, - поэтому среди читающих оно вызвало некоторое потрясение. Я даже сомневался вначале, верно ли, что это действительно написал Виктор Астафьев. Время, однако, развеяло мои сомнения. В письме Астафьев почему-то обвинял Эйдельмапа в первородном грехе убийства царя Николая II и выражал твердую надежду, что о Пушкине и русской истории в будущем будут писать только русские люди. Сам Тоник, насколько я помню, тоже был крайне удивлен и обескуражен грубым и истеричным тоном ответного письма.

Переписка эта, хотя и носившая личный характер, стала, тем не менее, достоянием общественности и даже попала в зарубежную печать. Реакция на нее была неоднозначной. В Великобритании, например, переписка была опубликована в переводе на английский с комментариями: "идет перебранка между двумя представителями советского истеблишмента". Многие бывшие поклонники Виктора Астафьева, прочитав его ответ, стали возвращать по почте его книги. Некоторые обвиняли Эйдельмана в том, что он предал гласности частную переписку и что обнародование такого "антисоветски смелого" письма Виктора Астафьева может принести неприятности его автору. Опасения эти, однако, оказались напрасны. Писатель Астафьев некоторое время спустя был удостоен высокой правительственной награды и других официальных почестей, а вот у Эйдельма-на начались действительно неприятности. Журналы начали возвращать его статьи, уже заказанные ранее. Издательства отложили заключение договоров. По его домашнему телефону стали звонить неизвестные "патриоты", угрожая в нецензурных выражениях убить его и его жену. Многие друзья Эйдельмана также неодобрительно отнеслись к его переписке с Астафьевым, считая, что он полез "не в свое дело". В этом они, как ни странно, оказались солидарны с самим Астафьевым, который уже после смерти Эйдельмана, отвечая на вопрос французской газеты "Либерасьон" почему он не любит евреев, сказал: "Потому что

всюду они лезут". Я же полагаю, что благодаря этой переписке впервые была сорвана маска, и показано во всей его неприглядности истинное лицо одного из тех, кто претендовал ранее и ныне претендует на роль "властителей человеческих дум" и пастырей нравственности, проповедуя при этом ненависть и расизм. Переписка эта, ставшая сама сейчас историей, оказалась одним из первых признаков активно проявляющегося ныне в нашем обществе разделения на демократов и национал-фашистов.

В Болгарии Эйдельман показал нам черновик написанного там открытого письма Горбачеву в связи с ростом антисемитизма в нашей стране и разного рода националистических организаций типа "Памяти". Письмо это вызвало критику, и Тоник намеревался его переделать, но внезапная смерть не дала ему возможности переписать его. Так оно и зачитывалось на радиостанции "Свобода", ибо актуальность этого письма, к сожалению, со временем возросла.

В своих книгах, статьях и лекциях Натан Эйдельман убедительно показывал, что империи, в том числе и наша, недолговечны, что не может человеческое общество долго держаться на насилии и лжи, независимо от того, относится это к доисторическим временам правления Хамураппи, николаевской России или эпохе "сталинской конституции". Не "русский бунт - бессмысленный и беспощадный", а демократизация, реформы и просвещение - вот курс нашего многострадального общества. Эйдельман был учителем не только по образованию, но и по призванию, не преподавателем, а именно Учителем - с заглавной буквы. В наше сложное кризисное время, когда четко обозначился дефицит не только продуктов питания и товаров первой необходимости, но и нравственности и добра, он учил добру и надежде. Не потому ли так тянулись к нему люди? Не потому ли теперь, думая о его внезапном и безвременном уходе, я жалею, прежде всего, не его, а нас, оставшихся теперь без утешения и надежды. Кто прокомментирует теперь наши сегодняшние беды и удачи: резню в Оше и Андижане, погром в ЦДЛ, победу Ельцина, успехи "Демократической России", отделение Литвы? Я настолько привык к тому, что он всегда рядом, что кажется чудовищным его отсутствие. С горечью думаю я о том, что Натан Эйдельман, матери которого скоро исполнится девяносто лет, умер в пятьдесят девять.

Предчувствовал ли он это, когда говорил порой, что все его любимые герои - Александр Герцен, Михаил Лунин, Николай Карамзин и даже Иван Иванович Пущин - декабрист, доживший до возвращения, ушли из жизни до шестидесяти лет, и что с ним

будет то же самое? Ведь сказал же он жене, когда его везли в больницу: "Я же всегда говорил, что умру в пятьдесят девять". Кто из нас придумал всерьез эти дурацкие шутки? Знали ли мы тогда, глядя на это улыбающееся лицо, какой смертельной болью переполнено его сердце, готовое взорваться? Уже после его смерти вышла из печати книга, пророчески названная им "Оттуда" и сданная им в издательство незадолго до смерти. Помнится, Тонику очень нравилось это название, хотя речь шла, конечно, не о том свете, а об Италии.

Незадолго до смерти Эйдельман вернулся из Калифорнии, где работал в Стэнфордском Университете, и привез груду ксерокопий книг, касающихся событий в нашей стране в двадцатые годы - по эмигрантской прессе и мемуарам. Вся эта груда была свалена в маленькой комнатушке у нас на даче, и время от времени Тоник, с нескрываемым удовольствием озирая эту груду, вдруг выхватывал из нее какой-нибудь листок и увлеченно начинал рассказывать о неведомых нам событиях, сопровождая рассказ, как обычно, интереснейшими комментариями. В это время он обдумывал также замысел новой, уже заказанной ему книги об истории московского Кремля и его обитателей - от Юрия Долгорукого до современных. Книге этой не суждено было осуществиться.

Уже после смерти Натана Эйдельмана в "Огоньке" была опубликована его небольшая статья, даже не статья, а расшифровка его лекции после возвращения из Стэнфорда, где он ежедневно, более двух месяцев, прерываясь только на выходные дни, работал в архивах входящего в этот университет Института Гувера, явившегося самым крупным архивным фондом материалов о России в послереволюционные годы. Даже по этой небольшой статье можно Жудить о масштабах и значении задуманной им книги. Основу ее должны были составить рукописные материалы, собранные в эмиграции Борисом Ивановичем Николаевским и Николаем Владиславовичем Вольским, известным под псевдонимом Валентинов и ставшим одним из обруганных героев "Материализма и эмпириокритицизма". Два этих выдающихся человека собрали огромную коллекцию рукописей, создавшую основной фонд Гуверовского архива - сотни тысяч документов. В них - вся неискаженная история России: от Александра II, Герцена и Огарева - до ГУЛАГа, Жданова и Берии. В общем, как сказал Эйдельман - "от Радищева до Брежнева". Один из наиболее интересных документов - биография Ленина, написанная Валентиновым. В переписке с Николаев-Ярким Валентинов, не скрывая своей несомненной симпатии к Ленину, несмотря на его

авторитарность, и восхищения его безусловным талантом, пишет, что без Ленина революции в России быть бы не могло: "У него была ражь, гипноз, он мог бы и десять революций сделать. Я вам точно говорю - гипноз".

Огромное количество найденных Эйдельманом материалов проливает свет на события тридцатых годов, ранее почти неизвестные у нас. К ним относятся катастрофическое землетрясение в Армении весной 1931 года - в районе медных рудников Зангезура, чудовищный взрыв, произошедший в августе 1939 года на Магаданском рейде, при котором погибло три или четыре тысячи человек, и который долгие десятилетия оставался государственной тайной.

Впервые обнаружены документы о массовом выселении корейцев и китайцев с Дальнего Востока, которое, оказывается, началось не в годы войны, а значительно раньше, и достигало внушительных масштабов - более трех с половиной миллионов человек. Большая часть выселенных была отправлена в Заполярье, в Якутию, где их обрекли на голодное вымирание. Эти огромные планомерные операции, как писал Николаевский, в известном смысле подготавливали массовые операции по различным выселениям во время войны. "Действительно, - пишет Эйдельман, - те методы, которыми руководствовались при выселении калмыков, татар, отрабатывались много раньше и на жителях российских земель - на казачестве, на немцах Поволжья, а до этого - на китайцах и корейцах".

Кстати, о казачестве. В рукописной коллекции Николаевского Эйдельман обнаружил анализ Кубанского дела, относящегося к 1932 - 1933 годам. Из этого зажиточного края в указанные годы было принудительно выселено около двух миллионов человек, более четверти которых расстреляны или погибли в тюрьмах и лагерях. Такие же акции по приказу Сталина проводились в это время в Тамбовской и Воронежской областях. Не менее обличительные документы были найдены Эйдельманом в связи с убийством Кирова. Оказалось, что по "делу Кирова" репрессии были обрушены не только на Ленинград, но и на шесть городов - Ленинград, Москву, Киев, Харьков, Ростов и Одессу, в результате чего пострадало около полумиллиона человек.

Внимательно анализирует Эйдельман исторические прогнозы Николаевского и Валентинова на будущее развитие Советского Союза. Николаевский писал, что нынешняя тоталитарная система в нынешних условиях не может эволюционировать в демократию, а Валентинов утверждал: "Еще как может!", в чем в известной степени совпадал с Эйдельманом.

Даже беглый обзор этих удивительных по своему значению и

охвату материалов позволяет вообразить, какую книгу о современной нашей истории мог бы написать Натан Эйдельман. В ней на основе новых материалов он собирался развить одну из основных своих концепций - о неразрывной связи событий XVIII-XIX веков с современностью, о недоразвитых зачатках российского парламентаризма, прерванного матросом Железияковым, о людях, биографии которых "одним концом уходят во времена Герцена и Плеханова, а другим - в наши дни".

Любимый Натаном пример - эмигрант-историк Сватьков, написавший в 1935 году, что его матушка в молодости, в Таганроге, училась у престарелого Павла Александровича Радищева, сына Александра Николаевича Радищева. Сын Радищева выучил матушку, а матушка - Сватькова, который говорил по-французски с женевским акцентом потому только, что учитель Радищева был родом из Женевы. Так женевский акцент был передан из времен Екатерины II человеку, дожившему до начала Второй мировой войны. "Но это нормальное явление, - пишет Эйдельман. - Все переплетено, и усе оказывается необычайно близко. Вот эта связь, этот стык времен и есть моя тема… Николаевский и Валентинов для меня олицетворяют эту связь. Роль этих людей, как и честных серьезных ученьях в нашей стране будет возрастать. Термин "эмиграция" начнет стираться. Все понятнее будет, что у нас единая культура. Все больше и больше мы будем оценивать подвиг тех, кто не впал ни в пресмыкательство, ни в черную ненависть."

Не меньшего внимания заслуживает и оборванная на полуслове рукопись последней статьи Натана Эйдельмана "Гости Сталина", опубликованной, также посмертно, в "Литературной газете". В этой работе, по-видимому, написанной в связи с планами будущей книги об обитателях Кремля, Натан Эйдельман с удивительной исторической точностью и художественным чутьем описывает, как ловко обманывал Сталин в Кремле своих знаменитых гостей - Бернарда Шоу, Ромена Роллана, Лиона Фейхтвангера и других выдающихся деятелей западной культуры, которые, будучи убежденными сторонниками демократии и либерализма, тем не менее проявили феномен слепоты и восхищения кровавой тиранией Сталина, хотя были, конечно, и отрицание, и сомнение. Даже известный своим беспощадным аналитическим умом и скептицизмом Шоу написал: "Часовой в Кремле, который спросил нас, кто мы такие, был единственным солдатом, которого я видел в России. Сталин играл свою роль с совершенством, принял нас как старых друзей и дал нам наговориться вволю, прежде чем скромно позволил себе высказаться.". А в октябре 1938 года, выступая по радио, тот же

Шоу сравнивал большевиков с создателями независимых Соединенных Штатов: Ленин - Джефферсон, Литвинов - Франклин, Луначарский - Пейн, Сталин - Гамильтон. Недалеко ушел от него и Ромен Роллан, сравнивавший Сталина с римским императором Августом. Выясняя причины этого чудовищного самообмана, Эйдельман выдвигает на первый план такие факторы, как гигантский аппарат дезинформации, идеологической обработки и умелой и незаметной для них изоляции именитых гостей от крестьянства, концлагерей и других миров горя, ужаса и террора. Беседы со Сталиным, открытые политические процессы также входят в эту огромную систему обмана.

На этих мыслях рукопись последней статьи Натана Эйдельмана обрывается. Как вспоминает его жена, он оставив лист в пишущей машинке, отложил работу на завтра. Но это "завтра" не наступило для него никогда. Теперь можно только с горечью сожалеть, каких книг о современной истории и "связи времен" мы лишились.

Уже в больнице, ложась на каталку в свой последний путь в палату, Натан Эйдельман, несмотря на запрещение врача, взял с собой томик Пушкина, занятый разгадкой тайны знаменитого пушкинского стихотворения "Анри Шенье". Эту разгадку, до последнего дыхания живя российской литературой и историей, он унес с собой в небытие.

Осталась в россыпях дневниковых и случайных записей ненаписанная им "главная" книга о собственной жизни", о классе 110 школы, о товарищах, об отце, о любимой им "связи времен". Заметки эти с пометкой "ЮК" он собирал всю жизнь, но книга эта так и не написана.

В пасмурный, не по-летнему холодный июльский день мы с Юлием Крейндлиным получали урну с прахом Эйдельмана в крематории Донского монастыря. Урну положили в целлофановый пакет, а пакет спрятали в сумку. "Такой толстый, а поместился в сумку", - вспомнил невесело Юлик "черную шутку", сказанную на этом же месте восемнадцать лет назад, когда забирали урну с прахом Игоря Белоусова. Пышная высокая трава зеленела вокруг нас на газонах и клумбах, почва которых образовалась из безымянного праха тысяч расстрелянных в сталинские годы, чьи тела сжигались здесь в тридцатые и сороковые. Низкие серые облака, смешиваясь с негустым дымом, неспешно струящимся из квадратной трубы, стремительно перемещались над низкой кирпичной стеной колумбария с фотопортретами усопших, напоминавшей доску почета, в сторону старой части монастыря с полуразрушенным собором, обломками

горельефов из взорванного храма Христа Спасителя, фамильными склепами Ланских и Голицыных, надгробиями над местами последнего приюта Хераскова и Чаадаева. "Все переплетено и все чрезвычайно близко" - вспомнилась мне снова одна из последних строк Тоника…

Когда я стою перед книжной полкой и смотрю на плотный ряд книг, написанных Натаном Эйдельманом, поражает, как много он успел в своей короткой, трудной но, безусловно, счастливой жизни. Когда же вспоминаю его безвременный уход, с горечью думаю, сколько он мог бы еще написать. И ощущение нереальности смерти охватывает меня. И не отпускает…

За тех, кто на земле

Снег.
Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на костре.
В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне?
Неба таежного просинь, редкие письма домой.
В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень
Долгой полярной зимой.
Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится
Вот и окончился наш краткий ночлег.
Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится
Над тишиной замерзающих рек снег, снег, снег.
Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок.
Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног.
Тронул задумчивый иней кос твоих светлую прядь.
И над бульварами линий по ленинградскому синий,
Вечер спустился опять.
Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится.
Он не коснется твоих сомкнутых век…
Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая снится?
Над тишиной замерзающих рек снег, снег, снег.
Долго ли сердце свое сберегу - ветер поет на пути.
Через туманы, мороз и пургу, мне до тебя не дойти.
Вспомни же если взгрустнется наших палаток огни.
Вплавь и пешком, как придется, песня к тебе доберется
Даже в ненастные дни.
Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится
Вьюга заносит следы наших саней.
Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится
Залитый солнцем трамвайный перрон завтрашних дней.

ПЕСНЯ ПОЛЯРНЫХ ЛЕТЧИКОВ
Кожаные куртки, брошенные в угол,
Тряпкой занавешенное низкое окно.
Бродит за ангарами северная вьюга,
В маленькой гостинице пусто и темно.
Командир со штурманом мотив припомнят старый,
Голову рукою подопрет второй пилот.
Подтянувши струны старенькой гитары,

Следом бортмеханик им тихо подпоет.
Эту песню грустную позабыть пора нам,
Наглухо моторы и сердца зачехлены.
Снова тянет с берега снегом и туманом,
Снова ночь нелетная, даже для Луны.
Лысые романтики, воздушные бродяги!
Наша жизнь - мальчишеские вечные года.
Вы летите по ветру посадочные флаги,
Ты, метеослужба, нам счастья нагадай.
Солнце незакатное и теплый ветер с Веста.
И штурвал послушный в стосковавшихся руках.
Ждите нас невстреченные школьницы - невесты
В маленьких асфальтовых южных городах.

ДЕРЕВЯННЫЕ ГОРОДА
Укрыта льдом зеленая вода.
Летят на юг, перекликаясь, птицы,
А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы.
Над крышами картофельный дымок.
Висят на окнах синие метели.
Здесь для меня дрова, нарубленные впрок,
Здесь для меня постелены постели.
Шумят кругом дремучие леса,
И стали мне докучливы и странны
Моих товарищей нездешних голоса,
Их городов асфальтовые страны.
В тех странах в октябре еще весна,
Плывет цветов замысловатый запах.
Но мне ни разу не привидится во снах
Туманный Запад, неверный дальний Запад.
Никто меня не вспоминает там.
Моей вдове совсем другое снится,
А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы.
1959 г. Игарка

Перекаты
Все перекаты, да перекаты,
Послать бы их по адресу.
На это место, уж нету карты,
Плывем вперед по абрису.
А где-то бабы живут на свете,

Друзья сидят за водкою,
Владеет парус, владеет ветер
Моей дырявой лодкою.
К большей воде я сегодня выйду,
Наутро лето кончится.
И подавать я не стану вида,
Что помирать не хочется.
А если есть, там, с тобою кто-то,
Не стану долго мучиться,
Люблю тебя я до поворота,
А дальше как получиться.
Все перекаты, да перекаты,
Послать бы их по адресу.
Для этих мест, уж, нету карты,
Плывем вперед по абрису.
1960 г. Туруханский край река Северная

НА МАТЕРИК

От злой тоски не матерись -
Сегодня ты без спирта пьян.
На материк, на материк
Идет последний караван.
Опять пурга, опять зима
Придет, метелями звеня.
Уйти в бега, сойти с ума
Теперь уж поздно для меня.
Здесь невеселые дела,
Здесь дышат горы горячо,
А память давняя легла
Зеленой тушью на плечо.
Я до весны, до корабля
Не доживу когда-нибудь.
Не пухом будет мне земля,
А камнем ляжет мне на грудь.
От злой тоски не матерись -
Сегодня ты без спирта пьян.
На материк, на материк
Ушел последний караван.
1960 г. Туруханский край

ЗА БЕЛЫМ МЕТАЛЛОМ

Памяти С. Е. Погребицкого
В промозглой мгле - ледоход, ледолом.
По мерзлой земле мы идем за теплом:
За белым металлом, за синим углем,
За синим углем да за длинным рублем.
И карт не мусолить, и ночи без сна.
По нашей буссоли приходит весна,
И каша без соли - пуста и постна,
И наша совесть чиста и честна.
Ровесник плывет рыбакам в невода,
Ровесника гонит под камни вода,
А письма идут неизвестно куда,
А в доме, где ждут, неуместна беда.
И если тебе не пишу я с пути,
Не слишком, родная, об этом грусти:
На кой тебе черт получать от меня
Обманные вести вчерашнего дня?
В промозглой мгле - ледоход, ледолом.
По мерзлой земле мы идем за теплом:
За белым металлом, за синим углем.
За синим углем - не за длинным рублем.
I960 г. Туруханский край, река Северная

ПЕРЕЛЕТНЫЕ АНГЕЛАХ
Памяти жертв сталинских репрессий
Нам ночами июльскими не спать на сене,
Не крутить нам по комнатам сладкий дым папирос
Перелетные ангелы летят на север,
И их нежные крылья обжигает мороз.
Опускаются ангелы на крыши зданий,
И на храмах покинутых ночуют они,
А наутро снимаются в полет свой дальний,
Потому что коротки весенние дни.
И когда ветры теплые в лицо подуют,
И от лени последней ты свой выронишь лом,
Это значит навек твою башку седую
Осенит избавление лебединым крылом.
Вы не плачьте, братишечки, по давним семьям,
Вы не врите, братишечки, про утраченный юг -
Перелетные ангелы летят на север,
И тяжелые крылья над тундрой поют.
1963 г.

НА ВОСТОК
В. Смилге
Словно вороны, чайки каркают
На пороге злой зимы.
За Печорою - море Карское,
После - устье Колымы.
Мне бы кружечку в руки пенную
Да тараньки тонкий бок…
А люди все - на юг, а птицы все - на юг,
Мы одни лишь - на восток.
Льдина встречная глухо стукнется
За железною стеной.
Острова кругом, как преступники,
Цепью скованы одной.
Лучше с Машкою влез бы в сено я,
Подобрав побольше стог…
А люди все - на юг, а птицы все - на юг,
Мы одни лишь - на восток.
Ох, и дурни мы, ох, и лапти мы,
И куда же это мы?
Море Карское, море Лаптевых,
После - устье Колымы.
Не давайте мне всю Вселенную,
Дайте солнце на часок.
А люди все - на юг, а птицы все - на юг,
Мы одни лишь - на восток.
Не давайте мне всю Вселенную,
Дайте мне поменьше срок.
А люди все - на юг, а птицы все - на юг,
Мы одни лишь - на восток.
1972 г. Море Лаптевых

Пиратская
Пират, забудь о стороне родной,
Когда сигнал "к атаке!" донесется.
Поскрипывают мачты над волной,
На пенных гребнях вспыхивает солнце.
Земная неизвестна нам тоска

Под флагом со скрещенными костями,
И никогда мы не умрем, пока
Качаются светила над снастями!
Дрожите, лиссабонские купцы,
Свои жиры студеные трясите,
Дрожите, королевские дворцы
И скаредное лондонское Сити.
На шумный праздник пушек и клинка
Мы явимся незваными гостями,
И никогда мы не умрем, пока
Качаются светила над снастями!
Вьет вымпела попутный ветерок.
Назло врагам живем мы не старея.
И если в ясный солнечный денек
В последний раз запляшем мы на рее,
Мы вас во сне ухватим за бока,
Мы к вам придем недобрыми вестями,
И никогда мы не умрем, пока
Качаются светила над снастями!
1962 г. Сев. Атлантика

У Геркулесовых столбов
У Геркулесовых столбов лежит моя дорога,
У Геркулесовых столбов, где плавал Одиссей.
Меня оплакать не спеши, ты подожди немного,
И черных платьев не носи, и частых слез не лей.
Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы,
Еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда.
У Геркулесовых столбов дельфины греют спины,
И между двух материков огни несут суда.
Еще над черной глубиной морочит нас тревога,
Вдали от царства твоего, от царства губ и рук.
Пускай пока моя родня тебя не судит строго,
Пускай на стенке повисит мой запыленный лук.
У Геркулесовых столбов лежит моя дорога.
Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь.
Меня забыть ты не спеши, ты подожди немного,
И вина сладкие не пей, и женихам не верь!
1963 г. Гибралтар

МОРЯК, ПОКРЕПЧЕ ВЯЖИ УЗЛЫ

Моряк, покрепче вяжи узлы -
Беда идет по пятам.
Вода и ветер сегодня злы
И зол, как черт, капитан.
Пусть волны вслед разевают рты,
Пусть стонет парус тугой…
О них навек позабудешь ты,
Когда придем мы домой.
Не верь подруге, а верь в вино,
Не жди от женщин добра:
Сегодня помнить им не дано
О том, что было вчера.
За длинный стол посади друзей
И песню громко запой…
Еще от зависти лопнуть ей,
Когда придем мы домой.
Не плачь, моряк, о чужой земле,
Скользящей мимо бортов,
Пускай ладони твои в смоле -
Без пятен сердце зато.
Лицо закутай в холодный дым.
Водой соленой умой,
И снова станешь ты молодым,
Когда придем мы домой.
Покрепче, парень, вяжи узлы -
Беда идет по пятам.
Вода и ветер сегодня злы
И зол, как черт, капитан.
И нет отсюда пути назад,
Как нет следа за кормой…
Никто не сможет тебе сказать,
Когда придем мы домой.
1965 г. Гибралтар

Над Канадой.

Над Канадой, над Канадой
Солнце низкое садится.
Мне уснуть давно бы надо,
Только что-то мне не спится.
Над Канадой - небо сине,
Меж берез - дожди косые…

Хоть похоже на Россию,
Только все же - не Россия.
Нам усталость шепчет: "Грейся",
И любовь заводит шашни.
Дразнит нас снежок апрельский,
Манит нас уют домашний.
Мне сегодня - как не весенний,
Дом чужой - не новоселье.
Хоть похоже на веселье,
Только все же - не веселье.
У тебя сегодня - слякоть,
В лужах - солнечные пятна.
Не спеши любовь оплакать,
Позови ее обратно.
Над Канадой - небо сине,
Меж берез - дожди косые…
Хоть похоже на Россию,
Только все же - не Россия.
1963 г. Канада. Голифакс

АТЛАНТИДА
Атлантических волн паутина
И страницы прочитанных книг.
Под водою лежит Атлантида,
Голубого огня материк.
А над ней - пароходы и ветер,
Стаи рыб проплывают над ней.
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.
Не найти и за тысячу лет нам -
Объясняют ученые мне -
Ту страну, что пропала бесследно
В океанской ночной глубине.
Мы напрасно прожектором светим
В этом царстве подводных теней.
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.
И хотя я скажу себе тихо:
"Не бывало ее никогда",
Если спросят: "Была Атлантида?" -
Я отвечу уверенно: "Да!"
Пусть поверят историям этим.

Атлантида - ведь дело не в ней,..
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней!
1970 г.Сев. Атлантика

ОСТРОВ ГВАДЕЛУПА
Игорю Белоусову
Такие, брат, дела, такие, брат, дела,
Давно уже вокруг смеются над тобою.
Горька и весела, пора твоя прошла,
И партию сдавать пора уже без боя.
На палубе ночной постой и помолчи -
Мечтать за сорок лет, по меньшей мере, глупо.
Над темною водой огни горят в ночи -
Там встретит поутру нас остров Гваделупа.
Пусть годы с головы дерут за прядью прядь.
Пусть грустно от того, что без толку влюбляться.
Не страшно потерять уменье удивлять -
Страшнее потерять уменье удивляться.
И возвратясь в края обыденной земли,
Обыденной любви, обыденного супа,
Страшнее позабыть, что где-то есть вдали
Наветренный пролив и остров Гваделупа.
Так пусть же даст нам Бог, за все грехи грозя,
До самой смерти быть солидными не слишком,
Чтоб взрослым было нам завидовать нельзя,
Чтоб можно было нам завидовать мальчишкам.
И будут сниться сны нам в комнатной пыли
Последние года, отмеренные скупо,
И будут миновать ночные корабли
Наветренный пролив и остров Гваделупа.
март 1970 г. о. Гваделупа

ОСТРОВА В ОКЕАНЕ
И вблизи, и вдали - все вода да вода.
Плыть в широтах любых нам, вздыхая о ком-то.
Ах, питомцы Земли, как мы рады, когда
На локаторе вспыхнет мерцающий контур!
Над крутыми волнами в ненастные дни,

И в тропический штиль, и в полярном тумане,
Нас своими огнями все манят они,
Острова в океане, острова в океане.
К ночи сменится ветер, наступит прилив.
Мы вернемся на судно для вахт и авралов,
Пару сломанных веток с собой прихватив
И стеклянный рисунок погибших кораллов.
И забудем мы их, как случайный музей,
Как цветное кино на вчерашнем экране, -
Те места, где своих мы теряем друзей,
Острова в океане, острова в океане.
А за бортом темно, только россыпь огней
На далеких хребтах, проплывающих мимо.
Так ведется давно, с незапамятных дней,
И останется так до скончания мира.
Не спеши же мне вдруг говорить про любовь, -
Между нами нельзя сократить расстояний,
Потому что, мой друг, мы ведь тоже с тобой -
Острова в океане, острова в океане.
1976 г.НИС "Дмитрий Менделеев".Тасманово море у берегов Австралии

Жена французского посла
(Песня про Сенегал)
А нам не Тани снятся и не Гали,
Не поля родные, не леса.
А в Сенегале, братцы, в Сенегале,
Я такие видел чудеса!
Ох не слабы, братцы, ох не слабы,
Блеск волны, мерцание весла…
Крокодилы, пальмы, баобабы,
И жена французского посла.
По-французски я не понимаю,
А она - по-русски ни фига.
Как высока грудь ее нагая!
Как нага высокая нога!
Не нужны теперь другие бабы,
Всю мне душу Африка сожгла
Крокодилы, пальмы, баобабы,
И жена французского посла.
Дорогие братцы и сестрицы,
Что такое сделалось со мной!

Все один и тот же сон мне снится,
Широкоэкранный и цветной.
И в жару, и в стужу, и в ненастье
Все сжигает душу мне дотла.
А в нем - кровать распахнутая настежь,
А в ней - жена французского посла.
1970 г. Дакар

ПОНТА ДЕЛЬГАДА
В городе Понта Дельгада
Нет магазинов роскошных,
Гор синеватые глыбы
Тают в окрестном тумане.
В городе Понта Дельгада
Девочка смотрит в окошко,
Красной огромною рыбой
Солнце плывет в океане.
В городе Понта Дельгада,
Там, где сегодня пишу я,
Плющ дон-жуаном зеленым
Одолевает балконы.
Трели выводит цикада,
Улицы лезут по склонам,
Явственен в уличном шуме
Цокот медлительный конный.
Спят под лесами вулканы,
Как беспокойные дети.
Подняли жесткие канны
Красные свечи соцветий.
Ах, это все существует
Вот уже восемь столетий -
Юбки метут мостовую,
Трогает жалюзи ветер.
Если опять я устану
От ежедневной погони,
Сон мне приснится знакомый,
Ночи короткой награда:
Хлопают черные ставни,
Цокают звонкие кони
В городе Понта Дельгада,
В городе Понта Дельгада.
1977 г. Азорские острова, о. Сен-Мигель

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
А. Ноль
Все, что будет со мной, знаю я наперед,
Не ищу я себе провожатых.
А на Чистых прудах лебедь белый плывет,
Отвлекая вагоновожатых.
На бульварных скамейках галдит малышня,
На бульварных скамейках разлуки.
Ты забудь про меня, ты забудь про меня,
Не заламывай тонкие руки.
Я смеюсь пузырем на осеннем дожде.
Надо мной - городское движенье.
Все круги по воде, все круги по воде
Разгоняют мое отраженье.
Все, чем стал я на этой земле знаменит -
Темень губ твоих, горестно сжатых…
А на Чистых прудах лед коньками звенит,
Отвлекая вагоновожатых.
1963 г.Сев. Атлантика

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН
Тучи светлый листок у луны на мерцающем диске.
Вдоль по лунной дорожке неспешно кораблик плывет.
Мы плывем на восток голубым океаном Индийским,
Вдоль тропических бархатных благословенных широт.
Пусть, напомнив про дом, догоняют меня телеграммы,
Пусть за дальним столом обо мне вспоминают друзья.
Если в доме моем разыграется новая драма,
В этой драме, наверно, не буду участвовать я.
Луч локатора сонный кружится на темном экране.
От тебя в стороне и от собственной жизни вдали,
Я плыву, невесомый, в Индийском ночном океане,
Навсегда оторвавшись от скованной стужей земли.
Завтра в сумраке алом поднимется солнце на осте,
До тебя донося обо мне запоздалую весть.
Здесь жемчужин навалом, как в песне Индийского гостя,
И алмазов в пещерах, конечно же, тоже не счесть.
Пусть в последний мой час не гремит надо мной

канонада,
Пусть потом новоселы мое обживают жилье,
Я живу только раз, мне бессмертия даром не надо,
Потому что бессмертие - то же, что небытие.
Жаль, подруга моя, что тебе я не сделался близким.
Слез напрасно не трать - позабудешь меня без труда.
Ты представь, будто я голубым океаном Индийским
Уплываю опять в никуда, в никуда, в никуда…
1984 г. Индийский океан

Переделкино
Позабудьте свои городские привычки,-
В шуме улиц капель не слышна.
Отложите дела - и скорей к электричке:
В Переделкино входит весна.
Там зеленые воды в канавах проснулись,
Снег последний к оврагам приник.
На фанерных дощечках названия улиц-
Как заглавия давние книг.
Там, тропинкой бредя, задеваешь щекою
Паутины беззвучную нить.
И лежит Пастернак под закатным покоем,
И веселая церковь звонит.
А в безлюдных садах и на улицах мглистых
Над дыханием влажной земли
Молча жгут сторожа прошлогодние листья-
Миновавшей весны корабли.
И на даче пустой, где не хочешь, а пей-ка
Непонятные горькие сны,
Заскрипит в темноте под ногами ступенька,
И Светлов подмигнет со стены.
И поверить нельзя невозможности Бога
В ранний час, когда верба красна.
И на заячьих лапках, как в сердце - тревога,
В Переделкино входит весна.
1964 г. Переделкино

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
Мне трудно, вернувшись назад,

С твоим населением слиться,
Отчизна моя, Ленинград,
Российских провинций столица.
Как серы твои этажи,
Как света на улицах мало!
Подобна цветенью канала
Твоя нетекучая жизнь
На Невском реклама кино,
А в Зимнем по-прежнему Винчи.
Но пылью закрыто окно
В Европу, не нужную нынче.
Десятки различных примет
Приносят тревожные вести:
Дворцы и каналы на месте,
А прежнего города нет.
Но в плеске твоих мостовых
Милы мне и слякоть, и темень,
Пока на гранитах твоих
Любимые чудятся тени
И тянется хрупкая нить
Вдоль времени зыбких обочин,
И теплятся белые ночи,
Которые не погасить.
И в рюмочной на Моховой
Среди алкашей утомленных
Мы выпьем за дым над Невой
Из стопок простых и граненых -
За шпилей твоих окоем,
За облик немеркнущий прошлый,
За то, что, покуда живешь ты,
И мы как-нибудь проживем.
1981 г. Ленинград

ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ
А в Донском монастыре -
Зимнее убранство.
Спит в Донском монастыре
Русское дворянство.
Взяв метели под уздцы,
За стеной как близнецы
Встали новостройки.
Снятся графам их дворцы,

А графиням - бубенцы
Забубенной тройки.
А в Донском монастыре -
Время птичьих странствий.
Спит в Донском монастыре
Русское дворянство.
Дремлют, шуму вопреки, -
И близки и далеки
От грачиных криков -
Камергеры-старики,
Кавалеры-моряки.
И поэт Языков.
Ах, усопший век баллад -
Век гусарской чести!
Дамы пиковые спят
С Германками вместе.
Под бессонною Москвой,
Под зеленою травой
Спит и нас не судит
Век, что век закончил свой
Без войны без мировой,
Без вселенских сует.
Листопад в монастыре.
Вот и осень, - здравствуй.
Спит в Донском монастыре
Русское дворянство.
Век двадцатый на дворе,
Теплый дождик в сентябре,
Лист летит в пространство.
А в Донском монастыре
Сладко спится на заре
Русскому дворянству.
1970 г.Атлантике

НОВЕЛЛЕ МАТВЕЕВОЙ

А над Москвою небо невесомое.
В снегу деревья с головы до пят.
И у Ваганькова трамваи сонные
Как лошади усталые стоят.
Встречаемый сварливою соседкою,
Вхожу к тебе, досаду затая.
Мне не гнездом покажется, а клеткою

Несолнечная комната твоя.
А ты поешь беспомощно и тоненько,
И, в мире проживающий ином,
Я с твоего пытаюсь подоконника
Дельфинию увидеть за окном.
Слова, как листья, яркие и ломкие
Кружатся, опадая с высоты,
А за окном твоим - заводы громкие
И тихие могильные кресты.
Но суеты постылой переулочной
Идешь ты мимо, царственно слепа.
Далекий путь твой до ближайшей булочной
Таинственен, как горная тропа.
А над Москвою небо невесомое.
В снегу деревья с головы до пят.
И у Ваганькова трамваи сонные
Как лошади усталые стоят.
1963г. Москва

ТРЕБЛИНКА
Треблинка, Треблинка,
Чужая земля.
Тропинкой неблизкой
Устало пыля,
Всхожу я, бледнея,
На тот поворот,
Где дымом развеян
Мой бедный народ.
Порою ночною
Все снится мне сон;
Дрожит подо мною
Товарный вагон,
И тонко, как дети,
Кричат поезда,
И желтая светит
На небе звезда.
Недолго иль длинно
На свете мне жить,
Треблинка, Треблинка,
Я твой пассажир.
Вожусь с пустяками,
Но все - до поры:

Я камень, я камень
На склоне горы.
Плечом прижимаюсь
К сожженным плечам,
Чтоб в марте и в мае
Не спать палачам.
Чтоб помнили каты -
Не кончился бой!
Я камень, я камень,
Над их головой.
1966 Г. Польша

ИСПАНСКАЯ ГРАНИЦА
У Испанской границы пахнет боем быков,
Взбаламученной пылью и запекшейся кровью.
У Испанской границы не найдешь земляков,
Кроме тех, что легли здесь - серый крест в изголовье.
Каталонские лавры над бойцами шумят,
Где-то плачут над ними магаданские ели.
Спят комбриги полегших понапрасну бригад,
Трубачи озорные постареть не успели.
Эй, ребята, вставайте, - нынче время не спать,
На седые шинели пришивайте петлицы.
Вы бригаду под знамя соберите опять
У Испанской границы, у Испанской границы!
Но молчат комиссары в той земле ледяной.
Им в завьюженной тундре солнце жаркое снится.
И колымские ветры все поют надо мной
У Испанской границы, у Испанской границы.
1963г. Гибралтар

ПУЩИН И МАТВЕЙ МУРАВЬЕВ
За окнами темно,
Закрыты ставни на ночь.
Ущербная луна
Струит холодный свет.
Раскупорим вино,
Мой друг, Матвей Иваныч,
Воспомним имена

Иных, которых нет.
Седые рудники
Нам спины не согнули,
И барабанный бой
Над нашею судьбой.
Острогам вопреки,
Штрафной чеченской пуле
Мы выжили с тобой,
Мы выжили с тобой.
Кругом колючий снег,
Пустыня без предела.
За праздничным столом
Остались мы вдвоем.
Идет на убыль век,
И никому нет дела,
Что мы еще живем,
Что мы еще живем.
Свечей ложится медь
На белые затылки.
Страшней стальных цепей
Забвения печать.
Лишь прятать нам под клеть
С записками бутылки
Да грамоте детей
Сибирских обучать.
Не ставит ни во что
Нас грозное начальство,
Уверено вполне,
Что завтра мы умрем.
Так выпьем же за то,
Чтоб календарь кончался
Четырнадцатым незабвенным декабрем!
1983г." Ялуторовск.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
На Ваганьковом горят сухие листья.
Купола блестят на солнце - больно глазу.
Приходи сюда и молча помолись ты,
Даже если не молился ты ни разу.
Облаков плывет небесная отара
Над сторожкой милицейскою унылой,
И застыла одинокая гитара,

Как собака над хозяйскою могилой.
Ветви черные раскачивают ветры
Над прозрачной неподвижною водою,
И ушедшие безвременно поэты
Улыбаются улыбкой молодою.
Их земля теперь связала воедино,
Опоила их, как водкою, дурманом.
Запах вянущих цветов и запах дыма -
Все проходит в этом мире безымянном.
На Ваганьковом горят сухие листья.
За стеной звонит трамвай из дальней дали.
Приходи сюда и молча помолись ты -
Это осень наступает не твоя ли?
1980 г. Москва

ПАМЯТИ ЮРИЯ ВИЗБОРА
Нам с годами ближе
Станут эти песни,
Каждая их строчка
Будет дорога…
Снова чьи-то лыжи
Греются у печки:
На плато полночном
Снежная пурга.
Что же, неужели
Прожит век недлинный?
С этим примириться
Все же не могу.
Как мы песни пели
В доме на Неглинной
И на летнем чистом
Волжском берегу!
Мы болезни лечим,
Мы не верим в бредни,
В суматохе буден
Тянем день за днем.
Но тому не легче,
Кто уйдет последним -
Ведь заплакать будет
Некому о нем.
Нас не вспомнят в избранном -
Мы писали плохо…

Нет печальней участи
Первых петухов.
Вместе с Юрой Визбором
Кончилась эпоха-
Время нашей юности,
Песен и стихов.
Нам с годами ближе
Станут эти песни,
Каждая их строчка
Будет дорога…
Снова чьи-то лыжи
Греются у печки:
На плато полночном
Снежная пурга.
1985 г. Москва

НАД ПРОСЕЛКАМИ ЛИСТЬЯ
Над проселками листья - как дорожные знаки,
К югу тянутся птицы, и хлеб не дожат.
И лежат под камнями москали и поляки,
А евреи - так вовсе нигде не лежат.
А евреи по небу серым облачком реют.
Их могил не отыщешь, кусая губу
Ведь евреи мудрее, ведь евреи хитрее, -
Ближе к Богу пролезли в дымовую трубу.
И ни камня, ни песни от жидов не осталось -
Только ботиков детских игрушечный ряд.
Что бы с ними ни сталось, не испытывай жалость,
Ты послушай-ка лучше, что про них говорят…
А над шляхами листья - как дорожные знаки,
К югу тянутся птицы, и хлеб не дожат.
И лежат под камнями москали и поляки,
А евреи - так вовсе нигде не лежат.
1966 г. Освенцим

ОКОЛО ПЛОЩАДИ
Б. Г.
Время ненастное, ветер неласковый,
хмурь ленинградская. -

Площадь Сенатская, площадь Сенатская,
площадь Сенатская.
Цокали, цокали, цокали, цокали,
цокали лошади
Около, около, около, около,
около площади.
Мысли горячие, мысли отважные,
мысли преступные.
Вот она - рядом, доступная каждому
и - недоступная.
Днями-неделями выйти не смели мы, -
время нас не щадит.
Вот и остались мы, вот и состарились
около площади.
Так и проходят меж пьяной беседою,
домом и службою
Судьбы пропавшие, песни неспетые,
жизни ненужные…
Цокали, цокали, цокали, цокали,
цокали лошади
Около/около, около, около,
около площади.
1981 г. Ленинград

Атланты
Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерки приди,
Где без питья и хлеба,
Забытые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках.
Держать его махину
Не мед со стороны.
Напряжены их спины,
Колени сведены.
Их тяжкая работа
Важней иных работ:
Из них ослабни кто-то -
И небо упадет.
Во тьме заплачут вдовы,

Повыгорят поля.
И встанет гриб лиловый
И кончится Земля.
А небо год от года
Все давит тяжелей,
Дрожит оно от гуда
Ракетных кораблей.
Стоят они - ребята,
Точеные тела,
Поставлены когда-то,
А смена не пришла.
Их свет дневной не радует,
Им ночью не до сна.
Их красоту снарядами
Уродует война.
Стоят они навеки,
Уперши лбы в беду,
Не боги - человеки,
Привыкшые к труду.
И жить еще надежде
До той поры пока
Атланты небо держат
На каменных руках.
21.02.1963 г. Северная Атлантика

ЗА ТЕХ, КТО НА ЗЕМЛЕ
Бушует ливень проливной,
Ревет волна во мгле
Давайте выпьем в эту ночь
За тех, кто на земле.
Дымится разведенный спирт
В химическом стекле.
Мы будем пить за тех, кто спит
Сегодня на земле.
За тех, кому стучит в окно
Серебряный восход,
За тех, кто нас уже давно,
Наверное, не ждет.
Пускай начальство не скрипит,
Что мы навеселе:
Мы будем пить за тех, кто спит
Сегодня на земле.

Чтоб был веселым их досуг
Вдали от водных ям,
Чтоб никогда не знать разлук
Их завтрашним мужьям.
Не место для земных обид
У нас на корабле.
Мы будем пить за тех, кто спит
Сегодня на земле.
01.01.1963 г.

БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО
Ветер холодный бьет в лицо.
Чайки кричат причальные.
Где ж ты Бульварное кольцо -
Кольцо мое обручальное?
Там вечерком снежит, снежит.
Свет от реклам оранжевый.
Мне близ тебя не жить, не жить,
Мимо не хаживать.
Снова пути мои длинны -
Скоро ль тебя увижу я?
Мне без тебя бледней луны -
Солнышко рыжее.
Там, где огней твоих шитье,
Ходит с другим теперь она,
Видно, с тобой любовь ее
Мною потеряна.
Ветер холодный бьет в лицо.
Чайки кричат прощальные.
Где ж ты. Бульварное кольцо -
Кольцо мое обручальное?
1962 г.
Атлантика, парусник "Крузенштерн"

ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ
Я таежной глушью заверченный,
От метелей совсем ослеп-
Недоверчиво, недоверчиво
Я смотрю на черный хлеб,

От его от высохшей корочки
Нескупая дрожит ладонь.
Разжигает огонь костерчики,
Поджигает пожар огонь.
Ты кусок в роток не тяни, браток,
Ты сперва погляди вокруг:
Может, тот кусок для тебя сберег
И не съел голодный друг.
Ты на части "хлеб аккуратно режь,
Человек-что в ночи овраг.
Может, тот кусок, что ты сам не съешь,
Съест и станет сильным враг.
Снова путь неясен нам с вечера,
Снова утром буран свиреп.
Недоверчиво, недоверчиво
Я смотрю на черный хлеб.

Осень 1960 г. р. Колю

ВАЙГАЧ

О доме не горюй, о женщинах не плачь,
И песню позабытую не пой.
Мы встретимся с тобой на острове Вайгач
Меж старою и Новою Землей.
Здесь в час, когда в полет уходят летуны
И стелются упряжки по земле,
Я медную руду копаю для страны,
Чтоб жили все в уюте и тепле.
То звезды надо мной, то - солнца красный мяч,
И жизнь моя, как остров, коротка.
Мы встретимся с тобой на острове Вайгач,
Где виден материк издалека.
абудь про полосу удач и неудач,
И письма бесполезные не шли.
Мы встретимся с тобой на острове Вайгач,
Где держит непогода корабли.
О доме не горюй, о женщинах не плачь,
И песню позабытую не пой.
Мы встретимся с тобой на острове Вайгач,
Меж старою и Новою Землей.
1972 г. Вайгач

МЕЖ МОСКВОЙ И ЛЕНИНГРАДОМ
Меж Москвой и Ленинградом
Над осенним желтым чадом
Провода летят в окне.
Меж Москвой и Ленинградом
Мой сосед, сидящий рядом,
Улыбается во сне.
Взлет, падение - и снова
Взлет, паденье - и опять
Мне судьба велит сурово
Все сначала начинать.
Меж Москвой и Ленинградом
Я смотрю спокойным взглядом
Вслед несущимся полям.
Все события и люди,
Все, что было, все, что будет,
Поделились пополам.
Меж Москвой и Ленинградом
Семь часов-тебе награда,
В кресло сядь и не дыши,
И снует игла экспресса,
Сшить стараясь ниткой рельса
Две разрозненных души.
Меж Москвой и Ленинградом
Теплый дождь сменился градом,
Лист родился и опал.
Повторяют ту же пьесу
Под колесами экспресса
Ксилофоны черных шпал.
Белит ветер снегопадом
Темь оконного стекла…
Меж Москвой и Ленинградом
Вот и жизнь моя прошла.
1971г. Москва-Ленинград

МОНОЛОГ МАРШАЛА
Я маршал, посылающий на бой
Своих ушастых стриженых мальчишек.
Идут сейчас веселою гурьбой,
А завтра станут памятников тише.

В огонь полки гоню перед собой,
Я маршал, посылающий на бой.
Я славою отмечен с давних пор.
Уже воспеты все мои деянья,
Но снится мне зазубренный топор,
И красное мне снится одеянье,
И обелисков каменная твердь.
Я маршал, посылающий на смерть.
Пока в гостях бахвалится жена,
Один бреду я по своим хоромам,
И звякают негромко ордена
Неугомонным звоном похоронным,
И заглушить его мне не суметь -
Я маршал, посылающий на смерть.
Не знающему робости в боях,
Немало раз пришлось мне нюхать порох,
Но странный я испытываю страх
В пустых соборах и на школьных сборах.
И победить его мне не суметь…
Я маршал, посылающий на смерть.
1967 г. Ленинград

ГАЛИЛЕЙ
Владимиру Высоцкому
Отрекись, Галилей, отрекись,
От науки ради науки.
Нечем взять художнику кисть,
Если каты отрубят руки.
Нечем гладить бокал с вином
И подруги бедро крутое,
А заслугу признать виной
Для тебя ничего не стоит.
Пусть потомки тебя бранят
За невинную эту подлость:
Тяжелей не видеть закат,
Чем под актом поставить подпись.
Тяжелей не слышать реки,
Чем испачкать в пыли колено.
Отрекись, Галилей, отрекись -
Что изменится во Вселенной?
Ах, поэты и мудрецы,
Мы моральный несем убыток

В час, когда святые отцы
Волокут нас к станкам для пыток.
Отрекись, глупцам вопреки,
Кто из умных тебя осудит?
Отрекись, Галилей, отрекись -
Мне от этого легче будет.
1967г.

АНТИГАЛИЛЕЙ
Ну кто в наши дни поет?
Ведь воздух от гари душен.
И рвут мне железом рот,
Окурками тычут в душу.
Ломает меня палач
На страх остальному люду,
И мне говорят: "Заплачь!"
А я говорю: "Не буду!"
Пихнут меня в общий строй,
Оденут меня солдатом,
Навесят медаль - герой,
Покроют броней и матом.
Мне водку дают, как чай,
Чтоб храбрым я был повсюду,
И мне говорят: "Стреляй!"
А я говорю: "Не буду!"
А мне говорят: "Ну, что ж,
Свою назови нам цену.
Объявим, что ты Хорош,
Поставим тебя на сцену".
Врачуют меня врачи,
Кроят из меня Иуду,
И мне говорят: "Молчи!"
А я говорю: "Не буду!"
1967г. Ленинград

Тени тундры.
Во мхах и травах тундры, где подспудно
Уходят лета быстрого секунды
Где валуны как каменные тумбы.

Где с непривычки нелегко идти.
Тень облака летящего над тундрой.
Тень птицы пролетающей над тундрой.
И тень оленя, что бежит по тундре
Перегоняют пешего в пути.
И если как то раз проснувшись утром
Забыв на час о зеркале и тундре
Ты попросила б рассказать о тундре,
И лист бумаги белой я нашел
Тень облака летящего над тундрой.
Тень птицы пролетающей над тундрой.
И тень оленя, что бежит по тундре
Изобразил бы я карандашом.
Потом, покончив с этим важным делом,
Оставив место для ромашек белых
Весь остальной бы лист закрасил бы я смело
Зеленым цветом, радостным для глаз.
А после выбрав кисточку потоньше,
И осторожно краски взяв на кончик
Я синим бы раскрасил колокольчик
И этим бы закончил свой рассказ.
Я повторять готов, живущий трудно,
Что мир устроен празднично и мудро.
Да, мир устроен празднично и мудро,
Пока могу я видеть каждый день
Тень облака летящего над тундрой.
Тень птицы пролетающей над тундрой.
И тень оленя, что бежит по тундре
А рядом с ними собственную тень.
1972 г. остров Вайгач

ПРОЛИВ САНГАР
Бьет волна - за ударом удар,
Чайки крик одинокий несется.
Мы уходим проливом Сангар
За страну Восходящего солнца.
Всходит солнце - зеленый кружок,
Берег узкий на Западе тает…
А у нас на Фонтанке - снежок,
А у нас на Арбате светает.
За кормою кружится вода,
В эту воду, как в память, глядим мы -

И любимые мной города
Превращаются в город единый.
Тихий смех позабывшийся твой
Снова слышу, как слышал когда-то
Белой ночью над темной Невой,
Темной ночью над белым Арбатом.
Бьет волна - за ударом удар,
Чайки крик одинокий несется.
Мы уходим проливом Сангар
За страну Восходящего солнца.
И в часы, когда ветер ночной
Нас уносит по волнам горбатым,
Все мне снится мой город родной,
Где встречается Невский с Арбатом.
1974 г. пролив Сангар

СПАСИБО, ЧТО ПЕТЬ РАЗРЕШИЛИ
Спасибо, что петь разрешили,
Спасибо, спасибо.
Мы все в синяках и ушибах,
Нам петь- не по силам.
Мы все на дороге к погосту,
В долгах и болезнях.
Оставьте свое эпигонство -
Оно бесполезно.
Спасибо, что петь разрешили,
Спасибо, спасибо.
Мы стали седы и плешивы,
И смотрим спесиво.
Поют о другом иноверцы
С других пьедесталов.
Состарился голос, и сердце,
Устало, устало.
Спасибо, что петь разрешили,
Спасибо, спасибо.
Мы не были непогрешимы,
Но благ не просили.
От мест отгремевшего боя,
Где нет обелиска,
Мы песни уносим с собою
Не близко, не близко.
Спасибо, что петь разрешили,

Но чуточку поздно.
В январской заснеженной шири
Светло и морозно.
Надолго ли нынче на свете
Погода такая?
А песня кружится, как ветер,
Смолкая, смолкая.
1987 г. Москва